

ЗНАМЯ  
1943г.  
N.N. 7-8.

# ЗНАМЯ

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

№ 7-8

ОГИЗ

Государственное издательство  
художественной литературы

1943

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

## СЫН

Памяти младшего лейтенанта Владимира  
Павловича Антокольского, павшего смертью  
трабрых 6 июля 1942 года.

1

—! Я не опоздал? Ты слышишь?  
— Сегодня рядом встанем в строй,  
тому ты помесим нам до пищели,  
стру, як матери с сестрой?

—! Ты рукой же в силах двинуть,  
з же в силах с личика смахнуть,  
гру не в силах запрокинуть.  
Бесе всеми легкими вдохнуть.

ому в глазах твоих наевки  
мо стяй, синий, синий, пост?  
Смоль обугленного века  
пробьетъ некакой рассвет?

—, — вот сквозь вьющуюся зелень  
чий дом в проходе и в тепле.  
жести над кручами расселиши.  
метта их строить. Вот они.

груешь ли ты, что в это утро  
из рядом с мечи, падаю в плачу,  
мои лучший, с самой златокупной  
и, кого назвать и то ходу.

Сыншишь, слышишь, слышишьъ  
ханчай!

Это наши б-западу попили.  
Злачит, ябстуканье. Значит паус  
Подыматься, встать с сырой земли.

И тогда из дома неплодной,  
Из дырокой дома фронтовой  
Отвечае! сии мой конячий.  
С мертвом гордцей готовой!

— Не сови кепа, отку, то прогой.  
Не зори зеня, о, не зори!  
Мы едем пешкомой щорой,  
Мы летим в бушарах и в зоре.

Мы зорим и боку драмают в ту  
Бесите, павильон брусы.  
Так оспотится наци стрят в тиши  
Что наезд берегутъ нам сюда.

И же знаю, буда, при свиданье  
Знаю только, что б-запад, бол.  
Она мы — птицы в чарье.  
Всльно мы не возвращаемся с той

Он был хорошим сыном, умным, смельчаком. Трудя по лошадям, он упал ничком.

Все встает охрипший дует. Сладких воск. и воспитывает. А что она диктует смерти, начальствует людских обид.

Ска ся ся и сяйт и танця, и танет  
Учебык вверъ, ти же ему отдашь.  
Быкнад, твой ска на ножки встанет,  
Избует свистульку, карашдай.  
Бы ска вдстя восьашь его. Тогда-то  
Рыжак сяйт синий отонек.  
Зачаро диттися, призничная дата,  
Бызом по прымечательный денъ.  
В то утро и в то грешнастый вечер  
Роди времена спек листыши текла.  
Людохотное съезде человечье  
Рвягдясь в мурлыки света и тепла.

Н. разве это, разве тут нача?о?  
Начала же как в ютем, под конца.  
Жизнь о дальнем будущем молчала,  
Не сказала счастья отца.  
Она была пру грань и огромна  
Все из-за тьмы мой мальчик рос,—  
Жизнь обрачю, аэроромов, комнат,  
Они трах замикаю и летних гроз.

Капельки дос. Ехал ерошил кудри  
Всеслий актёр. Зимний — щеки жег  
Из-под носа на щёках в спешной пурпур  
Сияла звезда бедный мой другож.  
Он любил её яко ее широкий  
Советский путь, боевую медь.  
Любила он сильнее за уроки,  
Что разно и не должно треметь,  
Любила в школе набились до-отказа  
Своими честными впередой,  
Любила Калинку из Кавказа,  
Любила и любила любой.

Он ждал труда, как воздуха и корма  
Чертить, мяТЬ в пальцах, красить  
Что-нибудь.  
Колонки логарифмов, буквы формул  
Попали за них из школы в дальний  
ЛУТЬ.  
Макеты спен, не играяных в театре,  
Модели шхун, не пыльших низуда.  
Его мечты хватило б жизни на три  
И на три века,— так он ждал труд  
И он любил следить, как вырастают  
Дома на мирных улицах Москвы,  
Как великаны из стекла и стали  
Бумались в мирных бликах синевы.

Он столько шин стонтал велосипедом  
По всем Садовым, за Москву-рекой,  
И столько пленки перепорты «Фэдэс»  
Снимая всех и все, что под рукой,  
И столько раз, ложась и встав с  
постели,  
Уверен был: нет, я не одинок.  
Что он любил еще? Бродить без цели  
С товарищами в выходной день  
Вплоть до зимы без шапки.  
Неприлично?  
Зато удобно, даже торячо.

Он жил в Крыму в то лето. В жары  
поздне  
Сверкал морской прилив во весь  
раскат  
Сверкал песок. Сверкала степь,  
наполнен  
Весь мир звонкими хрохотных цыка,  
Он видел все до точки, не обидел  
Мельчайших брызг морского серебра  
И в первый раз он девочку увидел  
Совсем другой и лучшей, чем вчера  
И девочка внезапно убежала,  
И звонкий смех еще эхнул в уши.  
Когда в приступе чувствовал он жажду  
Внезапней трусти, чаще задыхав.  
Но отчего причастъ? Что за причастъ?  
Ему близкии между приморскихъ съ  
Ведь ее не мальчикъ, но и не мужъ  
Грубиянинъ за косы таскалъ

Так что же это, что же это, что же  
Такое, что щемит в его груди?  
И сразу окрылен и уничтожен,  
Он знал, что жизнь огромна впереди.

Он в первый раз тогда коснулся жизни.  
Все кончено. То был последний раз.  
Ты, море, всей гремящей солью брызни  
И подтверди печальный мой рассказ.  
Ты, высохший степной юмыль,

наполни

Весь мир звонками крохотных цикад.  
Сегодня нет ни девочки, ни юдяля,  
Метет метель, метет во весь раскат.  
Сегодня нет ни мальчика, ни Крыма,  
Метет метель, вонит в охрипший рог.  
И только грозным заревом багрима  
Святая даль трифронтовых дорог.

И только по щеке в дыму махорки  
Ползет скучная, трудная слеза.  
Да карточка в защитной гимнастерке  
Глядит на мир, глядит во все глаза.  
И только еженощно в разбомбленном,  
Отребленном старинном городке  
Поет метель о мальчике влюбленном,  
О погребенном тут, невдалеке.

Гостиница. Здесь, кажется, он прожил  
Ночь или сутки. Кажется, что спал  
На этой жесткой коечке, похожей  
На связку железнодорожных шпал.  
В нескладных сапогах по коридору  
Протопал утром. Жадно мыл лицо  
Под этим краном. Погремялся вздору  
Бакому-нибудь. Вышел на крыльло.  
И перед ним открылся разоренный  
Старинный этот русский городок  
В развалинах. Так ясно озаренный  
Иоанским солнцем.

И уже гудок  
Вдали заплакал железнодорожный,  
И младший лейтенант вздохнул слегка.  
Москва в тумане, в прелести тревожной  
Была так невозмутно далека.  
Метель запел гудок, совсем осипший  
Первой схватки с песней ветровой.  
Возд шел всешибче,шибче,шибче  
Ткристкой первой фронтовой.

Все кончено. С тех пор прошло  
полгода.  
За окнами — безлюдье, стужа, мгла.  
Я до зари не сплю. Меня невзгода  
В гостиницу вот эту загнала.  
В гостинице живут недолго — сутки,  
Встают чуть свет, спешат на фронт,  
Москву.  
Метет метель, мешается в рассудке,  
А все метет.

И где-нибудь во рву  
Вдруг выбьется из сил метель-старуха.  
Прильнет к земле и слушает дрожа.  
Там, может быть, ее детеныш рухнул  
Под елкой молодой, у блиндажа.

### 3

Я слышал взрывы тыщетонной мопси.  
Распад живого, смерти торжество.  
Вот где рассказ начнется. Скажем  
проще:

Вот западня для сына моего.

Ее напеч в никосийне хитми,  
А металлург в обойму загвоздил.  
Ее хранили пачками сухими.  
Но злость не знала никаких удил.  
Она звенела в сейфах у банкиров,  
Ползла хитро и скользила мертвко,  
Змеялась, под землей траинея вырыв.  
Вот западня для сына моего.

И в том году спокойном, двадцать  
третьем,  
Когда мой мальчик только родился,  
Уже присматривалась к написи детям  
Германия, щещеринная вся.

Я видел город тот аляповатый,  
В зеленых вспышках мертвенных  
реклам.

Он был набит тщеславием, как ватой,  
И смешан с маргарином пополам.  
В том городе дрались и целовались,  
Рожали или гибли ни за что,  
И пели: Дейшиланд, Дейшиланд юбер  
аллес.

Все было этим лаком залито.  
Как жизнь черна, обутлена. Как густо:  
Заяцпаны разгулом облака.  
Как вздорожали пиво и капуста,

Табак и соль. Нехватит и мелька,  
Чтоб написать растущих цен колонок.

Меж тем убийцы наших сыновей  
Спят сладко, запеленуты в шеленки,—  
Спят и не знают участи своей.  
И ты, наш давний недруг, кем бы ни  
был,  
Берлинец с твердым гетевским лицом,  
На женщин жаден, падок на  
сверхприбыль,  
Ты в том году стал, наконец, отцом.

Да. Твой наследник будет чистой  
крови,

Румян, голубоглаз и белобрыс,  
Вотан по силе, Зигфрид по здоровью,—  
Отдай приказ — он рельсу бы разгрыз.  
Он юность проведет в домах публичных,  
Пройдет насквозь Европу, как чума.  
По перечень его дений личных  
Не нужен. Он — Германия сама.  
Она сама открыто и толково  
Его с рождения ввергнула во тьму.  
Такого сына ждашь ты? — Да. Такого.  
Ему ты отдал сердце? — Да. Ему.

Вот он в снегу, твой Фрицхен,—  
отработан  
Как рваный танк. Попробуй, оторви  
Его от снега. Закричи «Ферботен»  
И впейся в рот в залекшейся крови.  
Хотел ли ты для сына ранней смерти?  
Хотел иль нет — ответом не помочь.  
Но я принес дурную весть в конверте,  
Но я виной, что ты не спишь всю  
ночь.

Что там стучит в висках твоих  
склерозных?  
Чья тень в окопный ломится квадрат?  
Она пришла из мглы ночей морозных.  
Теперь эта я. Ну как, берлинец, рад?  
Твой час пришел.

Вставай, старик!

Пора нам.  
Пройдем по странам, где гулял твой  
сын.  
Нам будет жизнь его киноэкраном,  
А смерть — лучом прожектора косым.

Над нами небо — как раздранный  
свиток  
Все в письменах миллионочтных зв  
Под нами вспышки лающих зениток  
Дым разоренных человечьих гнезд.  
Снега, снега. Завалы снега. Взгорья  
Чашобы в снежных шапках до бров  
Холодный дым кочевья. Запах горя  
Все неоглядней горе, все мертвей.  
Все путанней нехоженные тропы,  
Все сумрачней снега, все лиловей.  
Передний край. Восточный фронт

Европы

Вот место встречи наших сыновей.

По деревням, на пустошах горючих,  
Творятся ночью страшные дела.  
Раскачиваются, скрипя на крючьях.  
Повешенных замерзшие тела.  
Расстреляны и до гола раздеты,  
В обнимку с жизнью брошены во  
Глядят ребята, женщины и деды  
Стеклянным отраженьем синевы.  
Куда ни глянь — они стеклянным  
взглядом  
Преследуют, сожженные до тла.  
Куда ни сгинь — они, как совесть  
рядом  
Бесшумные, садятся у стола.

Кто их убил? Кто выклевал глаза  
Кто, опалев от страшной наготы,  
В крестьянском скарбе шарил, ка  
хозяй  
Кто? Твой наследник. Стало быть

Ты, воспитатель, сделал эту слово  
И, прещуру пещерному подстать,  
Ты из ребенка вытравил, как щ  
Все, чем хотел и чем он мог бы  
Ты вызвал в нем до возмужанья  
похи  
Ты до рождения злобу в нем раз  
Видеть, такая выдалась эпоха!  
И вот хрипел казарменный рожок  
И вот печатал шагом он гусины  
По вырубленным рощам и садам.  
А ты кичился безголовым сыном  
Ты восхищался Каином, Адам.

Ты отнял у него миры Эйнштейна  
И лесни Гейне выгравил в день весны,  
Арестовал его ночные тайны  
И обыскал мальчишеские сны.

Еще мой сын не мог прочесть, не  
знал их,  
Руссо и Маркса, еле к ним приник,—  
А твой на площадях, в спортивных  
залах  
Костры сложил из тех бессмертных  
книг.  
Тот день, когда мой мальчик кончил  
школу,

Был светел и по-юношески свеж.  
Тогда твой сын, охрипший, полуголый,  
Шел с автоматом через нашу руслу.  
Ту, пред которой сын мой с обожаньем  
Не смел дышать, так он берег ее,—  
Твой отпрыск с гиком, с жеребячьим  
ржаньем  
Взял и швырнулся на землю, как тряпье.

Мы на поле с тобой остались чистом —  
Как ни вывертывайся, как ни плачь!  
Мой сын был комсомольцем, твой —  
фашистом.  
Мой мальчик — человек. А твой —  
палац.

Во всех боях, в столбах огня сплошного  
В рыданьях человечества всего,  
Сто раз погибнув и родившись снова,  
Мой сын зовет к ответу твоего.

#### 4

Идут годы, тридцать восьмой, девятый.  
Зарублен рост на притолоке дверной.  
Вспоминанья в ключьях дымной ваты  
Бегут, не сливясь, где-то стороной,  
Не точные.

Так как же мне взглянуться  
В бытое сквозь туманное стекло,  
Чтобы его неконченное детство  
В неначатую юность перешло?

Стамеска. Клещи. Смятая коробка  
С гвоздями всех калибров. Молоток.  
Насос для шин велосипедных. Пробка

С перегоревшим проводом. Моток  
Латунной проволоки. Альбом для  
марок.  
Сухой, разбитый краб. Карандаши.  
Вот он назад вернувшийся подарок  
Бусок его мальчишеской души,  
Хотевшей жить. Ни много и ни мало,—  
Жить! только жить. Учиться и расти.  
И детство уходящее сжимало  
Обломки рая в маленькой горсти.  
Вот все, что детство на земле добыло.  
А юность ничего не отняла  
И, уходя на смертный бой, забыла  
Обломки рая в ящиках стола.

Рисунки. Готовальня. Плоский ящик  
С пилитрой. Два нетронутых холста.  
И туники, впервые настоящих,  
Впервые взрослых красок. Пестрота  
Бесничности. Все — начерно. Все —  
наспех.  
Все — с ощущением, что наступит  
день,  
В июле, в январе или на пасхе,—  
И сам осудишь эту дребедень.  
И он растет, застенчивый и милый,  
Нескладный, большерукий наш чудак.  
Вчера его бездействие томило,  
Сегодня он тоскует «просто так».

Холст грунтовать? Писать сценной,  
охрой  
И суроком, чтобы в мазне лучай  
Возник рассвет, младенческий и  
мокрый,  
Тот первый на земле, еще ничей.  
Или рвануть по клавишам, не зная  
В глаза всех этих до-ре-ми-фа-соль,  
Чтоб в терциях смыкала сквозная  
Сметающаяся штурмовая соль.

Опять рисунки. В пробах и пробелах  
Сквозит игра, ребячливость и лень.  
Так, может быть, в порывах оробельги  
О ствол рогами чешется олень.  
И, напрягая струны сухожилий,  
Готов сломать ветвистую красу.  
Но ведь оленю ревностно служили  
Все мхи и травы в сказочном лесу.  
И невидимка в лунном одеяньи

Пригубил он таёй живой воды,  
Что разве лишь охотнице Диане.  
Удастся отыскать его следы.  
А за моим мужающим оленем  
Уже неслася, трубя во все рога,  
Уже гнались, на горе поколеням,  
Железные выжлятихи врага.

Идут года, тридцать восьмой, девятый  
И пограничный год сороковой.  
Идет зима, вся в хлопьях снежной  
ваты.  
И вот он, сорок первый, роковой.

В июне кончил он десятилетку.  
Три дня шатались об руку мы с ним.  
Мой сын дышал во всю грудную

клетку.

Но был какой-то робостью темн.  
В музее, жадно глядя на Гогена,  
Он словно скласть, словно не хотел  
Ожогов солнца в сварке автогенной  
Всех этих смуглых обнаженных тел.

По все светлей навстречу нам вставала,  
Разубранная, как для торжества,  
Вся, от Кремля до Земляного вала,  
Оправленная в золото Москва.  
Так призрачно задымлены бульвары.  
Так бойко льется разбитная речь,  
Так скромно за листвой проходят  
пары,—  
О, только б ранний праздник свой  
сберечь

от глаз чужих.  
Все, что добыто в  
школе,  
Что юношеской сделалось душой,—  
Все на виду.

Не праздник это, что ли?  
Так чокнемся, сынок!

Расти, большой!

На скатерти в грузинском ресторане  
Пятно вина таёк ярко распыльлось.  
Зачесанный назад с таким стараньем,  
Упал на брови завиток волос.  
Так, хохоча беспечностно, так, важно

И все же снисходительно ворча,  
Он, наконец, пригубил пламень влаж-  
ний,  
Впервой не захлебнувшись сгоряча.

Пей. В молодости человек не жаден.  
Потом, над перевальной крутизной,  
Поймешь ты, что в любой из вино-  
градин  
Надежен тыщелетний шияный зной.  
И где-нибудь, в тени чинар, в душе,  
В шмелевом звоне старческой зурны  
Почувствуешь священное дыханье  
Тысячелетий.

Как озарены  
И камни, и фонтан у Моссовета,  
И девочка, что на него глядит  
Из-под ладони. Слишком много света  
В глазах людей. Он окна золотит,  
И зайчиками прыгает по стеклам,  
И пурпуром опарили облака.  
И если верить стонущим антенам,  
Работа света очень велика.

И запылали щеки. И глубоко  
Мерцали пониманием глаза.  
Не мальчика я вел, а полуобога  
В открытый настежь мир.

И вот гроза,  
Слегка цыганским встрихивая бубном,  
С охашкой молний свившихся в клубок,  
Шла в облаках над городом стотрубным  
Навстречу нам.

И это видел бог.  
Он радовался ей. Ведь пеньем грома  
Не прервал пир, а только начался.

О, только не спешить. Пешком до дома  
Дойдем мы ровным ходом в полчаса.

Москва, Москва. Как много гроз шумело  
Над славной головой твоей. Москва,  
Что ж ты притихла? Что ж, более  
мела,  
Не разделяешь с нами торжества?  
Любимая. Дай руку нам обозм.  
Отец и сын — мы воины твои.  
Благослови, Москва, нас перед боем.  
Что там ни суждено, — благослови!  
Спасибо этим памятникам мончым.

Огням театров, пурпуру знамен,  
И сбирающим спасибо полунощным,  
Где каждый зван и каждый заменен  
Могучим гребнем нового прибоя,—  
Волна волну смывает, и опять  
Сверкает жизнью лено голубое.  
Отбоя нет. Никто не смеет спать.  
За наше счастье — сами мы в ответе.  
А наше горе — не твоя вина.

Так проходил наш драмдник. На рас-  
свете  
В четыре тридцать началась война.

## 5

Мы не всегда, от памяти зависим.  
Случайный, беглый след карандаша,  
Случайная открытка в связке писем,—  
И возникает юная душа.  
Вот, вот она мелькнула, недотрога.  
И усмехнулась. И ушла во тьму.  
Единственная. Безраздельно строго,  
Сполня принадлежащая ему.

Здесь почерк вырабатывался: точный,  
Косой, немного женский, без прикрас.  
Тогда он жил в республике восточной,  
Без близких и вне дома в первый раз.  
В тылу, в военной школе. И вначале  
Был сдержан в письмах: «Я здоров,  
учусь,  
Довolen жизнью». — Письма умолчали  
О трудностях, не выражали чувств.  
Гораздо позже начал он делиться  
Тоской и беспокойством: мать, сестра.

Не скоро в письмах появились лица  
Товарищей. И грусть не так остра.  
Он в письмах подавал, как бы на  
блюде,  
Как с пылу-жару, вывод многих дней:  
«Здесь, папа, замечательные люди!»  
И снова дружба. И опять о ней.  
Навстречу людям. Всюду с ними в  
ногу,  
Навстречу людям — цель и торжество.  
Так вырабатывался юненькому  
Мужской характер сына моего.

Еще одна тетрадка. Очень чисто,  
Опрятность школьной выгушки храня,  
Здесь вписан был закон артиллериста,  
Святая математика огня,  
Простая точность логики прицельной.  
Вот чем дышал и жил он этот год,  
Что выросло в нем искренно и цельно,  
В сознанье долга, в нежеланья льгот.  
Ни разу не отвлекся. Что он видел,  
Предвидел ли погибельный багрец,  
Своей души последнюю обитель?

И вдруг рисунок на полях; дворец  
В венецианских арках. Тут же рядом,  
Под кипарисом, пупка.

Но, постой.  
В какой задумчивости, смутным взгля-  
дом  
Смотрел он на рисунок свой простой?

Какой итог, какой душевный опыт  
Здесь выражен, какой мечты глоток?  
Итог не подведен, глоток не доит.  
Оборвалась и подпись:

В. Айтюк...

## 6

Ты, может быть, встречался с этим  
рослым,  
Веселым, смуглым школьником Москвы,  
Когда, райкомом комсомола послан  
Копать противотанковые рвы,  
Он уезжал.

Шли эстафеты ребята,  
Из Пресни, от Бородинских ворот,  
Из центра, из Сокольников, с Арба-  
та,—

Горластый, бойкий, боевой народ.  
В теплушках шели, что спокойно можо:  
Любимый город спать,  
что хороша

Страна родная;  
что главы не сложит  
Ермак на диком береге Иртыша.

А может быть, встречался ты и раны  
С каким-нибудь из наших сыновей,—  
На Черном море или на Днепре,  
На всей планете солнечной твой.

В какой стране, под гул каких прелюдий,  
На фабрике, на рынке или в порту  
Тот смуглый школьник пробивался в люди,

Рассчитывающий на доброту Случайности.

И если, наблюдая,  
Узнать его ты ближе захотел,  
Ответила ли гордость молодая?  
Иль в сущем твоих вседневных дел  
Ты заслыхал, что этот смуглый, стройный,

Одним из нас рожденный человек  
Рос на планете, где бушуют войны,  
И грядущую встретит свой железный век.

Уже он был жандармом схвачен в Праге,  
Допрошен в Брюгге, в Бергене избит.  
Уже три дня он прятался в овраге  
От черной своры завтрашних обид.  
Уже в предгрозы мощных забастовок  
Взросли эти кроткие глаза.  
Уже свинцовым шрифтом для листовок  
Ему казалась каждая гроза.

Пойдем за ним, за юношей, ведомым  
По черному асфальту на расстрел.  
Останови его за крайним домом;  
Пока он пустыря не рассмотрел.  
А если и не сын родной, а ближний  
В глазах шпионов гестаповских возник,  
Запутай след его на свежей лыжне  
И сам пройди невидимо сквозь них.  
В их черном списке все подростки мира,

Вся поросль человеческой весны.  
От Ширеней до древнего Памира  
Они в зловещих присках точны.

Почувствуй же, каким преданьем  
древним  
Повеяло от смуглого чела.  
Ведь молодость, так быстро догорев в нем,  
Сама клубнится дымом начала.

Горячим теплом всех сожженных библей,  
Всех польских гетто и концлагерей,  
За всех, за всех, которые погибли,  
Он, полурусский и полуеврей.  
Проснулся для войны от летаргии Младенческой и опустил одно:  
— Все делать так, как делают другие.  
Все остальное здесь предрешено.

Не опоздай. Сядь рядом с ним на нарте,  
Пока шогоня дверь не сорвала.  
По крайней мере затемни на карте  
В районе Жиздры, западней Орла,  
Ту крохотную точку, на которой  
Ему навеки постлана постель.  
Завесь окно своею снежной шторой,  
Летящая над городом метель.

Опять, опять к тебе я обращаюсь.  
Безумная, бесшумная, пойми,—  
Я с сыном никогда не отпрощаюсь.  
Так повелось от века меж людьми.  
И вот опять он рядом, мой ребенок.  
Так повелось от века, что еще  
Ты не найдешь его меж погребенных,  
Он только спит и дышит горячо.  
Не разбуди до срока. Ты старуха,  
А он ляг. Ты музыка,— а он,  
К несчастью с детства не лишенный слуха,  
Он будущее чувствует сквозь сон.

Весь день он спал, не сняв ёлаг, в шинели.  
С открытым ртом,— усталый, человек.  
Виски немного впали. Посинели Таинственные выпуклости век.  
Я подходит па пыточках, боялся Дохнуть на сына. Вот он, наконец,  
Из дальних стран вернулся во-свойси.  
Так рано оперившийся ятненец.  
Он встал, надел ремень и портупею.  
Слегка меня ударил по плечу.  
Наверно, думал:  
«Нет, еще успею.

Зачем тревожить? Лучше помолчу». Последний ужин. Засиделись поздно. Весь выпил чай, и высмеяли весь смех. И сын молчит, неузнан, неопознан, И так безумно близок, — ближе всех! Какая мысль гнетет его? Как скудно Освещена под лампой часть лица. Меняется лицо ежесекундно.

Он смотрит и не смотрит на отца. И все в нем недолюбленное, недо-Любившее. В мозгу, как звон косы. Как взмах косы:

— Я еду, еду, еду.

Он смотрит и не смотрит на часы.

Сегодня в ночь я сына провожаю. Не знает сына, не разобрал отец. Чья кровь стучит, своя или чужая. — Все потерялось в стуке двух сердец. Все дело в том, что...

Стой. Но в чем же дело?

Всю жизнь я восхищался им и ждал. Чтоб в сторону мою хоть поглядел бы. Ждал. Восхищался. Вот и опоздал.

И он прервал неконченую фразу:  
— Не провожай. Так лучше. Я пойду С товарищами. Я умею сразу Переключаться в новую среду. Так проще для меня. Да и тебе ведь Не стоит волноваться.

Но без сил  
Отец взмолится. Било восемь, девять.  
И ровно в девять сына упросил.

Попали мы на вокзал — таким беспеч-  
ным  
И легким шагом, как всегда вдвоем.  
Лежал табак в мешке его заплечном,  
Хлеб, концентраты, узелок с бельем.  
Ни дать, ни взять — шел ученик из  
класса  
В экскурсию под выходной денек.  
Мой лейтенант и вправду мог по-  
блажаться,  
Что в поезде не будет одинок.  
Уже в метро попутчиков он встретил.  
И лейтенанты вышли вальтером.

Я был шестым. Брецтал ненастный ветер. Зениты были. Где-то грянул гром. Как будто дождь накралывал. А может, Дождь начался совсем в другую ночь. Да что тут. Был ли, нет ли — не поможет

Тут и гораздо большим не помочь.

Мы были рядом. Близко. Сжалли руки. Сильней. Больней. На столько долгих дней.

На столько долгих месяцев разлуки. Но разве мы не думали о пей?  
А тут же, с матерями и без близких, С букетиками маленьких гвоздик, Выпускники из школ артиллерийских С Москвой прощаются.

Мрак уже воздвиг.  
Железный трубы занавес у входа  
В ночной вокзал.

Кричали рупора.  
Попла посадка.  
Сколько до отхода?  
Час? Полчаса?

Ну а теперь пора.  
Гражданских на вокзал не шутят.  
Ну, так  
Обнимаемся под небом, под дождем.  
Постой. Прощай.

Постой хоть пять минуток.  
Пока пройдет команда, переждем.

Отец не знает, сына провожая,  
Чья кровь, как молот, ухает в виски  
Чья кровь стучит, своя или чужая.  
Ну, а теперь еще раз, по мужски.

И робко, виновато улыбаясь.  
Он очень долго руку жмет мою,  
И очень нежно, ниже нагибаясь,  
Простое что-то шепчет про семью,  
Мать и сестру.

А рядом за порогом  
Ночной вокзал в сияньи синих ламп.  
А где-то там, по фронтовым дорогам,  
Вдоль речек, по некошеным полям,  
По взорванным голодным пепелищам.

От пункта Эн на запад напрямик  
Несется время. Мы его не ищем.  
Оно само найдет нас в нужный миг.  
Несется время, синее, сквозное,  
Несет в охапках солнце и грозу,  
Вверху синеет тучами от зноя,  
И толбует реками внизу.

И в свете синих ламп он тоже синим  
Становится, и легким, и сквозным,—  
Тот, кто недавно мне казался сыном.

А там теснятся сверстники за ним.  
На загоревших юношеских лицах  
Играет в беглых бликах синева.  
И кубари прониты на петляцах.  
И между ними, видимый едва,  
Единственный мой сын, Володя, Вова,  
Пришедший восемнадцать лет назад  
На праздник мироздания живого,  
Слепит на фронт, спешит в железный  
ад.

Он хочет что-то доказать и машет  
Фуражкой.

Но теснит его толпа.  
А ночь летит и синей лампой пляшет  
В глазах отца.

Не я она слепа.

## 8

Что слезы. Дождь над выжженной пустыней.  
Был дождь. Благоденлье пронеслось.  
Сын завещал мне не жалеть о сыне.  
Он был солдат. Ему не надо слез.

Солдат? Неправда. Так мы не поможем  
Понять страницу, стерпнувшись сплошь.  
Кем был мой сын? Он был Созданьем  
Божиим.

Созданьем Божиим? Нет. И это ложь.

Галек мой пруть сквозь стены и по  
тучам.  
Лицественный мой достоверный пруть.  
Был мой ребенок обличом летучим,  
В нем каждый миг стирает что-нибудь.

Он может и распылиться в горькой  
влаге,  
В соленой, сразу брызнувшей росе,  
А от в бою и не хлебнул из фляги,  
Шел к смерти, не сгибаясь, по шоссе.

Пыль скрежетала на зубах. Комарик  
Прильнул к сухому, жаркому виску.  
Был яркий день, как в раннем детстве,  
Ярок,  
Кукушка пела мирное «ку-ку».  
Что вспомнил он? Мелодию какую?  
Лицо какое? В чьем письме строку?  
Пока, о долголетии кукуя,  
Твердила птица мирное «ку-ку».

Но как он удивился этой жицкой,  
Хлестнувшей горлом, жгуче-молодой.  
С какой навек растерянной улыбкой  
Вдруг очутился где-то под водой.  
Потом, когда он, выгнувшись всем  
телом,  
Спокойно спал, как дома, на боку,  
Еще в лесном раю осиротелом  
Звенело запоздалое «ку-ку».  
Жизнь уходила У-ХО-ДИ-ЛА. Будто  
Она в гостях ненадолго была,  
И спохватилась, что свечи задута,  
Что в доме пусто, в окнах нет стекла,  
Что ночью добираться далеко ей  
Одной, вдоль изб обутленных и труб.  
И тихо жизнь оставила в покое  
В траве на скате распростертый труп.

Не лги, воображенье!  
Что ты тянешь  
И путаешься. Ты-то не мертв.  
Смотри во все глаза, пока не станешь  
Преодолимой мукой сына моего.

Услышь, в каком отчаянья, как хрипло  
Он закричал, цепляясь за траву.  
Как в меркнутом мозгу внезапно вы-  
нылы  
Обломок мысли:  
— Все таки живу!  
Как медленно, как тяжело, как нагло  
В траве пополз тот самый яркий след,

Как с гибнущим осталась с глазу на  
глаз

Вся жизнь его, все восемнадцать лет.

Рви ворот свой, воображенье.

Помни,

Что для тебя иной дороги нет.

Чем ты упрямей, тем они огромней,—  
Оборванные восемнадцать лет.

Ну, так дойди до белого каленъя,

Испепелись и чешуйкой свой развой,

Сталь кровью молодого поколенья,

Любовью всех отцов и сыновей.

Так не стихай и вырвись вся наружу,  
С ободранною юбкой, вся как есть,  
Вся боль моя, вся жизнь моя — в  
оружью!

Все видеть. Все сказать. Все перенесть.

Он выпел из окопа. Запах пыли  
Дохнул в лицо предвестьем доброты.  
В то же мгновенье разрывная шутя,  
Пробив губу, разорвалась во рту.

Он видел все до точки, не обидел  
Сухих травинок, согнутых отнем.  
И солнышко в последний раз увидел,  
И пожалел, и позабыл о нем.

И вспомнил он, и вспомнил он, и  
вспомнил

Все, что забыл, с начала до конца.  
И понял он, как будет не легко мне,  
И пожалел и позабыл отца.

Он жил еще. Минуту. Полминуты,  
О милости несбыточной моля.  
И рухнул, в три шаги сорвавший.  
И расступилась мать сыра-земля.

И он прильнул к земле усталым телом.  
И жадно, разучаясь понимать,  
Шепнул земле, но не губами — целым  
Существованьем кончившимся:

— Мать.

Ты будешь долго рыться в черном  
шепле,

Не день, не год, — а годы и века,  
Пока глаза сухие не ослезли,  
Пока обостреневшая рука  
Не вывела строки своей последней,—  
Смотри в его любимые черты.  
Не сын тебе, а ты ему наследник.  
Вы поменялись местом, он и ты.

Со всей Москвой ты делишь траур.  
В окнах

Ни лампы, ни коптилки. Но и мгла,  
От стольких слез и стольких стуж про-  
дрогнув,  
Тебе своим вниманьем помогла:  
Что помнится ей? Рельсы, рельсы,  
рельсы.

Столбы, опять летящие столбы.  
Дрожащие под ветром погорелцы.  
Шрамильный визг. Железный гул  
судьбы.

Враг опозорил землю Украины,  
Сжег Невгород, пришел под Ленинград.  
Холмы, леса, и реки, и равнины  
О мщении друг с другом говорят.

О мщеньи? Да, о мщеньи. Так и надо  
Чтоб сердце сына смерть переросло.  
Пускай оно ворвется в канонаду,—  
Есть у сердец такое ремесло.  
И если в тучах небо фронтовое,  
И если над землей летит весна,  
То на земле вас вечно будет двое,—  
Сын и отец, не знающие сна.

Нет права у тебя ни на какую  
Особую отдельную тоску.  
Пускай, последним козырем рискуя,  
Она в упор приставлена к виску.

Не обольщайся. Разве это выход?  
Всей юностью оборванной своей

Не ищет сын поблажек или выгод  
И в бой зовет миллионы сыновей.  
И в том бою, в строю неистребимом,  
Любимые чужие сыновья  
Идут на смену сыновьям любимым  
Во имя правды, большей, чем твоя.

## 10

Прощай, мое солнце. Прощай, моя со-  
весь.  
Прощай, моя молодость, милый сыночек.  
Прощай. И на этом кончается повесть  
О самой глухой из глухих одиночек.  
  
Ты в ней остаешься. Один. Отрешен-  
ный  
От света и воздуха. В муке последней.

Никем не рассказанный. Не воскрешен-  
ный.  
На веки веков восемнадцатилетний.  
О, как далеки между нами дороги,  
Идущие через столетья и через  
Прибрежные те травяные отроги,  
Где сломанный череп пылится, щерясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.  
Прощай. Самолеты туда не летают.  
Прощай. Никакого не сбудется чуда.  
А сны только снятся нам, снятся и  
тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,  
И счастлив, и пожками топчешь босыми  
Ту землю, где столько лежит погребен-  
ных.  
На этом кончается повесть о сыне.

ЮРИЙ ТЫНЯНОВ

# ПУШКИН

Роман

Часть третья

ЮНОСТЬ

1

**К**огда дядька Фома сказал ему, что его дожидаются господин Карамзин и прочие, сердце у него забилось, и он сорвался с лестницы так стремительно, что дядька сказал, оторопев: «Господи Суё!»

Он никак не мог привыкнуть к быстрым шеременам в лице и к движениям господина Пушкина, пумера четырнадцатого.

Его дожидались в библиотеке. Родителей пускали просто в общую залу.

Уже с месяц Карамзин жил в Петербурге, и все было полно слухами о нем: он приехал хлопотать об издании своей истории перед царем. Толстая Бакунина передавала, что царь его принял с распластанными объятиями и все решено; впрочем, в другой раз сказала сыну и его товарищам, что пока ничего не решено и даже ничего не известно. Вообще более о Карамзине она не пожелала говорить.

Только накануне приехал Куницын и рассказывал об успехе Карамзина: все на руках носят, и двор принужден был согласиться на издание. Говорили о каком-то празднестве, данном в честь его. А теперь он вдруг оказался в Царском селе, в липце.

Он был не один: заложив руки за спину, стоял посреди галереи дядюшка Василий Львович и еще третий — мешковатый, со вздернутыми плечами и в очках, — Александр, его видел в первый раз и сразу догадался: Вяземский. Василий Львович обнял его, как всегда делал это при других: не глядя на него и косясь в сторону друзей.

Вяземский наблюдал исподлобья и переглянулся с Александром.

— Ваше превосходительство, — сказал он Василию Львовичу напоминая, — староста арзамасский!

Дядя медлил.

— Вот! — сказал ему Вяземский.

— Помню, ваше превосходительство, — ответил дядя молодильщик. Рыжеватые мягкие волосы у Вяземского были всклокочены, и задорный чуб дыбом стоял на затылке. Он был похож на петуха, готового в любую минуту броситься в бой.

И они засмеялись, а Карамзин покачал головой.

Дядю никто никогда не называл превосходительством, да он им и не был, а Вяземский и подавно. Это дурачество было ново и ни на что не похоже. Это были арзамасские шалости. У Александра дух перехватило.

Это было ново для него.

Дядя вынул из кармашка лоскуток, откашлялся и одернул жилет, как всегда делывал перед чтением экспромта.

Нет, это вовсе не были стихи. Дядя, сбиваясь на каждом слове, усердно читал не то церковно-славянскую грамоту, не то какое-то кляузное отношение приказного:

— «Месяца Лютого, Сечня в день двунадесятый — лето второе от Липецкого потопа, в доме Старушки бысть ординарный «Арзамас». Присутствовали их превосходительства: Громобой, Светлана и Вот. Ополненные красным колпаком и гусиным пером против «Беседы» безумства... — ну, дальше о Шаховском, — ты сам прочтешь, — признали арзамасцем Сверчка. Его превосходительство Чу...»

Словом, ты — арзамасец, — сказал дядя кратко. — Это о тебе, мой друг, сказано — Сверчок. А их превосходительства — это такой титул: их превосходительства, гении «Арзамаса».

«Арзамас» шумел. Шаховской вздумал было в комедии вывести жалкого ездыхателя, Фиалкина, и осмеял стихи Жуковского. Комедия — «Липецкие воды» — была весела и имела шумный успех, но все друзья вкуса ополчились против Шаховского. Эпиграммы посыпались на него дождем. Его иначе не называли, как Шутовским, а комедию его — Липецким потопом. Писались церковно-славянским штилем длинные и бессмысленные акафисты в честь безумной «Беседы», — этих косноязычных дьятков, у которых оказался столь сильный и колкий союзник, как Шаховской. Дядя Василий Львович разъезжал по обеим столицам неистовствуя.

Постепенно самое пересмешничество понравилось; всем нравился этот как бы тайный говор против «Беседы».

Как-то Блудов, случайно проезжая через город Арзамас и скучая в стационарном домике, вздумал изобразить в штиле «Беседы» и Шаховского и все происшествие. «Видение в некоей ограде» — называлось его замысловатое произведение. Так все, воевавшие против Шаховского и «Беседы», стали арзамасцами, безвестными жителями Арзамаса; учредилось общество, называвшееся «Арзамасом», и эмблемой его явился арзамасский гусь. Арзамас славился своими жирными гусями.

Сам Жуковский принимал во всем самое деятельное участие. Они начали собираться то в квартирах друг у друга, то в самых неподходящих местах, — сиденье в колясках и партерах по-двойе и по-трое также именовалось собранием. Они вожничали и корчили из себя старых вельмож, совсем как в «Беседе». Они то и дело говорили друг другу: «Ваше превосходительство». А по вечерам заседали в красных колпаках. — «Беседа» звала их якобинцами за каждый перевод с французского. Писались длиннейшие и презабавные протоколы. Завелся, как всегда, секретарь — не кто иной, как сам Жуковский. Протоколы писались штилем дьятков. Самые месяцы были переименованы по-славянски. Календарь изменился. Январь был теперь у них Просинец,

евраль — Лютый и Сечень, март — Вересень, апрель — Березозол. Собственные имена и фамилии показались им скучны. Они взяли баллады Жуковского и стали переименовывать себя по его героям и по всему, что придется: ейн, черный вран, дымная печурка, о которых говорилось в стихах, — все пригодилось. Теперь они прозвали его Сверчком, и он был истым разамасцем.

Карамзин внимательно смотрел на Александра Пушкина — отныне Сверчка. Он уважал и ценил этот возраст, когда радость так переполняет все существо, что губы прыгают перед тем, как засмеяться. Улыбка его быстра, прочем, грустная.

Вяземский, подняв палец, как уездный секретарь, читающий статью закона, привел текст:

С треском пыхнул огонек.  
Крикнул жалобно сверчок,  
Вестник полуночи.

Слово «пыхнул» он произнес с особым выражением, по-арзамасски.

— У нас, друг мой, у всех теперь такие имена, — сказал Василий Львович торопливо. — Вот Вяземского зовут Асмодеем, Батюшкова — Ахиллом, — то больше по росту; ты ведь с ним виделся — он маленький... Меня тоже розвали: Вот.

Александр переспросил. Дядюшкино имя было ни на что не похоже.

— Вот, — повторял дядя неохотно, — вот и все.

— Не вот и все, а Вот, — поправил Вяземский.

— Я и говорю: Вот, — сказал дядя с неудовольствием.

Конечно, все было смешно: и Ахилл, и Сверчок, но Вот было совершенство с чем несообразно.

— Там есть у Жуковского такие стихи, друг мой, — пояснил дядя, внезапно омрачаясь: — Вот красавица одна... вот легохонько замком кто-то стукнула и прочее. В конце концов, не все ли равно? Вот таж Вот.

Он был явно недоволен своим именем.

— Дашков — Чу, а я Вот, — сказал он потом повеселев.

— А Тургенев — «Две Огромные Руки», вот как.

Дядя слишком был занят своим именем.

Вяземский сказал Александру, уже не шутя:

— «Беседа» одна конюшня, а если члены ее выходят за конюшню, так аугом или четверкой заложены вместе. Почему же только дуракам можно быть вместе? Вот и мы заживем по братски — душа в душу и рука в руку. Когда вы кончаете лицей? Мы собираемся по четвергам.

Потом он спросил его серьезно, и хохолок встал на затылке, читал ли он новую балладу Жуковского и критику на него Блудова. Критика очень замечательна.

Карамзин спросил Александра, не сырь ли в Царском Селе, особенно в Китайской Деревне, потому что он собирается сюда всюю семьюю на лето. Это была еще новость, он только вчера окончательно падумал, и теперь по пути в Москву они остановились осмотреть его домик.

Заглянул в двери быстрый Ломоносов, и дядя, вспомнив золотые листы, когда в каком-то вдохновении писал «Опасного соседа», а Ломоносов и Пущ-

кии были школьными свидетелями этого, представил его Карамзину и Вяземскому.

Карамзин и его попросил быть у него гостем.

По дороге встретил их запыхавшийся директор. Он отирая фуляром пот с лица и объяснил, что примчался сюда так скоро, как мог. О, если бы юношеские ноги! Веселость его была чрезмерна. И все тотчас переменилось,— Вяземский посмотрел исподлобья на Александра, увидел потерянный взгляд и раздутые ноздри. Директор был рыхлый, бледный, широкозадый, с остзейскими голубыми глазами, которые он беспрестанно закатывал. Небесная доброта изображалась на его лице, а угодливость и разважность — во всех движениях. Он был в восторге от таких гостей и прочее.

Шутки сразу прекратились. «Арзамаса» и следа не было. И Карамзин заторопился. Он попросил директора отпустить с ними Пушкина и Ломоносова — осмотреть Китайскую Деревню. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея.

Они подошли к этим домикам, таким холодным, таким необитаемым, точно в них никогда и нельзя было представить ничего живого. Со странным чувством смотрел историк на Китайскую Деревню, в которой был обречен жить этим летом. Он постригся в историки, — сказал о нем Петруша Вяземский, но иноки не жили в таких нарядных, таких холодных беседках. Василий Львович недоумевал:

— Тут, друзья мои, до кухни, ежели ее устроить вон в той палатке, далеко: все простынет.

Он называл эти домики по-военному — палатками.

Странная фигура вдруг вытянулась перед ними: страшной толщины старый генерал, запыхавшись, стоял у входа в Китайскую Деревню, как бы преграждая путь. Александр узнал его: комендант Царского Села Захаржевский явился приветствовать гостей. Впрочем, приветствия не было.

Генерал, представившись, пролепетал, что Китайская Деревня не в порядке, и он просит отложить осмотр.

Он был бледен, и глаза его сверкали, словно у него отнимали эти дома и словно они принадлежали ему.

— Прикажите открыть двери, — спокойно сказал Карамзин, тоже бледнея. — Мы подождем здесь.

Генерал, потоптавшись, отдал приказание хриплым и сдавленным голосом полководца, приужденного отступить, — открыть двери.

Он удалился.

Заплесневевые стены представились им. Василий Львович сказал, впрочем, что здесь летом будет хорошо. Александр посмотрел на Карамзина, потом на Вяземского. Все было понятно: дворцовая челядь, непавидящая чужих и свято оберегавшая все углы Царского Села от вторжения лицейских, ветревожилась при появлении великого человека. Он закусил губу, раздул ноздри и тихо фыркнул. Вяземский исподлобья, поверх очков, посмотрел на него.

— Пыхнул жалобно сверчок, — сказал Карамзин, оглядел их и улыбнулся.

Герой-комендант отступил перед его войском.

Потом Пушкин с Вяземским по-брратски, по-лицейски взялись за руки и пошли осматривать все углы новых владений. Василий Львович увязался за

ними и делал хозяйственные замечания, весьма дальние. Он нашел подходящее место для погребца.

— В жару, друзья мои, вино любит скисать. Это нужно понимать.

Барамзин никогда не пил вина.

Все же Вяземский успел сказать Александру, что идет настоящая война: «Беседа» сильна, Шишков обо всех делах академии входит к Аракчееву, что Николая Михайловича враги чуть не съели в Петербурге, даром что все люди со вкусом носили его на руках; что комедия Шутовского имеет сильный успех и что над Жуковским смеются. Ну, да не на таковых напали. Вкус, ум, «Арзамас»!

Он пропел ему нечто вроде торжественной арзамасской песни: Венчанье Шутовского.

## 2

Он только и жил теперь этими краткими встречами, посещениями.

Прошлым летом забрел в лицей и спросил Пушкина отставной поручик Батюшков, и этой встречи Александр еще не позабыл. Отставной поручик был мал ростом — «махонький», как сказал Фома. Тихим голосом он сказал Александру, что зашел поблагодарить его за послание. На нем была бедная одежда: серая военная куртка, картуз. Он грустно и рассеянно смотрел темными глазами на Александра и ничем не напоминал ленивца, мудреца, любовника, которым был в стихах, больше всего понравившихся. Пушкин напечатал послание именно этому ленивцу:

Философ резвый и пинт  
Парнасский счастливый ленивец...

Поэт теперь все реже появлялся в журналах. Александр в послании писал ему об этом

Ужель и ты, мечтатель юный,  
Расстался с Фебом наконец?

Теперь он жалел об этом. Задумчивый, рассеянный, Батюшков, казалось, находился здесь, в Царском Селе, и было непонятно, как он доберется до Юзу. Стихи о московском пожаре припомнились Пушкину.

Лишь углей прах и камней горы,  
Лишь нищих бледные подми  
Везде мои встречали взоры.

Тихим голосом он сказал о дворцовом строении и пороках в размере дворцового флигеля. Потом сразу спросил Александра: зачем он назвал его посланием российским Парни?

Я когда-то писал обо всем этом, но больше никогда не станет.

«Воспоминания в Царском Селе», которые Александр читал на экзамене пред Державиным, было, по его мнению, лучшим его стихотворением. Пече-  
у же попробует он написать поэму обо всех этих важных делах, а подви-  
дъ Довольно ведь написано посланий.

Нет, он не был похож ни на эпикурейца, ни на мечтателя.

Александр ответил ему, слегка уязвленный, что он пишет поэму, и только шуточную, сказочную: в самом болтливом топе — о Бове. Бова — герой, а в сказке действуют еще хитрый король и даже тень его слабоумного отца.

Батюшков тихо сказал, что и сам думал о такой сказке, и вдруг попросил Александра.

— Отдайте мне Бову.

Он улыбнулся и сразу стал похож на свои старые стихи, о лени, о роскошных мудрецах. Потом он пригорюнился, пожал ему руку и ушел не оглянувшись, маленький, сухонький, прямой.

Александр долго потом бродил по лицейским коридорам, переходам и не находил себе места. Потом он тряхнул головой и опомнился.

Когда Дельвиг спросил его, о чем говорил с ним Батюшков, Пушкин еле не захотел рассказывать. А Дельвиг спросил потом еще как-то, нонравившееся послание. Но Пушкин ответил:

— Будь каждый при своем.

Он не хотел больше думать об этом.

Вечером он стал читать все, что написал за год. Многие строки показались ему вдруг лишними, и он их зачеркнул.

Потом Жуковский подарил ему книгу своих стихов. Жуковский был вдвойне ростом, длинные волосы падали на лоб, он был смуглый и говорил Батюшков, казалось, не замечал людей, а только здания и размеры и. Жуковский тотчас сказал как-то о директоре, что он похож на кота. И в самом деле он был похож на кота — плавного, сытого и поэтому доброго.

Теперь Карамзин, Вяземский и дядя Василий Львович по пути в Москву остановились у него. Карамзин собирался на лето в Царское Село — уже в них дошли слухи, что великий историк будет царским советником. Вот и легко и просто шло просвещение, чего оно достигло!

Арзамасец-дядя был теперь, видимо, на верху славы — он был сам старым арзамасцем, все должны были помнить его бои с «Беседой», с оверженными вкусом халдеями. Александр был в упоении, провожая их Екатеринскую Деревню, в которой предложили жить летом Карамзину. Правда, самые домики — старая и незаконченная дворцовая затея — были сырье более похожи на необитаемые беседки, чем на человеческое жилье. Карамзин хмурился, осматривал их. Потолки были низкие, домики тесные; он выбрал один, попроще — для семьи своей, другой, соединенный крытым переходом, для кабинета, третий для кухни и людей. Александру показалось, что он вздохнул. Он удивился бы, если бы ему сказали, что он всем им нужнее даже, чем они ему.

Карамзин был в тревоге и грусти. Он приехал в Петербург из Москвы, которая отстроилась с такою быстротою, что чужой глаз мог и не заметить следов великого пожара Москвы, где все почитали его. Труды двенадцати лет его жизни, большие и важные, подходили к концу. История Государства Российского была почти вся написана — восемь томов. Нужно было их в читать, а для этого — разрешение государя и деньги. Он написал предисловие, красноречивое и сколько мог пламенное. Он со страхом собирался Петербург: Екатерина Павловна — свыше естества обожаемая монархом ее — на письмо не ответила. Вдруг — ничего не решится? Он приготовил

скрепя сердце, к случайностям, к терпению унижения. Действительность превзошла его ожидания. Шесть недель протомился он в Петербурге,— страстную пятидесятницу,— и монарх ничем не обнаружил желания принять его. Петербургские рассеянности его истомили, он исхудал. Только арзамасцы, молодые, умные, были приятны при встречах. Негодование их на недостойную игру с великим мужем, которому кто-то уподобил игре кошки с мышью, он принимал с грустным удовлетворением. Между тем пришло ему шоколаняться. Был он — смешно сказать — в гостях у самых больших своих литературных неприятелей,— хмурых старцев «Беседы», и не получил одобрения. Ездил быть челом к гофмейстеру и обер-гофмейстеру, просил о приеме,— ответ был холoden.

Наконец согласен был уже ехать на поклон к Аракчееву, государеву другу и фавориту, но не мог себя осилить и воздержался. Друг Аракчеева, генерал, сказал, что государь, успышав о шестидесяти тысячах, которые будет стоить издание Истории, сказал якобы: какой вздор! дам ли я такую сумму. Обедал, наконец, с личностью презренной — секретарем Пукаловым, жена которого была в наложницах у Аракчеева. Наконец, скрепя сердце и только что не стена, поехал на поклон к Аракчееву,— и вскоре был принят царем. Хотел прочесть предисловие, два раза начинал, не мог. Отпущен шестьдесят тысяч на печатание Истории и дано позвление жить,— если он хочет,— в Царском Селе.

Разбитый, униженный, чувствуя себя уничтоженным, приехал он в Царское Село,— и зашел с Василем Львовичем в лицей, чтобы вспомнить молодость. Он любовался Александром. Семнадцать лет! Как в эти годы все нежно и незрело — о, как в эти годы не умеют кланяться, гнуть спину! Какие сны, стихи, будущее!

И еще более был он нужен дяде, Василю Львовичу, который отныне был «Вот».

Дядюшка Василий Львович менее всех был весел. Он любил меру во всем. Между тем самое имя его как арзамасца было, что ни говори, неприлично. Ехал он к Александру с противоречивыми чувствами. В коляске он долго хвастал им перед друзьями.

— Последние его эпиграммы по соли решительно лучше многого другого,— сказал он Вяземскому, излишне склонному к насмешкам,— что не следовало забывать ни на минуту: Пушкины всегда писали эпиграммы. Подрастал его племянник — во всем ученик и последователь. Неприятно было дяде одно: Александр был как бы принят уже в «Арзамас» и наречен более или менее прилично — Сверчком, без всяких обрядов. Между тем эти обряды приятия дядя Василий Львович не мог вспоминать без сожаления. Было это в доме Уварова. Сначала все шло остроумно и скорее всего напоминало театр: Его облачили в какой-то хитон с ракушками, на голову наняли широкополую шляпу, дали в руки посох. Он был пилигрим. Василий Львович хорошо понимал уместность этого наряда. «Пилигрим!» «Рассвет полночи!» «Мистика!» — Это была пародия. Ему завязали глаза, это еще куда ни шло. Потом его повели куда-то в подвал. Это ему не понравилось. Дальше хуже. Его упратали под шубы, уверяя, что это — «расхищенные шубы» Шаховского и какое-то «шубное прение». Он чуть не задохся. При этом — какие-то церковные возгласы:

— Потерпи, потерпи, Василий Львович!

Он всегда был готов терпеть, если видел в этом смысл. Здесь же он не видел смысла. Впрочем, это все и должно было изобразить бессмыслицу «Беседы». Потом его заставили стрелять в какое-то чучело, а чучело неожиданно и само в него выстрелило. Некоторые говорили ему потом, что это хлопушка. Но он упал — конечно, от неожиданности, а не от страха. Потом его купали в какой-то лохани, что явно не смешно, а опасно для здоровья, и провозгласили от имени «Беседы», что «Арзамас» есть вертеп, пристань разбойников и чудовищ, с чем Василий Львович почти был готов согласиться.

Потом, как бы в награду, его избрали старостой. Но до избрания Сверчка — Александра, староста, Вот, или, вообще говоря, дядя, думал по крайней мере, что все подвергаются этим утомительным обрядностям. Так вот же Сверчка избрали заглазно. Вот тебе и обряды!

Да, это было хоть и почтено, но как-то слишком молодо, не по летам и отзывалось шутовством.

И дядя в глубине души торжествовал, видя, как Карамзин, который, конечно, ничего не знал об его принятии,—а может быть, и знал,—смотрит на Александра благосклонно и с каким-то интересом. В мальчике будет толк; и как из его «Опасного соседа» и всех его боев с халдеями, что ни говори, появился на свет этот иногда чрезмерно шумный «Арзамас», так и мальчик есть плод его воспитания. Вот что не мешает не забывать.

### 3

К нему ездили гости, у него побывали Батюшков, Вяземский, а комната была все та: № 14 — бюро, железная кровать, решетка над дверью. Он назвал ее в стихах кельею, себя — пустыником, а в другом стихотворении — инвалидом; графин с холодной водою он назвал глиняным кувшином. Теперь он был юноша-мудрец, писал о лени, о смерти, которая во всем была похожа на лень, о деве в легком, прозрачном покрывале. Он знал окно напротив, где являлась раньше торопливая тень — Наташа, лучше, чем свое собственное. Он написал стихи и об этом окне. Окно разлучало унылых любовников или, напротив, тайно открывалось стыдливою рукою,—месяц был виден из этого окна. Он глаза проглядел, смотря в свое окно: напротив был флигель, где жили старые ведьмы, а девы в покрывале не было: Наташу давно куда-то согнали. Друзья напишут на его тробе:

«Здесь дремлет юноша-мудрец,  
Питомец нег и Аполлона».

Он грыз перья, зачеркивал, бродил по лицу, всакивал иногда по ночам с постели, чтобы записать стих — о лени.

Каждое утро, подбирая оглодки гусиных перьев, Фома удивлялся:  
— Опять гуси прилетели.

Мудрец жил, наслаждался и умирал; с одинаковой легкостью, почти безразличием он играл на простой свирели или цевнице, по поводу которой поднялся у Александра с Бюхлей спор: что такое цевница? Поспорив, они с удивлением заметили, что никто из них хорошенько не мог себе

представить, какой вид имеет девница. Кюхля наотрез отказался считать ее простой пастушеской дудкой.

Мудрец любил; его любовь и томление кончались смертью, легкой и ничем не отличающейся от сна.

Когда он встретил в зале приехавшую к брату, молоденькую, очень затянутую, очень стройную Бакунину, он понял, что влюблен.

Это было вовсе не похоже на то, что он испытывал, гоняясь за горничной Наташей, или смотря на оперу, в которой пела надтреснутым голоском другая Наталья (которую он никогда не называл Наташей). Это была очень сильная любовь, но только издали. Горничную Наташу он так и называл в стихах: Наташа, а Наталью — Натальей. Бакунину же он назвал Эвелиной, как прекрасную любовницу Парни звали Элеонорой. Эвелине можно было писать только элегии.

Потребность видеть ее стала у него привычкой,—хоть не ее, хоть край платья, которое мелькнуло из-за деревьев. Раз он увидел ее в черном платье, она шла мимо лица, с кем-то разговаривая. Он был счастлив три минуты,—пока она не завернула за угол. Черное платье очень шло ей. Ночью он долго не ложился, глядя на деревья, из-за которых она показалась. Он написал стихи о смерти, которая присела у его порога,—в черном платье. Он прочел их и сам испугался этой тоски,—он знал, что это воображаемая тоска и воображаемая смерть,—от этого стихи были еще печальнее. Он удивился бы, если бы обнаружил, что хочет ее только видеть, а не говорить ей. Что бы он сказал ей? И чем дальше шло время, тем встреча становилась все более невозможной и даже ненужной. Он по ночам томился и вздыхал.

Однажды, вздохнув, он остановился.

За стеной он услышал точно такой же вздох. Пущин не спал.

Александр заговорил с ним. Жанио неохотно признался, что вот уже две недели как влюблен и это мешает ему спать. Через две минуты Александр узнал с удивлением, что он влюблен в ту же Эвелину, то есть Екатерину, в Бакунину.

Странное дело, он не рассердился и не подумал ревновать. С любопытством он слушал Жанио, который жаловался на то, что Бакунина редко показывается. Назавтра Пущин, весь красный, сунул ему листок и потребовал прочесть. Александр прочел листок. Это было послание, довольно легкое по стилю. В послании говорилось о том, что стихи впервые написаны по приказу,—приказу прекрасной. Стихи были, конечно, не Кюхли: Кюхля писал только о дружбе и об осенней буре; и не Дельвига, который теперь называл себя в стихах стариком, старцем, Нестором. Пущин настаивал на том, что это был Илличевский, длинный, как верста. Пущина огорчили первые строки: написано по приказу,—значит, они встречались?

Александр с удовольствием на него поглядел. Все трое любили одну и при этом одновременно. Это было удивительно. Илличевскому он ничего не сказал, но когда тот унылой тенци бродил по коридору, он подолгу следил за ним.

Потом они однажды столкнулись все трое, лбом же лбу: Пущина, Илличевского и он. Илличевский осталенел и долго смотрел на них, разиня рот, пока не убедился, что открыт.

Потом он огорчился тем, что Пушкин и Пущин так громко и долго смеются.

Александр поопрежнему был счастлив, когда видел Бакунину, он подстерегал ее, ноочные вздохи стали все реже. Он спал теперь спокойно, ровно, не просыпаясь до утра. Однажды ему стало вдруг по-настоящему грустно; он так и не увиделся с нею; он больше не хотел и почти боялся встретить ее; может быть, он не любил ее и раньше. Он отложил стихи к ней и постарался как можно реже о ней вспоминать.

## 4

Он знал, что его стихи лучше дядюшкиных: Василию Львовичу такие стихи решительно не давались; от смерти, которая присела у порога, не отказался бы и сам Батюшков. Воображаемый глиняный кувшин с прозрачною водою — графин — стоял на простом столе-конторке, окно, дева; такова была любовь и смерть молодого мудреца, затворника, ленивца: сны, мечтания. Теперь он не был более инвалид с фалалайкой или монах. Он был мудрец.

Все старшие хотели такой жизни. Этот мудрец и ленивец очень нравился Горчакову. Горчаков прилежно, высунув кончик розового язычка, переписывал теперь все его стихи. Глаза его слегка туманились; казалось, Горчакову льстят эти стихи. Этот мудрец, любимый Аполлоном, казался ему в меру весел, в меру холoden, ветрен, ни дать ни взять сам Горчаков. Александр не любил, когда Горчаков переписывал его стихи похваливая.

Новый директор однажды протянул ему листок со стихами, который случайно ему попался: это были его стихи.

Директор одобрил эти стихи. Он улыбнулся ему, как сообщник, с видом слегка мечтательным, немножко грустным, его бледноголубые глаза стали томные, широкий рот ослабился.

Директор долго ждал этого случая и очень недурно прочел четверостишие, потом другое. Он запомнил: стихи лицейского поэта.

Пушкин вдруг скрипнул зубами, повернулся и зашагал от него. Директор посмотрел ему вслед; широкий рот сокинулся, блаженные глаза остановились. Он заложил руку за спину и медленно проследовал к себе в кабинет.

Нет, он не был мудрец, ленивец.

После отъезда Карамзина, дяди, Вяземского, он бродил целый вечер с раздутыми ноздрями, со странной решительностью в самозабвении, и Данзас с карандашом в руке, сдерживая дыханье, приглядывался к нему и быстро рисовал, но так и не мог совладать и бросил начатый рисунок. Подошел Миша Яковлев, и он объяснил ему: он хотел нарисовать Пушкина обезьяною, сочиняющей стихи, — и не вышло: получился Вольтер, не было никакого сходства. По так как Пушкин — помесь обезьяны с титром, то он хотел потом нарисовать его в виде тигра, готовящегося к прыжку; сходство было, все шло хорошо, но, к сожалению, получился настоящий тигр.

Александр в самом деле как бы готовился к прыжку; со странной рас-

сиянностью, внезапным и коротким смехом, с отсутствующими глазами. «Арзамас» ждал его. Он с жадностью угадывал тот миг, когда дядя — староста «Арзамаса» — предоставит ему слово. Он не знал еще, что скажет, но предчувствовал все, что ему ответят.

В эту ночь он просыпался с бьющимся сердцем — он чувствовал себя обреченным; Карамзин и Вяземский чего-то ждали от него. Кругом была война, война противкуса, против поэзии, против ума, против Карамзина и Жуковского. Какие-то старики с варварским языком, с повадками сказочных дедов, приказные, дьячки копошились в «Беседе» и строили козни.

Он никого из них не знал. Самого страшного из этого собора, Шаховского, который осмеял в пьесе Жуковского, «Беседа» венчала лавровым венком. Дашков написал канту «Венчанье Шутовского». Вяземский прислал ему канту. Александр всю ее списал. Этот Шутовской был немногого другого склада, чем его товарищи по «Беседе», — тоже на букву Ш. — Шишков и Шихматов. Он был остер, и Вяземский сказал, что ненавистная пьеса, в которой был осмеян Жуковский, была смешна и имела громкий успех у ряка. Тем хуже для него! Его обвинили в том, что он — причина смерти благородного Озерова, он не принял его писсу, зарезал ее, будучи директором театра, и Озеров в безумии умер. Это было преступлением, требовавшим мести. Враги смеялись над элегиями Жуковского, над тонкостью Карамзина, над лепкостью дяди Василья Львовича. Бородачи смеялись над здравым смыслом. Он же читал, да и не собирался читать их допотопные поэмы, их раскольнические акафисты, их визгливые стихи, которые они называли одами. Он был потомственный враг дьячков, варваров, церковной славянщины. Война! Безбожно было держать его — со страстями, с сердцем — взаперти и не позволять участвовать даже в невинном удовольствии высмеивать эту «Беседу» губителей русского слова! (Любителей давно прозвали губителями.) И покойную академию, в орденах, звездах и латах!

### Война!

Здесь, в Царском Селе, он не мог участвовать на заседаниях «Арзамаса», кушать достославного арзамасского гуся. Но зато однажды он видел наклонную тень простого генерала, невзрачно одетого, уныло шедшего вдоль дворца, вместе с тучным комендантом.

У генерала был мясистый нос, отвислые, разинутые губы штабного писаря; он остановился и гнусавым голосом дьячка что-то сказал коменданту. И по тому, как вытянулся и затрепетал тучный комендант, он понял: Аракчеев. Тусклыми глазами осмотрев все кругом, заложив руку за спину, не заметив, казалось, ни статуй, ни колонн, ни всего этого места с его старой славою, генерал, выпрямив грудь, проследовал во дворец.

В руках у Александра было перо, он, грызя его, писал стихи о прекрасной любовнице, которой не знал. И он посмотрел кругом: гнусавый генерал, комендант наполнили страшными буднями этот сад, кругом не было ни женщин, ни стихов. Он спрятал листок со стихами в карман.

### Война!

Он, раздув ноздри, писал теперь о «Беседе» губителей русского слова, о варварах, о гнусавых дьячках, о визте ржавых варяжских стихов. Он не знал никого из них, не видел ни седого деда Шишкова, ни монаха Шихматова, но ему казалось, что он их знал, видел.

Это они тайком слонялись мимо лица. Он не разбирал теперь имен,— все старое мешало жить. Сумароков, которого Шишков произвел в гения, был карлик и завистник. Шутовской был злодей.

Галич неожиданно помог ему. Толстый, благосклонный, апостол пеги или, попросту, лени, Галич был далек от предрассудков. Он прочел им лекцию о сатире.

Сатира делилась на сатиру личную (пасквиль), частную и общую. Пасквиль обнаруживал заразительный образ мыслей и поступков отдельного лица и жертвовал спорюю его честью общему благу, карая только таких безумцев и порочных, коих пагубное влияние на общественную нравственность никакими другими средствами отвращено быть не могло... Сатира личная была своевольна, она обращалась без разбору и к дурачествам, и к странностям, и к порокам, не исключая физических, и любила оригиналы отечественные и современные.

С застывшей улыбкою, не дыша, не записывая, слушал Александр толстого мудреца.

Нет, поэзия была не только в этой жалобе, в этой музыке, которая называлась элегией, не в этой любви к деве, которую он назвал Эвелиной, она была не только в той безымянной сатире, которая осмеивала монахов и седых игумений — рядом со дворцом, — она была в сатире, общей, частной и личной. Он жаждал встречи с врагами. Недаром дядю принимали в якобинском колпаке. Война!

Пушкин, Пущин, Ломоносов получили приглашение на бал к Бакуниным.

Весь день Пушкин был в волнении: это был первый его выход в свет. Эвелина ждала его. Впрочем, он не знал, как встретится с Екатериной Бакуниной.

Ломоносов попросил дядьку Фому начистить мелом пуговицы па мундире и любовался: они теперь блестели. Жанно, попробовав растянуть панталоны, из которых вырос, отказался от своего намерения.

Они отправились на бал. Пушкин был сумрачен и неловок. Он слишком много написал стихов Бакуниной, чтоб радоваться этой встрече или чего-нибудь ждать.

Но окна у Бакуниних были освещены, женские тени мелькали, он вдруг задохнулся, засмеялся, взял за руку Жанно и сказал, что сегодня будет танцевать.

Жанно, второй влюбленный, тоже собирался.

Сотни свечей горели, на хорах музыканты настраивали скрипки.

Бледная, с покатыми плечами, с неровным румянцем, Бакунина встретила их с улыбкой, которой он боялся. Может быть, она и не была та же прекрасна. Она была похожа на свою мать, что он впервые заметил. Мать была окружена молоденькими бледными людьми, странно похожими друг на друга. Это все были дамские угодники, которых Пушкин не терпел. Старая Бакунина их пригревала. Двое гусар в свисающих с плеч ментиках подошли к ним: Соломирский, Чаадаев. Оба были знаменитые щеголи, слава, об их щегольстве и соперничестве занимала всех царскосельских обывателей. Они любили появляться на балах вместе, почти не разговаривая друг с другом, почти не глядя друг на друга, провожаемые широко раскрытыми женскими глазами. Веера шевелились, красавицы переговаривались.

Подруги Эвелины чему-то засмеялись, и оба гусара, как по команде, двинулись к ним.

Танцы начались. Бакунина открыла бал с Соломирским.

Там, где был Чаадаев, там был прежде всего он, и только потом — другие. Бакунина это хорошо знала. А теперь еще стали поговаривать о близком назначении его.

Чаадаев стал танцевать мазурку.

И как всегда, женщины подивились, — он не был красив, не был нылок, как приличествовало танцу. Он танцевал без молодечства, торопя. Эвелина сказала вдруг, что Чаадаев похож на статую. И все согласились.

Танцевал он ни скоро, ни медленно, и когда улыбался, его улыбка была медленной наградой всех женщин. И они улыбались. Пушкин смотрел на него, как зачарованный.

Возвращались вдвоем. Чаадаев шел, осторожно ставя ноги и ни разу не задев веток, ни разу не размахнув рукой. Стройней его не было, чище его мундира не было. Подходя к казармам, Пушкин почувствовал, что все это было чаадаевской мудростью. Не было рабства случайности.

## 5

Пушкин был самый трудный и непонятный для директора пример молодого человека, который во всем стремится против своей собственной пользы.

Получив это странное и противоречивое заведение в руки, директор постарался прежде всего уяснить его цели и ввести всех в рамки. Он подготовился к укрощению, но только одним средством: добродушием.

Директор Егор Антонович Энгельгардт стремился во всем к правильности. Воспитанный в большом, но скромном лифляндском городе, он с самого начала, брошенный на государственную службу, поставил себе за правило не доискиваться ясного смысла событий, но к каждому шагу своему и других относиться с аккуратностью. Император Павел, во всем внезапный, сделал его секретарем Мальтийского ордена. Не очень понимая, зачем императору этот орден, Егор Антонович начал с того, что на зубок выучил все его статьи, и мог любой параграф ответить без запинки. Это произвело на императора сильное действие. Александр Павлович, наследник, не твердо знал параграфы; Энгельгардт добровольно, слишком, стал его репетитором и, случалось, выручал. Так открылись ему самые глубокие цели педагогики: научить человека избегать неприятностей, приучить его к порядку.

В 1812 году он стал директором Педагогического института. Он был образован, добродушен, толерантен. Он читал избранные места из лучших философов, как древних, так и новых, и всегда извлекал крупу из пользы из самых непонятных или даже ненужных. Он был непрочно почитать и извлечь нечто даже из вольнодумных философов, которые теперь опять входили в моду. Егор Антонович привык к изменению общественной атмосферы и привык уловлять новую моду. Философическое и нравственное мечтательное вольнодумство он вполне допускал.

Несмотря на эту его образованность, его любил граф Аракчеев. Привыкнув не препенягать никакими случайностями, Егор Антонович приобрел себе дачу в Царском Селе, вдали от дворца. Встречи с императором, незначи-

тельные, редкие, но тем более приятные, вскоре снова обратили на него внимание.

Однажды Егор Антонович был вызван к графу Аракчееву, и ему было объявлено о том, что он — директор лицея. Аракчеев привык приводить в порядок все грехи молодости императора. В кабинете же Аракчеева Егором Антоновичем была составлена записка о лице. Лицей был в совершенном беспорядке, воспитанники разнудзались. Самое заведение было сомнительно. Записка была умна и полна достоинства: он требовал освобождения директора от всякой мелочной зависимости, полагающей беспрестанные преграды его действию, потому что «директор должен быть в заведении как отец семейства и подобно ему управлять».

Это было как раз то, что нужно.

Аракчеев даже повторил:

— Отец, отец семейства.

И Егор Антонович, склонив голову, тихо согласился со своей собственной мыслью:

— Семейства.

Медленно, исподволь директор начал осматриваться, находить доступ к сердцам. Понимая, что только младшие, будущие юрсы будут, так сказать, детьми его сердца, он по отношению к старшему курсу твердо понял одно: им осталось пробыть в лицее всего полтора года и всякое, даже незначительное улучшение будет благом.

Он постепенно изучил их вкусы, наклонности, малые слабости. Большие слабости были проступками, с которыми надо было неуклонно бороться; а на проступки большие приходилось так или иначе закрывать глаза. Его поразило одно обстоятельство: при честолюбии воспитанников, иногда скрытом, иногда же пламенном и явном, которое всемерно поощрялось первым директором Малиновским и его приятелем Куняцыным, при их несомненной уверенности, что они призваны к высоким делам, совершенно было неизвестно, какая карьера их ожидает, и даже вообще, чем они займутся по окончании лицея.

Прежде всего он занялся тем, что начал изглаживать это пламенное и во многом вредное направление первого директора и постарался, чтобы самого директора позабыли. Затем он стал переводить беспредметное и потому опасное направление умов на более ежедневное, скромное честолюбие. Он часто беседовал с Горфом и хвалил его понятливость. Не служение отечеству, а карьера — вот что единственно могло составить счастье молодых людей. Горчаков, Ломопосов, Корсаков по своему обхождению, вежливости, наклонностям, были способны к дипломатической службе. Он вспомнил, как в молодости начинал карьеру дипломатическим курьером, и присел вместе с ними за клейку дипломатических конвертов. Клейка эта была делом вовсе не таким простым, ибо конверт для дипломатических бумаг должно было делать без ножниц. Он задавал им писать депеши, держать журнал, заставил понять, что такая различная форма пакетов. Ему было приятно вспомнить, а им приятно узнать, прежде чем вступить в должность, все эти мелочи.

Сидя с молодежью, он вспоминал с добродушием все случаи и анекдоты о королях, о дипломатах. Он был на Аахенском конгрессе и видел всех ко-

ролей. Горчаков жадно его слушал. Так он стал их готовить к ловкости и юлтайской опытности на этом скользком и блестящем поприще.

Другие были еще проще: это были Вальховский, Матюшкин. Эти только по недоразумению попали в статское заведение, а не в военное. Столя и военных тонкостей Энгельгардт боялся по ранним воспоминаниям и не желал их вводить в лицей. Тогда бы во все стал вмешиваться Аракчеев. Нет, дело было многое тоньше. Военных подготовить легко, но министров — трудно.

Он вовсе не отказался от начертаний Сперанского, о которых слышал, но все хотел ввести в русло скромное и практическое. Короче — он желал счастья воспитанникам. Луч же этого счастья озарил бы и его, директора-отца.

Третьи были всего труднее и опаснее: Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер — поэты. Кюхельбекер был до крайности прост и, несмотря на безумства, добри и отходчив. Но Дельвиг — холодный насмешник.

Пушкин же...

У Егора Антоновича были свои особые виды на то, как может быть устроено счастье этого воспитанника сразу и, видимо, без трудов добившегося одобрения Державина на экзамене, пользовавшегося, без особых на то прав, расположением Карамзина и прочих. До времени же он должен был ввести его в границы.

Во-первых, Егор Антонович признавал, и очень, поэзию, но признавал ее как средство к образованию, как развлечение, как то, что правится женщинам, наконец, как приятное меланхолическое занятие. Но он не признавал ее как страсть. Эти оглодки гусиных перьев, этот быстрый, острый и невидящий взор Пушкина, грызущее перо, эта дикая улыбка — все это было страсть. Он попробовал было задеть струны его чувствительности, но однажды в зале он услышал грубый смех Пушкина над одной невинной и печальной тирадой старого стихотворца — и содрогнулся. Он понял: Пушкин был горд и бессердечен. Он не был добродушен. Ранние знакомства, поощрения, визиты всех этих писателей в лицей и тому подобное его надули и развернули гордостью. Между тем, по правде говоря, и стихи его были холодны, а стихи должны прежде всего быть теплы.

В глубине души Егор Антонович не хотел признаться: он бы с восторгом сблизился с Карамзиным; Карамзин же посетил Пушкина. Но когда Егор Антонович начинал говорить с Пушкиным о его стихах, он пугался этого молчания, холода, певнищепия к похвалам, даже какого-то нежелания их, которые он получал в ответ на комплименты. Егор Антонович не был ни ловеласом, ни ханжой. Он вовсе не считал религию единственным времятпровождением.

Но какие-либо насмешки над всем, принадлежащим церкви, он считал черным и чем-то преступным, пахнущим судом и следствием. Вспоминая свои ранние труды по Мальтийскому ордену, он вполне понимал, какое значение для карьеры, для прочного и приличного пути в жизни имела и религия со всеми ее частностями. Но до него дошел слух о каких-то стишках Пушкина, едва ли не преступных, о монахе, монахинях и прочем. Он не был ханжой и не желал этого знать. Оставался один только путь к сердцу этого молодого человека — женщины.

Егор Антонович был умудрен опытом и отлично знал, какой вес имеют

в важных делах, как выдвигают иногда на первое место одна улыбка женщины, одно оброненное ею слово. Он и сам был вовсе не стар — человек приятного, среднего возраста — сорока лет. Он и сам еще танцевал не без ловкости. Трудно было, правда, представить себе, каким он был в двадцать лет, но зато невозможно, каким он будет в шестьдесят. Он был всеполно за то, чтобы воспитанники обтесались, несколько умягчились в женском обществе. Он отлично понимал, откуда у Пушкина этот холодок к нему, эта впазданность и дерзость. Все это — была гусарская казарма, в которую он бегал. Прекратить эти посещения директор, однако, не мог. И он решил ввести вечера у себя и приглашать на них, с одной стороны, знакомых и близких его семейству дам, а с другой — лицейских воспитанников. Быть может, это приблизит, приучит и Пушкина. Ему случалось видеть, как и не такие головорезы становились в обществе дам скромниками, мягкими, как воск.

В своем доме директор решительно изгладил все следы старого хозяина. Всюду были цветы, художник расписал стены цветами. Вечер бы удался, если бы не Пушкин.

Во время танцев он был невозможен. Прежде всего, он дурно танцевал; это бы ничего — кроме Горчакова, все они дурно танцевали, и это вызывало только смех. Но в семью Егора Антоновича приехала его дальняя родственница, Мария Смит. Судьба этой молодой дамы была трогательна: она была вдова. И вот Пушкин стал усиленно показывать, что тронут, — хорошо бы, если бы участью молодой вдовы, — нет ее прелестями.

Он прижимался и задыхался во время танцев. Егор Антонович с изумлением заметил, что молодая дама, родственница его жены, весьма воспитанная особа, урожденная Шарон-Лероз, вдова, тоже не осталась безразличной к вниманию повесы: лицо ее пылало. Слабым взмахом руки директор прекратил музыку. Еще одно начинание по отношению к Пушкину дало вовсе не тот эффект, на который он рассчитывал. Более того: эффект был скандален. Резвый, почти светский круг молодых дам и юношей в директорском доме был низведен этим юношем до степени какого-то шустер-клуба. Директор завидовал: он слышал уже о бале у Бакуниных и втайне уже перед своим вечером огорчался. Все же в глубине души он надеялся блеснуть — в конце концов, чем Мария хуже Бакуниной! Она будет у него скромною царицей бала! Так думал он перед своим вечером. И вот как все это обернулось. Директор опасался еще худшего: юнец и Мария куда-то исчезли, и он сам принужден был искать их в своем саду. Он их нашел, Пушкин более не будет приглашаться, но кто поручится, что пегодник не назначил свидание где-нибудь тут же, неподалеку, — завтра или через неделю?

Егор Антонович недаром был обеспокоен. Где был Пушкин там были страсти. Он ненавидел страсти. Корф, который обещал быть разумным, кажется, понимал, что такое разумная карьера, был отличен доверием Егора Антоновича. И он после одного разговора с директором, записал: «Пушкин бездушен. Вместо души есть у него две страсти: стихи и женщины».

Мария, столь уместное и даже нужное для воспитания женское существо, при Пушкине преображалась. Она более не нуждалась в утешениях.

Добро же! Следя хозяйственным нравственным оком, он вскоре оказался принужденным указать молодой вдове двери. Она более не обращала внимания на сделанную так тщательно из картона самим директором надпись и рамочку.

О, эта уютная скорбь! Рамочка! Нет, молодая вдова обезумела. Она предалась на волю случая. В одну ночь она узнала все, о чем и не подозревала. Это был дьявол, учивший ее небывалому.

Егор Антонович, чуть не патинувшийся на страсти, тотчас положил предел пребыванию в директорском доме молодой вдовы. Он был оскорблена. Рамочка, над которой он с такой трогательностью трудился, была в тот же день приспособлена директором для пакета письма и замечаний по службе. В алфавит лицейский он внес запись о Пушкине, как о бездушном и беспамятном.

## 6

Двадцать четвертого мая приехали Карамзины. Приехали навсегда. Историограф покинул любимую Москву по одному любезному, шаткому слову царя, которого он дожидался всю жизнь. Он был историограф, будущий советник царя, но дом ему отвели неудобный и сырой. Китайская Деревня, деревенька па китайский вкус — с островерхими окнами, с замысловатыми изображениями на крыззах и стенах домиков, неподалеку от Малого Каприза, за рвом, была недокончена. Четыре домика были убранны фаянсовыми печами и каминами, стены выложены фаянсовыми плитками, а остальные недостроены, забыты, и в них гнездились летучие мыши.

Домики были малы, потому что предназначались для приезжих холостых придворных кавалеров. Миловидные садики окружали китайские хижины. В одной из них Карамзин устроил свой кабинет, в другой поселилась жена с детьми, в третью была кухня и жили слуги. С тайной горечью смотрел писатель на свои красивые домики. Он боялся себе сознаться в том, что домики — игрушечные, что они неудобны, и что, если ими приятно любоваться, то жить в них трудно. Он об этом никому не говорил. Тургенев, который их для него готовил и хлопотал, обиделся бы. Екатерине Андреевне же всегда он показывал полное довольство. Труды всей его жизни были вознаграждены. Он был советник царя. И однако же, если бы не посетил Аракчеева, так бы и не был принят — всю жизнь. Посетив же его — был принят назавтра. Впрочем, царь полюбил теперь гулять мимо его домика и однажды поднес жене его букет цветов, им самим нарванных. Тайная горечь и тут не оставила Карамзина. Он был историограф, советник царя, посыпал его. И однако же, ни разу — ни разу с ним не побеседовал. Он побледнел, увидев, с каким выражением на обольстительном белом лице царь подносил цветы его жене. Его жена была прекрасна. Но нужно было издать Историю Государства Российского и мудро, как он всегда делал в своей жизни, он решил покориться и ждать.

С утра, в своем отдельном домике, он просматривал рукописи, исписанные почерком крупным и ясным, и который раз исправлял погрешности. В три часа он надевал черный аглицкий дорожный костюм, и ему подавали

серого аргамака. Он ехал верхом, а слуга шествовал впереди. По дороге он указывал слуге гриб, и слуга срывал его.

Это была прогулка.

Император пока не попадался,— быть может, не попадется до конца,— и Карамзин был этому почти рад.

Обед и вечерний чай.

Как была теперь, после окончания трудов, незанята, свободна его жизнь, как его ласкали при дворе, как мало думал о нем государь, остававшийся для него загадкою.

Искусственность теперешней его квартиры, искусственность самого положения его он перепосил, как древний стоик, улыбаясь. Вот почему, когда он слышал быстрые, широкие шаги Пушкина, и не подозревавшего о его настоящей жизни, он сразу захлопывал журнал, который перелистывал. Вот почему он прощал ему и тот взгляд, которым тот встречал Екатерину Андреевну,— взгляд немой и умоляющий, значение которого стареющий историограф прекрасно понимал.

## 7

Впервые Пушкин видел это прекрасное спокойствие, это внимание серых глаз. Ломоносов, который вместе с ним пришел, не узнавал его. Он привык к молчальности Пушкина, он знал, что Пушкин дитя, и приготовился блеснуть — рядом с сумрачным поэтом, с дитяком. Ломоносов был остроумен, и это было нелегко.

Но Пушкин не давал ему раскрыть рта. Он преобразился.

Он словно впервые почувствовал себя собою, впервые нашел себя. Через три минуты он добился своего: он услышал звонкий смех Екатерины Андреевны и увидел удивление на лице Карамзина. Этого смеха Карамзин не слышал уже давно.

Назавтра он в неурочное время, паскоко победав, убежал к Карамзинам. Был час, когда историограф отправлялся гулять. Она вышивала в своем домике на пяльцах и удивилась, испугалась, увида его.— Здесь все ходят мимо этой уединенной хижины и чуть не заглядывают в окна,— объяснила она недовольно.

Потом она заставила его разматывать шелк, и он, стоя на коленях, с необыкновенным прилежанием следил за длинными пальцами, ловко и спокойно бравшими шелк с его пальцев. Потом она прогнала его, сказав, что его будут искать и посадят на хлеб и на воду. Он не должен убегать от своего директора. Пушкин ушел в отчаяньи: она его считала школьаром и более никем.

Он забыл самую дорогу к гусарам, к которым он так было привык, которые так к нему привыкли: участь его была решена. Теперь каждый день он будет ходить в Китайскую Деревню.

А молодая вдова? Лила?

Но это не имело никакого отношения к Китайской Деревне. Было бы преступно даже думать оней здесь. В присутствии хозяйки он не думал решительно ни о ком более. А она считала его школьаром и больше никем.

Он был школьником и притом, по мнению директора, способным на все. Каждый вечер директор теперь осторожно поглядывал с балкона. Дважды замечал он Пушкина, поспешно уходящего. Будь это другой, он окликнул бы его, и начался бы разговор, более или менее задушевный. Прекратить поздние прогулки старших Егор Антонович не мог, представив себе не допускать их в будущем у младших. Он хмурился: замечено было, что Пушкин уходил в гусарские казармы. Можно легко себе представить плоды его воспитания там, рядом с конюшнями! Теперь — директор разумел — эти похождения решительно кончились: он ходил каждый вечер к Карамзинам. Это было совсем другое дело. Все же директор машинально обрашивался — поглядеть, здесь ли молодая вдова. И часто, к своему неудовольствию, обнаруживал ее отсутствие. Тогда он начинал свою уединенную прогулку по царскосельским садам, втайне боясь наткнуться на что-то вовсе неожиданное; он не доверял молодой вдове: она только в день своего приезда, и то более из приличия, поплакала; она была молода, смешлива.

Молодая вдова скучала, — Егор Антонович не мог развлечь ее. Этот школьник был дурен собою, но она отличила его в первый же вечер, — может быть, именно потому, что она скучала. Поэтому и дыханье ее было прерывисто, румянец слишком жив во время танца, что тотчас было замечено директором и поставлено в счет Пушкину.

Бакунина была Эвелиной. Ее он сразу же назвал Лилой. Самое имя звучало, как поцелуй.

Директор был прав, когда боялся наткнуться в саду на что-то непредвиденное, — быть может, поцелуй. У них были установленные свиданья. Она была беспомощна, покорна и жадна, виноватые поцелуи слишком долги. Он впервые узнал власть над женщиной, она предавалась ему безусловно. Да, он был школьником; был может, то, что она была молодою вдовой, всего более ему нравилось. Тень ревнивца-мужа, которая являлась из хладной замогильной стороны, чтоб отомстить любовникам, мерещилась ему во время этих свиданий. Впрочем, не только покойный муж мерещился ему, но и другая тень: директор, который обладал верным чутьем, погуливая теперь по царскосельским садам, подстерегая любовников.

Впрочем, у Энгельгардта была и другая цель, другая надежда: встретить императора. Случайная встреча, небрежный кивок головы — и благополучие его и лицей было бы обеспечено на долгие годы. Прогуливаясь, директор часто думал о будущем. Он хотел счастья своим воспитанникам, счастья, которое так легко, вечерком, могло перенестись из дворца в лицей, к воспитанницам и к нему — их отцу. Успехи директора, которые для посторонних лиц казались легкими, стоили ему больших трудов.

Дружба и вместе надежда на будущность его детей, его питомцев росла. С чим были дружны теперь не только «дипломаты», которые были легки в танцах, и в мыслях, — Горчаков, Ломоносов, Борсаков, — он подружился с Пушкиным, завоевал его приязнь справедливостью, с которой разобрал скору Малиновского и Кюхли, и благожелательностью.

Только спартанец Вальховский, клеврет первого директора, без улыбки, хотя и вежливо, встречал его ласкательство. Вальховский был слишком преувеличенно, добродетелен и честен. Не нужно увлекаться, ах, молодой человек!

И — крайности сходятся: его не любили самый добродетельный — Вальховский и самый порочный — Пушкин.

Он уже определил будущность обоих: Вальховский, со своей прямолинейной и страстью добродетелью, пойдет, конечно, по военной части, — статская служба для него слишком извилиста. И бог с ним! Думать более о нем пока не нужно, и на счастье, которое бы могло его озарить, рассчитывать нельзя.

Но Пушкин — дело другое.

Директор сумрачно ненавидел его за заносчивость и бессердечие и ничего для него не хотел в будущем, — но он — его воспитатель. Как могли из лицея выйти счастливые дипломаты — так, почем знать, могли выйти и счастливые поэты. Дворец был близок, этого не надо было забывать. Ловя в саду пылкую — увы! может быть, слишком! — молодую вдову, директор и боялся, и желал близости дворца.

## 10

Теперь каждое утро Пушкин просыпался с этой новою целью: он должен был быть уверен, что вечером будет сидеть за круглым столом, видеть ее, слышать ее нескорую русскую речь, так непохожую на картавую, горянную французскую речь его матери, на лепет всех других женщин, которых он видел до сих пор. Все было спокойно и предсказано в этом доме, за этим столом, в ее присутствии. Скупые и тихие вопросы Барамзина, этого великого человека с горькой складкой у рта, тишина этой китайской храмины, в которой их поселили, редкие шалости детей, прибегавших сюда из своего домашка, — и она, все она, ее серые умные глаза. Он не мог представить, чем была бы эта комната без нее. Эти две недели он забыл дорогу к гусарам — лицейское время коротко! Хоть это и было трудно, и она ему это запретила, он приходил в неурочное время, потому что не любил видеть супругов вместе. Китайская Деревня была в двух шагах от лицея. Однажды он пришел, когда ее не было дома. Лето было дождливое, пасмурное. Он нашел Барамзина одного. Кутаясь в плед, сидел он у камина, который для него растопил слуга. Он не был советником паря, а просто старым литератором, который был один среди своего холодного, красивого домика-кабинета.

Он и сам был холoden, или остыл. Ничто не возмущало, не должно было возмущать здесь мира: Вяземский говорил о нем, что он «постригся в историки», — о да, это был великий постриг. И как пришла бы по его советам к вожделенному покон вся страна, вся беспокойная история, в порядке, единственно возможном, хотя может и не столь утешительном, — так явно приходила к миру и вся его жизнь. Да, спокойствие всего в России было основано на мудрой системе права крепости над поселенами. Спорить против этого естественного закона, на котором все держалось, было неумно и бесполезно. Спокойствие его жизни было основано на примирении со всем существующим — пусть иногда и неприятным.

И, несмотря на уколы самолюбия, на некоторую пустоту, которую он во-круг себя иногда чувствовал, — он полагался на это.

С опозданием приходило его счастье. Царь вдруг разрешил печатанье истории. Как ранее он принял его тотчас после визита к Аракчееву,— так и теперь это было назавтра после того, как царь парвал цветы для Екатерины Андреевны. Сомнение томило его. Пусть! Но теперь началось самое горшее: его почему-то будут печатать в военной типографии. Начальник этой типографии, более приличной для приказов, чем для Истории Государства Российского,— генерал Захаржевский. И сегодня он получил от него обратно весь свой труд с требованием представить в цензуру. Но какая же цензура нужна для государственного историографа! Он подлежит цензуре царя — и более ничьей. Этот изъявленный генерал, завидующий его положению в Царском Селе, кажется, заблуждается в степени своей власти. А быть может, и не заблуждается? Молчание! Он вдруг почувствовал сильное желание пожаловаться Пушкину, этому Сверчку, и еле сдержался. Он знал, например, что и этот мальчик, который такими странными взглядами следует за женщинами, пишет страстные стихи, которому не сидится на месте в его лицее,— тоже скоро останется. Как была резка и необдуманна во всем деятельность Сперанского, основывавшего всюду эти учебные заведения без системы, без планов! Какие семена для будущего!

Ц однажды единственные люди, с кем теперь можно было отдохнуть в этом успокоившемся, полном придворных забот мире, были арзамасцы, да еще эти лицейские, с их пылом, вздором, торопливостью, вечным смехом и спорами. И, попросив Пушкина прочесть ему что-либо новое, он стал его слушать. Пушкин достал листок, вдруг вспыхнул и снова спрятал в карман. Карамзин, поклав плечами, тихим голосом попросил его читать. Он знал, что его тихим просьбам не отказывают. В замешательстве Пушкин стал читать, и постепенно голос его окреп.

Потом, слушая чтение лицейского поэта Сверчка, Карамзин вдруг понял, что Пушкин пес сюда, к нему в дом, это стихотворение, чтобы прочесть его Екатерине Андреевне.

Медлительно влекутся дни мои . . .  
... Пускай умру, но пусть умру, любя!

Как он прочел последнюю строку!

Кому он писал это?

Стихи были, впрочем, прекрасные. И, улыбнувшись, ничего не сказав поэту, только кивнув головой, Карамзин отпустил его дружески.

Да! Он боялся сознаться себе, что в Царском Селе он был один, как перст, не будь здесь этих юнцов. Он кончил на днях предисловие к своему звездному труду и некому было его прочесть. Тургенев был в хлопотах, давно не показывался. И вот однажды, когда у него сидели дипломат Ломоносов и поэт Пушкин, он улучил миг тишины, лист с предисловием оказался близко, и он прочел им — первым — свое предисловие, свое «верую». И с первой своей фразы, читая, он увидел, что нужны поправки, чего раньше не замечал. «Библия для христиан то же, что для народа история», — он стал читать и остановился, посмотрел на слушателей. О, умные глаза юнцов! Все слова, имеющие смысл высокий и туманный, здесь, в Царском Селе, приобретали свой истинный смысл. «Библия», «христиане»... Помилуй бот! Да ведь это то же, что сказал бы Голицын, который, верно, теперь сидит здесь

неподалеку, во дворце, и, может быть, толкует и о библии, и о христиане И он, где чиняясь, тут же, при молодых, исправил: «История есть священная книга народов».

Он читал и поглядывал на Пушкина. «Мы все граждане — в Европе и Индии, в Мексике и в Абиссинии; личность каждого тесно связана с отечеством: любит его, ибо любит себя. Пусть греки, римляне плелись в зобе желания: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чуж по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям. Но имя русское име для нас особенную прелест: сердце мое сильнее бьется за Пожарского, и жели за Фемистокла или Сципиона».

«...Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданск общество...»

Пушкин сидел тихо, и только глаза его, как бывало у матери его, «пр красной креолки», которую уже не раз вспомнил историограф, загорались гасли, говорили. Тишина была такая, точно они не дышали. Да, это был слушатель истинный, для которого он сидел в этой птичьей клетке, краснея китайской хижине. И когда он, кончив, захотел пропомнить еще раз первую страницу, Пушкин быстро прочел ему, по памяти. И в первый раз за это время, когда приходилось униженно ждать высочайшего приема, при дилось скрывать от жены тоску, пустоту, старость, приходилось улыбать стареющий писатель чувствовал счастье.

Он встал и, пройдя мимо Пушкина, коснулся руки его. За дверью отер слезы.

Он прочел этому юному забредшему к нему поэту лист, лежавший уго на коленях, для сплечения с примечаниями — о златом беспечном времени о пирах Владимира, которого народ прозвал Солнцем, — как Владимир при зал сварить триста варяг меду и восемь дней праздновал с боярами в Валеве, и как они упились крепким медом. «С того времени, — прочел он Пушкину, — сей князь всякую неделю угощал в гриднице бояр, грид сотников, десятских и людей именитых или нарочных».

Пушкин рассеянно скользил взглядом по комнате, и вдруг оказал что он ищет карандаш и бумагу. Увидя их на столе, он тотчас ими за дел, стал грызть карандаш (дурная привычка!), отрывисто спросил, что кое гридница, что такое гридня, и, получив ответ, что гридница — род духовной приходской, а гридня — княжеский меченосец, записал и стал покрывать губы (хорошо же его воспитал Сергей Львович!). Карамзин забавил, и, впрочем, после этих вопросов внес объяснение в текст, ибо по всему может спросить, читая книгу.

— Вот бы и написали поэмку в старом роде, шутливую, простеньку изящную.

Но Пушкин смотрел мимо него и на совет Карамзина сморщил Удивительна была своеизначительность Пушкина — точный Сергей Львович. Может быть, слово поэмка не понравилось ему? Но он и сам писал поэмки — «И Муромца», например, — и не думал считать этого недостойным. Шутливость, изящество — вот что требуется от этого рода поэзии, — и вовсе не безделница. С убегающими глазами, Пушкин более его не слушал грыз карандаш, так что в конце концов Карамзин тихо протянул руку и пытал у него карандаш. Нет, он, кажется, не обиделся, а просто мысленно блуждала. Наконец с ним можно было поговорить. Нет, это не Сергей.

вич,— это блужданье мыслей было иногда и у его матери, «прекрасной креолки»; он и лицом напоминал ее. И он попросил поэта прочесть ему что-нибудь новое, повенчанное. Пушкин достал листок.

## 11

В этот год их больше объединяли прогулки, чем уроки. Никто не требовал тишины; дисциплина была забыта безвозвратно, и профессора заботились только об экзаменах, которые грозили в будущем как лицеистам, так, равно, и им. За черным столом сидел теперь только иногда Мясоедов, который был не только безграмотен, но и груб. Кунцын притих, сгорбился. Он стал строг, равнодушно спрашивал у Корфа лекции по тетрадке и поправлял его, если тот что-либо пропускал. Пушкина он никогда не спрашивал по тетрадке, и Пушкин почти никогда не записывал. Но он слушал — его одного из всех профессоров; казалось, он и этот профессор совершенно понимали друг друга. Корф тихо сжимал кулаки из-за этого пристрастия.

Только однажды он загорелся, как бывало, когда он объяснял им, что такое общественный договор.

— Тираны отменяют его, — сказал он, — а как верховная власть принадлежит народу, — договор расторгается с обеих сторон бесповоротно.

Он вдруг замолчал, щеки его порозовели. Кюхля скрипел пером, записывая, и чернильные брызги летели во все стороны.

И, успокоившись, Кунцын тихо попросил записать, что это все относится к племенам давно минувшим.

Кюхля положил перо.

Теперь прогулки их были ограничены; двор был в Царском Селе. Нельзя было шуметь, а итии нужно было чинно, строем: император любил чинный строй даже у статских и выходил из себя, если замечал непорядочно шагающих.

Раз и навсегда молчаливо сговорясь, Пушкин, Дельвиг и Кюхля отсутствовали на прогулке; рука об руку они шли позади всех и смотрели о Горации, Руссо, о Парии, деде Шишкове, Шихматове и Шиллере, о женской неверности.

Теперь, когда они уже печатались, они читали только новые книги, — даже Кюхле мать выписала из Москвы старомодный журнал «Амфион», заплатив за него пятнадцать рублей и отказавшись от одной поездки в лицей. Ломоносов завел даже свой особый книжный шкаф, у него было две ста — триста книг. Будри привозил в лицей Кюхле книги — «Векфильского священника», над которым Кюхля обливался слезами, Грессе, которого у него сразу же зачитал Пушкин. Кюхля был ярый спорщик, Дельвиг почти всегда был с ним несогласен, Пушкин наслаждался спорами. Каждый оставался при своем. Крайности мнений были удивительные. Так однажды Кюхля назвал Горация самодовольным светским фатом, педантом, вроде Бопланского, и все трое, пораженные, остановились. Другой раз Пушкин, возражая Кюхле, который всюду таскал теперь с собою Гомера по-гречески и пытался его заучивно читать, назвал Гомера болтуном, и они вместе с Дельвигом тихо обрадовались ужасу Кюхли.

Теперь, когда Пушкин был арзамасцем, он нетерпеливо слушал кюхлины похвалы Шихматову-Рифматову и его песнопению о Петре.

Как-то Горчаков, который любил стихи легкие и отовсюду их переписывал, показал ему стишкы из времен французской революции, где три фамилии осмеивались на все лады.

Через час Пушкин прочел Кюхле стихотворение, где осмеивались в том же порядке три князя на букву Ш.

Шишков, Шихматов, Шаховской.

Шихматов, Шаховской, Шишков.

Самые имена членов «Беседы» были созданы для эпиграмм и ложились в стих. Кюхля добивался, кто написал эти стихи, и нашел их, как все, впрочем, эпиграммы, незаслуживающими названия стихов.

Теперь, после лекции Куницына о племенах давно минувших, они долго молчали. Они привыкли к истории на прогулках. Чесменская ростральная колонна в озере, Кагульский обелиск имели для каждого из них свое, особое значение. Это и была, всего вернее, античная древность Дельвига, которую он любил в своих стихах. Проходя мимо холодного Кагульского чугуна, он всегда прикладывал к нему руку и всегда удивлялся холоду под рукою.

Кесарь вернулся после победы над Наполеоном в этот дворец. Все ждали от него чуда. Теперь то он, то императрица приезжали каждую неделю и оставались дни на три-четыре! Просто у него был досуг между двумя очередными конгрессами Европы! В лицее привыкли к особой, шаткой и торопливой, походке придворных дам, всегда торопившихся куда-то, мимо всех и всего.

Потом они несколько раз видели его, пухлого, белокурого, идущего грудью вперед небольшими мерными шагами по аллее. Они знали, что он идет в Баболово, что там во дворце опять назначено у него свидание с молоденькой дочкой коменданта. Горчаков, захлебываясь, рассказывал об этом. Он знал откуда-то решительно все о кесаре: когда он встает, когда молится, с кем обедает, много ли, мало ли говорит с дежурным офицером. Он считал это новостями политическими и сообщал их только избранным. Он знал все новые формы для полков, придуманные кесарем вместе с Аракчеевым.

Дворец был молчалив, как всегда, сторы почти во всех окнах приспущенны. Кто обитал там? Полубог, победитель Наполеона? Полуночный кесарь? Или друг Аракчеева с пухлыми баками? Часовые у главной лестницы стояли, как статуи, как монументы.

Вскоре стало известно, что они в лицее не задержатся: граф Разумовский отдал повеление ускорить их выпуск тремя месяцами.— В июне 1817 года «чтоб нашего духа здесь не было»,— сказал по-своему, по-казакски, Малиновский. Они стали гадать, кто их выживает. Горчаков неожиданно предположил, что это директор.

— Почтенный и любезный директор старается нас尽可能更快地生存, — сказал он, — так как он не может приписать себе чести нашего выпуска, если он будет удачен.

Это было встречено, однако, негодованием со стороны Матюшкина; Пушкин, который верил директору, тоже возражал, и вдруг коротко сказал:

— Царь выживает.

На робкий вопрос — почему? — Жанно ответил значительно:

— Очень шумим. И глазеем.

Она была женой знаменитого писателя. Жизнь ее была вполне спокойна, за исключением неудобств, связанных с некоторою полу придворною шаткостью их теперешнего положения. Зимой она будет появляться при дворе. Вскоре напечатают знаменитые многолетние труды ее мужа. Первая корректира уже скоро должна прибыть, муж ждет ее не дождется, и она, как во всем и всегда, с тою внимательностью, заботой, которая,— она знала это,— всего более в ней привилась,— будет ему помогать править. Теперь они каждый день будут встречаться за этим столиком, за этой работой, будут готовить листы в типографию, сверять с примечаниями,— у нее в китайской хижине, среди цветов. Цветов было много, слишком много,— их присыпали каждый день из дворца. Она прекрасно знала, почему пришло долгожданное разрешение печатать Историю ее мужа. Он, кажется, это не вполне понял. Что же, придется с тем умением, которое она знала у себя, знала в своей походке, глазах, голосе, быть — в который раз! — наприкосновенной. Здесь не было весело, в Царском Селе. Но вечерами приходили лицейские,— она любила их смех и споры. Пушкин, дичок, вертлявый, быстрый, так смирил при ее приближении, глаза его так гасли, что каждый раз нужно было его ободрить — улыбкой, словом. Боже, какие забавные фарсы об этой «Беседе» — смешных приятелях ее мужа — сыпались у него с губ, когда она на него смотрела! Ему было семнадцать лет,— иногда странно было подумать, как все они молоды. А ей — тридцать шесть.

Она была спокойна и счастлива.

И вот она была несчастна.

Никто не знал, чего ей стоило самое спокойствие. Уже несколько раз, чего давно не бывало, она теряла над собою власть, склонялась с бедной падчерицей, плакала, кусала платочек, с утра стремилась уйти из этой оральереи, теплицы, в которой жила, уйти от мудрого, знаменитого мужа, детей, быть одной. Вся жизнь ее представлялась ей иногда неудавшейся. Она росла у тетки Оболенской, старой девы. По праздникам ее возили в большой дом, к Вяземским, и она целовала жилистую руку старого князя, которая гладила ее по голове. Она знала, что это ее отец, и смутно догадывалась о каком-то исправимом несчастьи. Ее фамилия была вовсе не Вяземская, а Колыванова, и она не была княжной. Она долго спрашивала, какая это фамилия. Тетка объяснила ей, что это по городу Ревель, где она родилась,— Ревель звался по-русски Колыванью, отсюда она и Колыванова. Однажды на туляни тетка показала ей бледную красавицу и сказала, что это ее мать. На том знакомство с матерью кончилось. Она была безродная,— она слышала, как гувернантка слишком о ней сказала, что она натуральная дочь, незаконная дочь. Вот когда она научилась кусать платочек. Ей было двадцать два года, когда она полюбила бедного армейского поручика, тоже с невзрачной фамилией — Струков. Но она его так полюбила, что ее скоро выдали замуж. Старый князь дал ей пышное большое приданое, она была богатая невеста.

Выдали ее замуж хорошо, за человека умного, тонкого и известного, друга ее отца. Он был вдовец и старше ее на четырнадцать лет.

Она вдруг успокоилась, стала верною женою знаменитого мужа, добродетельной матерью его детей, доброю матехой его дочеря.

Нет, она не была доброй мачехою. Как она досла без матери и без отца, и ее место было занято другими, ее братьями и сестрами,—вот хотя бы рыжеватым, умным и смешливым Петром Вяземским,—так и теперь она пашла, что место занято. Оно было занято первою женой, Лизанькой, которая так и осталась в доме,— ее портрет висел над постелью падчерицы Софушки, и Катерина Андреевна знала особый вздох своего мужа: это он вздыхал о ней. Она была спокойна и еще прекрасна. Впрочем, она хоть и была стройна, но начинала тяжелеть. Плавная походка, внимательные ясные серые глаза, высокая грудь и эта начинающаяся тяжесть... Морщин еще не было. Жизнь ее проходила хорошо. Она читала каждый день с мужем газеты. Однажды она прочла о сумасшедшей храбости поручика Струкова, который отбивался в крепости от сильного отряда горцев сам-друг и был тяжело ранен. В газете была статья об отдаленных героях, как этот армейский поручик, произведенный в полковники. Она прочла мужу все иностранные известия и после этого заболела.

Петр Вяземский боялся Катерины Андреевны, как огня. Близким своим друзьям он тихо говорил, что у нее характер ужасный. Она начала замечать, что посторонние жалеют ее падчерицу. И в самом деле, тощие Катерина Андреевны были ужасны, она это знала. Она тоже жалела Софию, и делала ее жизнь невозможной.

Жизнь Катерины Андреевны была позна: у нее была падчерица, семилетняя дочь, двое сыновей. Она читала с утра корректуры с мужем. Все же она вздыхала полною грудью, ровно и емко, когда он уезжал гулять на своем юром иноходце. Она вовсю не сердилась на Пушкина за то, что он напугал ее. Он был дичок, юнец, с отрывистым смехом и таким взглядом коричневых недовольных глаз, что она начинала смеяться, чтобы не рассердиться.

Все же ей был лестен этот взгляд,— для этого отчаянного юнца словно не существовало ее тридцати шести лет. Этот взгляд был гораздо ей милее, чем белесоватый томный взгляд, которым всегда на нее смотрел император. Первым ее движением при этом императорском взгляде было тотчас отсюда уехать, но муж, но его труды, но издание, но дети... Она осталась, решив не сдаваться.

Когда нужно было представиться императрице и ей уже привезли платье из Петербурга, она вдруг занемогла и проплакала всю ночь. Назавтра же император прислал справиться о здоровье. Принесли цветы. И когда ее с мужем позвали на придворный бал, император, к великому смущению двора, встал, поцеловал ей руку и пригласил сесть на свое место. Ей, натуральной дочери Вяземского. Она знала, что о ней шепчут и как ее ненавидят. Комендант Царского Села Захаржевский бледнел от ненависти, когда встречал ее. А он заведывал военной типографией, в которой будет печататься труд ее мужа. Она решила не сдаваться.

И странное дело— она почувствовала: у нее был союзник. О, конечно, не муж! Он и не подозревал и был не в состоянии себе даже представить эти опасности. Он, который так много писал обо всех царях и властелинах, о темных действиях истории, ее жертвах, который недавно кончил главу об Иоанне Грозном,— он томился тем, что царь его не приглашает. И она додгадывала: он не понимает царя. Она же, как женщина, тотчас его поняла: поняла лукавство и жестокость, женские слабости и мужской гнев.

Однажды они завтракали. Ее муж накапуне узнал, что предстоит свидание с императором во дворце. Теперь слуга доложил, что пришли от императора. Карамзин был уже в ленте, вдруг лента отстегнулась. Он стал ее направлять у зеркала. Пушкин был тут же. И то, как взглянула ее муж искоса на школьара, поразило Катерину Андреевну. Это была знакомая ей тонкая усмешка, усмешка литератора над всеми этими лентами, аниенскими кавалерами, представлениями и прочее. Пушкин ответил ему быстрым взглядом, и оба рассмеялись. Она покраснела от радости: ей почему-то очень понравилось, что ее муж — знаменитый человек, историограф — переглядывается с этим школьаром, как равный с равным.

Впрочем, камерлакей пришел не просить историографа, а принес из дворца корзину цветов жене его. Карамзин сухо велел благодарить и более ни о чем не разговаривал. Быть может, это и не было оскорблением, но все же почти назлочепный визит был отменен.

Пушкин впесапно побледнел и, ничего не сказав, быстро простясь, убежал. После его ухода Карамзин скучно так посмотрел вслед ему и покачал головой.

Катерина Андреевна велела поставить цветы подальше от дверей, — в комнате им было душно, — и стала кусать платочек.

## 13

В лицее завелись тайны. Теперь Пушкин явно скрывал что-то от Пущина, а Жанио был проницателен. Наконец все выяснилось. Жанио узнал, что у Александра тайные свидания. С некоторых пор он не узнавал Пушкина. Общая любовь к Бакуниной мало изменила их всех — Пушкин был весел, смеялся фарсам Миши Яковleva, хладнокровным проделкам Данзаса, и только когда начинались грызня перьев, неподвижный взгляд, уединения — начинались стихи, Жанио оставлял его в покое. Он привык к этому. Теперь другое: Пушкин стал рассеян, неузнаваем. И когда Жанио однажды увидел его близ сада, с молодою вдовою, он обрадовался; причина всего была найдена: Пушкин был снова влюблен. Его несмного удивило, что Пушкин вовсе не скрывал этого, — как тусар, охотно говорил об этой любви, об этой молодой вдове.

Молодая вдова не могла быть, кажется, причиной долгой печали и того, что характер его друга стал, по словам директора, невозможным. Жанио должен был с этим согласиться.

Раньше, когда он часто бывал у гусаров, он был веселее. Теперь он ходил только к Карамзинам и все забросил.

Зато и Пущин теперь таился от друга. И Александр замечал несколько раз, что почти одновременно, как по команде, скрывались из лицея: Жанио, Вальховский, Кюхля. Однажды ушел и Дельвиг. Любопытство мучило его: у них были, может быть, общие тайны, в которые его не посвящали?

Скоро, впрочем, он узнал об этом от Кюхля. Кюхля был стоик, но долго таиться не мог. Оказалось: как Александр бывал у гусаров, так они познакомились с гвардейцами, — в Царском Селе жили молодые гвардейцы. Они стали поспирать, сказал Кюхля, что без знаний человек подобен скоту. Они живут здесь артелью, и главный у них — Бурцов. Кюхля сказал напрямую,

что считает его мудрецом. Бурцова Александр вспомнил: он однажды видел его, когда был у гусаров. Бурцов был суховат, вежлив, говорил почти только с Чаадаевым и быстро удалился, когда начались гусарские песни. Он был штабной. Гусары не любили штабных. Когда он ушел, кто-то сказал о нем: сухарь.

Кюхля под строгим секретом рассказал, что Бурцов — друг Кунинцина, и Кунинцин читает ему за чаем лекции обо всех политических событиях и об Адаме Смите. Александр был удивлен, что гвардец сделался почти лицейским. Это было ново.

Кюхля сказал ему, подлизив голос, что ни у кого из них сомнений более не остается: Аракчеев и Голицын нарушили общественный договор; общественному договору изменили; рабство не отменено до сих пор и это после побед двенадцатого года. Ждут год, ждут другой — а теперь, если к концу года не отменят, — значит, произошел какой-то обман.

Впрочем, человечество непрерывно совершенствуется. Все свидетельствует об этом. Однако со своей стороны аристократия гсюду похищает власть в своих видах, — отсюда зло, и это совершенно несомненно доказано Бурзовым. Вальховский тоже может подтвердить. Не надо падать духом и быть равнодушным; пока это главное: человек в противном случае поглощается толпой, — то есть придворными. Светские успехи — отрава. Кюхля еще много говорил.

Как он сказал про кака!

Александр молчал. Так вот оно!

Его друзья были более посвящены во все, чем он. Он потерял столько времени! Он крецился и боялся, что слезы у него брызнут. Баково! Они таились от него, как от недоросля, или как от дитяти, или как от пропавшего, отчаянного шалуна. Так вот, не даром же у арзамасцев красный колпак! Не даром дядю принимали в красном колпаке! Это колпак якобинский. Оставалось немногого меньше года торчать в этом лицее, — и он в первый же день напялит красный колпак.

Он — арзамасец! И потом у него есть Чаадаев, у которого в одном мизинце больше знаний, чем у всех его друзей, умников, педантов. Но Дельвиг, Дельвиг каков! Таится от него! Он плакал, сам себе в этом не сознаваясь. Сегодня же вечером он будет у гусаров, — пора условиться с Чаадаевым, который хочет с ним говорить наедине. Он подозревал: молчание дворца — измена! Прогулки кесаря — измена! Не общественному договору, который был заключен слишком давно и, впрочем, неизвестно кем, а тому молчаливому договору, что был в двенадцатом году. Он бросил, пи слова не говоря, Кюхлю и пошел к выходу. Через полчаса директор Энгельгардт удалится к себе, а вечером Пушкин пойдет к гусарам. Ждать вечера слишком долго. Сколько времени потеряно! Он завтра же, сегодня же объяснится с Чаадаевым. А почему бы не сейчас?

И так он наткнулся на директора.

Директор шел за ним.

На лице его была блаженная улыбка и голова закинута. Он был доволен. Тихим голосом, подняв брови, он сказал Александру, чтобы тот бросил все занятия и лекции на сегодня (как будто он ими был занят!) и шел тотчас к Карамзинам: приехал Нелединский-Мелецкий и хочет с ним говорить по особому делу, не терпящему никаких отлагательств.

В китайском домишке был парадный стол. На почетном месте сидел гость, и Александра усадили рядом. Гость был приятен. Малого роста, коренастый, с бирюзовыми глазками, с белой косичкой, заплетенной лентою, стариочек. Косы все обрезали шестнадцать лет назад. Мягким, певучим голосом, слегка дребезжанием, старый куртизан приветствовал молодого человека. Живот его в белом плотном камзоле колыхался от удовольствия: он ел. Ел и спорил с Екатериной Андреевной, которая развеселилась: старый Нелидовский был ее дальний родственник по отцу. Он не чуждался ее в молодости, знаменитый вздыхатель.

— Ангел хозяюшка,— говорил куртизан,— как прекрасны эти персики в своем собственном соку. И заметьте, сок их как дым, как туман, тогда как грушевый сок ясен, как солнце.

Карамзин улыбался, как, верно, улыбался лет тридцать назад, при старших.

— Молодой человек,— сказал Александру куртизан,— учитесь здесь, в этом доме, наслаждению плодами. Не везде вкус, не везде понимание. Обедали мы вчера у генерала. Мне подают в глиняном горшочке мою любимую гречневую кашу. Признаюсь, я был растроган. Подают и щучину,— я преклоняюсь. Рубцы, гусь с грудками — преблагодарствую. Но затем... Затем... ах! соленую грушу, соленую дыню, соленый персик! Не святотатство ли это против природы? Унижать эти плоды до разряда огурца или капусты!

Бирюзовые глазки его светились, белый атласный живот подрагивал.

Старичок был обжора.

После обеда Екатерина Андреевна оставила их одних, не желая мешать. Сели на диван. Юрий Александрович не спешил, однако, приступить к делу. Бирюзовыми глазками смотрел он на Пушкина, успел уже оценить некоторую сумрачность и пугливость юного, рекомендованного ему Карамзиным, поэта и решил, что нужно польстить и дать ему дохнуть воздухом Павловского. Он был главный затейщик, главный придворный поэт старого двора.

Они были без дам, и он тотчас об этом сказал.

— Говорят нам, что на прошлой неделе,— стал он рассказывать, обращаясь к обоим,— появился штукарь с лошадью, которая все понимает. На все вопросы отвечает разными знаками. Сказано императрице. Решили дать приватный спектакль. Введен в гостиную штукарь с лошадью, начинается представление. Лошадь точно ли умна или штукарь глуп,— но все идет превосходно. Посреди представления актриса вдруг вспоминает о природе. Воображаете ли? Мальчишка бежит за шляпой, чтоб подставить, а тем временем хозяин, штукарь, нырнуло не теряя головы, подскочил и кулаком все начал втихивать назад. Мальчишка носится с шляпой кругом, а хозяин, штукарь, заробел, раскланивается, и задом к выходу, к выходу. Все дамы в хохот, а мне срам. Еленушка Нелидова направила лорнет туды, сюды, ничего не видит. И пристает ко мне: «Юшинушка, отчего смеются, что это такое? Я отвечаю: «Природа, матынка, ничего более».

И он блаженно улыбнулся сочными губами. Карамзин, несколько опешив, пораженный простодушием куртизана, от души, наконец, смеялся.

Этот Шолье старого века, поэт, песенник, балагур незаметно снялся с него с плеч за тяжестью тяжесть.

Александр впервые слышал старый век.

— А теперь, друг мой,—обратился старик к Александру, так же дочерчиво,— я подышу немножко в саду перед сном. Не хотите ли меня проводить?

И в саду, опираясь на посошок, он присел на скамью и совсем туж другим голосом, глядя прямо в глаза Александру, говоря медленно, тихо, без улыбки, не ожидая возражений, сказал ему следующее:

— Здесь, без сомнения, слышали, что шестого июня в Павловске праздник. Во дворце зажгут шесть тысяч восковых свечей, будет пятьсот женщин, маскарад, сцены, которые уже сочиняет Батюшков. Будут оба двора, император, две императрицы. Праздник дается в честь принца Оранского, мужа великой княгини. Они уезжают. Праздник поручено готовить ему. Вокруг всего дворца будут костры, пляски, песни поселян. Всё время ужина хор будет петь куплеты, и слова заказаны ему же, Мелецкому. Принц любезен, скромен, умен и чувствителен. Он в Уэллингтона дрался, был Наполеона, рапен. Для принца стихи писать не стыдно. Он, Мелецкий, с удовольствием написал бы их и почел за честь, но молодой поэт видит: он одрях, нет огня, страсти, молодости.

Нахохлившись, как старый воробей, сидел старичок, и косичка его дрогнула. Карамзин указал на него, на Пушкина. Он, Мелецкий, и сам видит птицу по полету. Ему нужны стихи о принце. Но принц может быть лишь предлогом. Он дрался за лилии Бурбона — и нужно говорить о мире, о вновь воздвигшемся было и вновь упавшем навек Наполеоне.

— Если б жив был Гаврило Романович, он бы меня за это расцеповал,— сказал старичок.

Все — и быстрота перехода от какого-то дворцовского случая к важному делу, и этот старый, важный, внезапный тон, и имя Державина — было как бы старым дворцовым рассказом, который Александр слышал уже когда-то в Москве, от дяди.

— Ручательство Николая Михайловича и мой старый глаз обмануть не могут,— сказал старый куртизан.— Вы возьмете новое перо, лист бумаги,— и, пока я сосплю, стихи будут готовы. Все важные дела делаются в час, не дольше. Я уеду с ними,— так я говорил, так и будет, или я ничего не понимаю.

## 15

Пушкин не нашел ни Чадаева, ни Раевского, один Каверин был дома. Каверин ему необыкновенно обрадовался.

— Я, милый мой, о тебе пари держал, и твоим явлением разорен. Я говорил, что ты бежал из лицея в Петербург и что тебя ловят по дорогам. Молостков же говорил, что ты за кем-то волочишься и будто тебя видели в лесу, одичалого от любви. Теперькажусь писать, чтоб рубили дубки, нужно платить пари Молосткову, а тебе скажу прислать ягод из рощи. Сейчас придет Молостков, он отсыщется с дежурства. Душа моя, посмотри на меня.

Он тихо свистнул.

— А ты и в самом деле пехороши. Вот я тебе завидую. Ты страдалец в

любви, ты одними глазами красавицу измучишь, ти одна не устоит. А я ставлю горчицами, пью уксус, страдаю, а румянец во всю щеку. Никто не верит. Ты меня застал дома случайно,— у меня сильнейший пароксизм лихорадки, а завтра я должен скакать на Вихре в Павловск. Командирован. Конюшня Левашова приветствует принца Оранского.

Левашова, полкового командаира, никто не любил. Эскадрон стоял в Софии, на каменном запасном дворе, а в каменном доме, что возле конюшни, жил командаир, дом этот гусары звали заодно конюшней, и все приказы исходили из конюшни.

Каверин был сердит на дворцовую суету, придворные картузы, которыми их теперь донимали, на угодничество командаира, на принца Оранского— и, кажется, в самом деле был болен. Он пил стаканами холодное шампанское, говоря, что оно должно помочь — если не от лихорадки, то, по крайней мере, от французской болезни, назвал невесту принца Оранского, сестру кесаря, деву Орлеанскую и сказал на своей воображаемой латыни, что ариец, наконец, уезжает.

— Deinde post currrens — то есть: индюк путешествует на почтовых, — объяснил он.

Латынь Каверица славилась по всему Петербургу. Он пугал ее караульных. Deinde значило по-латыни: затем, что по-французски deinde значило: индишка; post по-латыни значило: после, а по-французски: почта; только currrens значило бегущий, а все вместе получалось: индюк путешествует на почтовых.

Он сидел, смотрел на Пушкина и все больше сердился.

— Хочешь, я помогу тебе выкрасть твою красавицу? Я затем рубился с Наполеоном, чтобы таскать рапорты конвою принца Оранского, камеристкам девы Орлеанской! Душа моя, ты не знаешь: как только получу деньги, расплачусь и иду в конюшню, пишу Левашову абшид. Где пам, дуракам, чай пить со сливками!

Он взял со стола какую-то бумагу, может быть приказ, и разжег свою пленковую трубку.

Александр сидел ни жив, ни мертв и кусал губы. Каверин назвал бы его стихи рапортом принцу Оранскому. Он почти ненавидел великого Карамзина, который с рук на руки передал его старому куртизану. Сердце его билось.

«Дитя, ты плачешь о девице,  
Стыдись! — он закричал».

— Это я тебе сказал.

Каверин вызывал его на разговор.

Он удивительно угадывал его всегда по лицу.

— У тебя облака на лице. Хочешь, я изобразжу тебе гром и молнию?

И он изобразил гром и молнию: нос и рот пошли зигзагом. Он скосил глаза и засверкал ими.

Александр вдруг засмеялся.

— Очень похоже.

— Ну, наконец! — сказал Каверин.

— Прочти мне стихи, друг мой, — попросил он. — Только не элегию, я сегодня зол.

Каверин просил эпиграмму. Никто не умел так слушать эпиграммы, как он. Александр и писал их затем, чтобы ему прочесть.

Он стал было отговариваться, Каверин пристал.

Александр прочел какую вспомнил:

«Больны вы, дядюшка? Нет мочи,  
Как беспокоюсь я! Три ночи,  
Поверте, глаз я не смыкал.—  
Да, слышал, слышал: в банк играл».

Каверин зажмурил глаза, открыл белые зубы и схватился рукою за сердце. Так он посидел с минуту и только потом засмеялся.

— Да ты, друг мой, это обо мне,— сказал он тонким голосом. Он обнял Александра.

— Умница моя, это мой с дядей будущий разговор. Ведь и впрямь, должно быть, болен дядя, откуда ты узнал?

Александр смотрел на него во все глаза.

Он ничего не знал о дяде Каверина. У Каверина была счастливая привычка: он тотчас все эпиграммы применял. И Александр всегда чувствовал, когда читал их ему, что эпиграмма понятна, что ее и записывать не нужно, и что ее тотчас все узнают.

Он пожалел, что не написал эпиграммы о принце Оранском, и вздохнул.

— Красавица — твоя, помогу,— пообещал ему Каверин.

Вошли Молостцов, Сабуров, откуда-то с тулянья, в ментиках, доломанах, усердно звеня шпорами.

— Памфамир,— сказал Каверин Молостзову,— ты выиграл: Пушкин не бежал, все правда. И скитался одичалый. От любви. Ставлю своего солового, отыграю Дубки.

Появились карты.

— Пушкин, тебе сегодня в карты должно везти. Садись рядом. Ты снимешь. Дубки наши. Да, слышал, слышал, в банк играл.

Сабуров, хладнокровный игрок, присматривался к счастью. Когда выигрывали, он ставил со стороны, примазывался.

Каверин этого терпеть не мог.

Каверин выиграл. Молостзов потемнел.

Сабуров поставил. Каверин через минуту все проиграл.

Закалась игра. Молостзов, бледный, пасмурный, играл равнодушно, но отчаянно. Лицо его было помято, в осипинах, глаза тусклые, прищукли.

Он был чем-то озлоблен, или испуган.

Каверин озлился.

— Памфамир, решай судьбу твою,— сказал он,— ставлю солового, три тысячи в долг, и пушку с молотка всю твою новую сбрую. У тебя чепрак хороший. Игра кончается.

Молостзов был в новом ментике, новых чакчирах, весь с иголочки; Александр, раздув ноздри, следил за картами.

— Хлап!— сказал Каверин. Выпала червонная двойка.

Каверин проиграл и огорчился.

— Судьба твоя устроена,— сказал он Александру.— Красавица склонилась. Ты счастье карте принести более не можешь.

Посапывая, пил он холодное шампанское,— свое лекарство,— и не пья-

иел. Отдышавшись, он стал петь свою любимую, скучную песню, которую всегда певал, когда был в горчении. Песня была жалобная:

Сижу в компании,  
Никого не вижу,  
Только вижу деву рыжую,  
И ту ненавижу.

Александр уже перенял ее от Каверина. При всех неудачах Каверин пел ее.

— Нет, не деву рыжую,— сказал вдруг Молостцов.— Это ты выдумал. Только вижу одну жижу. Это мы на капшу еще в корпюсе шли. А рыжая дева сюда не идет.

Он был подозрителен. Еле дразнили красоткою, действительно рыжею, которая ездила к нему из города, как говорили, на постой.

Каверин, по его мнению, метил на нее.

— Нет, деву рыжую. Ненавижу,— сказал Каверин и засмеялся.

— Скоро с вами прощусь,— сказал Молостцов. Все на него поглядели. Молостцов, бледный, злой, говорил без улыбки и неохотно.

— Бегу.

— Куда? Подожди до дежурства,— сказал Сабуров.

Они шутили.

Каверин дымил трубкой.

Никто не смеялся.

Молостцов, понизив голос, хрипло сказал:

— Мне с вами не жить. Удаляюсь от приятных ваших мест. Переезжаю.

И, коротко взмахнув рукой, стал тихо рассказывать.

Гауптвахта, на которой он дежурил, выходила оклом на царский кабинет. Обыкновенно был на окнах занавес, но теперь его подняли. Окно светилось. Молостцов видел, как ушел Голицын из кабинета. Царь сидел за столом и читал. Вдруг он подошел к окну и стал смотреть.

Молостцов сказал:

— Взгляд недвижный, и любезности или улыбки на лице не было,— как смыло. Стоит и смотрит, не взмигнет. Потом подошел к столу, оперся кулаком и спатала тихо, потом все громче и громче: «Благочестивейшего... Александра Ильинича...» и все до конца, и — аминь. Тут я понял, что мне аминь. Думаю: нужно спать, крепко спать,— не ему, а мне. И стал спать. Ну, не спится. Пришел домой, и все не спится.

Все сидели молча.

— И вот теперь поеду, по дорогам, может засну. А дежурствам моим — аминь!

Каверин сказал, бледнея:

— Это все Голицын. Это его песни.

Он посмотрел Пушкину в глаза, сжал руку и сказал:

— Ничего не вижу, ничего не слышу. Только вижу деву рыжую. И ту не-на-виж-жу,— сказал он раздельно и помолчал.— Я тебя провожу.

И проводил до самого лица, напевая:

— Деву рыжую. Ненавижу.

Нет, Каверин был прав, напрасно он платил пари Молостову, напрасно рубил дубки: царскосельский пустынник тоже не был рожден для того, чтобы писать рапорты принцу Оранскому; Пушкин не желал дворцовой мудрости. В ту же ночь он написал записку молодой вдове, и Фома, ставший во всем его пособником и клевретом, нашел случай незаметно ее доставить.

Назавтра, как стемнело, они встретились. У молодой вдовы было нежное имя — Мария. Она предавалась ему безусловно, дрожа от страха и радости. Он не хотел звать ее Марией и называл в глаза Лилой, Либой. Она и этому подчинилась. Из двух любовников, она прежде всего была готова на безумства. Они вдвоем, не говорясь, обманывали теперь директора, тень ревнивца, кого угодно.

Она узнала в этот месяц с этим мальчиком то, о чем и не подозревала, о чем только смутно догадывалась и что вслед за тетками привыкла называть адом и разрывом. По утрам она смотрелась в зеркало с тайным страхом, ожидая, что все это уже видно.

Она не соглашалась на одно: впустить его к себе почью. Комната ее была угловая, отделена от всех других комнат директорского дома и выходила в сад. Она содрогалась, она в самом деле дрожала перед этим безумством, которое передавалось ей. Нет, пусть лесок, пусть берег озера, пусть тень старинного театра, пусть все эти места, которые она покидала в измятой одежде с приставшими листьями, при ежеминутной опасности быть здесь застигнутой, как девка сторожем. Но только не ее комната, не ее белое покрывало, над которым директор повесил на стенке портрет ее мужа.

Они условились, что он будет передавать ей записки через Фому. Записки должны быть кратки, никаких стихов — директор!

А она будет прятать свои, ответные, о времени и месте в директорском саду, в дупле старого дуба.

Он забывал о ней тотчас, когда они расставались.

Неделю он не был у Карамзина.

И однажды ночью, проснувшись, понял, что не может более жить так и завтра же утром ускользнет во время прогулки или скроется с самого утра, чтобы увидеть косяк Екатерины Андреевны окна, угол дома. Все, что он писал теперь, он писал втайной надежде, что стихи как-нибудь попадут в ее руки. Иначе он не написал бы и не переписал бы ни одной строчки. Он понял, наконец, что не может дольше и дня прожить без этой женщины, которая была старше него и могла быть его матерью, что он должен видеть ее во что бы то ни стало, а те мученья, о которых он писал в стихах к Бакуниной, были только догадкой о настоящих мучениях, которые вдруг пришли теперь и только начинались. Она была жена великого человека, мудреца и учителя, недосягаема, неприкосновенна. Он вдруг вознавидел всякую мудрость и спокойствие. Самый звук ее имени не должен был быть никому известен. И он закусывал губу, когда говорил с Пущиным о том, что был сейчас у Карамзина, Карамзинах, чтоб не сказать: Карамзиной.

Она одна его понимала.

Только у ее ног, неподалеку от цветов, которые прислал ей кесарь и

которые она безжалостно отодвинула к самой двери и не поливала, так что они засохли и оставалось их только выбросить,— только у ее ног он говорил, болтал, шутил. И юна смеялась.

Кесарь уступал ей место, когда она входила в бальный зал, и — bravо! — не имел никакого успеха.

А без нее он вдруг переставал отвечать на вопросы, не слышал Дельвига, Бюхли; он шугался участи, которая предстояла: молчать всю жизнь, до конца, никогда не назвать ее по имени. Никому, даже Шущину. Бояться самого себя, чтобы никто не догадался.

Он чертил на песке вензель Н. Н. Это был теперь ее вензель. Он винился с Лилой, пугал ее внезапностью, грубостью, непасынностью, удущивым, тортанным смехом, тихим клекотом в такое время, когда никто не смеется. Жажда познаний увлекала его. И, возвращаясь почью, он хотел увидеть узкий след на земле, чтоб его поцеловать, след той, которую отныне всю жизнь он должен будет звать Н. Н.

## 17

Кончалось время педомоловок, оскорбительного отсутствия приемов у императора, двусмысленных подношений цветов из царской теплицы. Вчера явился за ним камерлакей. Свидание состоялось, и хотя во время свидания ничего еще не было сказано, и самый разговор был со стороны царя-хозяина беспредметный, хотя и заботливый,— он был позван. Начиналось то, к чему он уже не стремился, но все готовился, каждый раз шаталкиваясь на равнодушие. Он призван быть советником царя. И в следующую же встречу он скажет просто: пора забыть молодость, не его, а государеву, пора править. Да, самовластие. Да, рабство. Ограда от конгрессов. И два государственных вопроса: о его дурных советниках и о гвардии. И хотя царь, с его улыбкой — у губ и у глаз — и с наморщенным белым лбом, сиповатым голосом сказал позначущую любезность,— приглашение жить в Китайской Деревне объяснилось: он — советник царя; сомнений более не было.

Только наверстать пропущенное время, только... Он принял с удовольствием молодых людей. Один — танцор, другой... другой оторвал его. Бог с ними, с лицейскими юными повесами! Екатерина Андреевна придает мальчику значение, которого у него нет,— смеется надшим и, вместе, любит всю эту фанфаронаду, зелено, незрело — и какая грусть, пустая, ни на чем не основавшая, в стихах его, какая быстрота пасмурок и приверженность к «Арзамасу». Арзамасцев, которые преклонялись перед ним, Николай Михайлович любил, это были единственные люди в Петербурге, стоявшие дружбы, но требовал одного — пристойности.

Брат Екатерины Андреевны, милый Пьер Вяземский,— журналист природный. Но что за излишняя горячность. Он уже говорил с Блудовым о том, как все можно привести в вид приличный, без излишеств, и подкопец заняться в «Арзамасе» тем, что нужно,— вкусом. Шутки милы, когда уместны и пристойны. Шутка с Василем Львовичем была мила, хоть и непристойна, но игра разрасталась все далее, и было неизвестно, чем это кончится. Это отзывалось гусарством, разгулом, а вовсе не защитой его или даже Жуковского. Молодость права, что шутит. Но можно бы соединить

приятное и смешное с важным. Блудов призывает к изданию журнала —  
шутка шуточного, но полного вкуса в шутках.

Чаадаев нравился ему. Пусть слухи о нем противоречивы: Авдотья Голицына говорит о нем, как о танцоре удивительном, а Пушкин принимает таинственный вид и ничего не говорит. Они шумят — это молодость. Сегодня Пушкин попросил позволения притти с Чаадаевым, и приглашение дано не без радости. Эта молодость нуждается в его уроках, но и он нуждается в этих молодых людях. Их разговоры не вовсе пусты, Чаадаева ценит Васильчиков, и уже появились, мелькнули признаки его блестательной карьеры.

О! Сколько он уже видел, сколько провожал этих блестательных карьер, так и не сбывающихся, этих лавров, так и не сплетающихся? Странно! Чаадаева уважают старики, жалеют за что-то женщины. Авдотья Голицына грустная, когда говорит о нем, и, перед тем, как говорить о математике, передала какую-то его фразу и посмотрела значительно. О! Математика и красота! А Чаадаев — гусар и мудрец! Чудеса, новое время. Гордышко молодых людей он осуждал: она ни на чем не была основана. Опи, видимо, считали себя судьями всех, — видимо, и его. Отчего поднята его правая бровь? Неужели от высокомерия? Авдотья сказала же о нем: мудрец. Он смотрит ходяще, как власть имеющий:

Чаадаев смотрел, улыбаясь пухлыми закусщенными губами и не улыбаясь высоко поднятыми глазами. Карамзин с неудовольствием заметил, что эти глаза все увидели: засохшие ветки царского букета, которые он постеснялся выбросить, корректуры на двух столиках — второй был Батерина Андреевны. Потом Чаадаев присмотрелся к китайскому дому, ничего не сказав, и Николай Михайлович вынужден был сказать о случайности своего помещения и как нехорошо оно, несмотря на то, что Петр Андреевич старался: щекатурка лопается. Сегодня царь сделал выговор Захаржевскому. Это было совершенно точно. Но Чаадаев не удивился и ни о чем не спросил. Он заговорил о Китайской Деревне в Царском Селе, и оказалось, что знает все ее постройке. Его занимали самые простые дела, как они занимают женщин. Вот почему Авдотья считала его, видно, мудрецом.

И в самом деле, говоря об этой ненужной постройке и небывалой деревеньке на китайский вкус, отданной Карамзиным (ибо ничего другого с Китайской Деревней делать было нечего!), Чаадаев преобразился. Он сказал об единичности и отрывочности всех строений в Царском Селе, что все дома здесь недокончены и недолговечны; и таково их назначение. Выглянул в окно и поглядел на фреску: дракон, изображенный Бамероном, мало напоминал Китай. Эти подражания Азии, взятые из Европы, были ему забавны.

И в самом деле, глядя на этого затянутого, как рюмочка, гусара, с такой еще молодой шапкой выющихся волос и задорным носиком, Карамзин почувствовал значение этого юноши: умен без неловкости, свободен и склон в движениях и словах без развязности. Пушкин его обожает: смотрят на Карамзина, чуть ли не читая, какое впечатление произвел гусар. Смешно и мило. Впечатление хорошее.

Карамзин ответил сухо, что более всего климат принудил его воспользоваться царским приглашением — блестящая оптика Петра: Петербург заставляет бежать в любое место, но жить далеко он не может, потому что

ждет корректирования типографского. Итак, лучше жить в селе, чем в подмосковной или на Волге. Он сказал о местах возле Симбирска: умеренный климат, благородстворенный воздух, суда на Волге; человек, который там живет, долголетен. Иноzemцы и туда бы доехали, а здесь, на Неве, можно было заложить купеческий город для ввоза и вывоза товаров. Более чем достаточно. Не было бы Петербурга, но зато не было бы слез и трупов.

Катерина Андреевна была занята и не выпала. Она могла бы выйти, но не захотела. Она хотела видеть и слышать их, когда ее не будет. И она за дверью внимательно глядела и слушала. Пушкин, как всегда бывало, когда ее не было, несколько раз вертелся волчком и непроизвольно оглядывался, искал ее. Она улыбнулась. Ее мучило другое любопытство,— она привыкла к этому безвоздушному величию своего мужа. Конечно, он был мудр. Он был самый великий писатель из всех, кого она знала. Но ее пугала эта его непривычность, равнодушные и вежливые взгляды молчаливых камердачеев, которые приносили ей цветы. И она жадно слушала поэтому эти разговоры.

У нее создалось впечатление, что Николай Михайлович знает все; они молоды и даже представить не могут, какие горы книг и рукописей в каждом его слове. Но ее пугал Чаадаев. Вот он сидит и спокойно задает вопросы. Кто дал ему право так спокойно, терпеливо — и так, впрочем, почтительно — задавать вопросы, и кто заставляет ее знаменитого мужа так терпеливо на них отвечать?

Потом она взмотрелась.

Она знала славных франтов, она привыкла к щегольству гусаров, никто лучше не отдавал чести, чем Каверин, и она улыбалась этой бесстрашной и преданной вежливости, с которой он всегда широко и медленно касался кивера.

У Чаадаева было щегольство, которого она еще не знала. Прежде всего, что за совершенство — этот ментик, перчатки! И это вовсе не смешно.

У Каверина такой вид, точно он сейчас готов сорвать с себя и бросить к женским ногам из вежливости лядунку. Здесь, у Чаадаева, в этом совершенстве медленности, спокойствия, она угадывала строгую, беспощадную, медленную религию вежливости. Любопытно, что всем гусарам, когда они ходили по Царскому Селу, словно мешала одежда, — так все быстры и стремительны, а у него словно его одежда и все, что он говорит, и все, что старается делать, — одинаково важны. Этот тихий гусар — кто он таков? Шер Вяземский рассказывал, что он был в карауле императора в самый день взятия Парижа, — оно и видно. Но вот, — это дальше говорил Шер, — он был в фуге под Кульмом и под Лейпцигом, — этого не видно. А что у Бородина простоял у полкового знамени еще подирапорщиком весь день, — это и сейчас видно.

Встреча ее мужа и гусара, который пришел с Пушкиным, необыкновенно занимала Катерину Андреевну. Оглядев эти комнаты, которые с таким трудом привели в жилой вид Шер и Тургенев, Чаадаев спросил Николая Михайловича, не сырь ли в стенах, так как стены дурно сложены.

Николай Михайлович о стенах ему сказать не мог, он их не замечал. Чаадаев сказал и о крыше, — она сложена была отвесно и дать тепла не могла. Николай Михайлович удивился, откуда он все это знает. Чаадаев

ответил, что запомнил это, когда стоял с полком в Силезии, и что вооби  
война приучила его к тому, как надо жить. Он смотрел там на леса прост  
народья и убедился, что и лица и дома простонародья имеют что-то общее —  
отсутствие равнодушия. Здесь же другое — равнодушие от рабства.

Как они оба тихи — Николай Михайлович и гусар.

Россия ждала своей истории — труда Николая Михайловича. Скоро ему описывать Петра и его время? Екатерина Андреевна знала, что Петр может играть столь важной роли в «Истории» ее мужа, что эта История должна быть важным уроком, и поэтому самый великий — Иоанн III — будет и самым главным и самым обширным. Да, но гусар сказал об Европе Россия стала при нем Европою. Пушкин засмеялся в гусара глазами. Николай Михайлович был слишком словоохотлив. Конечно, он был прав: новые математики, сказал он. Нельзя писать об истории, как о задаче геометрическо

Однако пора ей показаться. Она вышла в сад, сорвала сирень, которой всему придавала вид Макателемы, и вернулась. Гусар говорил о рабстве говорил с тем властным видом, которого Екатерина Андреевна не терпел. Рабство было везде, — самый хлеб, который они ели, был хлеб, взращенны рабами. Чаадаев говорил спокойно. А Николаю Михайловичу это нравилось. Он отвечал заметно небрежно. В самом деле, здесь преувеличения. Она г смотрела в дверь, которая была незаметно для них открыта, — и поразила Гусар был бледен, даже губы его побледнели. Он говорил о рабстве так, как другие гусары говорят только о людях, с которыми завтра будут драться дуэли. Губы были бледные, улыбки как не бывало. Что за страсти? Может быть, войти и прервать их? Нет, гусар продолжал. Это была его неподвижная идея — рабство. В рабстве он видел причину того, что Россия не может быть выше всех стран Европы, а уничтожить рабство мешало, говорил он, самовластие. Есть только степени рабов — различие только количественное. Россия вскоре после отмены всего этого должна стать первостраною. И начал доказывать это так, как будто это предстояло увидеть скоро.

Это уж было слишком. Преувеличение, новое и модное, — сказал гусар Николай Михайлович со склерою в голосе.

В «степенях рабов» он ничего не видит, кроме смятения. Что разум под словом раб? Он говорил о хлебе, добываемом рабами. Но есть ли это рабство — самою природою поставленное правило, спорить с которым возможно, а говорить о нем — детскость. Все это давно доказано жизнью. Все установления этого рабства суть основы, были, значит, неприкасаемы; смягчать его, делать утлыим — вот остается.

Да, это рабство будет, а непокорных нужно смирять, как детей. горько, что бесследно проходят все примеры древности и недавней истории Франция щедро это доказала.

А самовластие — или, лучше, самодержавство — необходимо, и это показано временем, хотя можно, конечно, о многом ненужном, излишнем спорить. И он, Николай Михайлович, спорит до конца, — полезно это зредно самому бытию Истории, а стало — основе их жизни? И вдруг Пушкин неожиданно и коротко засмеялся своим странным лающим смехом и зу же замолчал.

Это было, разумеется, от напряжения нервов. Тогда Николай Михайлович взял со стола листок с копией древнего наставления Владимира Мономаха детям и прочел параграф, относящийся к детям и женам: «И не уставай, быв младенца...» и прочее. Листок был только что прислан, и у Малиновского были важные разнотечения. Он давал этим понять, что занят. Только ли?

Катерина Андреевна поглядела в дверь. Чаадаев сидел с широкой улыбкою, Пушкин был весел. Лучше бы они общались, как дети. Чаадаев звяжал шпорами, и Пушкин со своим воспитателем,— как уже называла про себя Катерина Андреевна гусара,— наконец, удалились.

Николай Михайлович засмеялся тонко и коротко. Он был явно разочарован.

## 18

Ночью она долго не спала, прислушиваясь к притворному, беззвучному спу мужа. Она знала: он лежал неподвижно, как мертвый, припомненная каждое слово Чаадаева, и не спал. И через полчаса она услышала его тихий, задавленный вздох. Притворяясь, что спит, он не верил ее сну. Она улыбнулась и заснула.

Утром она проснулась рано.

Она посмотрела яско на своего знаменитого мужа, на своего просветителя и друга и ужаснулась: неужто юнцы правы, и неужто уже двадцать лет она верила напрасно, прельщенная его мудростью? И если все это монашество,— зачем она рядом, здесь; зачем дышит, сдерживается, стареет и все хороша?

Она выскользнула из постели и посмотрела на себя. Она вспомнила взгляд Пушкина, своего смешного мальчика. Он просто ребенок. Нет, не просто. Муж приучил ее к терпению, власти над собой, которую эти безумцы называли вчера заодно рабством, а Николай Михайлович так просто и смело принял их вызов: да, рабство. Впрочем, был вовсе не этот разговор, не о ней.

Ей было немного жаль мужа. Он вчера говорил с обычной, только ему присущей, мудростью. Но его речь опять не была принята. И всего удивительнее было его затруднение: он говорил, как с младшими, и с Чаадаевым и с Пушкиным; и давно следует перестать так говорить. Величие более не в моде. Его следует скрывать, и тогда его простят. Может быть, и впрямь здесь что-то смешное? Как все просто стало. Она задала Чаадаеву вопрос: что заставило его перевестись в Ахтырский полк? И Чаадаев ответил ей по-гусарски: у Ахтырского Форма гораздо лучше. А с Николаем Михайловичем о каких только истинах не толковали. Николай Михайлович постарел. А ахтырская форма действительно лучше: выпушки, и потом не этот отвратительный селадоновый цвет, а синий. Он гусар — вот и все; и ответ его был гусарский. Он действительно прекрасно танцует мазурку, лучше всех. Раевскому далеко до него. А Пушкин вовсе не умеет танцевать: сопит и задыхается в вальсе. Он просто не может так близко быть от дамы. Надо его здесь подальше усаживать. О каких она смешных мелочах, гусарских, думает.

Она посмотрела на себя и беззвучно ступила голыми ногами на холодный пол, мимо ковра, к которому привыкла, на холодный пол, от чего предстерегал ее и столько лет отучал муж. Как до выхода за него, она почувствовала этот холод, который смолоду любила, от которого раз чуть не умерла.

Что с ней?

Она, босая, прошла по гостиной, где сидел Чаадаев, тоже смешной, — как она знала этих великих тандоров, которые всегда выступают, как в своей последней мазурке; он прославился здесь этой последней мазуркой. Девушка взглянула из двери на нее, испуганная, и спряталась. Она опять, видимо, теряла власть над собой. «Рабство», — вспомнила она Чаадаева. Бродит шеодетая по утрам и шугает девушек. Какой вздор — она не молода! Все это одиночество, нужно позвать Авдотью Голицыну погостить к нам. Пря Авдотье она нечувствовала ни робости, ни боязлия каких-то мужицких ошибок.

Авдотии певучий разговор имел такую власть, что, приди они, когда здесь была Авдотья, — они говорили бы другое, и не вышло бы неизвестного разговора, не было бы гордости Чаадаева, сомнений Пушкина. Она отлично это поняла. Это был не только разговор о единовластике и рабстве, это был еще разговор об императоре, а мужа — и фней. Странно, поэт был разговор фней. Николай Михайлович этого не понимал. А Авдотья плакала бы. Девушка присела пуховую шаль и закутала ей ноги. Она ничего не сказала ей и улыбнулась. А муж все спал. И девушка подала ей письмо. Все разом пропало.

Письмо брилес сторож. Девушка всегда сбивалась, путала и не знала, откуда, кому, от кого, какой сторож. Катерина Андреевна взглянула на грubby куверт без надписи — нет, не из дворца. И слава Богу!

Потом велела дать нож и вскрыла письмо. Вскрыв, она посмотрела на девушку и вся покраснела: покраснело лицо, щечи, грудь. Она бросила письмо на стол и сказала девушке спокойно: не принимать ничего ни от кого без сказа. Потом протянула письмо Николаю Михайловичу; он уже входил, спокойный, готовый для труда и прогулок. Он с изумлением посмотрел на нее и пробежал письмо. Он помедлил только мгновение и сразу же засмеялся своим сухим, поверхностным, не доходившим до груди смехом. Потом улыбнулся, недоумевая. В письме было торопливо написано только о часе и о месте: 6 часов у театра. Так пишут о свиданиях. Таково было это письмо, переданное ей девушкой. Они смеялись над этим глупым письмом, по ошибке переданным глупым сторожем глупой девушке, несколько дольше, чем нужно было.

Потом Николай Михайлович стал размышлять: чье это письмо? И вдруг неожиданно сказал: Пушкина. Потом он бчепь ясно и с веселостью, к нему вернувшейся, восстановил, как историк, все обстоятельства: мальчишка написал какой-то своей деве о свидании, а сторож не рассыпал (или не знал) и передал не туда. Ей так часто приходилось слышать от мужа объяснения исторических недоразумений и удивляться простоте этих объяснений, что она тотчас поняла все. Он был прав. Все объяснилось. Она спокойно сказала: следует его проучить. И Николай Михайлович подтвердил: да, следует проучить мальчишку. И вздохнул. Он назвал его теперь мальчишкой, чого

ральше не было и что ее немного удивило. Они еще посмеялись и разошлись. Она забыла об этом письме, и о Пушкине, которого Николай Михайлович звал теперь мальчишкой. Но вечером вдруг удивилась: кому он писал, этот мальчишка? Она рассердилась сама на себя за это любопытство и тяжело задышала.

Она была юскорблена, и вдруг перестала верить в его будущее, в его стихи, верить его смущению. И ей было неприятно, что Николай Михайлович стал так часто звать его мальчишкой. Впрочем, ей было все равно.

А он?

Все как рукой сняло: и заботы о любимом и вечном труде, который окончен и напечатан, и будет жить, когда сам он давно истлеет; и та горькая правда о древней России и новой России, которая дотлевала без ответа где-то, не то здесь, неподалеку, во дворце, не то в Твери,— без ответа, которого он так и не дождался и без которого—он знал это—Россия спокойствия не найдет, не найдет и счастья. Так он жил здесь, в Царском Селе: ни древней, ни новой России. И последнее, что гнело его и о чем он боялся и не желал думать: внезапная внезапная молодость жены, ее тревожное дыхание, все царкосельское их житье, без шуток и спокойствия, без старых друзей, которые одни существовали для него,— с этими чепоседами лицейскими, милыми, но утомительными мальчишками. И, наконец, самое последнее: спор с Чаадаевым, даже не спор, а с его стороны спокойное вражеское молчание. Он привык к тому, что у него есть враги и есть друзья. Здесь было другое: его юные почитатели были горше всех врагов, горше Аракчеева, с прородным, грубым умом кого он почти примирился, потому, что это было все же лучше, чем змеиная лесть якобинца-топоровича. Боже! С кем ему приходилось ладить! Они же были друзья, и до того чужие, что его шугала самая мысль о том, куда они ведут Россию! Ведут ли? Мальчишка, Сергея Львовича сынок, вертопрах, поэт— и гусар-танцов. Ведут! Не слишком ли пышино? И вежливость государя с мальчишками сплошь притворная, которую нужно не только допускать, но и ценить, ничего не означает. Он знал это лучше, чем кто-либо другой. Цесарь слушал его когда-то так, как будто ему дела не было ни до древней России, ни до Дворцовой. Эти юнцы хуже,— как будто знали и ту и эту. А теперь вдруг все как рукой сняло.

Это была сущая мелочь, анекдот, о котором и говорить не стоило: мальчишка ошибся адресом и сунул какой-то billet doux Катерине Андреевне. Но эта мелочь его заняла. Все зачинается с мелочей. Как вспыхнула Катерина Андреевна! Мальчишке, чаконец, укажут его место, и это будет для него полезно. Одно смущало его: неустроенность собственного дома. Конечно, это не его поместье, не Макаталема с простодушной, одинокой жизнью севера, но все же следует добиться большего порядка и здесь: нужно было взять с собою и уметь выбрать не такую глупую девушки. Какими смешными мелочами приходится заниматься к концу жизни, дотлевавшей, изредка только и запрасно всыхающей. Он сам знал: да, он был смешон замедни с этой речью перед юнцами, которые сидели здесь, в его кабинете, как судьи, перед ним. Он говорил так долго и горячо потому, что давно ли с кем не говорил, начиная с тех трех дней в Твери, после которых потерял все,— и не перед кем было. Все почитали и молчали.

Странно, что он говорил, как перед судьями,— тогда перед кесарем, а теперь — перед этими юнцами.

А он так ласкал его, быстрого, болтливого, почти дитя, что я впрямь чуть не доверился излишне.

Вот она, новая Россия!

То, что к юнцу потеряла вдруг доверие Катерина Андреевна, было забавно и даже приятно.

А она не смеялась, не улыбалась. Она теперь ждала его, как ждала только однажды в жизни — безвестного поручика, о котором вдруг вспомнила в этом году, прочтя в газете о подвиге поручика Струкова. Но у нее не даром кончилась молодость или, как она дважды в это лето сказала себе, без голоса, одними губами, глядя на пустынную ночь: жизнь.

Она тотчас же поручике забыла,— сказала себе забыть. И действительно, исчезла самая мысль об этом несчастном произшествии ее молодости. И не было никакой связи между всем этим и смешным происшествием с мальчиком и его глупым письмом. И все-таки, тяжело дыша и зачесывая волосы, она вдруг вспомнила и это.

Пушкин пришел. Он сидел в их китайском зале, круглом и маленьком, чужом. Пусть посидит. Она стала спокойна и ровна. Она прислушивалась. Николай Михайлович тоже не торопился. Пушкин быстро ходил, останавливался, срывался. Наконец она услышала: муж вошел. Она не даст говорить ему одному с Пушкиным. Его холодное спокойствие все погубит. Карамзин протянул записку Пушкину.

Катерина Андреевна вошла в тот миг, когда Пушкин, побледнев, держал свою записку машинально; увидев ее, он еще больше побледнел. Он не смотрел на них. Николай Михайлович поддержал ее и под руку отвел к дивану. Как он вдруг смирился, как стал жалок. Он, как в первое мгновение, держал еще этот *billet doux* и даже не скунул в карман. Он был смешон. Она не ждала этого. Николай Михайлович заговорил; без злобы, без холода, без тонкости. Он говорил с ним, как говорил бы его отец. Он смеялся. Во-первых, он взял на миг у него снова записку, прочел ее и стал подробно, как бы в недоумении, ее разбирать. Браткость записи удивительна. Она заставляет предположить, что это не впервые. Но если же впервые, как можно быть таким неосторожным, не ценить своей страсти. Что могут подумать ней, которой эта записка предназначалась, безымянная, стремительная. А быть может никому и не предназначалась, и все жжение страстей впукстую, как пишутся многие стихи?

Пушкин слушал безучастно и вдруг машинально поднял на нее глаза.

Он до того потерялся, что не поздоровался.

Как умен, как мудр Николай Михайлович! Он просто поднял его насмех. Он сказал, что его вступничеству Пушкин обязан тем, что сидит на диване, а не поставлен в угол, что, впрочем, заслужил в полной мере. И потом стал говорить все горячее. Он говорил с горечью о жалости, которую впушает ему Пушкин. Он припомнил даже, что здесь он интересен только Александру Ивановичу Тургеневу, да вот в этой хижине встречали его стихи с гостеприимством, как надежду на стихи, еще лучшие. Встречали, по впредь остерегутся. Он сказал, что самое смешное во всем этом смешном эпизоде это его годы.

Открыв рот, неподвижно смотрел в угол Александр. Тогда Николай Михайлович напомнил ему свой давешний разговор с Чаадаевым. Вот она, немецкая слобода, где юные пятииметры, молодые люди, начинают распутствовать, думая, что они в Европе. Лицей — это подлинно немецкая слобода Петра, где начинается российское распутство. Нет, прелестны изречения Владимира Мономаха: «Не уставай, быв младенца». Бедный священник, которого зовут здесь попом, не смеет преподать и тень этих учений, — над ним смеются. Что делать со страстным селадоном в шестнадцать или семнадцать лет? С Ловласом, который забывает своих друзей и до сих пор держит в руках свой манускрипт, повидимому, столь для него дорогой?

Он и вправду до сих пор нелено держал в пальцах эту записку, как будто отнемел и не понимал, что это такое. Тут она засмеялась, — это действительно было смешно. Он опомнился, посмотрел на этот листок и скомкал. Наконец он поднял голову и посмотрел на нее с удивлением.

Но она смеялась все громче.

И тогда он понял, что его любовь, надежда, все его стихи, жизнь — все, что он о ней думал, будущее — все осмыслило, ничего нет, ничего не будет. Она смеялась над ним все громче. И совершенно неожиданно для самого себя, он заплакал, неудержимо, без слов, держа в руке сложенную записку. Так не плакал он и ребенком. Он плакал, и слезы не струились, не текли, а прыгали у него, и темнозеленая кожаная ручка дивана через минуту блестела, как отмытая дождем.

Николай Михайлович тихо удалился. Это было совсем не то, чего ожидал и желал. Пушкин поднялся, выпустил, наконец, из руки эту записку-комочек и убежал, не глядя, вперед, широкими, слепыми, легкими шагами, как убегают навсегда. Он не взглянул на нее. Она на него глядела, и если бы он увидел ее взгляд, он не плакал бы, как ребенок, и остался бы.

И в самом деле, не убежал же он навсегда.

## 19

Победа! Победа!

С утра скакали фельдъегери. И конский топот, ровный, острый, скорый — не поспешный, а скорый, скорее всего. Государь приехал в Царское Село. Победа! Россия была счастливее всего в этот день. А счастливее всех — они, у самого царского дома. Все изменилось, все беды миновали. Только бы выдержать счастье. Вся Европа, очнувшись от счастья, еще не перевела дыханья. Победа! С утра Кюхля притащил свой словарь. С утра до ночи писал он теперь на первую букву, А, — Александр.

Сегодня ему повезло. Проезжая где-то неподалеку от Рождествена, император заметил крестьянина, пахавшего землю. Борона у старика споткнулась о корень дровесный. Император слез, — нет, спрыгнул с коляски, — велел распрычь своих коней, и сам, — сам! — впряжен в мужицкую, — нет, крестьянскую — борону. И провел коляку по всей полосе. Так, по крайней мере, говорили, и Кюхля записал это в подробности. Победа! Рабство должно было на этой неделе пасть. Осанна! Император убедился, что народ, не жалевший себя, умиривший, по не сдававшийся, и теперь входивший в Париж, что народ достоин свободы. Сомнений не было. Да будет посрамлен всякий, кто посмеет сомневаться. Рабство падет по манию царя на будущей неделе.

Самый вид царя вдруг преобразился.

Пухлые бока замечали только зоилы! Он был строен. Славный артиллерист из простой дворянской семьи, Аракчеев по имени, столь славный победой восьмого года, стоял у тропа, преданный без лести, друг и брат царю. Сомнений никаких! Нет рабства, падшего в один миг по матиню царя,— известия еще не получены; но ведь во время войны победоносной известия запаздывали. Новая сказнь началась! Дело должно решиться в этот год, быть может, в эту неделю. Сердце, будь часовым!

Он был велик и прекрасен в этот день!

Семнадцатилетнее сердце Пушкина точно, как часы.

Он знает доподлинно, что велик и что велит счастье.

Рабство падет, потому что царь с редким вкусом и знанием дела любит простое и ясное в людях и делах.

Милые Вельо жили у самого лицея. Когда они— еще при Малиновском— совершали лицейскую прогулку, старая мамзель Шредер, с красным носом и строгим видом, вела гулять обеих Вельо.

Были красавицы, и они видели их, но эти не были красавицами, а были много милее.

Старшая, София, поражала их своей походкой, которая запоминалась, младшая, Тереза, была легче пуха. Они были потодки, одного с лицейскими возрастом. Отец их, португалец, был купец. А они обе жили в домике, который хорошо знали, у дяди своего, Теппера де Фергюссона.

Они любили этот домик, где жил этот строенец, дядя обеих милых Вельо. Он был музыкант, терпеливо учивший их музыке и играющий на клавесине собственные сочинения, довольно быстрые. В комнатах была легкая живописная внешность Теппера. Эти легкие античные красавицы, тонкие, как стрекозы, как эпитеты, напоминали одновременно и тонкую бородку Теппера де Фергюссона и осипые талии Софии и Тerezы. Пушкин однажды увидел, как победитель мира увозил на легкой осипой колясочке Софию. Они знали, куда. В Баболовский дворец. Баболовский дворец, странно поместильный, четырехугольный, им так и запомнился. Здесь было простое, с таким знакомое счастье победителя.

Они готовы были хранить, опекать счастье великого, счастье прекрасного Александра. Его краса была в Баболовском. А к сестре ее, милой Тerezе, ходил иногда Плетнев.

Рабство, падшее по матиню царя. Вольность. Счастье. Время стало быстрее.

Назавтра стали Пушкина поздравлять. Он удивился. Слышали, что он был у государя в Баболовском дворце. Улыбались.

Пушкин не был в Баболовском дворце. Государр не говорил с ним. Это была потребность поставить рядом с государем известное имя.

И так его слава росла. Уже выдумывали о нем небывалые подробности.

## 20

Это были эпиграммы— каторжные, злодейские.

Карамзин судорожно сжал их в руке. Он прочел первую. В ней было какое-то добродушие, хоть и истино разбойничье. «И, бабушка, затеяла пус-

тое — докончи лучше пам Илью-богатыря!» Что за начало мужичье: «И, бабушка...». Так действительно говорили старые бабы где-нибудь в Коломне, возвращаясь с базара. Новое светило новой насмешливой поэзии. Новый Вольтер! Второй он не перечитывал. Он узнал свой разговор с Чаадаевым, искаженный, изувеченный, безбожно перетолкованный. Сомнений быть не могло. И ему стало скучно. Спасаться от докучливых визитов, жить в этом уединённом — между врагами, и друзьями, — царском поместьи, — и быть преданным со стороны... мальчика, Василия Львовича племянника. Лицейского! Катерина Андреевна всех их избаловала. Она ведет себя — это странно сказать о ней — моложе своих лет.

И он почувствовал, что этих стихов не прочтет Катерине Андреевне. Он боялся не того, что она не разделит его гнева, — об этом не могло быть и речи, — он боялся того, что она испугается. Он уже заметил у нее такое выражение, — после этого его разговора с тусаром, — ее слишком нежный, слишком ласковый взгляд. И она взяла тогда его руку в свои — и вдруг поцеловала. Да, она уже поцеловала раз его руку — когда он подписал первую корректуру Истории Государства Российского. Но почему же теперь?

И он ничего не сказал ей.

А Шушкина он просто позвал, увидев из окна, — это было в среду вечером, — положил перед ним эти эпиграммы и наслаждался тайне его видом. Как бы побледнел! Вообще во всем этом было что-то детское, что его отчасти мирilo со всем этим происшествием. Он приволокнулся, воображая себя, видимо, гусаром, за Катериной Андреевной, написал ей эпистолу, спутал с какою-то шалостью, о которой нужно бы просто сказать в лицее его дирекции — как воспитываются в этом творении Сперанского юнцы! — спутал, выслушал заслуженную отповедь, заплакал, как ребенок, — удивительно! Ручка дивана, что у окна, была словно омыта водою, — а потом захотел отомстить. И вот конец!

Теперь он не плакал, теперь он побледнел, словно побелел, и ни слова не сказал, как и тогда. Но Николай Михайлович уже без этой легкой и списходительной усмешки, как в первый раз, а сухо и кратко сказал: больше не бывать здесь, пока он не одумается, пока не научится понимать отечественную историю — или, по крайней мере, не привыкнет хоть к расстоянию между собою и важнейшими событиями и предметами этой истории. А чтобы он стал привыкать к этому расстоянию, необходимому для него и истории, — пусть он на первых порах соблюдает расстояние хотя бы между собою и этим китайским домом...

Он уже неделю ее не видел. Нет, не неделю — восемь дней: он был у них в среду, потом в воскресенье забежал, видел, как она подала Николаю Михайловичу, листы его Истории, шахнущие терпкой печатью — боже! Она держала корректуру Истории — что бы с ним ни было — эта История священна. Как бы он ее ни знал, не знал вней смешных сторон. Да ведь и Барамзин их знает, шебось! Дело не в этом, восемь дней он ее не видел. Он забыл, забыл павсегда, свои слезы. Иначе, если б не забыл, он жить бы не мог и не должен был. И теперь он привыкал властвовать собою — после этих по-

зорных слез,— он, не предаваясь им, искал утешения в неторопливом, скучном на слова, редком разговоре с Чаадаевым. После того разговора он как можно точнее записал отдельные слова этого разговора. Чаадаевские слова, которые были и его мнением: изящность, простота великого труда Карамзина. Изящность, простота, отсутствие пристрастия. Он стал записывать, рифмы сами пришли без пристрастия. Карамзин сказал о необходимости самовластья, неизбежности. Да, и молчание о рабстве. Как же, что же осталось?

В его «Истории» изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастия  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Без мечтательности. Эпиграммы точны, вот в чем соль.

Уже неделю он ее не видел. Побывав у гусаров, встретив там Шишкова, он ночью проснулся и весь день говорил о точности, днем, вдруг, сам, со стороны просмотрел на свою судьбу — и удивился. Ужаснулся. С ужасом он подумал, что теперь должна была исчезнуть последняя правда — правда в разговоре с самим собой. Он должен был накрепко закрыть от всех — и от себя прежде всего — самое имя ее, самую возможность сказать о ней, назвать ее. Это его поразило. Он был приговорен. Не скажет и в стихах. Что же далее? Пройти эта любовь не может. Забыть ее невозможно. Сказать нельзя. Он начал уже лгать перед самим собою. И вдруг — руки его широко открывались. Об этом и подумать было страшно. Он и не думал. Только точность осталась. Он писал стихи, привычные. Быть может они бы понравились Батюшкову. Да, его похвалил бы Батюшков! Бог с ним совсем!

И он увидел однажды — на восьмой день — ясно: он несчастен, и счастье невозможно. Что было бы, если бы он написал об этом?

Счастлив, кто в страсти сам себе  
Без ужаса сознаться смеет.

В страсти. И ему стало легче. Таков он был. Всё это не была лицейская любовь. Страсть. И он не смел признаться в ней. Самому себе. Кончились лицейские упражнения, страхи, тайна. Страсть владела им. И был страх перед страстью.

\* \* \*

Она теперь сама себя не понимала. Она была недовольна собою, недовольна божеством, которому сама принесла в жертву свою жизнь, свою молодость. Увы, где она, эта молодость? Она стара, и только внимательность, прилежное терпение ее великого мужа оставляют ей молодые часы. Старость ее молода. Все бы хорошо, да сегодня она вспомнила взгляд Авдотьи, простой, без выражения, по которому она сразу увидела, что Авдотья обратила на мальчика внимание. И она вспомнила, как Пушкин вдруг, быстро и потерянно на Авдотью поглядел, почти так же, как тогда, когда плакал. Ей просто жаль было его, как ребенка. Но мальчик удивительно горяч, без ума от внезапных, шальных страстей. И она почувствовала, что ни за что его Авдотье не отдаст. А поняв это, осердилась на себя. Пушкин вел себя вполне

простойно и даже подконец не шутил, что часто выходило у него невольно, бурно. И она придралась к себе, заметила, что и этим недовольна.

Николай Михайлович ежедневно уезжал верхом по грибы. Она с почтением смотрела на его посадку в седле. Стоило только держаться в седле по-небрежнее — все бы сказали, что он скачет, как молодой, как гвардец. Куда там! Он проезжал как умный, великий человек, но отвык, и его прекрасная посадка была хороша, но чуть смешна. Без него она уходила иногда. Здесь дворец ограничивал собою все. Она уходила из китайской хижины, их живописного, хоть и скучного места, смотрела памятники.

Пушкин после своего беспричинного громкого плача, которым вдруг себя осрамил, не смел к чим показаться. Он бродил кругом, то здесь, то там. На седьмой день он стал задыхаться.

Между тем, шатаясь, шока Энгельгардт не показывался, занятый одною, только одною мыслью, он приучил себя с принужденным вниманием смотреть на царскосельские, или, так еще старики говорили, сарскосельские, памятники.

И однажды они встретились, столкнулись случайно, нечаянно. Он вдруг ее увидел. Она, привыкнув к корректурам мужа, увидела памятник, всем похожий на ее корректуры. Это был монумент Румянцеву Задунайскому. Черный лист с выпуклыми буквами был памятью славной битвы Кагульской. И в этом листе говорилось, как в точной исторической памятке, которых столько она прочла и правила в Истории Государства Российского. Она прочла все с начала до конца и оперлась о чугун. Было жарко, а здесь холод от чугуна. Она коснулась его, провела пальцем по какому-то имени. Пушкин увидел ее вдруг — и вдруг рванулся к ней, как конь, оттиснутый шпорой.

Она обрадовалась ему, немного сильнее, чем можно, чем сама ожидала.

Вдруг, задыхаясь, обняв ее стан, он стал опускаться и, упав, прижался губами к ее юзой спине. Она закрыла глаза, кажется.

Он ничего не говорил, лежал у ее ног, и она не напилась, как и что сказать ему. Он обезумел. Поднявшись, задыхаясь, он от нее же отрывался. Он не обнял ее. Онпал к ее ногам, как щадкопененный, как падают смертельно раненные.

Не раз и не два, днем и под вечер стал он приходить к Кагульскому чугуну. И прочел весь список Кагула — подробный список победных содеяний, весь список героев Кагула. Среди них было имя Анибала Ивана Абрамовича, которому он обрадовался. Он прочел весь лист назавтра. В этот день он ни о чем не думал. А возвращаясь от Кагульского чугуна, вдруг засмеялся. Он не умер, не сошел с ума. Он просто засмеялся какому-то неожиданному счастью. Чугун Кагульский, ты священ! И, пришед домой, он всю ночь писал быстро.

Она ничего не сказала своему великому мужу — его покой был слишком дорог. А Пушкин — мальчик, безумный. Ей было жаль его.

И она постаралась поскорее забыть о себе у Кагульского чугуна. Она вдруг поняла, что поступила верно — который раз? — когда решила не отдавать его Авдотье. Как он на нее взглянул тогда... сразу покорился! Он погиб бы. А давеча как упал к ее ногам! Точно раненный насмерть! Все же он не умер. И она засмеялась, как давно уже не смеялась. Покраснев и полуоткрыв в смехе губы.

Все же он не умер, и стихи его живы. Так живы, что когда давеча читали, она потупилась, точно прочли чье-то письмо к ней написанное. Не умер, живохонек!

Она покраснела от радости.

Никто не мог бы, никто не посмел бы сказать, что он пропустил Карамзина. Разве стихи его остались бы теми же, не сделались бы другими? Но ведь они каждый день делались другими.

Однажды Карамзин спросил его, как пишется, готова ли его поэмка?

Увенчанный славой, первоклассный, уже ощущающий горечь на дне поэтической жизни, он спрашивал его просто о ловой, только начавшейся поэме и явно интересовался ею, знал ее, потому что называл ее поэмкою.

Да, шаг за шагом, терпеливо, настойчиво шел он за Карамзином и писал эту поэмку, умную, с этой легкостью, мудрою усмешкою, вполне готовую к тому, чтоб сравниться с лучшими стихами, поэмами Карамзина. Он олицетворил эту тонкую усмешку в поэме в лице героини и назвал ее Зоей. Эта Зоя должна была быть совершенной умницей. Она вовсе не собиралась в ответ на благодарность героя погубить жизнь.

За спасибо в темну яму лечь.

Мудрость полуурешений была в поэме лукавою и истинно милотою.

Нет, он чутко внимал Карамзину и шел за ним. Он погнал рифмы из поэмы, чтобы в стихах была честность прозы. И доведя эту умную, эту умненькую сказку до поворота, не захотел ее читать и думать о ней.

Он вдруг научился пропускать. Рифма доказывала верность мысли. Ею писал без рифмы — писал боясь проверки. Рифма была некогда богиней. Ум? Не ум, а разум. Самое высшее доказательство истины, самый ясный разум — была любовь. Не любовь, а лесчастье стерегло ею. И все же. Все же да здравствуют музы, да здравствует разум! Уже пять дней и две ночи писал он новую поэму. Рифма, любовь — и не половина — разум. А история русская — ее творили Карамзины для него.

Рифма. И любовь, как рифма. Не половинная, не мысленная любовь. Не усмешка ума, музы и разум да здравствуют!

История русская, родина русская, стародавняя. Рифма была проверкою верности мыслей. Проверкою верности событий, верности событий истории русской, родины — была любовь. Да, он у Карамзиных учился — у Катерины Андреевны Карамзиной. Как часто ворчал он на отечество, когда канцелярии свистом перьев писали о нем. Не поэмка, поэма началась. История земли русской — творение Катерины Карамзиной.

Когда он упал неожиданно к ее ногам, когда у Карамзиных плакал бурно, он вдруг понял и почувствовал: есть одно лекарство от этого. И, встав, пойдя долгим путем, задумался и вдруг засмеялся.

## 22

Архимандрит Фотий был весел сегодня! Геенну на него призывали. Так пет — пакося, выпуски! Он был ловец людей. На трех ловил, на наживку пли. Он излечит, он вылечит. Оп чуял грех, как пес чует дичь. Не даром он теперь правит Юрьевецким монастырем — дали ему. Нищему — нищую обитель.

Превознес, возвеличил, ибо чутъем берет.

Вчера сказали: Голицын-ирод впал в немилость. Исаия ликуй! У него грехи все собраны.

Он увидел Анну. Орлова-Чесменская. Ленко ли! Полумиром владеет. Так он ликовал.

Анна Орлова, дочь Алексея Орлова, который одним часом стал счастлив — примчал из Петербурга Екатерину, убил за трапезой Петра Третьего, всю жизнь любил забаву, кулачные бои, как мальчик, как дитя. Алексеи — звали его братья. Теперь они с ней перестали видеться. Поэтому что здесь он! Фотий! Какие богатства остались! Юрьевецкий монастырь уже не монастырь, не братчина, не вотчина, он — государство. А все он, Фотий! Стал духовным отцом и самолично спал с нее грех. Даже слова не сказал! И прощенье не дает — пусть походит.

А теперь убрал Голицына, сластолюбца, хитрого мужеложца. А что было дьяволовой красы у Анны! Золотые статуи из Италии, древние — целая комната! У него. Он расплывши. Анна смотрела, чтобы дядя не встряли.

А сегодня Фотий добрался, наконец, в Царское Село. Вот где грех в цене, вот где гуляет! Анна устроила это свидание. Там происходили события, которые только он, Фотий,полномочен решать. Император Павел, убитый, не давал покоя. Фотий для высокого места привнес клад — он травил рану у себя на груди. Разжигал ее. И теперь в любую минуту перед кесарем он Фотий, явит видение — распахнет грудь и овладеет. Он завоюет!

Он спал теперь в гробу. Анна сделала этот гроб мягким, теплым. Он рано встал. Сегодня он ликовал. Завтра — завтра овладеет Юрьевецкий монастырь — кем? чем? — Россией. Вот оно, время! Пляши!

Он взял притихшую Анну под руку и, как всегда теперь, стал напевать, петь, мотаясь из стороны в сторону над траиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской.

— Анно! Дево! Анно! Дево!

И стал тонким голосом все петь, все щапевать, в яосторге перед тем, что предстоит, — раскачиваясь, обняв ее, чтоб было поудобнее:

— О Анно! О дево!

Но тут Аннушка — так он зывал ее, когда бывал счастлив, — тут Аннушка, столь бережливая, когда нужно было передавать духовному отцу все богатства, что она делала расписками, приказами да зде, тут Аннушка положила ему в руку листок.

И, напевая, блаженствуя:

— Дево! Анно!

Фотий взглянул боком в листок.

Он пел и качался. Листок был мирской.

Он пел и качался, но сразу увидел, что то были фириши. Благочестивая жена!

Подносят пииты ей фириши. Анникита, в мире князь Шихматов, Сергей — это он, он воспевает и тешится.

— Анно! Дево!

Он плясал, взяв за ручку деву Анну, все качаясь, и вдруг явственно прочел:

Благочестивая жена!  
Душою богу предана,  
А грешной плотию  
Архимандриту Фотию!

И не в силах прервать свой пляс, который явно был богоодхновенный, тонким голосом все так же прошел об этом листке (о его происхождении, об авторе):

— Сатано!

И, все еще качаясь, продолжал петь и прошел о пите, который это сделал, прошел приказание:

— В Со-лов-ки!

## 23

Настиг!

Он настиг эту пару — и где! — в своем жилище, в его собственном — увы! — столь скромном директорском доме, где он жил как хранитель этого места, этих лицейских! Ведь он, создатель лицей, заботившийся и добивающийся родства со всеми, он, пришедший сюда как в собрание жаждущих попечения, он, и только он, своими трудами добился этого! И какой скромностью он отвечает им всем. Когда Корф сказал, что эта мраморная доска, которую он сам поставил, — *genius loci*, — есть признание его заслуг, разве он не шизинул на него! *Genius loci* он воздвиг в честь императора, — и даже не он, а лицей! Как бы то ни было, трудами он спаскал.

Несчастье, как всегда, бродит там, где есть чужие! Словом, он настиг эту пару. В бесстыдном положении! Ему поручена эта молодость, он надзирает, печется и просит юб одном — не мешать! Но этот Пушкин, который нападает, который всех сорванил! Он тотчас же все привел в порядок и выяснил. Вдова Мария Смит уехала. Вещи уложены, Фоме сказано, чтоб отвез. Сегодня же! Сейчас же! Ее уже отвезли. Он наблюдает или, вернее, блудет память ее мужа. Не в этом дело! Он не знал этого мужа! Он просто повесил здесь паспарту, чтобы вдова помнила и наблюдала. И он настиг их. Ни слова об этом. Он, он сам его покрывает! Сам никому не рассказывает. Ибо — стыдно! У него будет о нем разговор. Там, где нужно.

Он сразу не хотел действовать. Он — отложил на день. Как напрасно! Словом, кратко, случилось такое: директор Энгельгардт, действительный *genius loci*, настиг Пушкина с молодью вдовой. Тотчас распорядившись об отъезде вдовы, он решил на день, на один день, отложить дело о Пушкине. И тихо сказал по лицейскому:

— Чтобы он, чтобы его — чтобы здесь не было его духу!

И этого духа более не было бы. Но в тот же день приезжает к нему старик Недединский-Мелецкий и привозит от императрицы часы с надписью. Он, Егор Энгельгардт, рад и тому, что не погнал молодчика на день раньше. Вот судьба! Он только сохранил в общем журнале отметку, которую сделал о Пушкине: «И ум и сердце его пусты». Пушкин, конечно, ликует, но сдержанся, и когда все написали ему в альбом, написал и он — короче всех, но прилично: в лицее не было неблагодарных. Прилично. И вместе, как всегда, уклончиво. О нем ни слова. И директор так беззлобен, что не настоящему огорчался бессердечностью Пушкина. Получив эти часы, он не уми-

мился. Ни слова не сказал, хотя, конечно, и был доволен. С тим осторожнее! Его утешенье — другие. Корф говорил о нем, о Пушкине: у него холод и пустота во всем и только две страсти: женщины и стихи.

Много не мог предугадать Энгельгардт.

Сказать, что дадут часы — императорский подарок? Кому? Пушкину. Не угодно ли? Холод и пустота в этом человеке. Вот и все. Корф, который сердечен, сказал ему, что он о Пушкине думает. Корф умен, много работает умом и делает успехи. И формула Корфа о Пушкине: холод, пустота. И только две страсти: женщины и стихи. Каково! Корф — лицейский умник. Корф прав. О фаворите ни слова. Она отбыла.

Но кто бы мог подумать, что его стихи — это сила! Насмешник остроумен, бог знает у кого учился из французов. Вольтер был давно. Бог с ним. Но знает ли юн литературу? Поверхность. Немецкой литературы и не касалася. Он хотел дать им в лицее общительность и светскость. И какая дьявольская насмешка!

А теперь — директор должен был и это унижение пережить, — он получил часы. Бог с ним. Хоть не ему, так лицо все же приятно. Но он их не бережет. Вчера потерял. И он, старик Энгельгардт, должен еще об этом заботиться.

Он вздохнул. Надо сказать и об этом.

А кроме того: ведь что в лицее за последний год приходится терпеть! Это все он. Бюхель конечно со странностями. Но ведь его отец почтенный. На все его странности нельзя смотреть. И вот Бюхель — несмотря на старую близость с тим, Энгельгардтом, почтенного отца — вдруг выступил! Нет сомнения, что это дело Пушкина.

Вдруг сказал, что директор только с теми водится, кто может быть многих мнений об юдом. С таким трудом наложены редкие, но приличные по прежнему отзывы — кого? Аракчеева! И он ему всех заразил. Вдруг что-нибудь произойдет? Бюхель также выступал. Он всех лишит, то есть он лишит его — всех. Нужно еще смотреть, не потерял ли этот мастер — эти часы! Фома! Следи! За чем? Да за часами, Фома. Хе-хе...

## 24

Где он жил? Да погоди.

Никто никогда не знал, не мог сказать — где.

И наконец: кто он такой?

Почему и зачем появился? Почему, прежде чем добиться приема у государя, Каравзин должен был добиться приема у него?

Быть может, тайна?

В самом деле, как тут могло быть без тайны?

Женщины горячились. Тайна. Рассказывали, что он спас императора от смерти, когда тот тонул. Да император и не думал никогда тонуть. Да откуда эта дружба? Просто оттуда, что предан без лести. Ведь кругом него — лесть.

Говорили, что он грамоты не знает. Но это с удовольствием говорил он сам. Нет, знал грамоты — не свыше того, что требовалось, однако и не ниже.

Он был артиллерист, знал артиллерию смолоду. Говорили, что он Сперанского в двенадцатом году упек, заслал. Нет, со Сперанским были, хоть редко, отношения.

Чем он держался столь крепко? Тем, что не знали. Фрунтом. Лучше, чем он, не знали фрунта.

Царь ездил на развод. Нужно было верить. Он верил во фрунта. Фрунт все спасет! В военных поселениях поселяне станут во фрунта. Ничего более. Будет и хлеб. В фрунте мог с ним равняться только император. Тоже, как узнал, поверил преданному без лести. Простой фрунтовой строй равнял совесть. Такого искусства во фрунте не знали и при императоре Павле. Стали иные говорить, что Наполеона не фрунтом победили. Лишние разговоры. Может фрунтом и лучше бы было. Иные люди — молодые люди. В строй! Двадцать лет шагать — не день. Не рассуждать. Не кричать. Вздумали грамоте учить по разным методам. Одни привезли из Англии — взаимное обучение. Ланкастерские взаимные обучения. Друг друга учат. Скоро, говорят, научают. Но беда в том, что, того и гляди, и выпрямь научат. Вся армия читать начнет!

Он ничего не говорил. Знал, что этого не будет. Ведь не то, что читать начнут, пускай читают, — да кто пишет?

Стали уже ботомерзкие листки пускать. Вот, читайте. Сказано: в казармах все письменное и печатное собирать, давать на проверку. Сегодня и ему выдано. И он препроводит. И он взял эту письменную и печатную книжку. Перевязано веревочкой. Простоту, как он всегда делает. Без лести. И стал просматриватьспешно — есть ли новость? Ничего нет. И слава богу. Без новостей. Он искал об одном военном поселении. Посещают лица. Может, отзывы есть, отношения? Так прилично это. Лести не любят, но нужен порядок. Пишут другим ведомствам. Пусть и этому.

Нет, это не было отношение, отзыв.

Это стишки. Теперь в ходу. Восталятся и воркуют.

... Без ума, без чувств, без чести.  
Кто ж он, «преданный без лести»?  
Просто фрунтовой солдат.

Листки подметные. Ругатели. Смотри, Лавров, кто? Это твое дело. Просто фрунтовой солдат, прошел он еще раз, горько. Прост, прост, — сказал он. Двадцать пять лет фрунтовым солдатом походи, тогда учи. Научишься. Прост фрунт. К ноге! Артикул! Держи.

## 25

Завелся у Пушкина друг и поклонник. Внезапный, как все у него было внезапно. Безумный кирасир. Он иссяк на коне, как всадник, стремящийся к скорой гибели. Самой скорой, — чем скорее, тем лучше. Пушкин встретил мчащегося во весь опор кирасира у гусаров. Кирасир, маленький, затянутый, в широчайших своих, штанах, — извая форма, сменившая узкие, — в блестящей новой епанче, с кортиком, иссяк. Уже кричал будочник: — Стой! Пади! И вдруг он остановился. Стал, как вкопанный. Кобылица, белая, стройная, маленькая, подняв, вскинув кверху бешено тонкую голову, глубокую дышала, в щеле. Пена шадала с удил. Кирасир юбъяснил:

— Кобылица донесла.

И медленно, шаг за шагом, поехал. Пристал.

Он был в новой форме, которая только что была зведена. Ясно было, что кобылицу он разогнал что это был конец гоньбы, но никто бы и не подумал об этом сказать. Впрочем, впрочем, с ним было все коротко. О двух его дуэлях все знали. А спешившись, он оказался неописанной красоты мальчиком, очень тихим, приехавшим к Молостову или Каверину, даже именно — к Каверину. Шо делу. Делом была та же дуэль. Его вызвал Юрьев. За что? Ни за что. Увидев Пушкина, он просиял. И тотчас бросился к нему.

Это был Шишков, поэт, уже давно искашивший дружбы с ним.

Александр Ардалионович Шишков писал быстрые элегии, в самом деле напоминавшие его. А в последнее время стал писать эпиграммы. Он подражал так близко, что Пушкин стал хмуриться. Но Шишков и не думал ничего скрывать. Самое их знакомство было горячо, горяча немедленная дружба. Куря табак и задыхаясь от дыма, — он не терпел дыма, но как отчаянный должен был курить, не мог не курить, — он говорил с Пушкиным откровенно.

Даже слишком откровенно. Пушкин вначале оторопел. Шишков был племянник знаменитого адмирала — «сухопутного адмирала» Шишкова, старика, который был главою этой страшной «Беседы», воевавшей против Карамзина, который был занят корнесловием, столь раздражавшим дядю Василия Львовича, столь его вдохновлявшим. «Опасный сосед» не был бы написан без него. «Опасный сосед» был именно написан о его пристепенниках.

Теперь время было другое. Двенадцатый год пронесся. Ждали. Не могло оставаться все попрежнему. А все оставалось, как было. Попрежнему. Появились быстрые люди. У сухопутного адмирала завелся быстрый племянник. Знаменитый дядя, который о нем заботился, докучал ему. Он был не согласен со своим званием: второй. «Дядя второй, — говорил он, — а не я.»

Взяв со стола карту, Александр Ардалионович другую сунул Пушкину. Пушкин играть сегодня не хотел. Шишков смотрел на него во все глаза, держа наготове карту. И звонким голосом, достав из общлага два портфеля и бросив их на стол, Шишков второй сказал:

— Дядю на дядю.

Все притихли. Александр смотрел на Шишкова второго во все глаза. Дядя Василий Львович против адмирала Шишкова! Давно ли — одни дядею клялись, другие дядю кляли. А сегодня — дядю на дядю. Оба врага стали смешны в картах. Не слишком ли? Он бросил карты. Дядя Василий Львович был точно смешон, да этот смех ему не нравился. Смех был нехорош. Смеялись. Когда появлялся Шишков второй — все должно было кончаться либо смехом, либо выстрелом.

Каверин смешал карты. И Василия Львовича и адмирала.

— Отчаянный, — сказал он.

А отчаянный уже читал эпиграмму. Не даром он был в новой форме и прискакал на последние.

Эпиграмма была коротка. Видно было, что он читал все пушкинские. Все и виремь скажут, что это его, Пушкина, эпиграмма.

— Свобод хотели вы, свободы вам даны;  
Из узких сделаны широкие штаны.

Прочел спокойно, ровно.

И полюбовавшись гусарами, в широких штанах, прижав руку к груди, когда смотрел на Пушкина, бросив непременную, но надоевшую трубку, шаркнул стройными ногами в широких штанах и умчался.

## 26

И изо дня в день, все чаще он начинал не чувствовать,— он чувствовал, каждый день одно и то же, что будет весь день бродить, не доходя до китайской хижины, а иногда и минуя ее наискось по малому переходу. Однажды он вдруг услышал там голос Екатерины Андреевны, она говорила с детьми:— Детенки мои,— услышал и замер: — когда она говорила по-французски, ему показалось, что опять в китайской хижине кесарь, и он простоял неподвижно, без дыханья, задохнувшись, пока не услышал важный, шёгкий голос Нелединского, и сразу тихо засмеялся. А с детьми, с мадам Андреем, она всегда говорила по-русски. Итак, здесь постояв, послушав это чуть шевучее объяснение с детьми — детенками, — его обезоруживали всегда ее грамматические ошибки, чего Кошанский уж, верно, боялся, как черт ладана, — так простояв здесь третий день, третий раз послушав, как диво, эту ее речь, он вдруг сказал вслух, догадавшись, внезапно, разом:

— Ага!

Он вдруг лопнул, что всю историю русскую, от времен Владимира Красного Солнышка, он узнал точно здесь, у Карамзиних, да только не от него, а от нее, от Екатерины Андреевны. Она была по отцу Вяземская, княжна, с головы до ног княжна, а говорила детям невуче: детенки мои. Ведь так, почти так, только Арина говорить умела. Аминь! Аминь! Рассыпься!

И надо же было ему встретиться с нею! Здесь, возле лицея, в двух шагах, в этой китайской хижине, в небывалой Китайской Деревне.

Все чаще страсть находила, нападала на него.

Он по-настоящему задыхался; переводя дух, пыхтя, как во время драк с Малиновским, не сдаваясь, боясь, чтоб кто не заметил. И надо же быть ее разговорам с детьми, певучему ее взгляду, смеху быстрому. А его стихотворения она слушала по-своему. Раз выслушала, не сказала ни слова, а потом, через неделю, вспомнила и сказала строку за строкою, тихо, медленно, как бы убеждаясь в нем, уверяясь. Стало ясно в этом бережном внимании — его стихи ей дороги, ей милы. И он стал иначе слушать их, смотреть на себя. Одну строку она прочла по-другому. Он хотел напомнить поправить, и вдруг решил: быть так. С этим нечего было делать. Это было решено помимо него, и уж, конечно, помимо нее, на всю жизнь. До конца. Что еще предстояло, он предвидеть не мог, бог с ним — да никому ни слова. Ни слова себе самому, все похоронить с самого начала — и страсть и неги. Запрет лежал на всем. С трудом кой-как добивался он того, что сам переставал сознавать себя и ее. Это было преступлением против Карамзина, великого писателя, против дяди Василия Львовича, против Вяземского, ее единородного брата — Пети, как она порой говорила о нем. Против отца и матери. Содрогнувшись, он подумал, что это на всю жизнь. Жизнь была решена, сразу. Он не ходил к Карамзинам, не смел — рана за раной — где как увидит он ее в будущем году? И так всю жизнь.

У дяди Василия Львовича были неудачи в семейной жизни, он ездил в Париж от них спасаться, у деда несчастье, у прадеда тоже, но никому и приспособиться не могла эта любовь, упавшая на него, его пропавшая, как пуля. Тайна этой любви тяготила его, как вечная, неоплатная, не дающая разрешения ни на час, ни на миг.

Так все началось.

Он был готов на все — с самого начала.

Гений этих мест, бог Китайской Деревни, был ее мудрец. Он все знал, все видел, со всем мирится, не мог только помириться с одним — с тем, что она любит так глубоко старика. Она и портретов с себя писать не давала, — пусть же говорят о ее красоте. Карамзин был стар. И не то, что писания его, его История были вечны для нее, дороже всего когда-либо им написанного. Нет, она любила его, отменно тонкого мудреца, учителя, так, как любят красавицы, девушки. И он те постигал этого. Так вот какова эта скрытность, самозабвение. Что за черное волшебство! Он видел рядом эти две головы — лукавую голову стареющего сказочника и эту прекрасную, вечно молодую. Ни слова, ни стиха об этой любви. А если вырвется — говорить о других. Играть. И молчать. До конца.

## 27

Эта ежеминутная страсть, закупоренная, как вино, иногда отступала.

Он вздыхал, начиная по-другому видеть ее, себя, всю жизнь. Оставались раны, оставалась память ран, глубоких ран любви.

Отступала она. Забывались эпиграммы.

Таков был Чаадаев. Одна мысль, все решавшая, одна тайна. Какая — не знал, но догадывался. Ничто не мучило его при Чаадаеве.

Самая любовь отступила от комнаты мудреца. Любовь была печальна либо смешна. Отступала здесь печаль, насмешка была невозможна. Самая мысль о любви, как мысль о болезни, — здесь исчезала.

Любовь не переступала порога этой комнаты. Другая тайна была здесь. Было точное средство сразу достичь счастья. Не своего — всех, всей России.

И здесь, в комнате Чаадаева, такой строгой, наступало не успокоение, наступало знание, уверенность, — Чаадаев точно знал сроки всему. Несчастье, ничтожество должно было кончиться разом, в один день.

Никто не назвал бы его франтом, щеголем.

Так обдуман был его вид, так лежал на нем, как изваянный, гусарский мундир. Нет, он далек был от щегольства. Ничего лишнего не было на нем. Никакого пристрастия. Молостков навязал ему перстень. Ему дали за карточный долг.

Чаадаев долго смотрел на перстень и смахнул его со стола.

— Когда в Риме продавали рабов, — сказал он, глядя на удивление Пушкина, — вместо оков проводили мечом черту вокруг ноги, ниже колена.

И так как удивление Пушкина не прошло, а росло, сказал серьезно:

— Я не ношу перстней. Они напоминают рабство.

Сегодня Пушкин его не узнавал.

Оннюхал хлеб, ломтик принесенного слугой к чаю, как энотки юхают

вино, отличая лафит от шабли. И посмотрел своим прозрачным, изпающим взглядом, спокойно, не торопясь.

— Эти рабы, которые нам прислуживают,— сказал он, глядя вслед уходящему слуге,— у него не было денщика,— эти рабы, разве же они составляют окружающий нас воздух? А хлеб? Самые борозды, которые в поте лица взрыли другие, пахотные рабы,— сказал он,— разве это не та почва, которая всех нас носит?

Он оттолкнул многою брошенный перстень. И несколько не повышая голоса, он сказал:

— Вот заколдованный круг, и в нем все мы тонем. Друг мой, ты не узнаешь ни себя, ни стихов своих, когда мы вырвемся. А это должно быть скоро, ты лучше всех понимашь время, которое проходит, чувствуешь время, которое должно настать. И здесь самое главное — предузнать миг, который все разрешит. Друг мой, все, чего ждем, настанет, потому что само время над этим трудится. Ты же был в Швейцарии? Я видел там свободных крестьян. Они ходят иначе. У них другая походка. Главное, что мешает всему, — заразительность рабства. Вплоть до Цезаря все им заражены. Нет уже деревни в военном поселении. Как? По самому собою. Рабство вдруг минет. Благодаря бога, оно заразительно. Ты и сам не поймешь, как оно высоко ходит, как всем правит и влезает, наконец, на место рядом с кесарем. Кесарь видит его, наконец, и рабство проходит, спадает, словно его никогда не было.

Пушкин слушал Чаадаева, как всегда, всем существом. Малоговорящий, еще меньше движущийся, не машущий руками, не улыбающийся Чаадаев так и должен был быть внимаемым. Вдруг Пушкин откинулся.

— Дело за Брутом,— сказал он радостно.

Чаадаев примолк.

— Ты сегодня неспокоен, друг мой,— сказал он спокойно.— Ты чувствуешь, что такое свобода. Как ты будешь сразу создавать стихи! Сразу, в миг. Рабство вдруг исчезнет. Так бывает.

Он вежливо спросил Пушкина, давно ли он видел Барамзинах. В его Истории он ценит более всего самые звуки, простоту, отсутствие пристрастия. Но Иван Третий хотя, кажется, и прекрасный царь, все же он напрасно считает его самым лучшим. Оц мало обратил внимания на Петра. Что об этом думает Пушкин? Все, все флаги и вдруг посетили Россию при нем. Начались общения. В этом доме, у Барамзинах, есть, однако, достоинства, которые трудно переоценить. Это — удивительный чай, самый воздух этого дома. Красота хозяйки удивительна. Разговор ее удивляет ровностью, знаниями, уверенностью в истине. Она прекрасна.

— Что с вами, друг мой? — спросил он тревожно.

Пушкин был бледен, вдруг густо покраснел. Он искал слов, сбивался, путался. Он вдруг стал жалок. Чаадаев внимательно на него смотрел. Он верил в Пушкина. Недоступный для любви, он понимал, однако, все ее тревоги, все неожиданности. Теперь, все видя, почти все поняв, он с вниманием, спокойствием палил Пушкину чашку черного благоуханного кофе, полученного им из Англии, занял его самым порядком всего, что делал. Чаадаев ни о чем его не спрашивал. Если бы не он, Пушкин заплакал бы, как ребенок. Жизнь ему не давалась. Теперь он вдруг успокоился.

Прощаясь, Пушкин обнял его.

Зорю бьют.

Рассвело. День еще не наступил. Все было как всегда, Пушкин за стеною еще не просыпался.

Зорю бьют.

Первый звук трубы, унылый, живой, и сразу точкий, чистый звук сигнального барабана.

Зорю бьют.

Из рук его выпал ветхий том, который ночью он листал,— Данте.

Этот год миновал — как не было.

Зорю били.

Эта точность, голосистая и быстрая, снимала с него сон,— он уже не спал; снимала неверные, тлеющие сны. Его любовь была точна, как время, как военный шаг, марш. Как будущее. Больше всего, точнее всего будущее было предсказано прошлым, прошедшем.

История Российской, русская, Катерины Карамзиной, была в уме и сердце.

Зорю бьют.

Стремительно и точно.

Они кончили лицей на три месяца раньше положенного. Сами стены больше уже их не держали. 9 июня 1817 года явился государь в конференц-залу лицея с Голицыным, и назавтра они покинули лицей навсегда.

Зорю бьют.

Через три года государь прислал приказ отгородить лицей от дворца. Прислал спешно, с конгресса, из Европы: нет времени. Скорее! Точно, тонко, голосисто.

Зорю бьют. Лицейский марш на стихи Дельвига.

Зорю бьют. Смирно!

\* \* \*

Явились все. Они определялись в службу. Как по-разному все стали выглядеть после лицея, где все были на одну стать. Только после лицея появилась походка. Разная у всех. Небывалая — у Бюхельбекера. Куда твой пойдет?

Однако и он подписал свое имя.

Дали они подпись в том, что ни в каких обществах, тайных и секретных, не состоят. Все подписали с легким сердцем.

Первым явился Пушкин. А потом пришли, приехали и свои, и чужие. Разные.

Все дали подпись. Были довольны. Они поступали в службу. Жизнь началась.

Пушкин решил, что вскоре поедет в свою вотчину — Михайловское.

Будут встречаться в лицейские годы юности. Простились все. Пушкин с Дельвигом обнялись. Куда? Когда? В этом доме с колоннами.

Подписался, что ни в каких обществах не состоит, и вдруг засмеялся. А лицейские? Ведь решили собираться каждый год в день открытия лицея, 19 октября, всем лицейским. Старостой выбрали Мишу Яковleva. «Ското-

братьцы» были все свои, это не было общество. А «Арзамас»? У него уж была арзамасская кличка: «Сверчок», — нашли в балладе Жуковского, притом нили к нему — и дело: он, как сверчок, никому спать не давал. Нет, не пойдет его служба. Каждодневно, кроме воскресных и праздничных дней, будет он ходить на службу? Ничуть не бывало.

Нет, они не кончили лицей. Кончились лекции, кончилось царскосельское время, пробуждения на заре, блуждания с неотвязчивым стихом весь день; кончилось это все, а лицей не кончился. Не мог кончиться.

Семья? Семьи не было. Отец жил воображаемой жизнью. Мать была скора, загоралась и гасла без причин. Была Арина.

Была Арина и был лицей. Не кончался. Вот и все. Такова была жизнь. И ничего не прибывало. Кто был у него в лицее? Был Пущин, Дельвиг, был Кюхля — брат родной по музее, по судьбе. Считать ли? Много их было, — это была его истинная родня, кровная.

Уж, конечно, не начальство их роднило, не Энгельгардт. Директором был для него все тот же Малиновский. Таков он был.

Так и осталось Царское Село родиной, отечеством прежде всего.

Мыслитель скажет: по откуда же это братство, почему Царское Село — отечество? Потому, что они каждый день в этот час вставали, если одно и то же, по одному месту гуляли, у одних профессоров учились? Отсюда эта близость, на всю жизнь? И мыслитель покачает головой. Он покачает головой и будет не прав: во-первых, не всем давали обед. Шалунам его вовсе не давали. А затем — жизнь привычная. Привычка к существованию такова и есть. Нужно единство, и кто его создает — не забывается. Энгельгардт его же создал, как бы ему этого ни хотелось. Сначала был Малиновский, потом отсутствие директора, и только к концу Энгельгардт. Кто же? спросит строгий мыслитель, уж не Пушкин ли, который половину лицейских пе помнил? Уж не Яковлев ли, Яковлев — «Двести нумеров», который изображал двести фигур?

Да. Пушкин и Миша Яковлев.

Они всех своих помнили.

Считать ли? Был Горчаков — с памятью, непонятной для него самого. Потом эта память прогремела по всем дипломатам мира. А с Пушкиным он встретился раз на большой дороге. Их земли были близки. Встретились и братски, по-лицейски, обнялись. Таков был лицей. Нет, директор Энгельгардт не совсем понимал его. Совсем его не понимал даже. А кто понимал?

Миша Яковлев — «Двести нумеров». Таково было его звание — он изображал двести персон, знакомых и встречных, будочки и Пушкина. А потом они выбрали его лицейским старостой.

Да здравствует лицей!

В другую же ночь он был у Авдотьи.

С удивлением убедился он, что всего живее была ее старорусская краса, всего страшнее — ее старорусские чудачества. Ведь Авдотьей назвала она впервые себя сама. Никто бы и не подумал себя так называть. Ее звали бы Евдокси, а старые — Евдоклий, а она звалась теперь Авдотьей. Цыганка сказала ей, что умрет она ночью, во сне.

Назавтра же днем отказали всем гостям.

Ночью ее дом над Невой засветился. Съехались кареты. Кучеры с ночными факелами съезжались к дому на Неве. Звонкий скок лошадей раздавался перед домом. До утра входили, днем разъезжались. Сразу же модники прозвали ее «ночной княгинею». День она превратила в ночь, зато ночь до утра — в день. В молодости была она влюблена без памяти; выдали ее за старика Голицына. Старый муж мало интересовался ее поступками и не мешал ей. Так она превратила ночь в день, бежала от смерти судьбы со спокойствием, отчаянием и какою-то храбростью.

Занималась она математикой и напечатала целую книгу. Вяземский, когда «ночная княгиня» с ним заговаривала о дугах и касательных, крестился тихопъко.

С Катериной Андреевной Карамзиной была в дружбе. Одевалась она в голубой сарафан, который был ей к лицу. Пушкин русскую историю узнал у Карамзиных — Карамзиной. А когда думал о своей богатырской поэме, хотел видеть тотчас старорусскую Авдотью. Без нее не мог он писать поэму, потому что не мог не видеть ее. Не полна была жизнь. Катерина Андреевна при ней была всегда.

Приехал он далеко за полночь.

Извозчики были его новым мученьем, от которого он был избавлен в лицее. Сергей Львович, скрупультно отсчитывавший деньги, всегда торговавшийся с извозчиками, был для него судьбой. Торговаться с извозчиком ночью, едущим к «ночной княгине», было трудно.

Долго смотрел на глубокую черную Неву.

Внизу встретил его швейцар с тяжелой булавой: княгиня принимали.

Он вошел. Только что ушли кирасиры. Авдотья была в своем обычном платье в приемные дни: в сарафане. Тяжелой золотой ткани был ее сарафан. Убранный дорогими камнями, сарафан был тяжел, скрывал ее знаменитые плечи. Опять он смущился от этой красы.

Серебристым, мелодическим голосом она говорила, что ей не по сердцу эта новизна, которую по-русски и не назовешь. Где уж тут богатырей поминать, как Катенин, который большую силу в театре взял, стал бесперечь теперь поступать.

Пушкин в смущении потупился.

Катенин действительно взял большую силу в стихах и театре, да о нем говорили недаром: словно недаром Катенин не любил стихов о любви. Говорили и то, и это. А его стихи были не просты, хороши, сильны. Да ведь он был в ярком восстании против Жуковского, Карамзина. Авдотье и горя было мало. Господи! Не продался он за ученье чи мудрому Барамзину, ни прекрасному упорному Жуковскому. Плохи его богатыри? Добро же! Недаром любил он напевать горькую солдатскую.

Шел солдат с ученья,  
Своего мученья,  
При-то-мил-си.

Вот и он пришел с ученья — да к Авдотье. Будут богатыри! Будет стих! Завтра же пойдет к Катенину. «Поэмка», вспомнил он и скрипнул зубами.

Серебристым музыкальным голосом сказала ему Авдотья, что теперь му-

жили большую силу взяли, — и в песне и в математике — все они. А была в песне Шереметьева Анютка, сперва в девичьей, а потом в княжой спальнике, под конец и вовсе княгиней, — вот это песня! Всем песням песня! А в Париже ее математику издали, да не разумеют! Где уж им!

Пришел швейцар с булавой, доложил:

— Князь принять просят.

Явился к Авдотье сам старый муж!

Приказала сказать:

— Почивает. Нынче ночь. Просит с утра пожаловать.

Так и доложил:

— Почивают. Просят с утра.

Это была злая насмешка. Старый князь всегда смеялся над ее причудами, и только крайняя нужда заставила его явиться до рассвета.

А Пушкина Авдотья оставила.

Она сбросила свой тяжелый, в драгоценных камнях голубой сарафан, как древние воины, верно, снимали доспехи. Ее старорусская речь была ясна, ее старорусские плечи были прекрасны, вечная авдотьина прелесть была в комнате.

— Потушите свет, — сказала она.

## 30

Вольность!

Одною вольностью дорожил, только для вольности и жил. А где напел нигде, ни в чем — ни в любви, ни в дружбе, ни в младости.

Полюбил и узнал, как томятся в темнице разбойники: ни слова правды, ни стиха.

Он не посмел к ней прикоснуться, он все только следил, чтоб никто не догадался, чтоб никто не подумал и подумать не мог. Он был обречен на всю жизнь, до смерти.

Избрали его в вольный «Арзамас» Сверчком.

Не тут-то было. Вяземский преследовал Шаховского, призывал к мести. Он откликнулся, написал, что убили Озерова:

К вам Озерова дух взывает, други, месть!

Он умер от безумия. Вяземский говорил, что он гений. И умер от зависимости Шаховского.

В китайской хижине, где жили Карамзины, все ходили на цыпочках, как у тяжело больного. Он должен был ненавидеть, преклоняться.

Вольность!

Первым Чаадаев сказал ему о ней.

Он вовсе не любил арзамасца Блудова. Мало ли есть и зловажней вельмож. И шутки его замысловатые и невеселые. Он нынче поехал в дипломатический вояж. Что ж! Он желает ему счастливого пути.

То, что совершил Карамзин, свято. Хвала Чаадаеву. Вольность и разум! Жертвами встретили его дома. Сергей Львович, видя сына возросшим и давшим подписку в том, что он ни в каких обществах не состоит, пожаловался, что не только братец Василий Львович, но даже и маменька не понимают

Пушкиных, то есть не щонали его, Сергея Львовича. Он предоставляет сыну слугу Никиту. Он даже снисходительно смотрел на шалости.

Он и сам когда-то. Да и теперь еще. Сын пишет. Счастливые стихи. Он и сам когда-то.

Путешественник Ансель в прошлом году написал, что фамилия Пушкиных благоприятна для поэзии. Его дядя Василий Львович стал стареть. Александр желает взглянуть на родовое Михайловское? Он и сам непрочь. Никиту Александр получает навек. Такова его воля.

\* \* \*

Так вот гнездо его отцов!

В этом продолговатом доме жил его дед, оставивший здесь долгую память. Однакоже если бы со старым временем знакомиться по-семейному, вся история государства российского была бы сплошь историей страстей и безумства.

Пусть так. В доме распоряжалась Арина, и этот дедовский дом был удобнее, сытнее, даже красивей, чем отцовское пристанище в Петербурге.

Ранним утром он бросался к окошку, а там, милюав Арину, хлопотавшую над чаем, сбегал к озеру, озерам. Рядом с Михайловским озером было еще одно, малое, узкое, острое. Да и звали его: Маленец.

Озеро Маленец было в самом деле мало, с прихотливой излучиной. Он бросался в воду с самого пригорка, выходя на дворик, тотчас, с самого утра. Конь верховой ждал его. Он ехал в Тригорское — соседственный замок, как он тотчас стал величать соседнее имение, — где жила, как всегда, как всю его жизнь, до самого приезда сюда, в Михайловское, все та же крепкая, как крахмальный дубок, Прасковья Александровна Осипова. Пушкин живо ее занимал. Она знала родителей его слишком давно и близко и, слушая, как все наперевес читают стихи его, она живо понимала, как не способна была оценить сына его мать. Она-то ее знала! Прасковья Александровна вовсе не желала, чтоб ее дочки окружали Пушкина. Молоды еще! А что он пишет вольно про любовь, так она на это запрета не кладет.

А дочки чего не поймут? Того, что она сама понимает лучше всех.

\* \* \*

Сегодня шло по озеру судно. Четырехугольный, толстый, весь в заплатах, ветром надутый парус медленно шел по озеру в сторону Петровского. Так ходили здесь судна, вероятно, в те времена, о которых он теперь писал.

Это вовсе не было сказкой. Искупавшись, он брел в Тригорское. Высоко, старой крепостью, старым замком, торчало Тригорское, не похожее на мирное поместье. Здесь Иван Четвертый, — он знал об этом, — сравнял с землей польскую крепость. Он приехал сюда тотчас, покончив с лицеем, потому что здесь было легкое дыханье. Он приехал сюда писать ту поэму, о которой думал, над которой сидел еще в лицее. Уже знали, что он пишет поэму, что поэма почти готова, что следует вскоре ждать... Чего?

Но именно этого никто не мог сказать. Прежде всего, ничего важного не приходилось ждать ни от кого из Пушкиных.

Русская древность, вольная жизнь! Он чинил себе легко длинное перо,

думая о ней. Холмы в Тригорском были прекрасны, Иван Четвертый, венчаный гнев, гнал здесь врагов. Русские древности были здесь. И это вовсе не было мирным стихом, древним русским миром Владимира. Нет, это было древней войной, русской войной. Он приехал сюда, еще ничего не забыв о Царском Селе. Нет, не мир, а война.

Такова была его первая поэма. Мира не было, и бог с ним. И думая о древней Руси, о баснословном царстве Владимира, думал о Руси, которая победно жила еще и в эти дни.

Да, она жила и в эти дни. Русь Владимира не была дряхлой, древней. Она была все та же. И те же богатыри скакали за ней, и он узнавал среди них чужих. Похожий толщиной и имением на Шекспирова Фальстафа — Фарлаф, жирный изменщик, запил его.

Нет, не кончилась древняя Русь. И богатыри не кончились. Бой шел все за нее, за Людмилу, за красу. Русь была та же красота, та же.

Родные места не менялись.

Вот и он здесь. И сейчас поскакет в Тригорское.

### 31

Второй день он был здесь. Вернулся домой. Приехал. Сегодня ночью он не был дома. Изменницы занимали его. Он впал их с одного взгляда, с полувзгляда. Сегодня была неудача. Заметив эту стройную походку, увидев узкую ступню, колеблющийся стан совсем близко, он шел быстро, по пашену дверь запертой.

Как успела? Это было почти невозможно. Но как легка! Добро же! И он стал ждать во дворе, прохаживаясь взад и вперед и никак не понимая, как мог так по-мальчишески быть обойденным. Узкая ступня жгла его. Он шел все быстрей, посыпаясь и задыхаясь. Он на все был готов. Скоро не стало терпенья. Он вздрогнул и громко, быстро стукнул. Не стало времени. Он застучал кулаком и понял, что сейчас софрет дверь. Ее узкая маленькая ступня все решала. Без нее эта ночь была невозможна. Как это сделалось? Куда, зачем ускользнула? Измена! Издевка! И с тихим бешенством, перед этой изменницей, перед этой запертой дверью, он стал ходить, как маятник, у этой двери. Во дворе никого не было. Так он шходил час, два. Потом, решив не сдаваться, он никак не мог унять себя, крови, никак не мог, оскорбленный, бешеный, не стараться увидеть эту маленькую узкую ногу. Добро же! Он ходил, уже спокойный, готовый ждать до вечера. Не могло быть того, чтобы она не прошла по двору.

Он ходил, бешеный, спокойный, по двору. Ее не было. Никого! Ничего! Он ходил до вечера, проклиная изменницу, самого себя.

Он узнал ее имя. Имя было немецкое. Лиза Штейнгель. Много их теперь слеталось в Петербург. Изменницы хотели разбогатеть здесь во что бы то ни стало.

Он знал наизусть все таинства почей, все уловки изменниц, а этой он не понял. Куда девалась эта Лиза?

Любовь была похожа на тайную тихую лягушку. Презирал их, смеялся над ними, но жить без них не стал бы.

Что шум любовный, неожиданности?

Любовь грозила верной гибелью — болезнями.

Молодые изменницы, общие для всех, как круговые чаши, переносили болезнь любви, как штицы переносят письма на войне. И в этот день безвестная изменница, которую проклинал Пушкин, весь день ею так и не щупанный, не пустила его, потому что была больна.

Любовь была слепая, бешеная, иначе бы не случилось с ним то неизбежное поражение.

Над изменницами смеялся, слегка презирал иногда, не вспоминал. Досада, мысль — как мог бы любить, и на кого жизнь уходила, кровь вставала. А непависти не было. Ненавидел он, пешадно смеялся над тем, кто ненавидел женщин, над теми презрительными, которые были смешны, любви и смолоду не знали, а между тем были уже везде и на самом верху.

\* \* \*

Быть в ранней младости развратником — для него было слишком просто, нехитро. Не таков был знаменитый министр. Изучая, всего достигать — вот в чем мудрость!

Бока министра от его особых пристрастий становились все более тухлыми, улыбка все более умной, скрытной.

Он достиг величайшей власти, ибо касался вопросов веры, тонко касался. Фотий был его враг, но был ему не страшен пока.

От толкотни, которую он проповедывал во всем — и в просвещении и в религии, — от этой толкотни он толстел, вспухал все более. Вот, какова толкоть.

Уже расширялась, раскидывалась его власть. Он пригрел людей, особо ему обязанных. И чем ничто более были, тем это было тоньше. Академия наук была пристанищем его выкорыщенной. Он был ими поддержан, ими защищен. Он никого не боялся. Библейское общество дало ему Бантыша — Каменского, мужа тонкого, перед которым Фотий казался просто дворником господы, более никем. Он никого не боялся. Дошел до него слух о мальчишках-иепоседниках. А однажды фон Фок из Особой канцелярии сообщил ему листок, где писарем был чисто выведен стихотворный пасквиль на него. Фон Фок был немец, из балтийских, и эту любезность совершил не без удовольствия. Пусть высокий князь почтает. Голицын прочел и от золотенья потряс боками. Он послал спрашиться, кто сей проступник. Ответ был: Пушкин. Пушкиных было много, но только один — Мусатин-Пушкин — заслуживал, по мнению Голицына, внимания. Далее князь Голицын получил донесение, что сей Пушкин малолетний еще, только что кончил лицей в Царском Селе.

Князь Голицын прочел еще раз пасквиль. Это было написано в самом кромешном штиле:

Напирайте, бога ради,  
На него со всех сторон.

К кому взвывает сей Пушкин? К толпе босоногих, безымянной? Бди, капчелярия! Бди, фон Фок! И, наконец, страшный по явности конец:

Не попробовать ли сзади?  
Там всего слабее он!

Князь невольно взялся двумя пальцами за застежку мундира и стал грудью вперед. Он не был бы Голицыным, если бы не решил вопроса тотчас. Куда такого послать, как быть? Голубчик острота. С таким нужна острота, его, голицынская. Голубчик пишет в духе вольной поэзии. Он улыбнулся. Голицын принимает вызов. Он согласен. Будет тебе, Пушкин, вольность. Ты вольность возлюбил — получай ее!

Где возмущение! Где теперь сей дух? Где вольность?

Дух был в Испании. Там чернь восстало против законной власти — испанцы против австрийского короля, который явился ими править. Завтра стало известно, что Пушкина высыпают в Испанию!

Князь потирал руки.

Из страны, где идет пальба и резня, — король против чужеземного народа, а вернее, народ против чужеземного короля, — из такого путешествия не возвращаются. Не вернется умник!

В университетском пансионе учился и пребывал брат его, Левушка. Преподавал и учительствовал Кюхля. Мальчики почитали его, как бога.

И назавтра к Пушкину явились мальчики-студенты, только Левушки пока не было, они все рассказали. Пушкин увидел эти мальчишеские пылающие лица, поклонился, пожал руки, ему протянутые, и вдруг засмеялся, негромко и весело, хрипло.

— Испанцы побоят, — сказал он, — и я вернусь с праздником. Голицын в дураках!

Не попробовать ли сзади?  
Там всего слабее он!

Кто были эти мальчики! Под секретом, шипя и брызгаясь, назвались точно: воспитанники благородного университетского пансиона. Лучше всех лазают через забор. Поэтому здесь. Сейчас уйдут.

Откуда узнали голицынские секреты? Бог весть.

У него была защита. Урок царям? — Урок поэтам!

Левушка, Лев Сергеевич, наконец явился. И Пушкин сказал ему, что будет писать письма ему, и только ему. Они — друзья. И он будет писать ему все о себе, о своей жизни. Левушка будет его уведомлять о всех родных, где они, что говорят, что думают.

Пушкин действительно собирался писать обо всем брату. Не было вернее средства сделать свои письма известными всем. И вдруг, уезжая, пожалел, что так и не облизнулся с Левушкой, — времени, что ли, не было. Лев был быстрый, ущемленный поэзией, невозможностью писать, имея его старшим братом. Итак, письма на имя Льва, — все будут знать, о чем он пишет.

Каждый вечер теперь, без единого пропуска, стал он бывать в театре. Играла славная Семенова. Он не отрываясь слушал ее знаменитый голос.

Он привык к двум немигающим, двум неподвижным, каждый вечер

сторожившим Семенову. Один был князь Гагарин, негласный, не смеющий об этом и слова проронить, муж Семеновой, другой — одноглазый орел, хищный и верный, Гнедич. Семенова была крестьянка. Она родилась крепостной, а царями играла, как царица. Пушкин смотрел не только трагедию. Он смотрел на беспримерную театральную страсть — на живую трагедию. Он знал все о Гнедиче, о Семеновой. Обе сестры Семеновы, Екатерина и Нимфодора, будили жгучее любопытство, вызывали удивление. Нимфодора, певица, была роскошна, величава, спокойна. И в театре все, кто видел, понимал: ее певучий голос, ее стан были счастьем. Какое счастье владеть таким голосом, так шесть!

А Екатерину, великую ее сестру, давно сопровождало несчастье. Быть может, такой и должна быть трагедия героическая? И в памятные дни, когда народным, единым и дружным, страшным по силе движением был уничтожен Наполеон, была в театре поставлена пьеса Озерова «Дмитрий Донской». И молоденькая, еще не расцветшая Семенова играла в пьесе главную роль. Это был вечер неслыханный. Освобожденный народ русский почувствовал себя освобожденным. Гром рукоплесканий встретил Семенову.

Она стала великой русской артисткой в один этот вечер, бесспорной народной любовью. Рукоплескания услышала вся страна. Чудесный голос Семеновой стал голосом русской любви.

Такой она и осталась.

Но слава не стоит на месте, не ждет.

Славе Екатерины Семеновой стало тесно. Пусть Нимфодора наслаждается певческой славой. Певучий голос Екатерины Семеновой шел на победу певавшую. Росла ее слава.

В это время славилась у французов артистка Жорж. Игра ее поразила весь мир. Она оторвала трагедию от страсти простой, от речи запоминающейся. Страсть стала певучей.

Жорж приехала в Петербург. Семенова слышала ее. Судьба ее была решена. Она стала играть, убеждая певучим голосом. Певучая трагедия стала ее роком. Началось неслыханное состязание между дарицей русской сцены и королевой сцены французской. И она победила. Не изгладилась еще память о народных слезах, о воинских рукоплесканиях «Дмитрию Донскому». И когда раздалась певучая речь Екатерины Семеновой, все перед ней склонились и единодушно приветствовали певучую трагедию.

Так для трагедии стали главными — начало, конец, первая и последняя речь героини. Трагедия стала владыствовать памятью отдельных стихов, отдельных главных слов. Как заклинание, как клятву, произносили их безумствовавшие поклонники. Забывался общий ход трагедии, даже смысл отдельных речей, столкновений. Была она душа трагедии. Стали знаменитыми ее жесты, начинающие, прерывающие, копчающие. И стал не виден общий ход трагедии. Певучая речь победительницы все полонила. Трезвый смысл отступил, побежденный. По память трагедии, память стихов и жестов, держалась именно на нем.

И здесь помощь великой артистке пришла.

Поэт Гнедич был ростом выше всех. Одноглазый орел, он мелкой поэтической памятью не жил. Великая Илиада, прародительница поэм, привлекла его. Должна была создаться русская Илиада. Гнедич знал русский стих, верил в него. Отныне его судьба была решена. Он стал день за днем изучать

и переводить Илиаду. Русская Илиада должна была существовать. И поручкой этому был для него русский стих, самый свободный, самый полнозвучный, способный принять в себя стих всех народов, показать их. Он верил в русский стих. Работа его жила день за днем, год за годом.

Гнедич знал только великие задачи. Он решил, что без Гомера поэзия жить не может. И громадными томами исписывал он перевод — труд монаха и книжника.

Русская поэзия могла быть спокойна — будет русский Гомер. Точность была его религией. Он ничего не делал наполовину. Когда одноглазый орел увидал и услышал Семенову, участь его была решена. Любовь книжника и монаха! Есть ли на свете что-нибудь тяжелее? И он нес свою любовь, как вериги, но без них жить не стал бы.

Когда была получена весть о парижской Жорж, и началось у его Афродиты это беспримерное состязание, он стал работником во славу любви. Он ползал на коленях по сцене во время репетиций, поднимал руку в знак начала, в знак высоты голоса, понижал руку в знак понижения, протягивал в знак окончания. И, слушая любимый голос, был зорок и настойчив, как во время перевода Гомера. Одноглазый орел во время представления молчаливо повторял Семенову.

Пушкин смотрел и слушал без отрыва. Понимала ли великкая артистка все, что играла? Порою казалось, что она играет в чарах какого-то сна. Перерыв. Он бросался за кулисы, охваченный страстью, желанием схватить ее за руки, прекрасные, неживые, потрясти ее, сбросить с нее трагедию, как колдовство. Так великие актеры меняли игру. Так кончилась на сцене классическая трагедия.

И раз он не выдержал, он бросился к ее ногам и хрюпло сказал ей что-то. Но она взглянула на него внимательно, без улыбки. Она не поняла его.

Тогда он взял ее руки в свои и поцеловал их — в первый и последний раз.

Забыть ее было невозможно, — как славу, как жизнь, гордость.

Всюду были страсти.

Голос Семеновой вязал и чаровал.

Не смысл был у слов, а власть и жизнь.

Ей хлопали, ее вызывали после одного какого-нибудь слова, после ответа.

### 33

Однажды за ним пришел квартальный и повел его. Пушкин был удивлен простотой события. Квартальный привел его в главное полицейское управление и дал начальнику всей полиции — самому Лаврову.

Вырочем, все это было не так просто. Это был первый шаг. Пушкина собственно должен был вызвать в Особую канцелярию фон Фок. Сам фон Фок. Этот лемех был не прост. Вызвал Грибоедова, и тот, придя домой, стал жечь все им написанное когда-либо. К вечеру у Грибоедова стало жарко. Печь накалилась. Лавров был просто полицией. Дело было слишком ясно для фон Фока.

Лавров заставил ждать Пушкина всего три часа. Пушкин холил по-

лицейскому залу, подошел к окну, но окно было завешено. Наконец Лавров вышел. Он посмотрел на Пушкина и уложил плечами.

— Невелик ростом,— сказал он негромко, удивленный.

Пушкин сдержался.

Лавров был прост,— вот что было удивительно. Не чинясь, он показал большой пузатый шкаф и сказал:

— Это все ваше, за номером.

Шкаф был заполнен пушкинскими эпиграммами и доносами на него.

Выходило, что полиция давно была занята им. Лавров, наконец, объяснялся, для чего здесь Пушкин.

В полицию его привели, потому что никто лучше не знал ни того, что пришло недозволенного, ни тех, кто это говорил.

— Вот вы нам станете докладывать,— сказал Лавров.

Пушкин засмеялся. Каков умник! Далеко до него Голицыну. Пусть поптается.

Тут его оставил Лавров, для размышлений.

Он был занят.

Пушкин сидел в полицейском управлении уже долго. И вдруг загрустил. ничего не боялся. Полицию — Лаврова — меньше —

И все же!

А когда вернулся к себе, уже темнело.

Лавров был тем известен, что признавал полицейскую старину, задумчиво смотрел на свой кулак, щурясь, волосом, и на арестованного. И арестант этот взгляд понимал. У него были свои привычки. Было особое полицейское уважение к знаменитым ворам и крупным убийцам. Пушкина он принял преступником крупным, но не пойманым. Тем лучше. Пусть подумает. Пока есть!

## 34

Казалось бы, изменницы, основою всей жизни которых была измена, должны были быть самыми пылкими в самой измене, самой страсти, должны быть бешены, неукротимы, без устали предаваться любви.

Ничуть не бывало. Холодны, умеренны. Странная это была умеренность. Любовь была их делом, а интересоваться делом было скучно, неуместно. Они давали себе цену, относясь небрежно, поверхностно к объятиям, страстью не согревали.

Они были расчетливы и очень самолюбивы. Ревность их была холода, а молюбие бешеное.

Однажды он попал к той, которая зала стихи, читала последние газеты, вообще была образована. Она была модница.

— Теперь Вольтера никто не читает, кому он нужен?

Пушкин прислушался.

— А кто нужен?— спросил он.

— Бассонье,— сказала модница.

Был и такой. Она и его читала. В объятиях она зевнула. Между делом однажды выбросила высоко вонжку и сказала равнодушно:

— А теперь опять.

Равнодушие было удивительное.

Он спросил ее имя. Имя было иеруское, парочитое: Ольга Масон. Все заблужденья с ней были парочиты, щорок невесел. И Оленька Масон и Лиза Штейнгель прибыли с разумной целью. Из недалеких стран, которыми бредили романтики,— они приезжали не для страсти — ибо страсть крепка,— а для пользы вещественной. Они умели быть незаметными. Они не мешали. Потом росли пуховики, прибавлялись вещи. И они уезжали, для семейного счастья оставляя скучу или неосторожное раскаяние. Бедность охраняла от гибели. Все же когда Пушкин брел раз в надежде на почтой приют, и вдруг карман его оказался пуст, он вспомнил солдатскую песенку о бедном солдате: «Солдат бедный человек», до конца почувствовал бедность и забормотал:

Пушкин бедный человек,  
Ему негде взять.  
Из-за этого безделья  
Не домой ему итти

### 35

Спокойствие Федора Толстого стоило страстей. И молодые должны были это признать. А кто не признавал, тот скоро в этом убеждался волей и неволей. Он вовсе не стремился к дуэлям. Но не бегал от них. Говорили уже, что до сотни жизней было за его дуэлями.

Он услышал, что Грибоедов в своей комедии о нем упомянул так:

В Камчатку сослан был, вернулся алеутом,  
И крепко на руку не чист.

И про Камчатку было верно, и про алеутов. И, встретив Грибоедова, Федор Толстой сказал, чтобы он исправил стих и написал: в картишки на руку нечист. Не то подумают, что он таскает серебряные ложки со стола. Это его бесстрастие было более убедительно, чем дуэли.

Федор Толстой терпеть не мог светской уклочности. Решал он все быстро и прямо. Имя Пушкина его занимало. Как все о нем говорят?

Услышав, что Пушкин был отведен к Лаврову и пробыл там до вечера, и что все разно об этом судят, что неизвестно, что там было и что с ним в полиции сделали, Федор Толстой сказал об этом просто и кратко:

— Выпороли.

У франтов словно глаза открылись. И как же они раньше не догадались! Через час одна шлюхая дама рассказывала об этом с подробностями:

— В комнате один стол и ничего более. И стоять негде. Вдруг, представьте, опускается пол, а там стоят люди с розгами — и все происходит, как пельзя лучше. А кто и как распоряжается всем, наказуемый не знает.

К вечеру все об этом знали. Рассказывали, судили, ридили. Появлялись все новые подробности. К вечеру, идя по улице, Пушкин встретил троих знакомых, они взглянули быстро и отшатнулись. Или ему показалось?

Фон Фок кончал присутственный день в Особой канцелярии.

Фон Фок был доволен днем.

Будучи знаменит, он добился такого дня, когда не был упомянут ником,

нигде. О Пушкине говорили, что он выпорот, высечен в полиции. Высеченный поэт важных стихов, заразительных стихов более не пишет. Все помнят, что он высечен. Более он не опасен. Пока, разумеется, он не выслан еще, но высечен. Высылка? Это большой вопрос. Не торопиться. Фон Фек успеет.

Между тем высылка его затягивалась потому, что сразу оказалось несколько мест, несколько направлений.

Да полно, только ли о высылке шла речь?

Нет, архимандрит Фотий знал только одно место для Пушкина, гибельного по заманчивости стихов: Соловецкий монастырь. Там гибельные девки ему бы не снились, там нашли бы узду. Пресидев десять лет, стал бы быть поклоны. А на большее не способен. Пляски словесные навек бы забыл.

Аракчеев полатал крикунов поместить в Петропавловскую крепость или отдать в солдаты навечно.

Боязь Голицын полагал послать любителя вольности в Испанию, как место для него подходящее. И хоть с Пушкиным было просто покончить, но единства во взглядах все же не было. И что еще важнее — единства в бумагах о Пушкине. Да и самой бумаги еще не было. Как быть? Чему быть?

\* \* \*

Чаадаев скакает.

И хоть ему нужно быть как можно скорее в столице, хоть его конь скорее всех и всего на дороге, — идет он бешеным шагом, ровно.

Чаадаев скакает.

И если все же конь придет не скоро, если придется мчаться помедленнее, чтоб не задержала случайность, все же сегодня до вечера все будет сделано. Он застанет дома Карамзина и будет с ним говорить. Ждать нельзя. Ни одного случайного или ненужного жеста. Ровно дышит конь, мчится ровно. Сегодня же помчится и обратно. Воинские часы непрерывны. Он скажет Карамзину об опасности, которая грозит Пушкину. Поэт ненавистен любителям рабства. Самовластие в слепоте. Защитники рабства уже ополчились. Поэт им ненавистен. Час наступает. Без поэта нет будущего. Внимание.

Чаадаев скакает.

Тонкие конские ноздри дышат глубоко и ровно.

Не упадет конь, не оступится.

Без стиха страна бессловесна, народная память нема. Не изведут Пушкина рабы.

Прискакал Чаадаев, спешился, посмотрел в конские умные глаза. Конь был гордый и на людской взгляд ответил: закинул голову.

\* \* \*

Начинали уже привыкать к пушкинскому неблагополучию, к ссылке его, которая не начиналась, к слухам о нем, которые все росли. Привыкали. Приезд Чаадаева все изменил. Точно, Пушкину грозила беда. Время не стало неподвижным. Что грозит? Но ведь что бы из всех приговоров ни грозило, было ясно одно: пришла пора спасать — гусары заговорили.

Катерина Андреевна долго ничего не говорила. Чаадаев, как всегда, был

спокоен, внимателен. И, конечно, он был прав. Николай Михайлович, как всегда, тонок и мудр. Она знала, что завтра предстоит главный разговор. И она решила, что скажет, как всегда, правду, и только правду: единственный человек, который может спасти Пушкина, это Николай Михайлович Карамзин. Его голос перед государем все решит. Чаадаев прав. Она знала, как трудно это будет. Ну, что же, она опять будет хитрить, будет лукавствовать, будет спокойной.

У Николая Михайловича будет свидание с государем скоро. Как трудно говорить об этом! Но не погибать же Пушкину. Конечно, Пушкин безуме а его эпиграммы тем ужасны, что смешны. И в каждой эпиграмме виден сам, слышен он сам,— оттого и смешны, тем и страшны.

Так все и выплыло. Самым важным при встрече оказался простой вопрос: если не крепость, если не Испания; то к кому и куда?

Император вдруг краем губ улыбнулся. Он не был склонен в этот день к грозным явлениям. У Карамзина была милая жена. И когда Карамзин сказал о юге, он вдруг ответил ученому:

— Ипзор? Хорошо.

Это имя принадлежало главному попечителю колонистов южного края. Это был юг: Екатеринослав. И так как это была Коллегия иностранных дел — это даже несложно. Императрица Екатерина играла именами. В одной пьесе она называла авантюриста: Калифалькжерстон. Это был ряд имён многих авантюристов.

Так и это странное имя сочинила императрица.

У великого князя Константина Павловича был сын. Следовало его назвать так, чтобы все было ясно. Он назван был по-немецки: Константин. Прибавлено окончание: ов и вычеркнутое имя: Ишсов.

Катерина Андреевна ждала мужа с трепетом. Она боялась и за Пушкина и за всю затею, все эти хлопоты, такие непростые. Она почувствовала визу перед мужем. Она была виновата в этих хлопотах. Катерина Андреевна даже заплакала. Целкогда Пушкин явился, она встретила его спокойно, молчаливо. Он будет говорить сейчас с Николаем Михайловичем.

Николай Михайлович не стал говорить о будущем, которое ему предстоит, ни о его поэме (он еще называл её поэмкой!).

Он был немногословен и просто сказал Пушкину, что он должен ему обещать исправиться. Обещает ли он? Дает ли обещание?

Пушкин сидел, как на иголках. И вдруг сказал:

— Обещаю.

Катерина Андреевна вздохнула с облегчением. Точно гора свалилась с плеч. И вдруг Пушкин прибавил смиренно и точно:

— На два года.

Он обещался на два года, Катерина Андреевна вдруг засмеялась. Как точен! Хорошо хоть, что на два. Пушкин остался все тем же, собой, и если бы было иначе, как стало бы скучно!

Однако куда же он все-таки поедет?

Нельзя же ехать в пустыню без имени, без называнья, без воспоминанья.

Он едет в Крым. Что же это такое? Каков Крым? Она ничего об этом не знала.

И, стоя у новых книг Николая Михайловича, которые ему посыпали из лавки, она стала привычной рукой перелистывать одну за другой эти книги. Пушкин должен знать, куда он едет.

И вдруг она остановилась. Из лавки прислали описание Черного моря и местностей близлежащих, сделанное в свое время в Париже по приказу Наполеона. Виды Крыма, видно, необычайно занимали Наполеона. Книга была не нова, но роскошна. На больших листах художник живо изобразил удивительные места. С отвесной скалы спускалась девушка в длинной одежде и несла на плече стройный кувшин. Горец сверху следил за ней...

Катерина Андреевна прочла название места: Эрзерум.

Катерина Андреевна посмотрела на Пушкина. Он внимательно смотрел на рисунок и вдруг сказал ей:

— Этого я не забуду.

Катерина Андреевна с удовлетворением убедилась, что Пушкин и впрямь не забудет, и что занятия с ним по географии не меньше важны, чем ее занятия с Николаем Михайловичем по истории.

## 36

В последние два дня все собрали, всем распорядился. Руслан и Людмила печатались. Смотрел Семенову, увидел Гнедича и сказал ему: печатается поэма, он уезжает, должен ехать. И Гнедич, который в него и в его судьбу верил и, встречая в театре, ценил его как зрителя, — склонил худую шею: поможет выйти в свет поэме, которая выходит в свет скрытно. И оба стали смотреть в последний раз Семенову.

Кончал новую книгу стихов и полюбовался толстой рукописью, своим свободным почерком. Он кончал свои дела. Времени оставалось немного. Была весна. Он хотел проститься со всеми.

Везде были страсти.

Он смотрел Семенову теперь, чтобы она ни играла. В первом ряду сидел одноглазый Гнедич, одноглазый орел, и Пушкин невольно смотрел: нет ли следа на коленях поэта, ползком учившего началам, перерывам, концам стихов, произносимых славным голосом.

Везде были страсти, страсти любовные, страсти гражданские.

В Париже был убит наследник короля, герцог Беррийский.

Он шел в театр, чтобы очистить, снова — в который раз? — увидеть трагедию русскую — Екатерину Семенову, услышать ее голос, без которого не было и не могло быть завтрашнего дня, — ту трагедию, которая будет у него целую ночь до утра одним неразрешенным восклицанием, трагедию, которая приводила в театр каждый вечер одноглазого Гнедича.

Странно — Семенова была подлинной страстью, но не любовной, а гражданской.

Он слушал ее, каждую минуту готовый рукоплескать. Но сегодня, после первого действия, он вынул с груди портрет и, не глядя, щедрым жестом протянул его соседу. И сосед, произительно посмотрев вперед и сразу же оглянувшись, сунул портрет соседу. В рядах запелились. Это был портрет Лувеля, убийцы герцога, и над ним было широко написано: «Урок царям».

И он стал неистово хлопать Семеновой.

Предпоследнюю ночь он был у Никиты Всеволожского. Без гусаров прощанья с жизнью, которая должна была измениться,— пусть на два года, по его словам,— прощанья не было.

Нужно было проститься по-настоящему. Никита Всеволожский был человек, понимающий размеры всему. Прощаться с Пушкиным нужно было с умом и плететом. Не расчетливым же, не скупым же быть!

Итак, шире и крепче гусарские объятья!

К утру штосс разгорелся. Всеволожский был кренок, как молодой дуб. Никита Всеволожский был крупный игрок.

— Венцэн? — спросил он.

Играли быстро, ставили крупно.

— Венцэн врет, — сказал Никита, — вернее штосс. Идет?

Деньги он подбрасывал, они звенели.

Наконец он взял разом целую кучу.

— Желай мне здравия, калмык, — сказал Никита.

— Маленький калмык стоял за столом, разливая вино. Пробка хлопнула. Калмык поднял бокал.

Пушкин закусил тубу.

Все деньги были проиграны.

Он взял свой новый том — рукониць в переплете; он все подготовил к печати.

Наконец игра выяснилась как нельзя более, его доля так же.

— Сколько? — спросил он.

— Сочтемся, — сказал Никита. — Штосс твой.

Тогда он взял свой том и поставил его на стол боком.

— За мой старого больше. Все вместе. Ставлю.

Никита стал метать.

— Не ставь на червонную, — сказал он Пушкину, — твоя дама не та.

Пушкин заинтересовался необыкновенно.

— А моя какая? — спросил он Никиту. — Не бубновая же?

— Ты не можешь этого знать, — сказал Всеволожский. — Может, и бубновая. Она.

Пушкин вдруг перестал смеяться.

Он был суеверен и роскошен, Всеволожский. Но выражался он всегда с роскошью, бубнового валета звал бубенным хлапом.

— Хлапа в игре не считаю.

Хлапа не считал, но и на него выигрывал.

К утру Никита бил все карты с онника.

Том пушкинских рукописей он отложил с некоторым уважением.

Пушкин шел домой пешком.

Ночь была ясней, чем день.

Его шаги звучали.

Он снял шляпу и низко поклонился.

Кому? Никого не было видно.

Петербургу. Он уезжал на юг.

Здесь Нева катилась, ровно, царственno. Как всегда. Как катилась при Петре, как будет катиться при внуках.

Он уезжал завтра на юг, незнакомый.

Он поклонился Петербургу, как кланяются только человеку. Постоял, склонил шляпу. Всмотрелся. И повернулся.

## 37

Был у генерала Раевского.

Генерал был не стар, суров и внимателен.

Он сказал Пушкину:

— Мой сын с вами дружен. Дочки малы. Вы едете с нами. Я еду в Крым. В Екатеринославье встретимся.

Генерал знал, что Пушкина высыпают. Он смотрел на это, как на неудачу по службе поручика или капитана.

И генерал сказал неожиданно:

— Время пришло. Пора.

И кивнул головой.

И Пушкин понял, как генерал, быв героем народной отечественной войны в 1812 году, ни одного дня не переставал быть отцом, и теперь вез малых дочек, без которых никак не мог ехать в Крым.

Сып его Николай был гусар и в Царском Селе привык встречать, ждать его стихов.

А он сам, Пушкин? Он не был военным, а теперь был вызван и, стало быть, был беззащитен? Не тут-то было.

Нет, он не был беззащитен. Нет, он был воином, хотя и был только поэтом. Он был полководцем. Чехота ямбов, кавалерия хореев, казачьи пляски эпиграмм, меткости смертельной без промаха. Чем они были короче, тем страшнее, как пули. Генерал Раевский, генерал отечественной войны, говорил с ним просто и кратко, как с младшим военным, поручиком или капитаном, другого вида оружия.

Он пережил отечественную войну, никуда из Царского Села не уезжал. Он знал. Знал силу врага. И в первой поэме — о древних богатырях, о враге всего русского — Черноморе — он думал о войне другого времени — войне за русскую славу и прелесть — Людмилу, древней войне, которая кажется войной будущего — Черномор, щедрушный и малый, летал и так похитил Людмилу.

Казалось ему, почем знать, будет ли такая война. И такая победа будет. Он думал о черной силе войны: измене. О Рогдае, о жирном Фарлафе.

Однажды Екатерина Андреевна вдруг сказала ему, что он думает о Людмиле как о живой, и что он кажется в неё, в Людмилу, влюблен. Он испугался, что сейчас упадет к ее ногам и признается, что в Людмиле, когда писал, всегда видел ее.

Так случалось с ним: думая о ней, он представлял себе, какой она была раньше. Поэтому, когда он писал о Людмиле, он писал о ней не без лукавства.

Все произошло, как и должно было произойти.

Он увидел в последний раз Арину. И простился как должно. Обнял ее.

— Прощай, мать,— сказал он ей.

И Арина душу дала. Посмотрела, не шутят ли. Нет, не шутили. Взглянула на все стороны. Никого че было, слава создателю.

— Что вы, Александр Сергеевич,— сказала она, оторопев,— есть у вас мать.

— Есть,— сказал он серьезно.— Ты и есть мать.

И слезы полились у Арины, тихие, скучные. Привычные.

Уезжал он на перекладных. Пришли проводить все, кого ожидал.

Пришел Пущин. Посмотрел лошадь, утряхъ, остался недоволен.

— Перекладные, небось,— сказал ямщик.

Малиновский пришел. Он всегда был нужен во время отъездов, приездов, перемещ. Он носил еще в лицее звание казака, и память об этом у всех была жива. Уже далека была память лицейского начала, его отца, память Сперанского. Он бы и остался казаком. И так как Пушкин в стихах звал его казаком, он любил и Пушкина и стихи.

— Садитесь на коней ретивых,— сказал Малиновский, вспомнив кстати «Руслана».

И все заулыбались. Цитирующий Малиновский был лукав.

Бюхля, запыхавшийся, сказал:

— Малиновский, читающий на память «Руслана»? Каково!

И все замолкли. Да, «Руслана». Который еще не напечатан! «Руслана и Людмилу»! Каково!

С Царского Села начиналась его слава.

Его высыпали. Куда? В русскую землю, он еще не видал ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где большие страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же? Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра.

Спокойствие. Ямщик ждет.

### 38

Подлинно, он узнавал родину во всю ширь и мощь на больших дорогах. Да полно, так и такой ли нужно ее узнавать? Он впервые услышал живую русскую песню. Ямщик пел.

Так вот она какова, русская песня! Неторопливая, печальная, раздумчива. Он с жадностью слушал час, другой, третий. Так вот почему эта грусть величава, широка, нетороплива. Она пьется на дорогах, ямщиками. А чуть далек, без конца. Дремота сменяет песню. Его жизнь началась стремительно, а не поспешно, что не одно и то же.

Почтовый колоколец промолк. Ямщик исчез. Он был один в условленном месте — Екатеринославе. Никого с ним не было. Расправился, потянулся.

От дорожной тряски ноги отерли. Высылка была только высылкой, не ссылкой: никто не ждал, не встречал и остановиться было негде. Он сунулся в единственное подходящее место, открытую дверь.

Оказалась харчевня. Он ее проклял,— низкие потолки были теперь для него, что гроб.

Купаться! В городе было наводнение. Днепр протяжно поревывал, потом стонал, наконец, стихал. Харчевня была почти затоплена, вода подымалась над полом. Он не стал ничего ждать и тотчас бросился вниз, к раздутой, вздымающейся воде. Она переводила дух до нового приступа. Лодочник внизу посмотрел на него внимательно, не торопясь. Все же, услыхав, что никуда точно везти не нужно, а нужно покататься,— подал.

Внимательный взгляд лодочника, чуть прищуренный, щеловерчивый, его молчаливость Пушкин заметил. Он греб медленно, истово, только в конце налегая на весла и сразу же отдавая весла на волю волн, переставая грести. Пушкин спросил, поет ли он. Тотчас лодочник неторопливо запел. Пушкин послушал. Песня была хорошая, старая. Недаром лодочник щурился. Атаман с ружьем везет девицу. И вдруг Пушкин засмеялся, коротко и хрюкло. Так вот куда он выслан для исправления. Песня была разбойничья. И он долго катался по Днепру, а потом сказал лодочнику подождать и стал купаться.

Тело было как сковано долгой тряской. Только плавая, только быстро плывя, оно опять становилось его телом, а он — собою. Ноги забывали усталость. Наконец лодочник устал ждать. Он пристал. Нет, он не устал. Он встал на резкий крик, идущий по Днепру.

— Оба! В капалах! Держи!

Только к утру привез его гребец к харчевне. Бежали, уплыли два каторжника. Оп слышал крики людей, слышал и погоню за двумя.

Это было уже не воображение, не игра. Это не были еще стихи, это был он сам, это были чьи-то тела, чьи-то руки, бьющие воду, чьи-то плывущие в оковах ноги. Так началась его высылка.

Вечером, все в той же харчевне, стал его быть ѿзnob, прерывисто, по-разбойному. Он стал в бреду спасаться от шогони, стал задыхаться, требуя в пустыне ледяной воды, ничего не видя, ничего не слыша, не понимая. Наконец рука его поймала кружку, холодную, как лед. В кружке была ледяная вода, которую добыла перепуганная насмерть девчонка.

Так он лежал на какой-то, чьей-то власянице. Откуда она взялась? Пончего не ожидала. Его руки и ноги вспоминали дорожную тряску. Вдруг, неожиданно он вспомнил все — и лодочника с быстрым наметанным глазом, и крик:

— Держи!

Их было двое. Оп вдвоем, вплавь, бежали из теволи, скованные друг с другом. плечо к плечу. Свобода! Только из-за нее можно плыть в оковах, скованных еще с кем-то другим.

Еще день. Вечером у него не горел огонь. Вот его Соловецкий монастырь,— Фотий взял чего хотел. Вот фрукт в лежку. А Аракчеев его одолел.

— Зажги лучину! — сказал вдруг суровый, приказывающий голос.— Почему здесь огня нет?

Еще никого не ожидал, ничего не помял, он понял, что свет, огонь должен быть. Он очнулся.

Перед ним стоял генерал Раевский.

Старый Раевский, сердито запретивший кому-то оставлять его в темноте и потребовавший у кого-то лучину, был старшим родным. Он тотчас почувствовал себя защищенным и впервые вздохнул глубоко и ровно. С таким не тронешь.

А Николай Раевский — сын его — был все тем же, не меняющий мнений и никогда их не скрывающий. Привыкший обронять свои стихи, как сердце — солдаты, он читал их Николаю Раевскому со всей откровенностью, а Николай при стихе слишком напряженном просто и громко хохотал. Он привык уважать гусарскую прямоту и никак не мог забыть неодобрения Николая по поводу его горячего и прямого желания говорить с императором, когда речь шла о царском счастьи, о Софии Велью.

— Забудьте, — сказал тогда просто тусар.

И теперь, после безумия в этой проклятой харчевне, он не знал, была ли в самом деле история с двумя разбойниками, или это бред. Новая поэма мучила его. Он и бредил ею. Два разбойника, скованные вместе, вместе бежавшие, вместе плывшие за свободой, не покинули его. Ему нужен был, как разум ясный, и громкий смех Николая Раевского. Он вполне ему доверился.

Николай Раевский сказал ему, что этому не поверят, не могут поверить.

— Нет вероятия.

Правде, тому, что было на самом деле, что было словами тюремного протокола, — вот чему нельзя было поверить. Нельзя было поверить стиху, который точнее прозы. Решено. Они ехали на Кавказ и в Крым.

## 39

Молчаливая, суровая, педобрая, поживая очередь людей, которым изменили то нога, то рука, то терпение, каждый день с утра толпилась у ям, наполненных непростой водой, и непросто ждала.

Притворно ничего не веря, они всему верили. Самое неверное дело была молодость, сила. Вдруг вернется?

Это было проще всего.

Нет надежды? Никаюй? Все это ясно. И никто не верил. Как не так. Молодость, сила? Все может вернуться, все может быть, все бывает. И все оказалось так, как уже было. Спокойствие! Ничего другого.

Он покорно лез в яму, полную теплой воды. Унылая, суровая очередь толпилась за ним, ранние старики, безмолвные, угрюмые. Они приехали с надеждою на случай и чудо, которые здесь вернут им жизнь и силу. Не веря, сопровождаемый спокойным лекарем, пробовал он серные, горячие, кислые, холодные воды, а вот однажды, возвращаясь в одиночество, не думая ни о чем, — внезапно засмеялся — ничему, никому, вдруг, и сам этому улыбнулся: не ждал. Горячие воды оказались. Он смеялся по их воле. Славный лекарь генерала Раевского распоряжался водами по-военному. Он вовсе не стремился к однообразию. Вначале он распоряжался:

— Серную горячую. Недаром зовут Горячеводском.

Через неделю распорядился:

— Сегодня теплую кисло-серную.

Потом, через неделю, подал мысль:

— Теперь железную. Без железа нельзя.  
Вот после железной Пушкин и засмеялся.

Любимый лекарь генерала был бывалый и остро понимающий леченье. Прежде всего он знал, что самые болезни малопонятны. Затем, что малопонятна вода. И наконец, что они помогают, излечивают. Впрочем, у него был и собственный метод, может быть и правильный. В книгах он не написался.

От горячих вод — к холодным. Таков был его метод. И два месяца, по строгому приказу лекаря, Пушкин купался в водах, сначала в серной горячей, потом в теплой кисло-серной, потом в железной и, наконец, в кисло-холодной.

Генерал одобрял своего лекаря.

— Без железа нельзя, — говорил он по поводу железных вод.

Нет, общество у него было теперь другое. Он нашел другую недвижность. Он то-тостоящему знал теперь, что страшные облака, разноцветные, седые, румяные, сизые — это вовсе не облака, а вершины гор, ледяные под солнцем. Он знал их: шатиглавый, как собор, Башту, Машук, Железная Гора, каменная, похожая на гадюку — Змейная.

И, когда исполнив все наказы лекаря, он вдруг увидел свое лицо, наклонившись над чистым ключом, и почувствовал себя всего как есть, он понял: время пришло. И, сядясь в седло рядом с Николаем Раевским, он долго с ним говорил. Николай был сын своего отца и помнил все, о чем толковал генерал. Они во всем сошлись. Раевский вспомнил химерический план Наполеона. План был похож на сказочные облака, бывшие вершинами кавказских гор. План этот был еще во время внезапной дружбы с императором Павлом, которая столь же внезапно, вместе с императором, юничилась. Этот план был — русская Индия. И Пушкин сказал, что эти горы не только невиданной красотой нужны, эта сторона сблизит родину с персиянами и турговой дружбою.

Они ехали с Николаем Раевским. Шестьдесят казаков с береговой кубанской сторожевой станции их провожали. И, любуясь их скачкой, их вольной посадкой, Пушкин сказал Николаю Раевскому, замерши в радости:

— Вечно верхом! Вечно готовы драться, в вечной предосторожности!

## 40

Его выслали по срочному приказу.

Не исполнился хитрый план быстрого, бесчестного Голицына, — он был выслан не прочь из России, не в Испанию, но туда, подальше, в Россию; родная держава открылась перед ним. Он знал и любил далекие страны, как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой, и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля, родная держава.

Настоящим очастием было, что руководил его высылкой не поэт, а генерал великого двенадцатого года, который вовсе не обособлял военного дела от семьи, от родства, а стало — от будущего. Он много в этот год думал об истории всех мест, по которым проезжал, не было, не могло быть немых мест, речь их была точна. Он был выслан на точную речь. Точен, как ма-

тематика, был стих. И здесь была еще одна проклятая загвоздка: не верили. Чем точнее был стих, чем вернее и правдивее было то, о чем он рассказывал, он знал: не будут верить. Невероятно — скажут. Вся родная держава вызывала недоверие. Излишне было доказывать. Точность полицейского протокола не спасала. Следовало подчиниться. И он подчинился. Более того, нужно было этим законом воспользоваться, можно было писать подлинную кровью, писать о том и о той, писать то и так, как захочется писать перед смертью. Словом, цензура для него не существовала. Не полицейская цензура, ее он знал и власть ее испытал, она его выгнала из столицы, эта цензура, а другая, страшная цензура — цензура собственного сердца и мильных друзей. Он стал писать элегию так как будто она была последними его стихами, последними словами. Жизнь двигалась, как могла и как должна была. Николай Раевский был истинным, настоящим товарищем. Он был гуаром и понимал поэзию — не торопил ее.

Шел Крым, важное и запретное место родной державы. Из Керчи, громкой и хлопотливой, приехали в Кефу, уже принявшую самолюбивое имя Феодосии. Вечер падал слышный и явный в Кефе. Мимо крымских берегов приехали в Юрзуп, где ждал их генерал Раевский с малыми дочками. Ночью на фрегате, легком и быстрокрылом, который величали «Русалкой», он и писал элегию.

Ночь здесь падала весомо и зrimо.

Он видел крымский берег. Тополи, виноградники, осанистые лавры и кипарисы, стройней которых не бывает в мире ничего, провожали их.

Берега шли близко. И он вспомнил наполеоновское издание о Крыме, как смотрела его Катерина Андреевна, смотрела вместе с ним, и как он никак не мог и не хотел отделаться от мысли, что встретит ее там.

Он все вспомнил, вспомнил не туманно, не издали, а просто увидел ее здесь, в каюте этого фрегата, невдалеке от лавров и кипарисов, шедших по берегам с ними вместе. Он помнил, как хотел пасть к ее ногам тогда, и как это осталось с ним, навсегда. Теперь ночью, под звездами, крупными и ясными, не в силах более унять это видение, на которое был обречен на всегда, он здесь пал на колени перед нею.

Имя Катерины Андреевны никто не произнесет, спросят годы его безумной любви и, точно узмав, что она была почти вдвое старше его, машиут рукой, особенно если это будет женский вопрос, — в вопросе о годах они неумолимы. Красота? Но здесь на помощь придет сама Катерина Андреевна — скромность ее уже давно непонятна. Она не имеет портретов.

Так началась его высылка.

Он был обречен на эту любовь, бывшую безумием.

Он знал, что — слава богу! — никто ни слова о ней не скажет. Слава богу! Хотя его первая вспышка, безумная, мальчишеская, идущая на смешную неудачу, эта вспышка, с детскими слезами, вдруг хлынувшими из глаз, неудержимыми, которые все умные запомнят, простая, детская выходка, что она имела общего с этими ранами, глубокими ранами любви?

Все это и была она.

Умным глазам были милы его стихи, она их знала, любила. Она их понимала, знала весь их ход, несбыточные, забытые им потом намерения. И смеялась над его дуэлями, как над мальчишеством.

Он писал эту элегию как последнее, что предстояло сказать.

Ничего другого он не скажет.

Ни о ком другом, ни о чем другом.

И то, что это было последним, делало каждое слово правдой. Элегия была заклинанием. Он смело мог писать всю правду, спокойствие Екатерины Андреевны было нерушимо. Все же он написал Левушке, чтоб послал печатать без подписи. В поэзии, как в бою, не нужно имя.

Он знал: когда будет писать о ней, свидетелем всегда будет почтная мгла или, как теперь, — угрюмое море. И эта его любовь, которую излечить было невозможно, которая была с ним всегда, напоминала только рану, которую лучше всего знал старый Раевский, любивший своего лекаря за то, что тот не тешил его надеждами на исцеление. И знает, когда к погоде рана занывает.

Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стихи, но сердце прежних ран, глубоких ран любви, ничто не излечило.

Нет, не даром он выслан был на юг. Не на севере, а здесь, именно здесь, засинался лицей. Много южнее мест его высылки, когда он еще ходить не умел, до лицея, служил здесь дипломатом, генеральным русским комиссаром Малиновский, защищая русские интересы. И здесь, наблюдая беглых ссыльных, в этом краю, написал он, решился написать, трактат об уничтожении рабства.

И теперь он, Пушкин, был выслан сюда, чтобы здесь, именно здесь, быть свидетелем жажды свободы, заставлявшей людей, скованных вместе, плыть со скоростью бешеною вперед!

Да здравствует лицей!

И здесь он писал элегию о любви невозможной, в которой ему отказано время. Как проглятый, не смев назвать ее имени, плыл он, полный сил, упоенный воспоминанием обо всем, что было запретно, что сбыться не могло.

*Конец III части*

---

# НАСТУПЛЕНИЕ

## ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД

Когда ты входишь в город свой  
И женщины тебя встречают,  
Над побелевшей головой  
Детей высоко поднимают;

Пусть даже ты героем был,  
Но не гордись,— ты в день вступления

Не благодарность заслужил  
От них, а только лишь прощенье.

Ты лишь вернул тот страшный долг,  
Который сделал в ту минуту,  
Когда твой отступивший полк  
Их в рабство отдал на чужбину.

### СОЛДАТСКИЙ РАЗГОВОР

Последний кончился огарок  
И по невидимой черте  
Три красных точки трех цыгарок  
Безмолвно бродят в темноте.

О чем наш разговор солдатский?  
О том, что нынче Новый год,  
А света нет, а холод адский,  
И снег, как каторжный, метет.

Один сказал:— Моя сегодня  
Полы помоет, как при мне.  
Потом детей, чтоб быть свободней,  
Уложит. Сядет в тишине.

Ей сорок лет — мы с пей погодки.  
Всплакнет ли, просто ли вздохнет,  
Но уж наверно рюмкой водки  
Меня по-русски помянет...

Второй сказал:— Уж год с лишкою  
С моей войны час развел.  
Я, с молодой простясь женой,  
Взял клятву, чтоб верна была.

Я клятве верю. Коль не верить,  
Как проживешь в таком аду?  
Наверно все глядят на двери,  
Все ждет: сегодня вдруг приду...

А третий лишь вздохнул устало.  
Он думал о своей, — о той,  
Что с лета прошлого молчала  
За черной фронтовой чертой...

И двое с ним заговорили,  
Чтоб не грустил он, про войну,  
Куда их жены отпустили,  
Чтобы спасти его жену.

### У ОГНЯ

Кружится испанская пластинка,  
Изогнувшись в тонкую дугу.  
Женщина под черной косынкой  
Плачет на вертящемся кругу.

Одержима яростью верой  
В то, что он когда-нибудь придет,  
Вечные слова: «yo te quiero»<sup>1</sup>  
Плащущая женщина поет.

В дымной, промерзающей землянке,  
Под накатом бревен и земли,

Человек в тулупе и ушанке  
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,  
Греет свои раны он сейчас,  
Под Мадридом продырявлен в первый,  
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает.  
Он да песня — больше никого...  
Он тоскует? Может быть. Кто знает?  
Кто спросить посмеет у него?

<sup>1</sup> По-испански: я тебя люблю.

Приволоку молча прогрызая,  
По снегу ползут его полки.  
Южная пластинка, замерзая,  
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,  
Выстрелы, да снега синева...  
На одной из улочек Дель-Кампо,  
Если ты сейчас еще жива.

Если бы неведомою силой  
Вдруг тебя в землянку залучить,  
Где он, тот, голубоглазый, милый,  
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,  
Не узнала б прежнего, того,

В грузном, поседевшем человеке,  
В новом, грозном, имевшем его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,  
Встанут все. Но, подойдя к дверям,  
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:  
— Ну-ка, заведи вдогонку нам.

Тонкий луч за них блеснет из двери,  
И метель их сразу обовьет.  
Но, как прежде, радуясь и веря,  
Женщина во след им запоет.

Потеряв в снегах его из вида,  
Пусть она поет еще и ждет,  
Генерал упрям, он до Мадрида  
Все равно когда-нибудь дойдет.

## ТРИ БРАТА

Россия, родина, тоска...  
Ты вся в дыму, как поле боя.  
Разломим хлеб на три куска,  
Поделимся между собою.

Нас трое братьев. Говорят,  
Как в сказке, мы неодолимы.  
Старший, меньший и средний брат,  
Втроем идем мы в дом родимый.

Идем, не прячась непогод,  
Не обождав, чтоб даль светала.  
Мы — путники. Уж третий год  
Нам посохом винтовка стала.

Наш дом еще далек, далек.  
Он там, за боем, там, за дымом.  
Он там, где тлеет уголек  
На пепелище нелюдим.

Он там, где, нас уставши ждать,  
Босая, на жливье колючим,

Все плачет, плачет, плачет мать,  
Все машет нам платком горючим.

Как снег, был бел ее платок.  
Но путь наш долг был и тортен,  
И стал от пыли тех дорог,  
Как скорбь, он череп, череп, череп...

Нас трое братьев. Кто дойдет?  
Кто счет сведет долгам и ранам?  
Один из нас в пыли падет,  
Как спон сражен железом бранным.

Второй, израненный врагом,  
Окровавлен в пути отстапет,  
И битв былых слепым певцом,  
Быть может, вдохновенно станет.

Но невредимым третий брат  
Придет домой и дверь откроет,  
И материнский черный плат  
В крови врага стократ омоет.

## ДОМ В ВЯЗЬМЕ

Я помню в Вязьме старый дом.  
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,  
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.  
Кто был в ту ночь, иных уж нет.

Не знаю я, что в смертный час  
За тем столом он вспомнил нас.

Крылами смерти осенен,  
Солдатской дружбой освещен,

Был пробным камнем этот стол  
Для тех, кто в бой наутро шел.

В ту ночь, готовясь умирать,  
Навек забыли мы, как лгать,

Как изменять, как быть скучным,  
Как над добром дрожать своим.

Хлеб пополам, кровь пополам —  
Так жизнь в ту ночь открылась нам.

Я помню в Вязьме старый дом.  
В день мира прах его с трудом

Пайдем средь выжженных печей  
И обгорелых кирпичей.

Но мы складчину соберем  
И вновь построим этот дом.

С такой же печкой и столом  
И накресть kleenym стеклом.

Чтоб было в доме все точь-в-точь,  
Как в ту, нам памятную, ночь.

И если кто-нибудь из нас  
Рубашку другу не отдаст,

Хлеб не поделит пополам,  
Солжет или изменит нам,

Иль, находясь в чинах больших,  
Друзей забудет фронтовых,

Мы суд солдатский соберем  
И в этот день его сошлем.

Пусть просидит один в дому,  
Как будто утром в бой ему,

Как будто, если лжет сейчас,  
Он, может, лжет в последний раз.

Как будто, хлеб он не дает  
Тому, кто к вечеру умрет,

И палец подаст тому,  
Кто завтра жизнь спасет ему.

Пусть, вместо нас, лишь горькийсты  
Ночь за столом с ним просидит.

Мы, встретясь, по его глазам  
Прочтем: он был иль не был там.

Коль не был, значит, круг друзей  
На одного еще тесней.

Но если был, мы у него  
Не спросим больше ничего.

Он вновь по гроб нам будет мил.  
Пусть просто скажет: — Я там был.

## СЧАСТЬЕ

Мальчиком он был. Его спросили:

— Что ты хочешь, чтобы быть сча-  
стливым?

— Я хочу проехать на лошадке  
И подуть в солдатскую трубу.

Юношем он стал. Его спросили:

— Что ты хочешь, чтобы быть сча-  
стливым?

— Я хочу весь белый свет объехать  
И не старясь до ста лет прожить.

Стал солдатом он. Его спросили:

— Что ты хочешь, чтобы быть сча-  
стливым?

— Я хочу, раз выбирать уж надо.  
Умереть, чтоб родину спасти.

Умер он. Его вдову спросили:

— Что ты хочешь, чтоб не быть ни  
счастливой?

— Я хочу, коль он уж не воскресне.  
Чтоб мой сын хотел того же, что он.

ВАС. ГРОССМАН

## СТАРЫЙ УЧИТЕЛЬ

### I

Последние годы Борис Исаакович Розенталь выходил из дома лишь в теплые тихие дни. В дождь, в сильный мороз, либо в туман у него кружилась голова. Доктор Вайнтрауб полагал, что головокружения происходят от склероза, и советовал перед едой выпивать рюмку молока с пятнадцатью каплями иода.

В теплые дни Борис Исаакович выходил во двор в книжкой. Во двор он не брал философских книг, там его развлекали возня детей, смех и руготня женщин. Он брал с собой томик Чехова и садился на скамейке возле колодца. Он держал открытую книгу на коленях и, глядя все на одну и ту же страницу, сидел, полузакрыв глаза, с сонной улыбкой, которая бывает у слепых, прислушивающихся к тому, как шумит жизнь. Он не читал, но привычка к книге была в нем настолько сильна, что ему необходимым казалось поглаживать шершавый переплет, проверять дрожащими пальцами толщину страницы. Женщины, сидевшие неподалеку, говорили: «Вот учитель заснул», — и беседовали о своих делах, словно были одни. Но он не спал. Он наслаждался теплом нагретого солнцем камня, он вдыхал запах лука и постного масла, он слушал бесстыдные разговоры старух о своих невестках и зятьях, он ловил ухом беспощадный, бешеный азарт мальчишеских игр. Иногда сохнущие на веревках тяжелые, мокрые простыни хлопали, как паруса на ветру, и лицо ему обдавало влагой. И ему казалось: вот он снова молод и студентом едет на парусной лодке по морю. Он любил книги — книги не стояли стеной между ним и жизнью, они были канатами, привязавшими его к жизни. Богом была жизнь. И он познавал бога живого, земного, греческого бога, читая историков и философов, читая великих и малых художников, которые каждый в силу свою славили, оправдывали, винили и кляли человека на прекрасной земле. Он сидел во дворе и слышал пронзительный детский голос: «!»

— Внимание, бабочка летят — огонь!

— Есть, поймал! Добирайте ее камнями!

Борис Исаакович не ужасался этой свирепости, он знал ее и не боялся ее на протяжении всей своей восьмидесятидвухлетней жизни.

И вот шестилетняя Катя, дочь убитого лейтенанта Вайсмана, подошла к нему в своем изодранном платьице, шаркая галошами, спадающими с грязных исцарапанных ножек и протянула холодный кислый блин, сказав: «Кушай, учитель!»

Он взял блин и ел его, глядя на худое лицо девочки. Он ел этот блин, и во дворе вдруг стало тихо, и все — и старухи, и молодые грудастые бабы, забывшие о мужьях, и лежавший на матраце под деревом безногий лейтенант Бороненко — смотрели на старика и на девочку. Борис Исаакович уронил книгу и не стал поднимать ее — он смотрел на огромные глаза, внимательно и жадно следившие, как он ел. Ему вновь захотелось понять вечно удивлявшее его чудо человеческой доброты, он хотел вычитать его в этих детских глазах, но видно слишком темны были они, а может быть, слезы помешали ему, но он снова ничего не увидел и снова ничего не понял.

Соседок всегда удивляло, почему к старику, получающему сто двадцать рублей пенсии, не имеющему даже керосинки и чайника, приходят в гости директор пединститута и главный инженер сахарного завода, а однажды приехал на автомобиле военный с двумя орденами.

— Это мои бывшие ученики, — объяснял он. И почтальону, приносившему ему иногда сразу два-три письма, он тоже говорил: — Это мои бывшие ученики. — Они его помнили, бывшие ученики.

И вот он сидел утром 5 июня 1942 года во дворе, рядом с ним, на вынесенном из дома матраце, сидел лейтенант Виктор Вороненко с отрезанной выше колена ногой. Жена Вороненко, молодая красавица, Дарья Семеновна готовила на летней кухне обед и, наклоняясь над кастрюлями, плакала, а Вороненко, насмешливо морща белое лицо, говорил:

— Чего плакать, Даша, вот увидишь, отрастет у меня нога.

— Да я не от этого, лишь бы ты был живой, — говорила Дарья Семеновна и плакала, — я совсем от другого.

В час дня объявили воздушную тревогу: шел немецкий самолет. Женщины, подхватив детей, побежали к щелям, оглядываясь, не подбираются ли жулики к оставленным на столиках и табуретках продуктам. Во дворе оставался только Вороненко и Борис Исаакович. Мальчишка кричал с улицы:

— Возле нас остановилась автоцистерна, это объект! Водитель удрал в щель!

Собаки, изведавшие уже множество налетов, при первых же отдаленных звуках немецкого мотора, опустив хвосты, полезли в щели следом за женщинами. Женщины пинали их, кричали: «И без вас тошно, вы еще здесь со своими блохами, марш, холера на вас!» но собаки валились набок и не хотели выходить из щелей.

Потом на миг стало тихо, и мальчишки пронзительно известили:

— Летит... разворачивается... пикирует, паразит!

Маленький городок вздрогнул от страшного удара, дым и пыль поднялись высоко вверх, крик и плач посыпался из щелей. Потом стало тихо, и женщины вылезали из земли, отряхиваясь, поправляя платья, смеяясь друг над другом, счищая с детей пыль и грязь, спешили к плиткам.

— А шоб вин сказывся, погасла-таки плита, — говорили старухи и, раздувая пламя, плача от дыма, бормотали: — шоб ему уже добра ни на том ни на цем свети не було.

Вороненко объяснил, что немец сбросил двухсотку и что зенитки мазали метров на пятьсот. Старуха Михайлук бормотала:

— Та скорей бы уж немцы шли, чтоб кончилось несчастье. Вчера в тревогу какой-то паразит у меня с плиты горшок борца унес.

Во дворе знали, что сын ее Яшка убежал из армии и скрывается в чердачной комнате, выходит на улицу только ночью. Михайлочка говорила, что если кто заявит, то при немцах ему головы не снести. И женщины боялись заявлять — немцы были близко.

Агроном Коряко, не эвакуировавшийся с райкомитетом, а хваставший, что уйдет с войсками в последнюю минуту, как только объявили тревогу, бежал в комната, — он жил на первом этаже, выпивал стакан самогону, агроном называл его «антибомбинг», и затем спускался в подвал. После отбоя Коряко ходил по двору и говорил:

— Все равно наш город — это неприступная крепость, подумаешь, разбил дойч халупу.

Мальчишки первыми прибегали с улицы, принося точные сведения:

— Упала прямо против дома Заболоцких, убило у Рабиновички козу, оторвало ногу старухе Мирошенко, ее повезли на подводе в больницу, и она умерла по дороге, дочь убивается так, что слышно за четыре квартала.

Вечером зашел к Борису Исааковичу доктор Байнтрауб. Байнтраубу было 68 лет. На нем был надет легкий чесучовый пиджак, косоворотка расстегнута на жирной груди, поросшей седой шерстью и мокрой от пота.

— Ну, как, молодой человек? — спросил Борис Исаакович.

По молодой человек тяжело дышал, одолев лестницу, ведущую на второй этаж и лишь вздыхал, показывая на грудь. Потом он сказал:

— Надо ехать, говорят, последний эшелон с рабочими сахарного завода уходит завтра. Я напомнил инженеру Шевченко,— он обещал прислать за вами подводу.

— Шевченко у меня учился, отлично успевал по геометрии,— сказал Борис Исаакович,— его нужно попросить взять из нашего дома ранено го Вороненко, которого дней пять назад жена нашла в госпитале, и Вайсман с ребёнком, муж её убит, она получила извещение.

— Не знаю, будет ли место, ведь несколько сот рабочих,— сказал Вайнтрауб и вдруг заговорил быстро, обдавая собеседника своим тяжелым, горячим дыханием: — Ну вот, Борис Исаакович, город, где меня буквально каждая собака знает, подумать только, шестнадцатого июня девятьсот первого года я приехал сюда! — Он усмехнулся: — И вот совпадение, в этом доме, в этом самом доме я был сорок один год тому назад у своего первого пациента — Михайлук отравился рыбой. С тех пор кого я только не лечил здесь — и его, и жену, и Яшку Михайлук с его вечными поносами, и Дашу Ткачук, еще до того, как она вышла замуж за Вороненко, и отца Даши, и Витю Вороненко. И так буквально в каждом доме. А-а, ну-ну. Дожить до того дня, чтобы нужно было бежать отсюда. И скажу вам откровенно, чем ближе отъезд, тем меньше во мне решимости. Все кажется — останусь. Пусть будет, что будет.

— А у меня все больше решимости ехать,— сказал учитель,— я знаю, что такое езда в переполненной теплушке для человека восьмидесяти двух лет. У меня нет родственников на Урале. У меня ни копейки нет за душой. Больше того,— он махнул рукой.— я знаю, уверен даже, что не выдержу до Урала, но это лучший выход — умереть на грязном полу грязной теплушке, сохранив чувство своего человеческого достоинства, умереть в стране, где меня считают человеком.

— Ну, не знаю,— сказал Вайнтрауб,— а по-моему не так страшно, все же такие люди интеллигентных профессий, вы сами понимаете, на улице не валяются.

Наивный вы молодой человек,— сказал Борис Исаакович.

— Не знаю, не знаю,— сказал доктор.— Я все время колеблюсь, многие мои пациенты меня уговаривают остаться... Но есть и такие, которые безоговорочно советуют уехать.— Он вдруг вскочил и громко закричал:

— Что это? Объясните мне! Я пришел к вам, чтобы вы мне объяснили, Борис Исаакович! Вы — философ, математик,— объясните мне, врачу, что это? Бред! Как культурный европейский народ, создавший такие клиники, выдвинувший такие светила научной медицины, стал проводником черносотенного средневекового мрака? Откуда эта духовная инфекция? Что это? Массовый психоз? Массовое бешенство? Порча? Или все же такие немногие не так, а? Сгостили красочки?

На лестнице послышался стук костылей, это поднимался Вороненко.

— Разрешите, товарищи начальники, обратиться? — насмешливо спросил он.

Вайнтрауб сразу успокоился и спросил:

— А, Витя, ну как дела? — Он почти всему населению города говорил «ты», потому что все сорокалетние и тридцатилетние когда-то мальчишками лечились у него.

— Вот ножку оторвало,— сказал, усмехаясь, Вороненко. Он о своей беде всегда говорил усмехаясь, стыдясь ее.

— Ну как, книжку прочли? — спросил Борис Исаакович.

— Книжку? — переспросил Вороненко; он все время усмехался, морщился.— Какого хрена книжку, вот будет нам знаменитая книжка.

И Вороненко вдруг нагнулся к нему, лицо его стало спокойно, неподвижно. Негромко и неторопливо он произнес:

— Немецкие танки прошли через железнодорожное полотно и заняли деревню Малые Низгуруды, это примерно километров двадцать на восток.

— Восемнадцать с половиной,— сказал доктор и спросил: — Значит эшелон не уйдет?

— Ну, само собой разумеется,— сказал старый учитель.

— Мешочек,— сказал Вороненко и, подумав, прибавил: — завязанный мешочек.

— Ну, что ж,— проговорил Вайнтрауб,— посмотрим, значит это судьба. Я пойду домой.

Розенталь посмотрел на него.

— Вы знаете, я всю жизнь не любил лекарств, но сейчас вы мне дадите единственное лекарство, которое может помочь.

— Что, что может счасти? — быстро спросил Вайнтрауб.

— Яд.

— Никогда этого не будет! — крикнул Вайнтрауб.— Я никогда этого не делал.

— Вы наивный молодой человек,— сказал Розенталь.— Эпикур ведь учил, что мудрый из любви к жизни может убить себя, если страдания его становятся невыносимы. А я люблю жизнь не меньше Эпикура.

Он встал во весь рост. Волосы, и лицо его, и дрожащие пальцы, и тонкая шея — все было высушено, обесцвечено временем, казалось прозрачным, легким, невесомым. И только в глазах была мысль, не подвластная времени.

— Нет, нет,— Вайнтрауб пошел к двери.— Вот увидите, как-нибудь промучаемся. И он ушел.

— Больше всего боюсь я одной вещи,— сказал учитель,— того, что народ, с которым я прожил всю свою жизнь, который я люблю, которому верю, что этот народ поддается на темную подлую провокацию.

— Нет, этого не будет,— сказал Вороненко.

Ночь была темна оттого, что тучи покрывали небо и не пропускали света звезд. Она была темна от тьмы земной. Гитлеровцы были великой ложью жизни. И всюду, где ступала нога их, из мрака на поверхность выступала трусость, предательство, жажда темного убийства, расправы над слабым. Все темное вызывали они на поверхность, как в старой сказке дурное колдовское слово вызывало духов зла. Маленький город в эту ночь задыхался от темного и недоброго, от зловонного и грязного, что проснулось, залевелилось, растревоженное приходом гитлеровцев, потянулось им навстречу. Из подвалов и яров выползли изменники, слабые духом, рвали и жгли в печах книги Ленина, партийные билеты, письма, срывали со стен портреты братьев. В нищих духом зрели листьевые слова отреченья, рождались мысли о мести за бабью скору на рынке, за случайно сказанное слово; черствостью, себялюбием, безразличием заражались сердца. Трусы, боясь за себя, замышляли доносом на соседа спасти свою жизнь. И так было во всех больших и малых городах больших и малых государств, всюду, куда ступала нога гитлеровцев, муть поднималась со дна рек и озер, жабы всплывали на поверхность, чертополох всходил там, где растлили пшеницу.

Ночью Розенталь не спал. Казалось, в это утро не взойдет солнце, тьма над городом встала навек. Но солнце взошло в предначертанный ему час, и небо стало голубым и безоблачным, и птицы запели.

Низко и медленно пролетел немецкий бомбардировщик, словно угомленный ночной бессонницей — зенитки не стреляли, город и небо над городом стали немецкими. Дом просыпался.

Яшка Михайлук спустился с чердака. Он гулял по двору. Он сидел на той скамейке, где вчера сидел старый учитель. Он сказал Да-ше Вороненко, топившей плитку:

— Ну, что, где он, твой защитник родины? Убегли красные и не взяли его с собой?

И красивая Даша, улыбаясь жалкой улыбкой, сказала:

— Ты на него не доноси, Яша, он ведь по мобилизации, как все, пошел.

Яшка Михайлук, после долгого сидения в темноте, вышел под солн-

почное тепло, дышал утренним воздухом, смотрел на зеленый лук в огороде. Он побрился и надел вышитую рубаху.

— Ладно,— сказал он лениво,— вот бы выпить мне чего, не знаешь где достать?

— Я достану самогон,— сказала Даша,— есть тут у одной знакомой. Только смотри, Яшка, он ведь бедный, калека. Ты не капай на него.

Потом вошел во двор агроном, и женщины шептались:

— Вот это да, словно на первый день пасхи.

Он поговорил с Яшкой, шепнул ему словцо на ухо, и они оба расмеялись.

Они зашли к агроному и выпивали там. Михайлочка пронесла им сала и моченых помидоров. Варвара Андреевна, у которой все пять сыновей были в Красной Армии, самая вредная на язык и самая ядовитая во дворе старуха, сказала ей:

— Ты теперь, Михайлочка, знатная женщина страны при немцах будешь: муж в концлагере за агитацию, сын дезертир, дом этот твой собственный. Прямо тебя немцы городской головой выберут.

Шоссе лежало в пяти километрах восточной города и поэтому немецкие войска прошли, минуя маленький городок. Лишь в полдень проехали по главной улице мотоциклисты в пилотках, трусах и тапочках, черные от загара. У каждого на руке были часы-брелки.

Старухи, глядя на них, говорили:

— Ах, боже мой, ни стыда, ни совести, голые по главной улице. Окаянство-то до чего доходит!

Мотоциклисты пошурковали по дворам, забрали поповского индюка, вышедшего разобраться в конском навозе, второпях съели у церковного старосты два с половиной кило меда, выпили ведро молока и укатили дальше, обещав, что часа через два прибудет комендант. Днем к Яшке пришли еще два приятеля-дезертира. Они все были пьяны и хором пели: «Три танкиста, три веселых друга». Они бы, вероятно, спели немецкую песню, но не знали ее. Агроном ходил по двору и, лукаво усмехаясь, спрашивал у женщин:

— Где же это наши евреи? Весь день не видно ни детей, ни старииков, никого, словно их и не было на свете. А вчера с базара птицеподовые корзины перли.

Но женщины пожимали плечами и не поддерживали этот разговор. Агроном удивлялся почему. Ему казалось, что женщины совсем иначе относятся к таким интересным словам.

Потом пьяный Яшка решил очистить свою квартиру, ведь до тридцати шестого года весь нижний этаж был занят Михайлочками. После того, как сослали отца, две комнаты занял Вороненко с женой, а во время войны горсовет вселил в третью комнату семью младшего лейтенанта Вайсмана, эвакуированную из Житомира.

Приятели помогли Яшке очистить площадь. Катя Вайсман и Виталька Вороненко сидели во дворе и плакали. Старуха Вайсман выносila посуду, кухонные горшки и, проходя мимо плачущих детей, шепотом говорила:

— Цыть, дети, типе, не надо плакать.

Но потное лицо ее с прилипшими к вискам и щекам селыми пряжамиказалось таким страшным, что дети, глядя на нее, пугались и плакали еще сильнее. Даша пробовала напомнить Яшке об утреннем разговоре, но он ей сказал:

— Меня пол-литром не купишь! Ты думаешь, люди забыли, что твой Витяка народ раскулачивал.

Лида Вайсман, вдова младшего лейтенанта, малость помешавшаяся в уме после того, как в один день она получила похоронную на мужа и на брата, смотрела на плачущую девочку и говорила:

— Сегодня на базаре нет ни капли молока, плачь, молока нет.

А Виктор Вороненко улыбался, лежа на пустом мешке, постукивая костылем по земле.

Старуха Михайлук стояла высокая седая с яркими глазами и все

молчала. Она смотрела на плачущих детей, на захлопотавшегося сына, на старуху Вайсман, на улыбавшегося безногого.

— Мамо, юж вы стоите, как засватаанша? — спрашивал ее Яшка.

Два раза она не ответила ему, а на третий раз сказала:

— Вот и мы дождали дня.

До вечера выселенные сидели молча на узлах, а когда начало темнеть, вышел учитель и сказал:

— Очень прошу вас юж мне.

Зажаменевшие женщины зарыдали сразу.

Взяв два узелка с земли, учитель пошел к дому. Комнату всю завалили узлами, кастрюлями, чемоданами, обвязанными проволокой и бечевками. Дети уснули на кровати, женщины на полу, а Ровенталь и Вороненко вполголоса разговаривали.

— Я о многом в жизни мечтал, — говорил Виктор Вороненко, — то мне хотелось орден Ленина иметь, то хотел свой мотоцикл с коляской, чтобы по выходным ездить с женой к Донцу; был на фронте, мечтал семью повидать, сыну привезти железный крест и сгущенного молока, а теперь я мечтаю только об одном: иметь гранаты вот бы шухеру наделал.

А учитель сказал:

— Чем больше думашь о жизни, тем меньше ее понимашь. Скоро я перестану думать, но это случится, когда мне размозжат череп. Пока помешать мне думать бессильны немецкие танки — я думаю о мире.

— Да что там думать, — сказал Вороненко, — гранаты бы ручные, побольше шухера, пока я жив, Гитлеру сделать.

## II

Агроном Коряко ждал приема у коменданта города. Говорили, что комендант — человек пожилой, знающий русский язык. Откуда-то стало известно, что в далекие времена он учился в рижской гимназии. Коменданту было уже доложено, и агроном ходил в волнении по приемной, поглядывая на огромный портрет Гитлера, беседующего с детьми. У Гитлера на лице была улыбка, а дети, необычайно нарядные, с серьезными, напряженными лицами, смотрели на него снизу, с малой высоты своего детского роста. Коряко волновался. Ведь он некогда составлял план колхозификации по району — вдруг есть донос по этому случаю. Он волновался, — впервые в жизни предстояло ему говорить с фашистами. Волновался он и потому, что находился в помещении сельскохозяйственного техникума, где преподавал год назад полеводство. Он понимал, что совершает решающий шаг и не сможет никогда вернуться к прежнему. И все волнения души агроном тушил одной фразой. Он твердил ее беспрерывно.

— Играт надо на козырную карту, на козырную карту надо играть.

Из комендантовского кабинета послышался вдруг полный муки, хрипливый, сдавленный крик.

Коряко отошел к входной двери. «Эх, ей-богу, зря я сам лезу, сидел бы и никто бы не тронул», — с внезапной тоской подумал он. Дверь распахнулась, и в приемную выбежал начальник полиции, недавно приехавший из Винницы, и молодой бледный адъютант коменданта, который в базарный день делал облаву на партизан. Адъютант что-то громко сказал писарю по-немецки, и тот вскочил и кинулся к телефону, а начальник полиции, увидев Коряко, крикнул:

— Скорей, скорей! Где тут доктор? С комендантом припадок.

— Да вот наискосок дом, самый лучший врач в городе, — показал в окно Коряко. — Только он, извините, Вайнтрауб — еврей!

— Вас? Вас? — спросил адъютант.

Начальник полиции, уже научившийся калекать по-немецки, сказал:

— Хир, айн гут доктор, aber эр ист юд.

Адъютант махнул рукой, кинулся к двери, а Коряко догоняя его, показывал:

— Сюда, сюда, вот этот домик.

У майора Вернера был жестокий приступ грудной жабы. Доктор сразу понял это, задав несколько вопросов адъютанту. Он выбежал в соседнюю комнату, обнял, прощаясь, жену и dochь, захватил шприц, несколько ампул камфоры и вышел следом за молодым офицером.

— Минуту... Я ведь должен надеть повязку,— сказал Вайнтрауб.

— Не надо, идите так,— проговорил адъютант.

Когда они входили в комендатуру, молодой офицер сказал Вайнтраубу:

— Я предупреждаю: сейчас прибудет наш врач, за ним послан авто. Он проверит все ваши медикаменты и методы.

Вайнтрауб, усмехнувшись, сказал ему:

— Молодой человек, вы имеете дело с врачом, но если вы мне не доверяете, я могу уйти.

— Идите скорей, скорей!— крикнул адъютант.

Вернер, худой, седой человек, лежал на диване с потным бледным лицом. Полные смертной тоски, глаза его были ужасны. Вернер медленно произнес:

— Доктор, ради моей бедной матери и больной жены — они же переживут.— И он протянул к Вайнтраубу бессильную руку с белыми ногтями.

Писарь и адъютант одновременно всхлипнули.

— В такую минуту они вспомнили о матери,— набожно проговорил писарь.

— Доктор, я не могу дышать, у меня темнеет в глазах,— тихо крикнул комендант: он молил глазами о помощи.

И доктор спас его.

Сладостное чувство жизни вновь пришло к Вернеру. Сердечные суды, освободившись от спазм, свободно гнали кровь, дыхание стало свободным. Когда Вайнтрауб хотел уйти, Вернер схватил его за руку.

— Нет, нет, не уходите, я боюсь, это может повториться.

Тихим голосом он жаловался:

— Ужасная болезнь. У меня уже четвертый приступ. В момент припадка я чувствую весь мрак падающей смерти. Нет в мире ничего страшней, темней, ужасней смерти. Какая несправедливость в том, что мы смертны! Правда ведь?

Они были одни в комнате.

Вайнтрауб наклонился к коменданту, и сам не зная отчего, точно толкнул его кто-то, сказал:

— Я еврей, господин майор. Вы правы, смерть страшна.

На мгновение глаза их встретились. И седой врач увидел растерянность в глазах коменданта. Немец зависел от него, он боялся нового приступа, и старый доктор с уверенными, спокойными движениями защищал его от смерти, стоял между ним и той страшной тьмой, которая была так близко, совсем рядом, жила в склеротическом сердце майора.

Вскоре послышался шум подъехавшего автомобиля. Вшел адъютант и сказал:

— Господин майор, прибыл главный врач терапевтического госпиталя. Теперь можно отпустить этого человека?

Старик ушел. Проходя мимо ожидавшего в канцелярии врача с орденом железного креста на мундире, он сказал улыбаясь:

— Здравствуйте, коллега, пациент в полном порядке сейчас.

Врач неподвижно и молча смотрел на него.

Вайнтрауб шел к дому, громко нараспев говоря:

— Только одного хочу я, чтобы меня встретил патруль и расстрелял перед окнами, на глазах коменданта, больше у меня нет желаний. Не ходи без повязки, не ходи без повязки.

Он смеялся, размахивал руками, казалось, что он пьян.

Жена выбежала к нему на встречу.

— Ну как, что, все обошлось? — спрашивала она.

— Да, да, жизнь дорогое коменданта совершенно вне опасности, — улыбаясь, говорил он и, войдя в комнату, вдруг повалился, рыдая, стал биться своей большой лысой головой об пол.

— Прав, прав учитель, — говорил он, — будь проклят тот день, когда я стал медиком!

Так шли дни. Агроном стал поквартальным уполномоченным. Ишка служил в полиции, самая красивая девушка в городе Маруся Варапопова играла на пианино в офицерском кафе и жила с адъютантом коменданта. Женщины ездили в деревни менять баракло на пшеницу, картофель, пшено, ругали немецких шоферов, требовавших огромной платы за провоз баракла. Бирка труда рассыпала сотни повесток — и к станции шли девушки и парни с котомками и узелками, грузиться в товарные эшелоны. В городе открылось немецкое кино, солдатский и офицерский публичный дом, на главной площади построили большую кирпичную уборную с надписью на русском и итальянском языке: «Только для немцев». В школе учительница Клара Францевна задавала в первом классе детям задачу: «Два «Мессершmitt» сбили восемь красных истребителей и двадцать бомбардировщиков, а зенитная пушка уничтожила одиннадцать большевистских штурмовых самолетов. Сколько всего уничтожено красных самолетов?» И остальные учительницы боялись при Кларе Францевне говорить о своих делах, ждали, пока она выйдет из учительской комнаты. Через город гнали пленных, они шли, обворванные, шатались от голода, и женщины подбегали к ним, давали им куски хлеба, вареный картофель. Казалось, пленные потеряли человеческий образ, так измучены были они голодом, жаждой, вшами. У некоторых лица опухли, у других, наоборот, щеки ввалились, заросли темной, пыльной щетиной. Но, несмотря на страшные страдания, они несли свой крест и с ненавистью смотрели на сытых, хорошо одетых полицейских, на носящих немецкие мундиры изменников из национальных батальонов. И ненависть была так велика, что, если бы предоставили им выбор, их руки потянулись бы не за горячим караваем хлеба, а к горлу предателя. По утрам толпы женщин под наблюдением солдат и полицейских шли на работу на аэродромы, мосты, исправлять пути, железнодорожные насыпи. Мимо них проходили с запада эшелоны с танками и снарядами, с востока на запад шли составы с пшеницей, скотом, заключенные товарные вагоны с девчатами и парнями.

Женщины, старики, малые дети — все ясно понимали, что происходит в стране, какой участии обрекли немцы народ и ради чего вели они эту страшную войну. И когда однажды к Розенталю во дворе подопла старуха Варвара Андреевна и, плача, спросила: «Что ж это в свете делается, деду?» — учитель вернулся к себе в комнату и сказал:

— Ну, вероятно, через день-два немцы устроят евреям великую казнь, слишком страшна жизнь, которой они обрекли Украину.

— При чем же евреи? — спросил Вороненко.

— Как при чем, это одна из основ, — сказал учитель. — Фашисты создали всеевропейскую всеобщую каторгу, и, чтобы держать каторжан в повиновении, они построили огромную лестницу угнетения. Голландцам живется хуже, чем датчанам, французам хуже, чем голландцам, чехам хуже чем французам, еще хуже приходится грекам, сербам, потом полякам, еще ниже украинцы, русские. Это все ступени каторжной лестницы. Чем ниже, тем больше крови, рабства, пота. Ну, и в самом низу этой огромной каторжной многоэтажной тюрьмы находится пропасть, которой фашисты обрекли евреев. Их судьба должна страшить всю великую европейскую каторгу, чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев. Ну вот, мне кажется, страдания русских и украинцев настолько велики, что подоспела пора показать, что есть судьба еще страшней, еще ужасней. Они скажут: не ропщите, будьте счастливы, горды, рады, что вы те евреи! Это простая арифметика зверства, а не стихийная ненависть.

Во дворе, где жил учитель, за этот месяц произошло немало изменений. Агроном стал необычайно важен, потолстел. К нему ходили с просьбами женщины, приносили самогон, каждый вечер агроном напивался, заводил патефон, пел «Мой костер в тумане светит». В речи его появились немецкие словечки. Он говорил: «Когда я иду в нах гауз или на шпацир, пропу ко мне не обращаться с просьбами.» Яшка Михайлук дома бывал редко, большей частью он ездил по району, ловил партизан. Приезжал Яшка обычно крестьянской подводой, привозил с собой сало, самогонку, яйца. Мать, безумно любившая его, готовила богатые ужины. Однажды на такой ужин пришелunter-офицер из гестапо, и старуха Михайлук с укором сказала Даше Вороненко:

— Не угодила ты, дура, видишь, какие люди к нам ходить стали, а ты живешь со своим одногодом в жидовской комнате.

Они никак не могли простить красавице Даше, что та в тридцать шестом году отказалась сыну и пошла замуж за Вороненко. Яшка насмешливо и загадочно сказал:

— Скоро тебе просторно жить станет. Бывал я в городах, где очищено все сплошь... до последнего корешка.

Даша рассказала об этих словах дома. Старуха Вайсман начала причитать над внучкой.

— Даша, — сказала она, — я вам оставлю свое обручальное кольцо, а потом с нашего огорода пудов пятнадцать картошки можно будет снять, тыкву и бурак. Девочка прокормится кое-как до весны. У меня есть еще отрез сукна на дамское пальто, можно будет его выменять на хлеб. Она ведь совсем мало ест, у нее плохой аппетит.

— Прокормим как-нибудь, — ответила Даша, — а вырастет, мы ее выдадим замуж за нашего Виталия.

В этот день пришел к учителю доктор Вайнтрауб. Он протянул учителю маленькую бутылочку, закрытую притертой стеклянной пробкой.

— Концентрированный раствор, — сказал он, — мои взгляды изменились, в последние дни я начал считать это вещество необходимым и полезным медикаментом.

Учителя медленно покачал головой.

— Благодарю вас, — грустно произнес он, — но мои взгляды тоже изменились за последнее время, я решил отказаться от этого лекарства.

— Почему? — удивленно сказал Вайнтрауб. — С меня хватит. Вы были правы, а не я. По центральным улицам ходить мне нельзя, жене моей запрещено ходить на базар под страхом расстрела, мы все носим эту повязку. Когда я выхожу с ней на улицу, у меня словно на руке тяжелый обруч из раскаленной стали. Так жить нельзя, вы совершенно правы. И даже каторги в Германии мы, оказывается, недостойны. Вы слышали, как там работают несчастные девочки и мальчики? Но еврейскую молодежь туда не берут, значит, ее, нас всех ждет что-то во много раз худшее, чем эта страшная каторга. Что это будет — я не знаю. Зачем мне ждать этого? Вы правы. Я бы ушел в партизаны, но с моей бронхиальной астмой это неосуществимо.

— А я за эти страшные недели, которые мы с вами не виделись, — сказал учитель, — стал оптимистом.

— Что? — испуганно переспросил Вайнтрауб. — Оптимистом? Простите, но вы кажетсяе сошли с ума. Вы знаете, что это за люди? Я пришел сегодня утром в комендатуру просить только о том, чтоб дочь мою после избиения освободили на один день от работы — и меня выпустили. и спасибо, что только выгнали.

— Не об этом я говорю, — сказал учитель, — больше всего я боялся одной вещи, даже больше чем боялся, — ужасался ее, покрывался холодным потом при одной мысли о ней. Знаете, того, что фашистский расчет окажется верным. Я уже говорил об этом Вороненко. Я боялся, я ужасался, я не хотел дожить до этого дня, до этого часа. Неужели вы думаете, что фашисты вот так просто затягли эту

огромную травлю и истребление многомиллионного народа? В этом холодный, математический расчет. Они пробуждают в людях лишь одно темное, старое суеверие, разжигают ненависть, возрождают предрассудки. В этом их сила. Разделяй, натравливай и властвуй! Возрождать тьму! Натравить каждый народ на соседний, порабощенные народы на народы, сохранившие свободу, живущих по ту сторону океана на живущих по эту сторону, и все народы всего мира на один еврейский народ. Натрави и властвуй! А мало ли в мире тьмы и жестокости, мало ли суеверий и предрассудков! И они ошиблись. Они развязывали ненависть, а родилось сочувствие. Они хотели вызвать злорадство, ожесточение, затмить разум великих народов. А я сам воочию увидел, на себе испытал, что страшная судьба евреев вызывает у русских и украинцев лишь горестное сочувствие, что они, испытывая сами страшный гнет немецкого террора, готовы помочь, чем могут. Нам запрещают покупать хлеб,ходить на базар за молоком, и наши соседки сами берутся делать для нас покупки: десятки людей заходили ко мне и советовали мне, как лучше опрятаться и где побезопасней. Я вижу сочувствие многих. Я вижу, конечно, и равнодущие. Но злобу, радость от нашей гибели я видел всего лишь три-четыре раза. Немцы ошиблись! Счетоводы просчитались. Мой оптимизм торжествует. Я никогда не имел иллюзий — я знал и знаю жестокость жизни.

— Это все верно,— сказал Вайнтрауб и посмотрел на часы,— но мне пора,— еврейский день кончается, половина четвертого... Мы с вами, вероятно, не увидимся больше.— Он подошел к учителю и сказал: — Разрешите с вами проститься, мы ведь знаем друг друга почти пятьдесят лет. Не мне вас учить в такие минуты.

Они обнялись и поцеловались. И женщины, смотревшие на их прощание, плакали.

Много событий произошло в этот день. Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты «Ф-1». Он обменял «Фенек» на стакан фасоли и два стакана семечек.

— Что мне,— сказал он учителю, стоя под деревом и глядя, как сын его Виталик обижает маленькую Катю Вайсман,— что мне, пришел домой раненым, но никакого удовольствия нет, а как мечтал, ей-богу, и в окопе и в госпитале. Во-первых немецкая оккупация; зверство это с их биржами труда, каторжанство в Германии, голода, подлость, немецкие и полицейские хари, предательство проклятых изменников, девушки, извините, блудят на полный ход, а как мы их воспитывали и лелеяли...— Он оглянулся на детей и сказал вполголоса: — Борис Исаакович, вы для меня теперь, как отец родной стали, и я вам прямо сказать могу: Даша для меня первый человек, и я ей верил, как отцу, матери и партийному уставу, а сейчас я получил через нескольких женщин подтверждение, что она в прошлую зиму жила с военным врачом третьего ранга. Это когда я под Мценском былся, она изменила мне с врачом из тылового подразделения. Так мне кругом все опостылело... Я ей ни слова не сказал, потому что у меня к ней серьезная любовь, которая редко даже в жизни бывает. Но я решение принял: погибнуть в бою за родину все легче, чем так жить. Вот такое решение.

Старик молчал, Вороненко сердито крикнул сыну.

— Что ты делаешь ребенку, фашист? Ты же ей все кости повыдергиваешь. А? Как ты считаешь: ее отец погиб в бою за родину и посмертно награжден орденом Ленина, а ты должен ее быть нещадно с утра до ночи? И что за девочка такая, ей-богу, стоит, как овца, скроет глаза и не плачет даже. Хоть бы убежала от дурака, а то стоит и терпит...

Никто не видел, как он незаметно ушел из дома, постукивая костылями. Он постоял немного на углу, оглядываясь на дом, где остались его жена и сын и пошел в сторону комендатуры. Больше он не видел ни жены, ни сына. И агроном не вернулся домой. Граната, брошенная одногоним лейтенантом, попала в окно приемной коменданта, где собирались поквартирные уполномоченные в ожидании новых

инструкций. Коменданта в это время не было — он гулял в саду; та же советовал ему врач с железным крестом на мундире. Каждый день сорокамилитная прогулка по тропинке фруктового сада и недолгий отдых на скамейке.

Утром тронутую Лиду Вайсман полицейский погнал убирать трупы отравившейся ночью семьи доктора Вайнтрауба.

Кое-кто хотел пробраться в квартиру к доктору. У жены его была карагулевая шуба, да вообще много имелось хороших вещей: серебряные ложки, хрустальные бокалы, из которых пили, когда приезжал сын — профессор из Ленинграда, ковры. Но немцы поставили караул, и никто ничего не получил, даже доктор Аггеев, просивший «Большую медицинскую энциклопедию» и горячо объяснявший, что книги эти немцам совершенно не нужны, они ведь писаны на русском языке.

Тела везли по всем улицам. Худая, скверная лошадь останавливалась на каждом углу, точно мертвые ее пассажиры каждый раз просили остановиться, чтобы посмотреть на заколоченные дома, на террасу, застекленную сияним и желтым стеклом в доме Любименко, на каланчу.

Пациенты смотрели на последнее путешествие доктора из окон, ворот, дверей. Никто, конечно, не плакал, не снимал шапок, не прощался с ним. В страшные эти времена кровь, страдания и смерть никого не трогали, потрясала людей лишь любовь и доброта. Доктор не был нужен городу: кому охота лечится в такое время, когда здоровье сущая кара? Кровохарканье, паралич, тяжелая грыжа, смертные сердечные приступы, злые опухоли спасали от изнурительных работ, от немецкой каторги. И о болезнях мечтали, вызывали их, молили о них бога. Мертвого доктора провожали угрюмыми и молчаливыми взглядаами. Лишь одна старуха Вайсман заплакала, когда телега проехала мимо дома, потому что накануне доктор, придя прощаться с учителем, принес для маленькой Кати кило рису, кулек какао и двенадцать кусков сахара. Он хорошо лечил людей, доктор Вайнтрауб, но не любил лечить бесплатно. Никому никогда он не делал такого богатого подарка.

Только к вечеру вернулась Лиза Вайсман.

Она сказала, что доктор и докторша оказались тяжелыми, что земля была очень каменистой и твердой, но, к счастью, немец позволил копать неглубоко. Она пожаловалась, что сбила лопатой каблук и порвала юбку, когда слезала с подводы — зацепилась за гвоздик. У нее хватило здравого смысла, а, быть может, хитрости помэшанного, не сказать Даши, что на заставе, при въезде в город, висит Виктор Вороненко.

Но когда Даши вышла, она деловито и тихо сказала:

— Виктор там висит, наверное, страшно хочет пить — рот раскрыт, и губы совершенно пересохли.

Даша перед вечером узнала от старухи Михайлук о судьбе Виктора. Она молча ушла в глубь двора, где были посажены огурцы, и села между грядок. Вначале мальчишки подозревали, не собирается ли она воровать с огорода, и следили за ней, но потом поняли, что она задумалась. Она закусила зубами губу и думала. Совершенно не жалея себя, казнилась страшными мыслями. Она вспомнила первый день их совместной жизни и вспомнила вчерашний, последний день, она вспомнила боевого врача третьего ранга и сладкое кофе, которое она варила для врача и пила вместе с ним, слушая пластинки. Она вспомнила, как муж спросил ее шепотом ночью: «Тебе не противно спать с одногодком?» — и как она ответила: «Ничего не поделась». Она была прещна перед ним всеми грехами, хотелось бежать от людей. Но мир стал жесток и некому было сочувствовать ей — надо было подниматься с земли, снова уйти к людям. В этот вечер пришла ее очередь носить воду из колодца.

Немецкий солдат, живший в соседнем дворе, побежал в уборную, на ходу стаскивая ремень, а на обратном пути увидел сидящую Даши и подошел к забору. Он стоял и молча любовался ее красотой, ее белой шеей, ее волосами, ее грудью. Она чувствовала его взгляд и думала, зачем ко всему горю бог наказал ее такой красивой — ведь немыслимо чисто, без греха, жить красивой в подлое, страшное время.

Потом к лесной полонией Розенталь и сказал:

— Да, вы хотите оставаться одни, я вместо вас напою воду, вы посидите здесь, сколько нужно для вашей души. Виталика я накормил холодной пшеничной кашей.

Она молча кивнула, посмотрела на него и всхлипнула: Он, пожалуй, единственный из горожан совершенно не изменился за все время, остался таким, как был — внимательным, вежливым, читал свои книги, спрашивал: «Я вам не помешаю?», желал здоровья, когда кто-либо чихал. А ведь от всех людей ушло то, что так ей нравилось — вежливость, деликатность, отзывчивость. Кажется, только этот старик один во всем городе говорил: «Как вы себя чувствуете?», «Вы сегодня утром очень бледны», «Поешьте, ведь вы вечером почти ничего не ели». А мир жил так: «Э, все равно война, все равно немцы, все горит, все пропадает». И она ведь так жила, как весь мир, неряшливо, не думая о душе.

Она быстро копала, щепоткой землю между огуречными плетями и затем старательно закапывала ямки, ровняя их с землей. И когда уж совсем стемнело, она немногош плакала — ей стало легче дышать, захотелось есть, пить чай и захотелось подойти к тронутой Лиде Вайсман и сказать ей: «Ну вот, мы теперь две вдовы — ты и я». А потом она уйдет в монашки.

В сумерках Розенталь поставил на стол подсвечники, достал из шкафа две свечи. Он их давно берег. Каждая из них была заворнута в синюю бумагу. Он зажег сразу обе свечи. Он раскрыл ящик, которого никогда до этого не открывал, вынул пачки старых писем, фотографий и, сидя за столом, надев очки, перечитывал письма, писанные на голубой и розовой бумаге, выцветшей от долгого времени, внимательно рассматривая фотографии. Старуха Вайсман тихо подошла к нему.

— Что будет с моими детьми? — сказала она.

Она не умела писать. За всю свою жизнь не прочла она ни одной книги, она была невежественной старухой, но в ней взамен книжной мудрости развились наблюдательность и житейский, во многое проникающий разум.

— На сколько вам хватит этих свечей? — спросила она.

— Я думаю, на две ночи, — сказал учитель.

— Сегодни и завтра?

— Да, — ответил он, — на завтрашнюю тоже.

— А послезавтра будет темно.

— Я думаю, что послезавтра будет темно.

Она мало кому верила. Но Розенталю можно было верить, и она поверила ему. Странное горе поднялось в ее сердце. Она долго смотрела на лицо спящей внучки и строго сказала:

— Скажите, в чем виновато дитя?

Но Розенталь не слыхал ее, он читал старые письма.

В эту ночь он перебрал огромный ворох своих воспоминаний. Ему вспомнились сотни людей, прошедших через его жизнь, его ученики и его учитель, вспомнились враги и друзья, вспомнились книги, споры времен студенчества, неудачная, жестокая любовь, пережитая шестьдесят лет тому назад и положившая холодную тень на всю его жизнь, вспомнились годы бродяжничества и годы труда, вспомнилось, сколько было душевных штаний — от страстной, жеступленной религиозности к ясному, холодному атеизму, вспомнились горячие, фанатические, не-примиримые споры. Все это отшумело, осталось позади. Конечно, он прожил неудачную жизнь. Он много думал, но он мало сделал. Пятьдесят лет он был школьным учителем в маленьком, скучном городке. Когда-то он учил детей в еврейской профессиональной школе, потом, после революции, он преподавал алгебру и геометрию в десятилетке. Ему надо было жить в столице, писать книги, печататься в газетах, спорить со всем миром.

Но в эту ночь он не жалел, что жизнь не удалась ему. В эту ночь впервые ему были безразличны давно ушедшие из жизни люди, страстью ему хотелось одного лишь — чуда, которого он не мог понять,

любви. Он не знал ее. В раннем детстве воспитываясь после смерти матери в семье дядьки, в юности познав горечь женской измены, всю жизнь свою он прожил в мире благородных мыслей и разумных поступков.

Ему хотелось, чтобы к нему подошел кто-нибудь и сказал: «Закройте ноги платком, ведь с пола дует, у вас ревматизм». Ему хотелось, чтобы ему сказали: «Зачем вы носили сегодня воду из колодца, ведь у вас склероз?» Он скажет, что одна из лежащих на полу женщин подойдет к нему и скажет: «Ложитесь спать, вредно так поздно ночью сидеть за столом». Ведь никогда никто не подходил к его постели и не поправил одеяла, не говорил: «Вот так будет теплее, вот и мое одеяло». Он знал это, ему предстояло умереть в ту пору, когда законы зла, грубой силы, во имя которой творились невиданные преступления, правили здесь жизнью, определяли поступки не только победителей, но людей, попавших под их власть. Безразличие и равнодушие — великие враги жизни. В эти страшные дни судила ему судьба умереть.

Утром было объявлено, что евреям, живущим в городе, нужно явиться на следующий день в 6 часов утра на плац возле паровой мельницы. Всех их отправят в западные районы оккупированной Украины: там имперские власти устраивают специальное гетто. Всей приказано было взять ровно 15 килограммов. Пищу брать не полагалось, так как во всем пути следования военное командование обеспечивало сухим пайком и кипятком.

#### IV

Весь день к учителю ходили соседи, советоваться, спрашивать его, что он думает об этом приказе. Пришел старик-саложник Борух, остряк и сквернослов, великий мастер модельной обуви, пришел пекник Мендель, молчальник и философ, пришел жестянщик Лейба, отец девяти детей, пришел широкоплечий седоусый рабочий молотобоец Хаим Кулиш. Все они слышали о том, что немцы во многих городах уже объявили об этих отгравах, но нигде никогда никто не видел ни одного эшелона евреев, не встречал колонн на дальних дорогах, не получал известий о жизни в этих гетто. Все они слышали о том, что колонны евреев идут из городов не к железнодорожным станциям, не по широким шоссейным дорогам, а что ведут евреев в те места, где под городом яры и овраги, болота и старые каменоломни. Все они слышали, что через несколько дней после ухода евреев, немецкие солдаты выменивали на базаре мед, сметану, яйца на женские кофты, детские джемперы, туфли, что жители приходя домой с базара, тихо передавали друг другу: «Немец менял шерстяной джемпер, который надела соседка Соня в то утро, когда их выводили из города», «Немец менял сандалии, которые носил мальчик, эвакуированный из Риги». «Немец хотел получить три кило меда за костюм нашего нижегородского Кугеля». Они знали, они догадывались, что ждет их. Но в душе они не верили этому, слишком страшным казалось убийство народа. Убить народ! Никто не мог душой поверить этому.

И старый Борух сказал:

— Разве можно убить человека, который делает такие туфли? Их не стыдно повезти в Париж на выставку.

— Можно, можно, — сказал пекник Мендель.

— Ну, хорошо, — сказал жестянщик Лейба, — скажем, им не нужны мои чайники, кастрюли, самоварные трубы. Но не убьют же они из-за этого девять человек моих детей.

И старый учитель Розенталь молчал, слушал их и думал: хорошо поступил он, не приняв яда. Всю свою жизнь прожил он с этими людьми, с ними должен прожить он свой горький последний час.

— Надо бы податься в лес, но некуда податься, — сказал молотобоец Кулиш. — Полицейские ходят за нами следом, с утра уже три раза приходил уполномоченный по кварталу. Я послал мальчика к тестю, и хозяин дома шел за ним следом. Хозяин хороший человек — он мне

прямо сказал: «Меня предупредили в полиции, если даже один мальчик не придет на плац, то ты ответишь головой, домовладелец».

— Ну что ж,— сказал Мендель-печник.— это судьба. Соседка сказала моему сыну: «Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню». И мой Янка сказал ей: «Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я».

— Одно я могу сказать,— пробормотал молотобоец: — если придется я не умру, как барач.

— Вы молодец, Кулиш,— проговорил старый учитель,— вы молодец, вы сказали настоящее слово.

Вечером майор Вернер принимал представителя гестапо Беккера.

— Лишь бы прозести организованно завтрашнюю операцию — и мы вдохнули,— сказал Беккер.— Я замучился с этими евреями. Каждый день экзекуции: пятеро сбежали, есть сведения, что к партизанам семья покончила самоубийством, трое задержаны за хождение без повязок; на базаре опознана еврейская женщина, она покупала яйца, несмотря на категорический запрет появляться на базаре, двое арестованы на Берлинер-штрассе, хотя прекрасно знали, что по центральной улице им запрещено ходить, восемь человек разгуливали по городу после четырех часов дня, две девушки пытались скрыться в лес во время марша на работу и были застрелены. Все это мелочи. Я понимаю, что на фронте нашим войскам приходится иметь дело с более серьезными трудностями, но нервы есть нервы. Ведь это события одного дня, а каждый день одно и то же.

— Какой же порядок операции? — спросил Вернер.

Беккер протор замешал пенсне.

— Порядок разработан не нам. Конечно, в Польше мы имели более широкие возможности применять энергетические средства. Да без них, по существу, невозможно обходиться, ведь речь идет о статистических цифрах с солидным количеством нулей. Здесь, конечно, нам приходится действовать в полевых условиях. Сказывается близость фронта. Последняя инструкция позволяет отклоняться от параграфов и примечаться к местным условиям.

— Сколько же вам нужно солдат? — спросил Вернер.

Во время этого разговора Беккер держал себя необычайно солидно, куда солидней, чем в обычное время. И сам комендант Вернер чувствовал внутреннюю робость, разговаривая с ним.

— Мы строим дело таким образом,— сказал Беккер.— Две команды — расстреливающая и охраняющая. Расстреливающая — человек пятнадцать — двадцать, обязательно добровольцы. Охраняющая должна быть сравнительно не велика, из расчета один солдат на пятнадцать евреев.

— Почему так? — спросил комендант.

— Опыт показывает в тот момент, когда колонна видит, что маршрут ее проходит мимо железной дороги и шоссе, начинается паника, истерики, многие пытаются бежать. Кроме того, в последнее время запрещено применять пулеметы — очень невелик процент смертельных попаданий, — предписывается стрелять личным оружием. Это сильно замедляет работу. Еще надо добавить, ведь рекомендуется расстреливающую команду собирать из минимального количества людей — на тысячу евреев команду в двадцать человек, не больше. Пока идет работа, не мало дела и у охраняющей команды. Вы сами понимаете, что среди евреев довольно большой процент мужчин.

— Сколько же времени это займет? — спросил Вернер.

— Тысяча человек при опытном организаторе — не более двух с половиной часов. Самое главное — это суметь распределить функции, разбивку и подготовку группы, своевременно подвести ее, а сама операция непродолжительна.

— Сколько же вам, однако, нужно солдат?

— Не меньше ста,— решительно сказал Беккер.

Он посмотрел в окно и добавил:

— Значение имеет и погода. Запрашивал метеоролога, назавтра в

первой половине предполагается тихий солнечный день, к вечеру возможен дождь, но это не имеет для нас значения.

— Следовательно... — нерешительно произнес Вернер.

— Порядок таков. Вы выделяете офицера, конечно, члена нацистской партии. Расстреливающую команду он составляет так: «Ребята, мне нужны несколько человек с хорошими нервами». Это надо провести сегодня вечером в казарме. Записать надо по крайней мере тридцать, так как процентов десять, как показывает опыт, всегда отпадает. После этого с каждым индивидуально проводится беседа: боишься ли ты крови, способен ли ты выдержать большое нервное напряжение? Больше никаких объяснений с вечера не следует делать. Одновременно по списку составляется команда охранения, унтер-офицеры инструктируются с вечера. Производится проверка оружия. Команда выстраивается в касках к пяти часам утра перед канцелярией. Офицер подробно знакомит с задачей и обязательно еще раз опрашивает добровольцев. После этого каждому из них выдается триста патронов. К шести они приходят на плац, где назначен сбор евреев. Порядок следования: расстреливающая команда идет впереди колонны в тридцати метрах. За колонной следуют две повозки, так как всегда есть некоторый процент старух, беременных и истеричных женщин, теряющих в дороге сознание. — Он говорил медленно, чтобы майор не упустил некоторых деталей.

— Ну вот, собственно, и все, дальнейшее инструктирование на месте работы, берут на себя мои сотрудники.

Майор Вернер посмотрел на Беккера и вдруг спросил:

— Ну, а как же дети?

Беккер недовольно покосился. Вопрос выходит за рамки делового инструктирования.

— Видите ли, — сказал он строго и серьезно, прямо глядя в глаза коменданту, — хотя рекомендуется отделять их от матерей и работать с ними отдельно, я предпочитаю этого не делать. Ведь вы понимаете, как трудно оторвать ребенка от матери в такую печальную минуту.

Когда Беккер простился и ушел, комендант вызвал адъютанта, передал ему подробно инструкцию и сказал вполголоса:

— Я все же доволен, что этот старый доктор покончил с собой заранее: у меня были бы ужасные угрызения совести в отношении его, как-никак он ведь мне многим помог, не знаю, дожил ли бы я без его помощи до приезда нашего врача... А последние дни я себя отлично чувствую — и сон гораздо лучше... и желудок, и уже два человека мне говорили, что у меня лучше цвет лица. Возможно, что это связано с этими каждодневными прогулками по саду. Да и воздух в этом городке превосходный, говорят, тут до войны были санатории для легочных и сердечных больных.

И небо было синим, и солнце светило, и птицы пели.

\* \* \*

Когда колonna евреев миновала железную дорогу и, свернув с проспекта, направилась к оврагу, молотобоец Хаим Кулиш набрал воздуха в грудь и громко, перекрывая гул сотен голосов, закричал по-еврейски:

— Ой, люди, я отжил!

Он ударил кулаком по виску шедшего рядом солдата, свалил его вырвал у него из рук автомат и, не имея времени понять чужое, не-знакомое оружие, размахнулся тяжелым автоматом наотмашь, как был когда-то молотом, ударил по лицу подбежавшего сбоку унтер-офицера. В начавшейся после этого суетолоке маленькая Катя Вайсман потеряла мать и бабушку и ухватилась за полу пиджака старика Розенталя. Он с трудом поднял ее на руки, приблизив губы к ее уху, сказал:

— Не плачь, Катя, не плачь.

Держась рукой за его шею, она сказала:

— Я не плачу, учитель.

Ему было тяжело держать ее, голова его кружилась, в ушах шумел.

ло, ноги дрожали от непривычно долгого пути, от мучительного напряжения последних часов.

Толпа пятилась от оврага, упиралась мгновение падали на землю позлы. Розенталь вскоре оказался в первых рядах.

Пятнадцать евреев подвели к оврагу. Некоторых из них Розенталь знал. Молчаливый печник Мондель, зубной техник Меерович, старый добрый плут электромонтер Апельфельд. Его сын преподавал в киевской консерватории и когда-то мальчишкой брал уроки математики у Розенталя. Тяжело дыша, старик держал на руках девочку. Мысль о ней отвлекала его.

«Как утешить ее, чем обмануть?» — думал старик, и бесконечно горестное чувство охватило его. Вот и в эту последнюю минуту никто не поддержит его, не скажет ему слова, которого хотел он и жаждал услышать всю жизнь, больше всей мудрости книг о великих мыслях и действиях человека.

Девочка повернулась к нему. Лицо ее было спокойно; то было бледное лицо взрослого человека, полное снисходительного сострадания. И во внезапно пришедшем тишине он услышал ее голос.

— Учитель, — сказала она, — не смотри в ту сторону, тебе будет страшно. И она, как мать, закрыла ему глаза ладонями.

Начальник гестапо ошибся. Ему не пришло вздохнуть свободно после расстрела евреев. Вечером ему доложили, что вблизи города появился большой вооруженный отряд. Во главе отряда стоял главный инженер сахарного завода Шевченко. Сто сорок рабочих завода, не успевшие выехать с эшелоном, ушли с инженером в партизаны. Этой ночью произошел взрыв на паровой мельнице, работавшей для немецкого интенданства. За станцией партизаны подожгли огромные запасы сена, собранные фуражирами венгерской кавалерийской дивизии. Всю ночь горожане не спали, ветер дул в сторону города. Пожар мог переброситься на дома и сараи. Кирпичное тяжелое пламя колыхалось, ползло, черный дым застипал звезды и луну, и теплое безоблачное, летнее небо было полно грозы и пламени.

Люди, стоя во дворах, молча наблюдали, как расползался огромный пожар. Ветер донес четкую пулеметную очередь, несколько ударов ручных гранат.

Яшка Михайлюк в этот вечер прибежал домой без фуражки, он не принес с собой ни сала, ни самогону. Проходя мимо женщин, молча стоявших во дворе, Яшка сказал Даше:

— Ну что, прав я? Просторно тебе жить теперь — одна хозяйка в комнате?

— Просторно, — сказала Даша, — просторно! В одну могилу уложили и Виктора моего, и девочку шестилетнюю, и учителя-старика. Всех их я своими слезами оплакала, — и вдруг закричала: — Уйди, не смотри на меня погаными глазами, я тебя тупым ножом зарежу, секачом зарублю!

Яшка побежал в комнату, сидел там тихо. А когда мать его хотела пойти запирать ставни, он сказал ей:

— Ну, их, не отпирайте дверь, они там все, как бешеные, если кипятком вам глаза выжгут.

— Яшенъка, — сказала она, — ты бы лучше опять на чердак пошел, там и кровать твоя стоит, а я тебя на ключ закрою.

Словно тени, мелькали в свете пожара солдаты. Их подняли по тревоге, вызывали в комендаттуру. Старуха Варвара Андреевна стояла среди двора, седые растрепавшиеся волосы ее в свете пожара казались розовыми.

— Чго? — кричала она, — Справились, запугали? Во как полыхает. Не боюсь я фрицев! Вы против стариков и детей! Дашика, придет еще день, мы их всех, прохлажденных в огне жечь будем.

А небо все багровело, накалялось, и людям, стоявшим во дворах, казалось, что в темном дымном пламени горит все недобroе, подлое, нетистое, чем заражали немцы человеческие души.

## ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ



Бого балокала Россия  
Душевной песнею своей  
Того как буцто оросила  
Голубизна ее степей.

Нам нежность — первая наука...  
Заветом племени дыша,  
Дремучий дед ласкает внука  
Словами — «голуба-душа».

Сама, как русская природа,  
Душа народа моего:  
Она прыгает и урова,  
Как штицу, выходит его,

Она не выкурит со света,  
Держась за придури свои —  
Вней много воздуха и света  
И много правды и любви.

О Русь! Тебя не старят годы.  
Ты вся — из выси голубой.  
Не потому ли все народы  
Так очарованы тобой.

Но если где какая сила,  
Грозя,  
Боязная  
и трубя,  
Моя теплынь, моя Россия,  
Протянет когти на тебя,—  
  
Ты льдами двинешься по грозам...  
И от жилья и до жилья  
Пойдет стучаться дед-морозом,  
Звуча мольчуговою, Илья.  
  
И вновь, исполненные веры,  
Восстанут с яростным «ура»  
Суворовские грешадеры  
За батарейцами Петра,  
  
Чтобы, на славу их надеясь,  
Россия встала полной сил,  
Чтоб Красной Армии гвардеец  
Врага швырят притворил.  
  
О край удыбыи безмятежной,  
Страна атаки головной,  
Нагиток бешеный и нежный,  
Где смесь шурги с голубизной.

Январь, 1943

НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА

## ХИРУРГ

### Повесть

Постоянный ассистент главного хирурга, молодой врач, прозванный сестрами «Милый мой», заехал вечером в госпиталь, чтобы посмотреть оперированного вчера хирургом Петром Александровичем раненого майора. Когда он вошел в переднюю и, сняв военную фуражку, подал ее швейцару, он внезапно заметил, как похоже это у него вышло на обычную, слегка небрежную манеру самого Петра, Александровича. Ему показалось это смешным, и он покраснел. Он вытащил из кармана большой белый, помятый, но блестящий чистый носовой платок и провел им без всякой надобности около покрасневшего носа.

Он знал эту неудобную свою особенность: вспыхивать так, что лицо его краснело от шек через лоб до корней светлорусых густых волос. Это случалось, когда Петр Александрович на сложных операциях вгонял ассистента в пот замечаниями о том, что он держит «не изящный ножичек, а скальпель, а потому, милый мой, держите руку решительно: вы не апельсин девушке собираетесь очистить». Но чаще это бывало не от смущения и неловкости, от чего обычно краснеют люди, а от внезапного наплыва мыслей, заставших врасплох, как было и сейчас.

— Ну как? — спросил он старика-швейцара. — Больше никого не привозили?

— Как же! нынче восемь человек прибыло.

Старик повесил военный плащ ассистента на дубовую светлую вешалку и пошел к шкафчику за халатом.

— Это еще при мне привезли, так, значит, больше никого.

Ассистент взял у швейцара свой халат, надел его и пошел вверх по лестнице, бессознательно подражая походке главного хирурга и не замечая этого.

Если бы он продолжал следить за собой, он заметил бы это подражание еще во многих мелочах и осудил бы себя за это. Лично обаяние знаменитого хирурга было таково, что почти все молодые, начинающие работать с ним, врачи проходили через эту стадию внешнего подражания. Одни ограничились этим внешним, заводили себе точь-в-точку же небольшую бородку, как у главного врача, и вполне сознательно вырабатывали манеру держать себя в операционной, как Петр Александрович. Они старались, вымыв руки, так же прямо и непринужденно неся голову подходить к операционному столу и осматривать лежащего на столе больного, а затем, как это всегда делал хирург движением указательного пальца правой руки молча показывать, как надо положить и закрепить стерильные салфетки вокруг операционного поля.

Другие, увидев в себе внешнее подражательство — оно сначала замечалось на товарицах, а потом уже в себе, — сурово изгоняли его. Тогда им яснее открывалось то настояще, удивительное богатство знания, опыта, ума, наблюдательности, умения видеть человека насквозь — этокасалось одинаково и физической и духовной организации человека, — которым владел Петр Александрович, отдавая все любимым своим ученикам и не беднея от этого.

«Милый мой» — так всегда обращался к ассистенту хирург — как раз вступал в период сурового изгнания внешнего и оскорбительного для него подражательства. Он работал с Петром Александровичем больше года и с начала войны собирался непременно на фронт. Но теперь внезапно, словно его озарило, понял, что еще мало черпал из внутреннего богатства Петра Александровича, и решил учиться и учиться у него и искать то главное, что сделало из него большого хирурга.

«Милый мой» вошел в палату тяжело раненых и, подвинув себе стул, подсел к кровати лежавшего на спине майора и опять сделал это так похоже на старшего хирурга, что сестра этой палаты, Ната Ивановская, заметила и поморщилась.

Майор только что заснул. Лицо у него было молодое, правильное и от большой потери крови очень бледное. Но пульс был хороший, пальцы оперированной ноги, укутанный в толстый слой ваты, — теплые, и спал он, спокойно и ровно дыша, вытянув поверх одеяла красивую белую руку.

Посмотрев еще двух тяжело раненных красноармейцев в соседней палате — одного со сложной полостной операцией и другого, которому предстояло повторение попытки укрепить протез нижней челюсти — ассистент вышел в коридор.

— Вы что же домой не идете? — спросил он вышедшую с ним сестру.

— Пойду, — ответила она, — а что?

— Да так заболеть немудрено. По суткам не выходите из госпиталя...

— У меня помощница хорошая. Сейчас она придет, а я погуляю в саду и спать лягу.

— Вот видите, я вас и поймал. Значит, домой и не собирались?

Сестра засмеялась и не ответила.

— А может, пошли бы вместе? В Москве тихо и спокойно. Когда я шел сюда, небо было светлое, строгое, и над городом поднимались аэрростаты.

— Аэрростаты и из сада видно... Вы же знаете, что никто ему без меня не сумеет дать попить...

«Он» — это был раненый в нижнюю челюсть красноармеец.

Оба помолчали.

— Майор красив, как мраморный Аполлон, — сказал ассистент, — но мы

подпортим ему эту красоту — прибавим кровь.

— Как вам не надоест стараться говорить, как Петр Александрович? — досадливо сказала сестра. Ассистент покраснел и неожиданно для сестры ответил весело:

— Ей-богу, больше не буду. Обещаю вам.

Они вместе прошли через большую притихшую палату госпиталя, где лежали выздоравливающие красноармейцы. Несколько электрических лампочек горело под темными абажурами, и только на полу от них лежали светлые круги. Кровати были в тени. На кроватях мурлыкали люди. Напротив от проходившего врача повернулся на кровати красноармеец и сказал во сне: «Подговорь» Ефимкина, Ефима Андреевича, как живца поймать?»

— Рыбак! — нежно и понимающее шепотом сказал ассистент.

Он привычно отметил себе, что красноармеец дышит глубоко и ровно, значит, с легким, где была рана, все обстоит хорошо. Потом он попрощался с сестрой и вышел на лестницу.

Он спустился уже до нижней ступеньки. В передней старики-швейцар, в круглых очках, облокотившись на перила вешалки, читал «Правду». Увидев ассистента, он опустил газету и поднял на переносицу очки. За окном тонко и пронзительно возник, набирая силу и распирясь, назойливый звук. Швейцар положил газету на вешалку и сказал:

— Тревогу дают, Семен Иванович...

Когда Семен Иванович взбежал по лестнице, наверху в палатах уже происходило движение. Сестры и санитарки собирали и приготавливали больных к переходу в общирное бомбоубежище госпиталя. Хотя для каждого обязанности его во время тревоги были точно известны, все происходило каждый раз не так, как было в прошлый раз. Общим было только соединение усилий и забот людей не о себе лично, а о жизни раненых, доверенных им.

В этот раз очень скоро после объявления тревоги начали стрелять зенитки за госпитальным садом. Напротив, через улицу от госпиталя, загорелся дом, и когда район осветился, над улицей были

сброшены три фугасные бомбы. Фугасные, просвистев так, будто они ввинчивались в воздух, разорвались: две в большом саду госпиталя, одна, около углового магазина.

Дежурный врач Тихонова заволновалась. Ее до сих пор ровный голос стал тревожным, движения торопливыми, и на щеках пятнами выступил румянец. Она приказала немедленно унести еще остававшихся в палатах раненых в бомбоубежище.

Но Семен Иванович уже руководил перенесением лежачих больных. Вместе с сестрами и санитарками он перекладывал раненых на носилки, помогал им спускать носилки с лестницы и взбегал обратно через две ступеньки, все время испытывая необыкновенный подъем и сосредоточение физических сил, ловкости и сообразительности.

Встречая порозовевшие лица сестер и санитарок, Семен Иванович и в них отмечал выражение упорства и самозабвения, которые чувствовал в себе сам, так что, когда стрельба зениток в районе госпиталя затихла и Семен Иванович прошел по опустевшим палатам, он подумал, что вот это именно то, чего ему нехватало все время со дня объявления войны: горячей, взлывающей, чисто мускульной работы, которая всегда кажется человеку самой действительной формой помощи другим людям.

После хлопотливой ночи больных решили не беспокоить до семи часов утра. Тревогу дали в одиннадцать вечера, отбой же был в два, и только к трем часам утра раненые вернулись в палаты. День начался на час позже. Но то, что ночной налет обошелся без жертв для госпиталя, сообщило всем повышенную энергию и все сестры, сиделки, уборщицы — особенно легко и ловко работали в это утро.

Госпиталь был развернут в великолепном, но не совсем приспособленном под него здании. Да войны здесь была хирургическая больница, и в первой комнате находилась большая приемная с огромными, чуть не до потолка, окнами. Теперь в ней помещали выздоравливающих. Раненые радовались, когда их переводили в эту палату, и прозвали ее «выходной».

Когда подняли зеленые шторы, больные увидели голубое чистое небо, верхние уже желтеющие ветви тополей, и в выходной палате начался разговор о том, что нынче ночью здорово были зенитки и что пожары, возникшие около госпиталя, очень быстро были потушены.

— Применились уже, — сказал раненый красноармеец в надетой на одну правую руку, расстегнутой рубашке. Под левым подвернутым рукавом высыпала толсто перевязанная, согнутая в локте, уложенная в шину и прибинтованная к груди рука. Сидя на кровати, си здоровой рукой трогал и поглаживал пальцы раненой руки: — А что и не примениться? Третий месяц практику проходят.

— Не говори, — ответил из соседнего ряда красноармеец Митрошин. Он лежал на кровати со сплющенной на груди повязкой, нетерпеливо глядя на сестру, которая давно уже шла по его ряду, но все задерживалась, беря, встраивая, и снова раздавая градусника. — До пожаров не надо было допускать. Понимать надо: если он зажигательные снопы, то он хочет район осветить и ловчее фугаски сбросить. Значит, не давай гореть, туши. — Они застырили. Митрошину было неудобно со сбившейся повязкой и досадно на сестру, почему она не торопится к нему, и он ругал пожарников за то, что они не смогли отстоять деревянных домов напротив госпиталя. На самом же деле пожарная команда работала хорошо и только потому не успела потушить все зажигательные бомбы, что они упали сразу в нескольких местах. Обгоревшие дома были видны из окон палаты и за ними — угловой магазин, вчера еще веселый и нарядный. Стена его была теперь словно изрыта оспой, окна и двери выбиты внутрь, а вывеску с надписью «Бакалея» отнесло к воротам гостиницы.

— У меня интерес был на крыльях пойти, да сестра не пустила. Отозвался лежавший напротив Митрошина красноармеец с забинтованной по ушам и подбородку головой.

— Голова закружится по крыше лазить, — строго ответил первый раненый в руки. Фамилия его была Задорожный. — Ты, Майоров, доз-

дышься, до того, что от комиссара попадет. Это, по-моему, ни к чему! Какое твое дело на крыше? Пока лешишься, твоя забота поправляться. А ты то на лестнице попадешься...

— Сестрица,— Майоров резко и легко сел на кровати, звякнув тугими пружинами и спустил ноги,— позвольте я вам бинт подержу.

Сестра, поправляя повязку Митрошину, разбинтовала верхний бинт и скатывала его быстрыми движениями пальцев. Она только взглянула на Майорова красивыми черными глазами и чуть-чуть улыбнулась. Майоров быстро вдел ноги в войлочные туфли и подскочив, взял бинт и стал его расправлять в ширину. Сестра туго натянув бинт, скатала его ладонями и спросила Майорова, почему ему не лежится спокойно.

— Чересчур отдохнул, сестрица. Держат меня здесь совершенно напрасно: все равно — лечение одними градусниками.

Майоров хорошо знал, что измерение температуры — не лечение, но среди раненых так было принято говорить, когда человек, по мнению их, поправился и лечения уже не требовал.

Сестра подбинтовала широкую крепкую грудь Митрошина и перешла дальше по ряду. В палату заглянул Семен Иванович.

— Фролова тут нет? — спросил он.

— Растропный какой, Семен-то Иваныч, — сказал Митрошин, нынче ночью досталось ему работы...

— Мой доктор — с одобрением добавил Задорожный.

Майоров постоял немного, новый, короткий ему полотняный халат отдувался колоколом — пояс от него Майоров привязал к спинке кровати и им не пользовался — и быстро, вприбежку, пошел к двери на лестницу. Мимо, обгоняя, прошла к лестнице тонкая высокая сестра из палаты тяжело раненых и исчезла за дверью, затворив ее под носом у Майорова. Кругом замаячились.

— Майоров! — облиknул его красноармеец, лежавший с краю ряда. Нога у него была в гипсе, и к ней был подведен небольшой груз на вытяжение. — Подай-ка табачку из тумбочки. — Майоров быстро повер-

нул в узкий проход между кроватями, достал из ящика тумбочки легкий табак в начатой пачке, свернул цыгарку, подал товарищу, чиркнул спичку и поднес ему. Тот прикурил.

— Что ж ты? Сам-то закуривай, — сказал товарищ

— Нет, я пошел насчет радио узнать.

Майоров вышел на лестницу, но сейчас же вернулся. Круглое веселое лицо его с коротким носом и светлыми бровями смотрело злоупотребило и изображало, что он, чуть было не попался, но вывернулся.

— Старший врач... — шепнул он, торопливо пробираясь к своей койке.

Но это был не старший врач. Обе половинки двери открылись на лестницу, и там их придержали рукой. Показались два тонких высоких, похожих на велосипедные, колеса, и санитар Фролов плавно, без усилия покатил в кресле через палату только что привезенного раненого. В палаты тяжело раненых можно было и неоднократно приказывалось старшим врачом проходить из коридора, но упрямый Фролов по старой памяти и из-за удобства движения через широко открытые двери, часто провозил больных здесь.

Раненый был уже вымыт и переодет в синий халат. Голова у него была забинтована так, что виднелись только нос, щека и левый глаз. Фролов катил его очень бережно, и больные, привстав с кроватей и повернув головы, провожали его взглядами до дальней двери.

Сестра из палаты тяжело раненых ответила кому-то на лестнице: «Да, да, конечно!» и, закрыв дверь, пошла за Фроловым. Майоров, не дойдя до своей кровати, круто свернув в проход между рядами, и подмитнув Митрошину, что обозначало: «Сейчас узнаем», тоже двинулся за санитаром.

Откуда-то сразу стало известно, что новый раненый — летчик из части, расположенной за Можайском, и сбил сегодня в ночь два фашистских бомбардировщика. Тема разговора сейчас же переменилась.

— Молодой еще, — сказал Митрошин, который всем казался пожилым из-за своего глухого, словно он говорил в бочку, голоса. И сам

он тоже считал себя пожилым, хотя ему было не более тридцати.

— Летчик и должен быть человеком в самой силе,— ответил Задорожный. У него все дело в расчете. Недодал — пропадешь и передал — пропадешь; надо угодить в самую меру. Во всем так: и в ихних фигурах, и в посадке, но в бою особенно. Как у нас на заводе машина: чик-чик и режет сталь на болтики,— комары носу не подточят,— одинаковые. Но в машине сердце не заболит, а в человеке и страх может быть, и тоска... Вот и надо, чтобы нерв соответствовал.

— Страх — это ерунда,— отзывался через три кровати молодой, очень маленький ростом сапер Володя.— Комсомольцу бояться — позор.

Задорожный хотел что-то ответить, но только взглянул и промолчал. Володя был известен всем как хитрый и ловкий парень, любитель забить козла, побалагурить с санитарками, всегда умевший уклониться от градусника, выпросить вторую порцию сладкого. Но это было одно, а обвинить человека в хвастовстве — другое, и Задорожный промолчал.

— Нет, страх бывает во всяком...— упрямо начал Митрошин и вдруг засмеялся и поглядел на Володю! — Это в тебе его, может, не было, ты ростом маленький, скрытый, а я как прибыл на передовые да всех товарищей выше на голову, как бацни... Комиссар — молодой, лицо чистое, веселое — встретил нас, разговаривает. А пули кругом: вжик, вжик. Однако он не боится, только усмехается. Замечает, конечно, что у нас кто голову в плечи втянет, кто глазами поведет... «Эта,— смеется,— которую ты услышал, уже пролетела...» Ну, ладно,— думаю,— эта-то пролетела, да их неслышимых тут сколько угодно. До того охота голову спрятать, а совестно. Комиссар говорит: «Посмотрите, все ли у вас в порядке?» Я ногой подергал и подаю вид, будто у меня портняшка худо навернута. Сел я на землю, сапог снял.. Десять минут пересбувался, право. Хочу встать — никак зад от земли не отдеру: у земли склоннее. Даже заметил, что тут суглиночек, земля хуже напей: у нас чернозем могучий, пашешь — рассыпается. Поднял глаза, а ре-

бята больше половины — все перевикуются! И комиссар глядит на меня с хитринкой. Так сразу мы друг друга и поняли: он — меня, а я — его. Я так понял, что он, может, и сам боится, да ведь дело-то такое... Так и поднял я себя во весь рост. А невдогонка случилось в атаку подниматься. Думал, нипочем из траншеи не полезу. А народ пошел, и я за всеми... И ничего, после привыкать стал.

Задорожный перестал поглаживать пальцы левой, прибинтованной к груди, руки, встал и, отрыв ящик тумбочки, достал оттуда папиросу и пощарил спички.

— А я привыкнуть не мог,— сказал он, и темная прямая линия его бровей как бы надломилась.— У меня нервы беспокойные: вроде как екает в груди, когда снаряд летит. Вот думаешь: ах-хнет! — и привык на всю жизнь! Привыкнуть не мог, врат не буду, а от товарищей не отставал. Раз, думаю, они держатся, идут, могут итти и я. Это же у меня не специальность на всю жизнь: в атаки ходить. А тут отбили мы одну деревню от немцев.. Отбивали же, ребята, населенные пункты от немцев? Отбивали? Значит, точка!

— Да, вот...— начал Митрошин. Но точки Задорожный еще не поставил.

— Посмотрел я, и сердце у меня загорелось: не слышу себя.. И потом в каждом бою так. И как ранпли — не слышал. Сгоряча и не поберегся,— и он рассказал, как во время атаки прыгнул в немецкий окоп, кричал: «За родину, за Сталина», а сам не слышал, что кричит: уж после товарищи рассказывали...

— А я раз прыгнул в окоп,— усмехнулся Митрошин,— в городишке одном дело было. Стрельба была горячая. Слыши под ногами у меня кто-то возится, вроде лягушки или жабы, только поболе. А это я двоих немцев придавил, и они желают вылезти. Кричу: «Руки вверх!» Они боятся подымать — прострелят. Подумал я, да и скрутил их. Так двоих и привел...

Появился Майоров, сел на кровать и покрутил головой.

— Ну, болит у него голова, раскалывается. Стали мы с Фроловым его переводить на койку, он рукой показывает, чтобы полегче.. Я ему в

тумбочку все вещи сложил: книжечка записная с карандашником, пальчики... Слюна у него сильно бежит. Сестра Ната ему салфетку подложила...

— Откуда его привезли? — спросил Митрошин.

— Из-за Можайска откуда-то. Как германцы летят на Москву, они их первые встречают да и заворачивают...

В дверях показалась молоденькая санитарка с детским выражением лица и глаз и, улыбнувшись, сказала:

— Здоровые больные, которым разрешили в столовую, завтрак подан.

Через пять минут из пятидесяти человек в палате осталось только несколько, которые не могли ходить. Остался и тот, которому Майоров скручивал цыгарку.

## II

Надев халат и упрятывая в общагу клинчышек высунувшегося рукава, Петр Александрович стал подниматься по широкой лестнице, на которой уборщица закрепляла медными прутьями постеленную темно-красную дорожку. Он прислушивался, как удобно и легко двигается его плотное тело, как расширяется дыханием грудь после ходьбы на свежем сентябрьском воздухе — он утром непременно шел полтора — два километра пешком — и как все в нем сильно и ждет работы. Когда ночью Семен Иванович позвонил ему из госпиталя и передал, что все обошлось благополучно, он распорядился начать день попозже, но шел, как всегда, точно в девять, представляя себе, что его появление должно открыть какие-то недоделки и смутить врача и сестер. Но то, что на лестнице за jakiвался как бы последний штих, понравилось ему.

Лестница была замечательная: широкая, мраморная. Над ней стоял такой обильный светлый столб воздуха, что, казалось, будто входишь в концертную залу, а не на лестницу. На средней площадке ее было сделано огромное, во всю стену, зеркало. Перегнувшись через перила, с верхней площадки можно было увидеть в зеркале то, что делается в передней. Отсюда сестры

часто наблюдали, как, входя, Петр Александрович снимает свою фетровую шляпу, пальто и надевает халат, поданный ему сестрой-хозяйкой. Для старшего врача всегда откладывается ю блестящий, хорошо выглаженный халат, на котором все до единой пуговицы целы и карманы не надорваны по уголкам. Халаты, требующие починки, сестра выдает молодым врачам и сестрам.

Когда Петр Александрович легко и быстро шел вверх, сестра из выходной палаты, нагнувшись, заглядывала вниз. Проходя, она услышала, как в передней стукнула дверь и узнала по шагам и приветствиям швейцара и сестры-хозяйки, что старший врач пришел. Ей захотелось посмотреть, в каком он сегодня настроении, и она осталась, стараясь быть незаметной.

Сестра увидела, как в стекле, отливавшем утренней голубизной, появилась голова, очерченная твердыми четкими линиями. Большой лоб переходил в глубоко пролысевший череп прекрасной формы, красиво и уверенно посаженный на крепкую шею. Черные брови, темные быстрые глаза, плотная и свежая кожа лица и черная острия бородка, оттененные блестящей белизной халата, соединялись на этом лице в совершенно особое выражение независимого, чуть насмешливого превосходства, как будто этот человек привык все делать лучше и правильнее других и привык к тому, что другие признают это в нем. Таким всегда было лицо хирурга, но оно имело еще особенность необычайно тонкой смелы выражений, которую можно было увидеть в одних глазах, да разве еще около крупного, красивого его рта.

Хирург, сделавший на своем веку тысячи сложных и точных операций, перечувствовал, вероятно, многое больше, чем человек другой специальности, доскивший, как и он, до шестидесяти лет. Он привык к тому, что в минуты самого большого напряжения десятки людей видели его лицо и старались прочитать в нем судьбу человека, лежавшего перед ним на столе. Поэтому выражение его лица подчинялось ему так же, как его замечательные белые руки с красивыми

сильными пальцами и коротко остриженными ногтями.

Ум, спокойствие, уверенность, самодовольство, жесткость, проницательность — все можно было увидеть на его лице, когда Петр Александрович «отпускал» себя, но это бывало не часто. Это случалось после удившейся операции и в остром мгновенном приступе гнева, на который он изредка бывал способен. Вероятно, такую смену выражений могла бы увидеть женщина, которую он любил.

Сестры считали Петра Александровича интереснее всех молодых врачей госпиталя. Больные верили в хирурга и робели перед ним.

Когда Петр Александрович сильным своим шагом прошел мимо зеркала, не взглянув на себя, сестра быстро отскочила от перил и, покраснев, торопливо открыла дверь палаты. По ее волнованному виду и больные и сестры поняли, что хирург пришел.

— Ишь, как впорхнула, словно тетерочка: глазки черненькие, щечки красные, — сказал Майоров.

— Будет тебе брехать, — ответил Митрошин; он лежал наискось на кровати, свободно бросив свое большое тело, и отдыхал после завтрака: — Вот, право, человек без понятия.

Как всегда бывает при появлении «старшего», и сестры, и молодые палатные врачи, заканчивавшие утренние обходы больных, внутренне подтянувшись, пробегая в памяти, все ли ими сделано, как надо, и в чем им надо воспользоваться огромным опытом Петра Александровича. Приход его никого не застал врасплох: если новое явление — налеты на Москву — усложняли жизнь, то против этого усложнения выдвигалась больше прежнего согласованная общая работа. Навстречу хирургу уже шел его постоянный ассистент — Семен Иванович.

Поздоровавшись, они медленно пошли по широкому коридору. Как и обычно, Петр Александрович не мешал ассистенту говорить о погоде, которую и так ясно видно было в окно, и о ночных налетах на Москву, о котором тоже уже было известно. Хирург с первого слова никогда не спрашивал о больных, допуская небольшую паузу перед работой.

— Нет, это, право же, замечательно получилось, — сказал ассистент. — Когда на углу бабахнуло как следует, — входит в палату эта девочка, Дуняша, — и приглашает: «Здоровые больные, которым разрешено ходить, пойдемте за мной в бомбоубежище». Все кому, и не хотелось, пошли. Краснощекая Жанна д'Арк впереди. Майоров, конечно, при знамени... — Семен Иванович с досадой заметил, что он снова говорит не просто, а с неестественной манерой, подчеркивающей неизбежность и свободу обращения с человеком, стоящим выше его. «Ну зачем я так сказал? Как нехорошо!» — подумал он.

— Ха, милый мой, — не засмеявшись, сказал хирург, — великое дело — найти в трудную минуту! — Потом, видимо, представил себе маленькую краснощекую Дуняшу, и до него дошла комичная трогательность эпизода. Он засмеялся.

Они вошли в комнату дежурного врача, и Петр Александрович, стоя, поздоровался с комиссаром, поутрам всегда бывавшим в дежурной, и с врачом.

— Я сейчас принял раненого летчика, — сказал Семен Иванович. — Сегодня ночью защищал нас и попал к нам. — И он рассказал, что летчика привезли час тому назад два его товарища. Летчик, — старший лейтенант Звягинцев, двадцати трех лет, сбил один «Хейнкель» из пулемета, донес другой почти у самого расположения немцев и, не имея уже патронов, употребил тарабанный удар. Немецкие зенитки открыли по нему огонь, и его ранили осколком, и, видимо, крупным, в щечку около уха. Однако он довел самолет и спустился на свой аэродром недалеко от Можайска. Лежит в его, Семена Ивановича, палате, вернее, сидит...

— Так, так, — сказал Петр Александрович. — Ну что ж! Товарищ блестяще справился со своим делом, теперь наша очередь... а?

Ему никто не ответил. Хирург начал быстро спрашивать вошедших в эту время палатных врачей. Задав необходимые ему вопросы, он уже не задерживался в дежурной и тем же сильным, решительным шагом пошел в палаты раненых. Ассистент и несколько врачей сопровождали его и пропустили пер-

вым в дверь красноармейской выходной палаты, держась сами почтительно чуть-чуть позади.

Войдя в выходную палату, хирург остановился у порога и окинул взглядом ряды лежащих и сидящих на кроватях раненых. Бледные, розовые, смуглые лица с блестящими и беспокойными или «скучными» глазами повернулись — одни медленно, другие торопливо — к двери, следя за всеми движениями вошедшего. Сестра быстро пошла навстречу хирургу, неся белый листок с записанными температурами больных и историй болезней тех из них, кого палатный врач хотел показать сегодня.

Во время обхода Петр Александрович бывал неразговорчив: он весь уходил в себя, слушал, что говорит сестра, смотрел на лица красноармейцев, на белые их повязки, иногда переводил взгляд на огромное окно, но смотрел не на окно, а в себя и думал. И вдруг неожиданно задавал вопрос врачу или сестре о том, что им казалось несущественным до тех пор, пока Петр Александрович не спросил об этом.

— А ну, откройте ему ногу и дайте его рентгеновский снимок, — приказывал он и, осмотрев ногу с наложенной неподвижной повязкой и торчащие из ваты, словно налитые водой пальцы, опушивал их, смотрел на снимок, быстро извлечененный сестрой из папки с историями болезней, думал и говорил:

— Привезите товарища в перевязочную и позовите меня. И мельком взглядывал на лечащего врача, который уже понимал и угадывал, в чем он ошибся, что упустил, чего не досмотрел.

А Петр Александрович быстро и легко переходил к другому раненому и нетерпеливо спрашивал, как себя чувствует больной.

После ответа сестры он спрашивал и больного, если тот мог ему ответить. И тут по взгляду, обращенному к сестре, — одобрительному, жесткому, насмешливому, — можно было определить совершенно точно, как он оценивает работу сестры. Иногда это бывал приговор, после которого сестре лучше было стараться перевестись из госпиталя. «А всего лучше переменить про-

фессию», — как очень вежливо говорил ей Петр Александрович после обхода. И беда, если сестра не признавалась в ошибке, если у нее навертывались слезы и она оправдывалась.

— Э! — говорил хирург. — Слабонервным нужен полный отдых, полный! — Он поднимал вверх черные свои брови, — Что я говорю! Полнейший отдых, — и он смеялся громко: — Ха! ха! ха!

В этой палате надо было посмотреть только трех больных, и пока все было хорошо. Хирург подошел к постели красноармейца, которому Майоров доставал табак, и тот пожаловался «старшему» что ногу сильно печет и она зудится.

— Вот, — сказал Петр Александрович, — какой ты скорый! — Хирург говорил «ты» некоторым раненым, которых долго лечил и привык к ним, — хочешь, чтобы нога и не почесалась... А ты помнишь, что у тебя с ногой было?

— Как же! Бросовая нога была, товарищ старший врач. Вам благодарен...

— Я тоже думаю, что нога была бросовая... А теперь, пожалуй, пусть немного «позудится» а? Зато пойдешь на ней домой за створ...

— На фронт пойду, товарищ старший врач: напиши село у немцев еще... Вас благодарю, калекой не остался...

— Ну, ну... — сказал Петр Александрович, прерывая раненого. Довольный, он отошел к сестре и одобрительно посмотрел в ее красивые, блестящие глаза: — В прекрасном состоянии больной... чисто... удобно... Сестра вспыхнула и нагнулась над бумажкой с температурой.

Уже выходя из палаты, хирург обернулся и, видя высокую, стройную фигуру сестры, пышные ее темные волосы, прихваченные марлевой косынкой, и на заднем плане за ней ряды людей — из них почти каждый имел серьезное ранение и теперь возвращался к жизни и работе, — Петр Александрович, на секунду поддался тому, что в других называл словом «размяк», а в себе не допускал и мысли, что оно может быть. И сейчас же в нем возникло настроение, в котором ему все удавалось. В этих выздоравливающих красноармейцах заключалось

дело его жизни. Но оно было не только его делом, а и этой красивой сестры. И он захотел еще раз показать, что он доволен ею.

— Да, погодите, а где же Майоров? — спросил он, улыбаясь своим красивым молодым ртом, и когда Майоров лихо вышагнул от своей кровати в неширокий проход между рядами, сказал: — Про вас, Майоров, каждый день слышу: вы пользуетесь добротой сестры, и вас видят везде, только не в палате.

— На то вы и лечили меня, товарищ старший врач! — отрапортовал Майоров.

И Петр Александрович, разведя руками, как бы говоря: «Ну, что с ним поделаешь?» — и смягчая улыбкой свое всегдашнее выражение превосходства и давая понять этим, что он доволен, вышел.

— Он и смотрит-то, как орел, — сказал один из красноармейцев вслед хирургу. — Глаз у него орлиный.

— Да... человек! — ответил другой.

## 411

Обойдя три большие красноармейские палаты, занимавшие всю левую часть здания, Петр Александрович направился в палату, где лежали раненые командиры. Здесь он подошел к кровати майора, к которому вчера оперировал бедро. Из пробитой пулей бедренной артерии получилось внутреннее кровоизлияние, но сгустком быстро свернувшимся крови артерия была прижата так, что кровотечения наружу не произошло. Во время операции артерию перевязали, и теперь важно было, пока не восстановится кровообращение, сохранять в ноге живую теплоту. Нога была укутана ватой и обложена грелками. Майор лежал на спине с приподнятыми на высокую взбитую подушке плечами и смотрел на подходившего старшего врача блестящим и ласковым взглядом человека, благодарного за то, что самое страшное, — страшнее немецкой пули, — прошло и нога уцелела.

Петр Александрович подошел к кровати больного, тихо пододвинул стул, сел и стал смотреть. Взял руку майора, проверил пульс, по-

ложил ладонь на грудь больного — посчитал количество вдохов. Так, молча, спрашивая сердце и легкие больного о состоянии тела, Петр Александрович перевел глаза на высокую тонкую девушку, — медичку третьего курса, Нату Ивановскую, которая работала в этой палате за сестру. Лечащим врачом здесь был постоянный его ассистент Семен Иванович; он стоял с другой стороны кровати против хирурга.

У майора пока все было хорошо. Петр Александрович сказал вполголоса:

— Следите внимательно за ногой, — и спросил сестру: — Как себя чувствует новый товарищ? Может ли говорить? Температура?

— Тяжело ему, — ответила сестра, — ни лечь, ни повернуться не может, говорит шепотом и невнятно. Температура тридцать семь и восемь. Глотает с трудом только воду.

— Ну, подойдемте к нему. — И хирург встал.

Направо у окна на кровати сидел, опираясь на подушки спиной и плечом, человек с забинтованной головой, так что была видна только левая половина лица, молодого и свежего, с хорошим голубым глазом в светлых, как бы запыленных, ресницах. Другой глаз блестел из глубины отодвинувшейся от носа толстой повязки.

— Здравствуйте, товарищ, — с тем же видом превосходства, стараясь веселым и бодрым тоном показать, что ранение, в сущности, не так тяжело, поздоровался хирург. — Как это говорится у вас? Пристроился к хвосту, подправляя скорости и рубашку. И вот двух немецких самолетов не существует, а мне предстоит задача вас чинить. Так?

Летчик чуть повел углом губ, показывая, что улыбается.

— Как вас зовут?

В горле лейтенанта захрипело, как будто он поперхнулся.

— Старший лейтенант Сергей Звягинцев.

— Больше не надо говорить. Дайте руку.

Петр Александрович посмотрел на ассистента: взгляд относился к тому, что Звягинцев мог говорить только шепотом и так, как если бы во рту у него было что-то большое и неповоротливое.

— Думаю, сейчас взять на реант-

ген? — вопросительно взглянул на хирурга Семен Иванович.

— Да, да, сразу же и возьмите. Так через четверть часа подойду посмотреть. Распорядитесь, милый мой. Мы тут с сестрой справимся.

«Милый мой» вышел, а Петр Александрович обошел всех больных этой палаты. Их было четверо: вчера оперированный майор, политрук с тяжелым ранением живота, у него было розовое лицо и блестели глаза, ему хотелось говорить, и сестра показала хирургу на листок с температурой, — температура была высока; был еще сержант с ампутированной ногой и Звягинцев. Потом хирург перешел в соседнюю «вторую» палату, рассчитанную на восемь человек, сюда отбирали больных со сложными ранениями периферической нервной системы и операциями пересадки кости. Дело это было длительное, приходилось ждать полного очищения раны, и сначала войны отсюда выписали только шестерых человек. Одного из них оперировал Семен Иванович, и операция эта с точки зрения — очень критической — его самого била сделана удовлетворительно. Петр Александрович коротко назвал работу ассистента «обещающей».

В третьей палате, куда направился хирург, лежали тяжело раненные красноармейцы. Здесь стояла особая, напряженная тишина, в которой слышно было частое, горячее дыхание лежавшего первым от двери раненого. У окна негромко, стараясь сдерживаться, стонал лежавший на спине немолодой красноармеец. Вдруг он заскрипел зубами и протяжно вздохнул. Осторожно и легко ступая, хирург сначала подошел к нему.

Три эти смежные палаты просто различались по названию на первую, вторую и третью — иначе «тяжелую». Все три были в ведении сестры Ивановской.

Осмотрев больных тяжелой палаты, назначив операцию, Петр Александрович зашел еще в две палаты тяжело раненных, где лечащим врачом была Тихонова, и отправился в рентгеновский кабинет. Там уже все было готово для просмотра. Фролов только что привез Звягинцева в том же легком кресле и стоял, привалившись к стене, ожи-

дая, когда понадобится подкатить кресло поближе.

Фролов уже несколько лет работал в больнице, возил и носил больных, мыл их в ванне и считал свою обязанности «чистой работой». Он безгранично уважал старшего врача и уверял всех, что тот его вылечил от запоя гипнозом, хотя Петр Александрович после первого запоя Фролова всего только посмотрел на него в упор и сказал:

— Тебе, отец, эти глупости надо бросить. Понял? Не то пропадешь.

Фролов угрюмо сказал: «Понял», но понял только, что пить надо осторожно. Петр Александрович целил Фролова за его уменье необычайно бережно и вместе с тем уверенно обращаться с больными и как бы не замечал, что время от времени в госпитале вместо Фролова на несколько дней появлялся его внук Саша, паренек лет пятнадцати.

Как только Семен Иванович придал нужное положение голове Звягинцева и врач-рентгенолог, девушка в резиновом фартуке, закрывавшем ее грудь до самой шеи, выключила свет, именно та бархатная, непроницаемая темнота, про которую Звягинцеву приходилось только читать, окружила лейтенанта, и он стал ждать, что сейчас что-то почувствует и увидит, но не почувствовал и не увидел ничего. Он услышал только легкое потрескивание электрических разрядов.

— Видите, вот он, — сказал странный в темноте и очень приятный голос старшего врача. — Немного придиньте его голову к экрану. Милый мой. Так... хорошо. Теперь ясно. Видите?

— Вижу. Дьявольски угловатый осколок. Отметим.

Сестра Ивановская, поддерживая голову лейтенанта, видела на светодиающимся экране черный, как бы плоский металлический кусок с рваными краями и какой-то неуместный обрыв гладкой и стройной линии нижней челюсти. Потом осколок посмотрели с другой стороны: он появился на фоне шейных позвонков и был длинный, похожий на бруска с неровными краями.

Девушка-врач сделала снимки, включила свет, и Фролов, ширкая расстоянными птиблестами, увел лейтенанта в палату. Семен Ивано-

зич прищурил глаз, качнул головой слева направо и покнул языком, обозначая этим озабоченность дальнейшим ходом дел Звягинцева.

— Как этот осколище проскочил около артерии? — Он сделал движение плечами в знак удивления. — Линия его следования как раз должна была бы пересечь артерию. А яремная вена?

Что артерия осталась цела, было понятно обоим: при ранении такого крупного сосуда и наружном кровотечении из него Звягинцев без немедленной перевязки не мог бы остаться живым. То внутреннее кровоизлияние из пробитой артерии, которое получилось у майора и сохранило ему жизнь, едва ли могло произойти у Звягинцева, так как у него было огромное входное отверстие, не такое, как маленькие пулевые ранения майора. Кроме того, управляя самолетом, Звягинцев усилил бы кровотечение и не дал бы образоваться спасительному сгустку. Когда перед просмотром Ната сняла толстую, пропитанную кровью повязку с головы лейтенанта и легко прибинтовала свежим бинтом марлю и вату, прикрывавшие рану, артерия пульсировала ясно и четко.

В палате летчик и хирург посмотрели друг на друга. Хирург проницательным, серьезным взглядом темных глаз, а летчик одним голубым глазом, очень прямо, поплыски. Второй его глаз косил из-за повязки на кончик носа. Ему показалось, что хирург хочет уйти; он зашевелился, поискав глазом на тумбочке, попарил там рукой и взглядом подозвал к себе сестру. Сестра спросила: «Что-нибудь принести?» Летчик сделал движение рукой, как будто бы написал слово. Сестра взяла с тумбочки блок-нот и карандаш и подала ему.

«Как мои дела?» — написал он.

— Надо выпнуть осколок, дорогой мой, — ответил хирург.

«Разбарабанило страшно. Язык не ворочается. Когда думаете вытаскивать?»

— Можно и завтра, но для успеха операции лучше сегодня.

«Что значит успех операции и что — неуспех?»

— Успех — это значит, как вы называете, сохранение полностью вашей «материальной части»: артерий,

нервов, слуха, голоса. Неуспех — частичная потеря управляемости...

Сестра сердито взглянула на хирурга: она не любила, когда он говорил так. Особенно не любила, когда после хорошо законченной операции, он — знаменитый хирург, пожилой человек — радовался и хвалился, как ребенок, рассказывал всякие — ей казалось, глупые — истории и неудачно — тоже казалось ей — острял. Но все в госпитале знали, что чем точнее, изумительней было его определение глубоких изменений в человеческом теле, чем труднее ему было сохранить или восстановить человеческую «материальную часть», тем больше и охотнее он говорил после операции, как будто пускался под гору вместе с потоком слов, перепрыгвая от темы к теме.

— Жизни вашей, надеюсь, не угрожает прямая опасность, — уже серьезно закончил хирург, — но я должен предупредить вас, что операция пойдет под местным наркозом и будет довольно сложной. Осколок велик, и с ним придется повозиться. Но ведь вы вот умсете делать сложные операции, и я тоже умею.

Когда Петр Александрович вышел, Звягинцев написал на бумажке и показал сестре: «Мне нравится ваш хирург, и я ему доверяю. Лучше сегодня».

— Да, ему можно доверять жизнь, — ответила сестра.

Летчику же представился темный, мрачный вражеский самолет, как он уходит от его истребителя. Звягинцев хочет не упустить врага, догнать, потому что ему тоже доверена жизнь. А «Хейнкель»нес смерть. И погиб сам.

Лежали обломки разбитой машины. Исковерканные моторы, часть фюзеляжа. Закрученный металл пропеллера, обгоревшие пулеметы. Кассета из-под зажигательных бомб. Уничтоженный им враг...

На самом деле Звягинцев не успел этого увидеть. В то время как «Хейнкель» стал падать, Звягинцева тяжело ударило в голову. У него зашумело в ушах, и приборы двинулись влево и вверх. В глубине шеи почти в горле стало горячо и захотелось как будто проглотить что-то. Боли он не чувствовал — боль пришла позже, — но ему каза-

лось, что он клонится направо и вниз и вот-вот упадет. Как только он делал движения правой рукой, на груди его теплело от крови.

А теперь ему казалось, что он стоит и смотрит на груду обломков.

Сестра увидела, что Звягинцев забылся, и на цыпочках прошла мимо него в операционную.

Хотя деятельность всех работающих в госпитале людей была в течение круглых суток направлена на уход за ранеными, но в этих сутках были свои часы подъема. Такими были утренние часы.

С шести часов утра начиналась мелкая хлопотливая работа сестер и сиделок: уборка помещения, измерение температуры больным, умывание их, смена белья, раздача завтрака. Эта работа была лишь подготовкой к более важному — общадам врачей. Но деятельное, полное движения утро заставляло отступать тяжелое, накопившееся и застоявшееся ночью. Поэтому утренняя работа сестер была приятна раненым, с нею все становилось светлее, удобнее, гладже, и будто отбрасывался прочь еще один настиск болезни.

Самым же главным, что наступало ежедневно, была та, единственная для многих, борьба за человеческую жизнь, которая каждый день происходила в операционной. Из десяти палатных врачей было несколько хирургов, и все они делали операции своим больным, часто спасая их от смертельной опасности. И все же ни одна операция не вызывала такого живого интереса, сочувствия, волнения больных, как операция хирурга Петра Александровича. Он не всегда оперировал тяжело раненных. Иногда рана была как будто благополучна на вид, не осложнена инфекцией, но больного брал на операцию главный хирург. Это значило, что ранение таит в себе какую-то угрозу в будущем и ее нужно понять, предвидеть и устраниить. В таких операциях Петр Александрович был умным и тонким мастером. И раненый, зная, что он попадает в руки главного хирурга, испытывал двойное чувство: если за него берется сам хирург, значит, операция серьезна и сложна; если сам, значит можно надеяться, что он отведет опасность, на-

висшую над жизнью. Слепая сила в теле, враждебная жизни, будет не отдавать захваченного ею, а умная сила — друг жизни — в лице хирурга Петра Александровича, будет расстраивать козни слепой силы и отнимать у нее это захваченное. Такой и представлялась со стороны каждая операция главного хирурга.

#### IV

Уже с самого появления Петра Александровича в госпитале до хирургической сестры Зинаиды Платоновны, ведающей во время операции подачей инструментов, докатывалась общая волна энергии. Сестра снова окидывала взглядом ряды блестящих, стальных инструментов, лежащих за стеклами шкафов на стеклянных же, сиявших чистотой полках, и отбирала десятки кохеров, пинцетов, хирургических ножей для предстоящих сегодня операций.

Небольшая ее фигура в белом халате начинала двигаться по перевязочной с тем внутренним подъемом, который сказывается в особой гармоничности и наполненности всех движений и действий. Лицо ее, немолодое, с неровной, чуть тронутой осью, кожей, ожилилось и розовело. Даже манера ее обращения с людьми менялась. В обычное время она просила своих помощников. Теперь же она начинала приказывать медлительной коренастой Аннушке, и та быстрой кипятила инструменты, переставляла блестящие никелированные барабаны со стерильным материалом, подавала аппарат для переливания крови — стеклянную банку с резиновыми трубками и баллоном. И постепенно перед Зинаидой Платоновной на отдельном столе, поставленном близко к операционному, располагались блестящие никелированные предметы в особом, удобном ей, «боевом порядке».

Работа ее заключалась в том, чтобы из массы лежащих рядами на столе инструментов подавать хирургу во время операции именно те, которые нужны по ходу операции и обычно требовались хирургом коротко и четко. Но она так привыкла следить за ходом операции, что всегда знала и угадывала, что по-

жадобится, и держала нужное на го-  
тавое, еще сокращая этим секунду ожидания. Для этого требовались внимание, точность и быстрота ре-  
акции, напряжение всех сил и осторожность движений, чтобы не коснуться чего-нибудь посторонне-  
го стерильными руками. И бывало так, что она на мгновение переставала понимать, что такое хокер, ветгут, салфеточка, и тогда надо было усилием воли заставить себя отбросить что-то мешавшее понимать и видеть все снова с той же ясностью. Поэтому после нескольких операций лицо ее серело и бывало покрыто капельками пота, а глаза западали. Она работала с Петром Александровичем много лет еще с той германской войны, знала его требования и причуды и ошибалась чрезвычайно редко, и то только тогда, когда на нее находила странная робость перед Петром Александровичем.

Петр Александрович ценил свою хирургическую сестру за ее умение так включаться в самый ход операции, что руки ее как бы переставали быть руками другого человека, и у хирурга получалось ощущение, что это его собственные продолженные руки достают ему нужный инструмент, не отвлекая его мозг от главной работы, направленной на то, что чайные и быстрейшие действия в поле операции.

И хотя во время многих сотен операций хирург и сестра постоянно испытывали это чувство согласованности в работе, каждый раз, готовя инструменты, Зинаида Платоновна волновалась до тех пор, пока в дверях операционной не появлялась плотная быстрая фигура Петра Александровича. Тогда волнение ее разом опадало.

В большую, полуокруглую, мерцающую глянцевыми отблесками света на гладких эмалевых и никелированных плоскостях, операционную за хирургом входили те, кто должны были или хотели присутствовать при операции. Кроме врачей госпиталя, приходили студенты — будущие хирурги — и фронтовые врачи, прикомандированные к госпиталю для повышения квалификации. Среди них было много женщин. Все в белых халатах, возбужденные тем, что им предстоит видеть великоколенную работу большого мастера, порозовев-

шие в более высокой температуре операционной, они занимали места у высокого стола, на котором лежал закрытый простыней человек. Студенты чувствовали себя менее уверенными, чем молодые врачи, побывавшие на фронте; они вежливее и предупредительнее, чем обычно, уступали место поближе женщиным и товарищам, которые были ниже ростом.

Когда Петр Александрович в стерильном халате с марлей, закрывающей губы — колпачок на голове он считал лишним, — неся перед собой и отводя от себя согнутые в локтях и покрытые каплями воды руки с направленными прямо друг к другу длинными, тонкими пальцами с коротко обрезанными ногтями, подходил к столу, молодые врачи встречали его почтительными и восторженными взглядами. Он как-то в длину осматривал приготовленного к операции больного и быстро взглядывал ему в глаза. В глазах он почти всегда встречал вопросительное выражение, иногда боязнь, испуг и старался подбодрить больного шуткой. Напротив него через стол ассистирующий врач закреплял цапками стерильные салфетки вокруг места операции и ждал первого разреза, чтобы поданным сестрой Зинаидой Платоновной комочком марли впитать в него и убрать выступившую кровь.

Перед Зинаидой Платоновной в который раз возникала картина, похожая на полотно знаменитого голландского художника, и даже в лице Петра Александровича было то же выражение дерзания и спора, как и там на лице молодого врача.

Глядя на коричневую от иода поверхность кожи больного, темнющую в четыреугольнике между белоснежными стерильными салфетками, хирург рассказывал врачам, что он ожидает найти при разрезе, и всегда оказывалось так, как говорил он. И он уже привык щеголять этим своим ясным видением и пониманием сложных патологических процессов в человеческом теле и своим знанием, как располагаются, переплетаются, ложатся друг на друга мышцы человеческого тела как тянутся артерии и нервы, словно не было для него тайн в теле, что лежало перед ним. Толще или тоньше жировой покров, шире

или уже кость, сильней или слабее мышцы — это не могло помешать ему видеть. По общей конституции — облику больного — он знал все о нем и действовал безошибочно.

Он брал в руку блестящий никелированный, очень изящный, надежно острый скальпель и, мгновенно опустив руку, проводил черту на коричневом, гладком участке кожи так быстро и сильно, что мелкие перерезанные им артерии спадались и кровь не успевала выступить из них.

Это было начало наступления.

И вот открытый разрез, понемногу окружается блестящими похожими на ножницы, но с тупыми защищающимися концами, кохерами и пинками. Они ложатся на белоснежные салфетки, пятная их алыми каплями крови, их уже много, они окружают разрез никелированным металлическим кольцом.

Рука хирурга делает добавочные разрезы, идет вглубь, открывая шире и шире глубокие ткани, пробираясь через наружные покровы тела человека к тому враждебному, что нельзя излечить ни лекарствами, ни солнцем, ни теплом, ни холодом. «Quod medicamentum non sanat, ferum sanat<sup>1</sup>.

Напряженно, с выступившими на лбу капельками пота, стараясь успеть сделать именно то, что нужно, ассистент, склонились, защелкивает кохеры на мелких артериях, оттягивает края разреза, а Зинаида Платоновна, методично беря со стола и подавая блестящую сталь, не прерывно и мерно поворачивает на небольшой угол — туда и обратно — свое тело.

С лиц молодых врачей и студентов сбегает выражение взволнованности, неуверенности, робости. Они смотрят, вбирая блестящими глазами точность движений хирурга, его умение обойти важный жизненный центр, не потревожив его, быстро, с которой он, как бы совсем не спеша, делает свое трудное, ответственное дело... Они уже теснее стоят друг к другу, облокачиваясь на плечи товарищей, заглядывая и не смей выступить хотя бы на полшага, чтобы не помешать этим точным движениям белых мускулистых

рук, они затаивают дыхание. Перед ними идет самое благородное из сражений, и, зная, что им предстоят такие же бои, они учатся...

## V

Петр Александрович в небольшой комнатке перед операционной мыл щеткой свою мускулистые, обнаженные до локтя руки, слегка поросшие черными волосками, и разговаривал с ассистентом, тоже мывшим руки у соседней белоснежной рабочины.

— Я вас уверяю, милый мой, что это чисто женское качество очень полезно для хирурга. Из нее будет толк, вот увидите. — И Петр Александрович еще и еще раз прошел щеткой под ногтями правой руки, сильно брызгая мыльной пеной. Разговор шел о некоторой нерешительности, с которой молоденькая женщина-врач, приехавшая с Фрочта, приступила к операции под руководством Петра Александровича и как потом смело и верно справилась с трудной задачей наложения швов при ранении мочевого пузыря. — Она не сомневалась, а соразмеряла, так сказать, седьмой раз примерила, прежде чем отрезать.

— Но вот вы-то этой медлительности не допускаете. У вас быстрота...

— Милый мой, никогда не делайте поспешных заключений. Я тоже соразмеряю, но укладываюсь несколько в более короткий срок, вот и все. Мысlenie же идет у меня совершенно тем же порядком. Так же прикидываешь все возможности...

Петр Александрович взглянул на розовые от теплой воды, чистые свои руки с истонченной от частого мытья кожей и, взяв у Зинаиды Платоновны ватку, намоченную спиртом, стал тщательно, не спеша протирать ногти и пальцы.

В операционной в это время лейтенант Звягинцев сидел на белом высоком столе и пытался лечь на бок. Но как только голова его начинала склоняться налево, она становилась ощутительно тяжелой, все больное из правой раненой ее части разливалось по всей голове, начинало давить изнутри и стучать в оба уха, угла правой челюсти бился громко и внятно пульс, и боль была такая, что вот-вот и голова разорвалась на тысячу кусков. И Звягин-

<sup>1</sup> Что не излечивают лекарства, излечивает железо.

лев, наклонив голову всего на несколько сантиметров вниз,— ему казалось, что он опустил ее уже почти на половину расстояния до стола,— снова поднимал ее.

Сестра Ивановская подвела свои руки под его левое плечо и голову, и Звягинцев медленно стал, опираясь на ее руки, опускать голову. Было так же больно, но это надо было сделать, и он делал. Потом, когда голова его легла, все в ней наполнилось шумом, гуденьем, и все таж же мерно, назойливо билось: раз... раз... раз... под правым ухом. Он чувствовал, как руки сестры развязывают и снимают повязку, и приятно прошлое холодком по коже и запахло юдом. В правую его, лежавшую поверх тела, руку, сделали укол, осторожно засучив и снова опустили рукав рубашки.

Потом белые чистые салфетки закрыли ему лицо, и он только что хотел сказать, что ему не видно, как услышал спокойный голос хирурга: «Положите вот так». Белая материя на миг приподнялась, открыв лицо Звягинцева, он увидел снизу вверх лицо хирурга, его широкие плечи, его руки, отведенные в сторону и немного поднятые, и хирург показался ему похожим на араба или бедуина на молитве. Закрытая ли белым нижняя часть лица, как изображали арабов в пустыне, или властные черные глаза делали его похожим на араба, лейтенант не понял, но улыбнулся. В это время они оба взглянули друг на друга, и хирург взглядом одобрил его за то, что он улыбается и взглядом сказал, что надо держаться крепко. Звягинцев доверчиво и открыто посмотрел на него и хотел было попросить карандаш, но белое прохладное снова легло на его лицо и глаза, чьи-то руки плотно взяли его у затылка и лба, и он отдал себя в эти руки.

Он не мог видеть, по он чувствовал то же, что и все, стоявшие в этот час в операционной: не только физическое, а и душевное здоровье человека, от которого зависела теперь его жизнь.

Петр Александрович был очень доволен только что оконченной им его наблюдением операцией. Молодая женщина-хирург заметила, верно поняла и толково воспользовалась некоторыми его приемами. Это

его радовало. Сам он сегодня был в том ощущении уверенности, которое всегда у него сопровождалось успехом. Не то чтобы его успех или неуспех мог зависеть от настроения или на нем могла отозваться дурно проведенная ночь,— успех должен был быть и бывал и в том, и в другом случае. Но при таком самочувствии, как сегодня, работа шла по прямой восходящей линии, в других же случаях приходилось что-то продолевать в себе, откладывая с собой и успех достигался более медленным, напряженным путем.

Закрытая с четырех сторон белыми салфетками правая сторона шеи Звягинцева была плотна и туга на вид, как будто кожу здесь набили чем-то изнутри. На золотисто-коричневой от иода поверхности чуть ниже и сзади от мочки уха виднелось рваное большое отверстие с вывернутыми розовыми краями. Петр Александрович повел глазами, прослеживая путь от места, где вошел осколок, вниз на шею, где он теперь лежал. На рентгене он видел разрушенный угол челюсти и осколки кости, увлеченные вниз и, в свою очередь, действовавшие как инородное тело, несущее разрушение тканей. Он попросил одного из стоявших рядом фронтовых врачей поднять и показать ему лежавший на окне рентгеновский снимок. Тот с готовностью взял снимок и поддержал его на свет против глаз Петра Александровича. Потом по кивку головы хирург снова отнес его на место.

Нока хирург рассказал свои соображения молодым врачам, Семен Иванович, держа шприц с чистым, как ключевая вода, раствором, вкалывал иглу наискось в эту тугую золотисто-коричневую кожу в носе операции и, влив дозу, достаточную для обезболивания небольшого участка, переходил дальше.

Длинным косым разрезом вдоль шеи хирург вскрыл слой кожи, Зинаида Платоновна подала ассистенту пинцетом комочек марли, и операция началась.

На несколько минут наступило молчание. Хирург уверенно открывал себе дорогу среди мышц, лентами лежавших вдоль разреза, и там, где через них проскочил осколок, они были разорваны и изуродованы. В операционной слышалось

отрывистое: «Кохер.. Пеана!..» — так окраинно назывались пинцеты Кохера и Пеана — и тихий голос Семена Ивановича: «Салфеточку, пожалуйста...»

Не спеша, но точно и мгновенно, Зинаида Платоновна подавала инструменты. Необычайно согласно и тихо дышали стоявшие поодаль от стола фронтовые врачи. И только коренастая фигура Петра Александровича двигалась, наклоняясь, пропихивала руку за инструментами. И только его голос нарушал тишину:

— Полмиллиметра! — сказал он.

— Да, счастливо, — ответил Семен Иванович.

Это относилось к тому, что осколок прошел в полумиллиметре от сонной артерии, которая, видно было, мерно билась сбоку в разрезе и от этого поднималась и опадала кровь, застывшая в глубине. Семен Иванович ломочком марли плотно прижал сверху, не заботясь о том, что окружающие разрез откинутые на белые салфетки кохеры и пеаны прыгнули и звякнули.. В чистом наслаждении мышечных волокон ассистент заметил кровоточашую маленькую артерийку и сейчас же, нацелившись кохером, защемил ее.

Сестра Ивановская держала голову лейтенанта и потому была совсем близко от операционного поля и хорошо видела все. Это умелое, божественное проникновение в глубину человеческого тела восхищало ее. Ей хотелось бы сказать лейтенанту, что происходящее с ним сейчас очень просто и это именно та простота обращения с материалом, главная черта большого мастера, которая достигается глубоким и тонким изучением этого материала. Сестра пошла по вздрагиванию головы гинциева, когда хирург входил в язь, где прекращалось действие заболивающего раствора, и перевела об этом движением глаз Сему Ивановичу. Ассистент сейчас делал укол в соседние с местом раны ткани. Петр Александрович иногда спрашивал:

— Как себя чувствуете, товарищ? лейтенант отвечал: «Угу», — и все имали, что это значит.

Действительности же Звягинцев вытикал совсем не то, что ожи-

дал. Он ожидал, что местный наркоз, о котором предупреждал хирург, значит боль, неудобство и необходимость терпеть, скаж зубы. Он к этому уже приготовился и решил вытерпеть. В тот момент, когда хирург взглянул одобрил Звягинцева, он хотел попросить карандаш, чтобы передать словами радостное ощущение заботы о нем прекрасных, близких ему людей, начиная с товарища, которые очень быстро доставили его к одному из лучших хирургов Москвы, и что в этом хирурге есть что-то обаятельное, простое и сильное. Этим он напоминает Звягинцеву человека, портрет которого он возит с собой всюду. Звягинцев вспомнил слова, сказанные ему Сталиным в трудный день его жизни, и подумал, что с этим ему не страшна физическая боль и он готов вытерпеть, сколько понадобится хирургу...

Но кроме первых уколов яглы, которые были скорее неприятны, чем болезненны, — в его шее, казалось ему, было тугое, одеревянелое, хрустящее, что противилось вхождению постороннего предмета, — боли от разрезания тканей и углубления в них хирурга не было. Была та же боль в голове, ощущение давления и шума в ушах, но эта боль немногого уменьшилась. Поэтому он с готовностью старался придать своему «угу» успокаивающий и веселый оттенок. И так ого и понимали и хирург, и сестра.

И чем дальше шла операция, тем яснее все стоящие вокруг хирурга люди понимали, что она идет правильно и свободно. Даже когда Петр Александрович с величайшей осторожностью вынул пинцетом забуренный, пропитанный кровью в ноздреватом изломе кусочек кости, никто, кроме Семена Ивановича, не обратил внимания, как медленно он это сделал.

— Окружение... — Петр Александрович сказал это тоном, объясняющим, что по ходу разреза лежат очень ответственные сосуды и нервы и малейшего неверного движения хирурга достаточно, чтобы совершить непоправимую ошибку. Поэтому надо быть очень осторожным. И он продолжал медленно итии вглубь, вынимая мелкие осколки раздробленной чешуи.

И вот появились сгустки свернувшейся крови, обрывки помятых и разорванных тканей и среди них темное и зазубренное, как пила, железное тяжелое инородное тело, посланное врагом. В это время глубина разреза была такая, что в ней скрывались пальцы хирурга до второго сустава, а ширина невелика.

## VI

— Вы точно представляете себе форму осколка, милый мой? — спросил хирург.

— Форма осколка, — ответил ассистент, — похожа на неровный брусоочек с зазубренными гранями. К нам он лежит боком, и на отдаленной от нас грани имеются острые выступы. В соседство — *nervus laryngeus*. При извлечении...

— Так! Все это совершиенно точно, но вам не кажется, что после удара о нижнюю челюсть осколок — скорость его и так была невелика — получил поворот и разрушил меньше, чем мог бы? Ну, пойдем дальше! Расширитель! — И операция снова продолжалась в полном молчании.

В каждой операции Петра Александровича после сосредоточенной работы наступал момент, когда напряжение отпускало. Хирург уже не так лаконично требовал инструменты, все чаще прибавляя к просимому слово «пожалуйста», и начинал рассказывать истории. Это значило, что главный переломный момент операции миновал.

Но сегодня прошло уже около часа с начала операции, давно все ясно видят черное железо среди важнейших органов человеческого тела, а осколка вынуть еще нельзя. Своей дальнейшей гранью он лежит около горлышка нерва и, видимо, налег на него. Осколок можно взять только в том случае, если он пойдет совершенно свободно, но он чем-то держится в глубине или сам что-то держит. В таком случае небольшого насилиственного движения может быть достаточно, чтобы Звягинцев на всю жизнь потерял голос и мог говорить только шепотом. Повреждена ли горло, тоже еще неясно. И операция продолжается с несдавающим напряжением.

Теперь уже все видят, что вынуть

осколок не так просто и что эта операция серьезна и неслегка даже для такого замечательного хирурга С великолепной невозмутимостью наружной Петр Александрович отодвигает лежащие рядом с осколком ткани, легко покачивает его в ране, изредка обмениваясь с Семеном Ивановичем коротенькими фразами и спрашивает:

— Как себя чувствуете, товарищ?

И неизменно, но со все большим замедлением, будто к лейтенанту слова теперь доходят длинным, окружным путем — действие морфия и утомления, — в ответ слышится: «Угу!»

— Чертовски неудобный осколок! — говорит Семен Иванович. — Главное, неровные края, соседство яремной вены! — Ему хочется словами чуть-чуть разрядить общее напряжение. Но, сказав их вслух, он чувствует, что слова сейчас не ко времени, и, покраснев, умолкает. Ему назойливо вспоминается случай неудачной операции, бывшей при нем, когда хороший, умный хирург чуть-чуть задел скальпелем яремную вену... Присасывая воздух, вена всхлипнула: «ую», судорога прошла по телу человека, и он умер на операционном столе. Это страшное воспоминание неотвязно приходило в голову Семену Ивановичу — слишком уж рваные и острые края были у этого «дьявольски неудобного» осколка и слишком грозно рядом с ним определялись контуры артерии и вены.

Петр Александрович углубил указательный палец правой руки в разрез, завел его за осколок, долго и внимательно нащупывал что-то, подняв голову и глядя в потолок, как будто зрение могло сейчас помешать сознанию, и сказал, высвобождая палец:

— В дальней от нас грани есть трещина, милый мой. Ею они зацепятся за раздвиннутую им мышцу. Немного я высвободил. Надо еще зайти с левой стороны, — и он прощупал осколок еще и левой рукой.

— Готово, — сказал он, — убежден, что пойдет. А?

Семен Иванович ничего не спрашивал, и потому это «а» обозначало совет с самим собой.

— Теперь только поберечь соседние сосуды. Если вынимать с поворотом внутрь, главная зазубрина

отойдет от артерии, да и я посторхую.

Петр Александрович долго уставливал за осколком указательный палец левой руки, взглянул на ассистента, и они, одновременно ухватив пинцетом осколок, подвинули его вверху... Лейтенант дернул головой, и пинцет у хирурга сорвался.

— Сначала! — сказал он. — Голову крепче!

Около пяти-шести минут, во время которых Петр Александрович согнутым пальцем, не изменяя напряженного и неестественного положения его и всей кисти руки,держивал ткани сбоку и сзади осколка, происходило то медленное движение осколка вверх, то снова его торможение. По одному взгляду на лицо Семена Ивановича можно было сказать, что это осторожное движение чрезвычайно трудно. Сестра Ивановская чувствовала, как от затылка ее по рукам течет в кончики пальцев и руку сильное нервное напряжение, будто это она, крепко зажав в пальцах пинцет, тянет вверх железный осколок с острыми зубчатыми гранями. И она бессознательно приподнимала плечи вверх, как бы физически помогая вытащивать это тяжелое, враждебное человеческому телу, железо. Она повторяла про себя: «Ну, иди же, иди! Не сорвись...» и крепче сжимала голову лейтенанта. И почти все окружающие испытывали то же, что и она.

В глубокой тишине операционной все услышали, как далеко за окнами идет, позванивая на повороте, трамвай. И шумная, движущаяся, бегущая жизнь показалась всем страшно далекой. То особенное течение времени в операционной, когда в эти несколько минут умной работы хирурга присутствующими совершилась мысленная передача своего напряженного желания удачи, успеха, победы старшему товарищу, было так наполнено, что казалось не пятью минутами, а часом.

Рука Семена Ивановича, делавшая легкий поворот при извлечении осколка, начала заметно дрожать. Лицо его было бледно, и под глазами выступил пот...

— Разом! — сказал хирург, и точным, ровным движением они с ассистентом выхватили осколок наружу. Хирург опустил его на белую сал-

фетку, и легкий сдержаный вздох многих людей, вздох облегчения, прошел по операционной.

Осколок был черный продолговатый брускочек, внизу рассеченный щелью, и в ней запеклась кровь. Казалось, он топорщится на белом фоне салфетки.

Петр Александрович медленно вынул из раны свою руку и опустил ее вниз, давая ей отдохнуть, как будто он долго нес большую тяжесть. Потом он поднял руку, пошевелил пальцами левой руки; указательный был согнут под прямым углом в первом суставе и от долгого пребывания в одном положении не мог сразу разогнуться. Хирург взглянул в полость операции и сказал тихо самому себе: «Тут, и еще вот тут», немного поработал и вынул еще два кусочка кости. Он протягивал руку и, не глядя, брал инструменты, которые, получив от Зинаиды Платоновны, передавал ему ассистент: так легко понимали сейчас Семен Иванович, и операционная сестра, что требуется хирургу.

Семен Иванович склонил голову к плечу и слегка потер об халат вспотевшее лицо.

Петр Александрович взял пальцами пинцет Пеана, как берут ножницы; ассистент получил от Зинаиды Платоновны кетгут, окружила им тулье защелкнутые кончики пеана и затянула. Петр Александрович разомкнул инструмент и бросил на салфетку. Потом Семен Иванович еще перевязывал артерии, и хирург почти механически снимал и отбрасывал инструменты.

— Вот, — сказал хирург, выпрямляясь и этим давая понять, что главное дело закончено. Он поднял обе руки и стал показывать окружающим врачам, как ловко его слушаются мускулы пальцев. Первые суставы, которые у большинства людей сгибаются только вместе с соседними — вторыми, свободно сгибались каждый по очереди. Было хорошо смотреть на четкие, красивые движения этих рук мастера, и хотелось назвать их «умными».

Хирург должен владеть своими мускулами, как пианист звуком каждой клавиши. При операции может понадобиться любое положение пальцев, вот как сейчас, когда я должен был страховывать движение осколка и защищать важнейшие сосуды. И я

приучил мышцы пальцев работать не как им хочется, а как мне нужно. Вот смотрите...

Он согнулся по очереди один за другим под прямым углом теперь уже вторые суставы пальцев, оставляя первые несогнутыми, он заставлял каждый отдельный палец делать разнообразные движения, и, согнувшись, палец этот не тянул за собой остальные: он был свободен в своем движении. Молодые врачи, приподняв руки, старались повторить движения пальцев хирурга, но это им не удавалось: пальцы их были словно привязаны друг к другу. Это развеселило Петра Александровича.

— Ха,— сказал он самодовольно, и глаза его выразили как раз это чувство,— над своим телом надо хорошо поработать, чтобы оно хорошо и точно работало на вас. Хирург должен иметь гибкие и сильные пальцы скрипача, чувствительные и безошибочные. Он подчеркнул это «без». И ни у кого не шевельнулось сомнение в том, что у Петра Александровича действительно были именно эти безошибочные пальцы мастера, равно необходимые музыканту и хирургу: все видели их в работе.

«Ну, пошло теперь,— облегченно и вместе с тем негодующе думала Ната,— начал хвастаться! Ну зачем это, зачем? Как это такой замечательный, удивительный человек может хвалить себя, как мальчик?» Негодяя внутренне, она восторженно и нескончаемо смотрела на него серыми большими глазами.

— Угу? — вопросительно сказал лейтенант, поняв, что что-то произошло в ходе операции. Он не заметил момента извлечения осколка, но он начал чувствовать боль, потому что обезболивающие уколы больше ему не делали.

— Угу! — утвердительно и весело ответил Петр Александрович и кивнул ассистенту: — Доделывайте, милый мой! — Он отступил на шаг и движением шеи и подбородка сдвинул марлю от рта.

— Могу сказать вам, товарищ Звягинцев, что все в порядке. Через неделю сделаем небольшую пересадочку кости, и я вам подгоню так, что собственная жена не заметит шрама. Впрочем, юноше можно обойтись, это не женщина. Вот у меня был случай, еще до революции.

Петр Александрович обвел придвинувшихся врачей веселым, блестящим взглядом и, посмотрев на работу ассистента, начал:

— Приходит ко мне женщина замечательной красоты и просит меня заполнить ей ямочки на шее между ключицами, уверяет, что это портит ей декольте. «Madame,— говорю я ей,— вы и так прекрасны, уверяю вас! Зачем это вам? У вас Диана грудь, ланиты Форды, и,— говорю,— небольшой недостаток только подчеркивает вашу красоту». — «Нет, нет,— говорит,— я сама знаю только в античных статуях и прошу вас сделать мне операцию». — Ха! Я не очень любил заниматься иенужными вещами: не имел времени. И она ушла. Отправилась к какому-то шарлатану, и он ей напустил под кожу парафина. И снова я вижу у себя прекрасную даму. — О, доктор,— молит она,— уничтожьте мне эту гадость. Теперь когда я бываю на балу, все хорошо и красиво, но на больших обедах я не могу проглотить куска без того, чтобы при глотании не выпирал шарик на шее, как чадык». — «Нет,— говорю я,— ничего не могу сделать, madame, ни-чего...»

И он захочтал, окруженный смеющимися молодыми лицами.

— Вы! — словно вызывая ее отвечать на экзамене, внезапно повернулся он к маленькой бледной девушки, которая сегодня делала операцию под его руководством. — Я в юности уважал женщин. Я был привучен вставать, когда входил женщина, и уступать ей место. Я жил среди красивых, изнеженных женщин и считал, что это и есть женщина. Но с течением времени, как бы это сказать? Научился делать различие! Да! И когда, как для каждого человека, придет черед и мне «уступить место», то я с радостью и немногой старомодной вежливостью уступлю ей женщине. — он наклонил голову, показывая, что именно такой женщине мог бы о уступить место: — Очень хвалю ваши.

Он увидел, что девушка очень смущилась, покраснела почти слез, и повернулся к ассистенту.

— Здесь пока не будем закрывать? — спросил тот.

— Парочку швов!... Так вот, товарищ Звягинцев, то, чего я не дела

для красивых женщин, я сделаю вам блестящее, чтобы закончить операцию, в которой и для меня — одно мгновение — тоже был своего рода татар...

Но Звягинцев не ответил. Действие обезболивающего раствора окончательно проходило, и вся голова его, казалось, была охвачена болью. Даже зубы стали болеть сильно и мучительно.

— А хороша была женщина? — спросил Семен Иванович, прикрывая место операции стерильными марлевыми салфетками, сверху куском стерильной ваты, прижимая все рукой и делая знак Ната Ивановской, чтобы она проподняла голову лейтенанту. Потом взял из рук Зинаиды Платоновны широкий марлевый бинт и начал повязку.

— Замечательно! — ответил Петр Александрович. — Венера Медицейская, и только! — Или, как недавно прочел мой маленький племянник, «Венера Милицейская». Пожалуй, были основания и для такого...

«Разливается соловьем! — думала Ната, поддерживая голову лейтенанта, наблюдая как, тускло смотрят его глаза, как бледно лицо, и тревожно взглядывая на Семена Ивановича. — Тут человек устал, вот какой измученный, а ему все ладно, лишь бы себя показать. И Семен Иванович туда же о женщинах! Хотя что же это я? Разве можно Петра Александровича равнять с другими? И вот он какой чудесный: как маленький, рад и счастлив. И лицо у него какое хорошее. Чуть-чуть татарское. Добродушное, бесп hitrostnoe...»

Она взяла бинт, переданный ей Семеном Ивановичем, и стала бинтовать голову лейтенанта, поворачивая бинт так, чтобы он ложился гладко. Семен Иванович отошел от операционного стола и спрашивал Петра Александровича:

— Может, кофейчику ему, а?

И они пошли вместе к умывальнику мыть руки. Аннушка вынесла таз с окровавленными кусками марли. Зинаида Платоновна, сделав укол лейтенанту, собрала в никелированную ванну бывшие в употреблении инструменты, пододела к белой табуретке и села на нее, положив на колени руки, и теперь уже не боясь коснуться ими халата.

— Замечательная операция! — сква-

зал один из фронтовых врачей, обращаясь к Петру Александровичу и сияя молодыми, ясными глазами.

— А? Да! Вот что я посоветую вам в таких случаях... — И Петр Александрович заговорил деловито и спокойно о том, что он считал полезным знать молодому врачу.

А Ната Ивановская помогла Фролову осторожно переложить лейтенанта на подвижный легкий стол, и когда Фролов покатил его из операционной, пошла рядом, поддерживая голову Звягинцева.

За дверью в коридоре ждал озабоченный Майоров.

— Сестрица, — спросил он, — ну как, благополучно?

Ната кивнула головой, и Майоров тихо прошел рядом с Фроловым, тщетно стараясь чем-нибудь ему помочь и сочувственно глядя в лицо лейтенанта.

## VII

Занявшись устройством Звягинцева так, чтобы голова его и шея были приподняты, ровно поддерживались подушкой и этим уничтожалось бы лишнее давление головы на шею, прибавлявшее боль, сестра Ивановская не заметила, как прошло около получаса. Несмотря на множество маленьких дел, из которых и составлялась забота сестры о раненом, Ната, не переставая, ощущала весь ход только что законченной операции. Она вспоминала все движения и слова хирурга и, казалось, видела каждого человека в отдельности, как на замечательной картине. «Бывает же, — думала она, — столько значительного в жизни. Видеть такую операцию — это видеть в одно время и жизнь и искусство. Как смотрел тот врач... а Петр Александрович...»

— Ну-ка покажите мне его, — сказал за ней тихо подошедший Петр Александрович.

Ната в это время вытирала рот лейтенанта влажной марлей, навернутой на палец; она посторонилась от кровати и пропустила хирурга. Петр Александрович положил на скатерть тумбочки черный вымытый осколок: раненые любили оставлять на память пулю или осколок, несший им смерть, теперь — смиренный, обезвреженный точной рукой хирурга.

— Пить хочет, а нельзя,— объяснила сестра.

— Да, сегодня у него трудный день. Ночью вы дежурите?

Хирургу, повидимому, хотелось, чтобы ночью у оперированного дежурила она, и Ната ответила так, как думала сама и как по ее предположению, хотел он.

— Да, я дежурю.

— Не слушайте ее,— серьезно сказал появившийся в палате Семен Иванович,— если не ошибаюсь, она уже две ночи не уходит домой, и сегодня мы ее отправим.

— Если так, конечно же идите,— сказал Петр Александрович, подняв брови и выражая этим равнодушным движением, что ему, в сущности, безразлично.

— Что вы, Семен Иванович,— ответила Ната,— когда же я уходила от оперированного больного? Не требуйте этого от меня.— И по ясному тонкому лицу ее прошло выражение упорства.

— Какова?— сказал Петр Александрович, глядя на сестру, обычным своим взглядом, но она поняла по чему-то неуловимому, что он очень доволен ею, и покраснела. Петр Александрович поклонился ей и вышел вместе с ассистентом.

Звягинцеву было тяжело: он стонал, и, как при сильной зубной боли, ему хотелось качать головой, как будто мертвые, небольшие движения могли успокоить то, что рвалось и ныло внутри. Но как только он чуть-чуть подвигал голову на подушке, ему становилось неудобно и некорошо. Сестра, сидевшая около его кровати, снова поправляла, и тогда делалось ловко и удобно лежать и как будто меньше чувствовалась боль.

У сестры Ивановской было одно качество, необходимое сестре, но, тогда как многие девушки старались приобрести его. Ивановская никогда не думала о нем и не старалась его иметь и не знала даже, что оно в ней есть. Она умела необыкновенно ловко и не причитая боли раненому, устроить его так, что он удобно лежал и чувствовал уменьшение боли. Отдыхая, он удивлялся, что другой человек мог догадаться о том, как сделать лучше для него.

Она дождалась, что Звягинцев успокоился и, держа ее руку, за-

дрешил. Тогда сестра потихоньку высвободила руку и, легко ступая, отошла от кровати. Ее дежурство кончилось еще утром, она была свободна делать то, что хочет.

Каждый раз, собираясь сдавать дежурство, сестра Ивановская испытывала чувство, похожее на ревность. Ей казалось, что другая сделает все не так заботливо и не так во-время, как она сама. Она знала, что Голубева (студентка их института, только моложе Ната на один год), к которой они работали вместе с самого поступления в госпиталь, не пропустит и не забудет ничего нужного, но все-таки Ната постоянно затягивала свое дежурство. Ей нравилось ходить по госпиталю, заглядывать вечером в операционную, когда там не было операций, спускаться вниз к санитаркам и смотреть, как они катают и складывают чистое белье, подходить к больным и чувствовать себя в большой семье, где всегда можно найти себе дело. Нравилось и то, что она могла днем отдохнуть в дежурской комнате сестер: это сближало госпиталь с домом. И сегодня, переденным дежурством, ей хотелось выспаться. Но увидев, как сестра Голубева на пыпочках полоцца к постели лейтенанта и посмотрела, спит он или нет, Ната почувствовала досаду:

«Так и есть, сейчас все заботы перенесет на нового больного, а Лосеву, наверно, поропки забыла дать».

Ната повернула по коридору в третью, тяжелую, палату. Напротив у двери лежал больной Семена Ивановича, красноармеец Лосев. Сестра полоптила и наклонилась над ним.

Лосев, до прихода сестры смотревший прямо перед собой строгим, серьезным взглядом, тревожил врачи в ее сторону и слабо повернул голову. Лицо его с горячим румянцем на щеках, с черной широкой обрастающей бородой и огромными глазами, исхудавшее так, что скулы его были обтянуты и выступали, а щеки ввалились, было спокойно. Сестра поисками на тумбочке, переложила пустой пакетик.

— Лекарство давали,— понял Лосев,— не болит...

Речь шла о боли которую он не прерывно испытывал и которую облегчали приемы лекарства.

— Вам что-нибудь надо, Лосев?

Лосев чуть пошевелил головой и не ответил, надо ему что-нибудь или нет.

Ната тихо присела на краешек стула. Лосев всегда вызывал у нее тревогу оттого, что она не знала чем ему помочь. В этом большом мужском теле с чистыми, как у ребенка, легкими и равномерными, четкими, несмотря на болезнь, ударами пульса чувствовалась стройность и слаженность текущей в нем жизни. Когда в теле Лосева поднималась боль, он умолкал и уходил в себя, как будто прислушиваясь, как идет в нем борьба жизни с беспорядком, произведенным врагом в его теле. Ранение у него было чрезвычайно тяжелое. Осколок, попавший в живот, произвел глубокие и серьезные поражения кишечника, и в госпиталь Лосев был доставлен с начавшимся воспалением брюшины. Только операция могла снести его, Семен Иванович взял Лосева на операционный стол. Петр Александрович, взглянув на работу ассистента, сказал:

— Оч-чепь серьезное дело... — И одобрил намеченный Семеном Ивановичем ход операции и дальнейшее применение бактериофага и стрептоцида. Но после временного облегчения, состояния Лосева ухудшилось: перитонит был налицо.

И теперь, глядя на усталое, измученное лицо человека, которого на время оставила боль, сестра старалась устраниТЬ все, что могло помешать ему отдохнуть.

Очень косой солнечный луч, падавший в окно, — окно смотрело на северо-запад, — перенес светлые прямоугольники стекол на стену, у которой стояла кровать Лосева. На подушке лежало овальное, с радиусами краями, отраженное от стекла сияние. Лосеву оно светило прямо в глаза. Он отвел голову и прикрыл глаза тонкими, вздрагивающими, как у птицы, веками. Но и закрытые глаза его чувствовали свет, и что-то пробежало по худому его лицу, шевельнуло мускулы рта и щеки.

Ната подвинула стул к кровати, загородила свет и, чтобы тень легла шире накинула на спинку стула полотенце и развелла в стороны концы.

Выходя в коридор, она наткнулась у двери на Семена Ивановича.

— Влизание Лосеву будем делать? — спросила она.

— Нет, не будем трогать. Спит?

— Только что немного задремал.

— Дайте-ка его назначения. — Семен Иванович посмотрел листок с назначениями, что-то вычеркнул.

— Интересно, в вашей семье как-нибудь особенно относились друг к другу?

Ната усмехнулась. В ее семье не успевали «как-нибудь особенно относиться». Чаще все встречались на ходу, возвращаясь или уходя на работу или занятия.

— Нет, кажется, ничего особенного не было... Никаких нежностей... А что?

— Вы как будто чувствуете за человека, умеете избавить его от лишней боли и сами не замечаете, как у вас все выходит.

— Нет, я стараюсь, — просто ответила девушка. — Человеку больно. Стоны его мешают соседу...

— Не соседу, боль вредит самому больному. Даже временная передышка от боли важна.

— Это если и не знаешь, то чувствуешь.

— Чувствуешь всегда раньше, чем знаешь. Это сложная штука — вопрос о боли. Есть глупая обыденская пословица: поболит — перестанет. Поболит, и что-то остается в организме вредное, ненужное ему. Надо добиваться умения избавлять человека от лишней боли.

— Знаете, — сказала Ната, — а я вот о чем думала: почему женщина переносит физическую боль легче, чем мужчина? Я это очень часто замечала. Это не может так быть, что организм, которому непременно предстоит очень сильная боль в жизни, — рождение детей — как бы выработал большую устойчивость к боли? Это очень глупо, то, что я говорю?

— Нет, конечно, совсем не глупо. Они сгущались вниз, в переднюю. Ната подошла к телефону.

— Домой?

— Нет, маме в школу. — Она смотрела, как Семен Иванович снял халат и, обдернув гимнастерку, стал внезапно от этого, общего теперь многим людям, жеста проще и моложе.

— А вы знаете, куда я сейчас? В Кожевники. Хирургию девушким дружинницам читать. Там на фабрике одной кружок... Если что, телефон пиши вам вот тут на стене.

Ната сказала матери, что дежурит сегодня, и пошла в комнату отдыха сестер. Она повесила на гвоздик халат и вытянулась на диване. Сразу поплыло какое-то перемещение от ног к груди, и ногам стало легче, а груди теплее... И она заснула.

### VIII

Вечером в госпитале бывало совсем по-другому, чем по утрам. Когда Ната вошла в выходную палату. Дуняша, веселая и розовая, разноссила по рядам хлеб на большом подносе. Больные, зная, что сейчас их позвонят ужинать, спешно кончали свои дела. У Митрошина на кровати, нагнувшись друг к другу так, что головы их почти касались, сас Митрошин и высокий грузин с запятиванной до колена и прямо вытянутой ногой доигрывали партию в шахматы. Примененные в кровати, тут же стояли кости.

В соседнем с Митрошиным ряду Задорожный, разложив на коленях, разбирал бумажки, вытащенные из карманчика запасной книжки, рассматривал и здоровой правой рукой аккуратно свертывал каждую и укладывал обратно. Подальше за ним кто-то писал письмо, склонив над тумбочкой бритую, отливающую синевой голову. В углу на четырех кроватях привалившись друг к другу — сидели и полулежали «ходячие» больные. Повязки у них были совсем легкие: Они слушали, как товарищ, делая паузы и меняя выражение подвижного лица, рассказывал «случай из своей жизни», и то и лело прерывали его громким хохотом. Ната уже знала, что, когда она будет проходить мимо, рассказчик примолкнет, все притихнут и проводят ее глазами, потому что не все или, вернее, только небольшую часть того, что рассказывается по вечерам в этой группе, полагается слышать сестрам.

Так действительно и вышло, только рассказчик кивнул и улыбнулся в сторону сестры.

Уже совсем вечером Ната пришла

в операционную. Там было тихо, чисто и просторно, как в музее. Широкий полукруг окон открывал безграничный светлый простор вече-реющего неба. Сейчас в нем, как уголь, подернутый пеплом облаков, горел закат.

У стола, на котором обычно раскладывались инструменты, сидела повязанная марлевой косынкой сестра Зинаида Платоновна и чистила инструменты. Вид у нее был уютный, домашний. На ее коленях было разостлано жесткое полотенце, которым она быстрыми и сильными движениями так протирала металлы, что холодная сталь теплела в ее руках. На операционном свинцом в сторону столе стоял открытый никелированный барабан, и около него лежала груда сложенной белым куском марли.

Желая именно такой простой, женской как бы домашней работы. Ната подошла к операционному столу и поисками глазами ножницы. Она нащупала их под марлей и, став у стола, начала разрезать марлю. Барвные четыреугольные салфеточки — заготовка для стерилизации на завтра — и класть в барабан.

— Как ваш летчик себя чувствует? — спросила Зинаида Платоновна.

— Сегодня трудно ему. Но он страшно терпеливый. Такой сдержаненный человек.

— Витюшку оп мне папомнил, — вздохнула Зинаида Платоновна, — волновалась сегодня на операции, как за родного.

— Ну, раз Петр Александрович делает операцию, можно не волноваться.

— Нет, знаешь, мало ли что будет.

— Сколько лет с ним работаете. а сомневаетесь! Правда сколько лет вы его знаете?

— Двадцать семь лет.

— То есть. — Ната посчитала про себя, — с той войны еще? Четверть века работы!

— Да, но не все время работала с ним. Кончила курсы сестер и попала в лазарет, где он был главным хирургом. Был такой лазарет, прекрасно оборудованный, все сестры мечтали в него попасть. Разные высочайшие особы туда ездили: царские тетки, ну и вообще.

— Воображаю, как у вас за ранеными ходили.

— Прекрасно ходили. Ты Петра Александровича знаешь. Можно представить себе, чтобы у него раненый не был окружен необходимым уходом?

— Сейчас нельзя. Но ведь тогда он был молодой, не такой опытный врач.. И время другое было, и отношение к людям.

— А вот послушай, какое отношение у него было. Ходила к нам в госпиталь одна сестра, чуть ли не княгиня какая-то. Приводят однажды на перевязку своего больного. Петр Александрович требует перекись водорода, а она найти не может. «Ха, — говорит он, — вы, я вижу, не-це-ле-сообразно употребляете перекись водорода. Уверяю вас, для раненых она гораздо полезнее». А у нее волосы были крашеные и, наверно, как раз перекисью. У него глаз острый — заметил. Всегда он был такой. Он, бывало, так на этих дам кричал. Ногами топал!

— А почему вы сказали, что не все время с ним работали? Он уезжал?

— Я уезжала. Решила, что на фронте буду полезнее, и собралась ехать сестрой в летучку. Петр Александрович мне сказал: «Ха! Хотите сильных ощущений?». Я ответила насторожилась. «Однако, — сказал он, — можно спасти человека, умело наложив ему жгут сразу после ранения, и можно спасти его длительным уходом. Польза однакова везде». Но я все-таки поехала. Попала я в то большое отступление от Варшавы. Много было разных случаев.

Однажды поправили меня в полк на передовой перевязочный пункт. Вечером стали подносить раненых. Перевязочная — в большой палатке. Молодой хирург перевязывает, делает необходимые операции. Помогает полковой фельдшер, пожилой уже, и я. Так к утру у нас стало посвободнее. Раненых отправили. Новых нет. Хирург напошел отдохнуть. Мы с фельдшером дежурим.

«Сколько я ни видел хирургов, — покуривает он и рассказывает, — нет ни одного такого, как пришло мне встретить на фронте в японскую войну. Не забыть че его никогда. Решительный, быстрый, в

самых трудных условиях под обстрелом делает операцию и спасает человека. А молодой совсем был. Уж он не дал бы так много крови потерять солдату, как наш Николай Васильевич сегодня.

«Да, тот хирург, — рассказывает фельдшер, — и не спешил делать ампутации. Ставился в трудных фронтовых условиях спасти человека руку или ногу. Нет другого такого, как он.

А я ему отвечаю: «Нет, есть и не хуже». И начала ему рассказывать про Петра Александровича. Но он плохо слушал. Я вам, — говорит, — верю, но все-таки, если бы вы знали нашего... А я опять: «Я считаю, что наш Петр Александрович...» Фельдшер мой насторожился: «Как вы называли? Петр Александрович? Так и мой, — говорит, — Петр Александрович». И оказалось, говорили мы про одного человека... Видишь, как пришло...

Ната ничего не сказала и задумалась. Зинаида Платоновна встала и, сняв с колен полотенце, свернула его и стала укладывать чистые инструменты в шкафы так любовно и аккуратно, словно в музейные витрины.

## IX

Весенние ручейки всегда пересекали этот переулок наискось и подбивались к асфальтовому тротуару. Постепенно, год за годом, асфальт подсыпался и обламывался, а тротуар делался все уже. И вот теперь от него осталась узкая полоса около дома и, чтобы пройти по ней, надо прижиматься к самой стене.

Семен Иванович прошел около сего большого дома, задевая и шурша по стене рукавом военного своего плаща. В этой полосе асфальта было нечто привычное. По ней когда-то ему приходилось пробегать по нескольку раз в день. Семен Иванович посмотрел на стену дома, разрезанного пополам круглым каменным сводом ворот. Ворота были те самые.

Вот тут у ворот и стоял отец, когда пришел его из деревни. Семен Иванович очень ясно увидел его перед собой. Небольшой человек с худым болезненным лицом, с тоскливыми глазами. Глаза были у него

хорошие: в них хранился теплый, ласковый свет для него. Семена. Вот тут он стоял... смотрел на сына и жалел его оставлять в городе. Но все-таки оставил. Все говорили, что отец его пытлив и слабый человек. А вот слабым-то он не был. Нет. Все как будто слабое на вид: тонкая шея в морщинах, всегда стеснялся перед людьми, а что-то знал лучшее для Семена, оставляя его в городе. Кроме Семена, у него никого не было, если не считать брата, у которого он жил. Он еще на прощанье протянул руку Семену...

Так отец начал вспоминаться Семену Ивановичу, и он пошел по улице очень тихо, чтобы повспоминать еще.

Отец был родом из деревни Сьянновой под Москвой и после смерти своего отца не делился с братом. Он был хороший плотник и работал в имении генерала Рейнбота, недалеко от Сьяннова, за Пахрой. Домой, где жили жена и сын, он ходил по субботам и на неделе. В памяти Семена Ивановича возникли теплые и яркие обрывки далеких впечатлений детства: крупные красные пшечты на ситцевой занавеске, потрескивание дров в русской печи ранним туманным утром, стол, высокобленный ножом, теплый пуховый платок матери и она сама — очень смутно, издали. Отец как будто всегда был с дороги: открывается дверь, и он, веселый, смешливый, появляется на пороге, притопывает ногами, хватает Семена на руки, подкидывает к потолку и напевает: «Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Ну полно, перестань!» — и это очень смешно, а мать почему-то сердится и плачет. Потом в избе бывает много народа, шумят, ссорятся, иногда дерутся. Утром отец скучный, бледный и совсем не веселый. Иногда утром Семен его не видит: он уже ушел.

У отца всегда бывали припасены удочки. По воскресеньям он ходил на Пахру ловить рыбу и брал с собой сына. Когда мать Семена умерла, отец стал водить его в Рейнботовский дом, и он подбирал и сколачивал дощечки около верстака, на котором работал отец. Когда оборвалась служба отца у Рейнбота, Семен не помнил. Помнил только, что правая рука у отца

стала кривой — отец упал с лесов во время ремонта дома и сломал руку. Теперь отец чаще сидел на Пахре, ловил рыбу, а возвращившись домой, кричал, раскрыв окна:

— Казнокрады, ёвочки! С одного вола три шкуры хотят взять. Кому воровать надо? Нам надо, а мы, извините, честь знаем! А ему мало именьев, мало домов, давай с солдата сапоги снимем, он и босой повоюет! — И когда в избу приходили соседи, шумел: — Почитайте газетку, как генералов-интендантов судят.. У него на Урале леса богатейшие, управители сидят, а хозяина их под суд: справедливый и милостивый суд... — Он развертывал «Газету-копейку», по которой выучил Семена читать и где во весь лист был написан заголовок: «Процесс генерала Рейнбота». Осуждят? Держи карман! У них на ерш такая сеть, чтобы ерш в ячью ушел. Шемякин суд!

От частых выпивок у отца тряслись руки, плотничал он плохо — не мог приспособиться строгать левой рукой, а правая была неверна и слаба. Поэтому и на войну не попал. Брат его ходил, но вернулся через год контуженный: он все держал головой, будто удивляясь чему-то.

Брат отца славился по деревне как легкий на руку человек: у него роились пчелы, дети — шестеро — живы были все до единого. Он был один из тех хозяев, на которых в прежнее время приходилось, по статистическим данным, собранным Владимиром Ильичем Лениным, двадцать семь пятьдесят вторых лошади, но был человек трудолюбивый, непьющий и после гражданской войны стал неплохо хозяйствовать. В это время в Горках поселился Ленин.

Это Семен хорошо запомнил. Мимо Сьяннова стали проезжать машины, которые особенно любил двоюродный брат и ровесник Семена, Егор. Они с ним часто бегали по дороге в Горки и, случалось, прицеплялись сзади к грузовой машине.

Отец Семена в то время, приладился кое-как работать сломанной и плохо сросшейся рукой. Односельчане несли ему всякую домашнюю поделку. Он был мастер на все руки: мог спить хомут, починить сапоги, поправить часы. Когда в сья-

новском кооперативе проворовался продавец и надо было спешно заменить его, отец поступил на время в магазин. Тут проявилось одно его качество: суровая его, почти сумрачная честность расположила к нему людей и так день за днем он и остался работать. Постепенно он стал нужным человеком, даже прямее он как-то стал, но всему мешали повторявшиеся время от времени его запои. Правда, съяновцы не видели в этом большой беды и ссылались на пословицу: «Пьян да умен — два угодья в нем», тем более что у продавца все было в чрезвычайном порядке, но отец Семена после запоя бывал мрачен и молчалив и не допускал никаких обсуждений и оправданий со стороны.

Семен с Егором часто ходили вместе ловить рыбу. И однажды мальчики встретили на Пахре незнакомого человека.

На Пахре Семен знал каждый изгиб берега. Знал, где хорошо ловится рыба и ранним утром, когда отлетают от воды хлопья тумана, и по вечерам, когда успокаивается вода, и на поверхности реки появляются круги там, где рыба хватает комаров и мошек. Летним утром мальчики подошли к заветному месту под высоким берегом и увидели, что оно занято.

Человек был широкий, плотный и сидел спиной к мальчикам на клетчатом одеяле, сбросив пиджак на траву. В руках у него были три бамбуковых коленца, он сложил одно с другим, повернулся, и получилось длинное тонкое удлинище. Семен толкнул Егора локтем, и они подошли ближе. И зелная леска, и поплавок — точечный, гладенький, с гусиным пером, вставленным в него — были нарядные и вроде как непригодные для настоящей рыбной ловли.

Человек ловко закинул леску в воду. Поплавок, стоя на одном месте, закланялся, и побежал по воде, а прямо натянутая леска стала отдуваться, слабеть и легла на воду. Рыболов вытянул удочку и передвинул поплавок — сделал глубину крючка поменьше. Семен шагнул вперед, хрустнул сучком, и человек обернулся. Тяжелое, мясистое лицо его не казалось старым.

Он повелительно кивнул ребятам, что могло обозначать только одно: «Не шуметь!» — и снова закинул удочку.

Когда рыбак вытянул одного за другим двух ершиков, а третий скочил, блеснув в воздухе серебром, отлетел в траву и там стал биться и подпрыгивать, изгинаясь серпом, Семен кинулся и накрыл его рукой. Он зажал рыбку в кулак и подал рыбаку. Тот, не глядя, указал мальчику на двух других, спущенных на бечевке в воду. Семен, с трепетом человека, желающего оправдать доверие, старательно присоединил к двум ершам и третьего. Так состоялся негласный договор: Семен помогал незнакомцу снимать рыбок, копал червей, ловил мух и все это из-за самой замечательной и юной из человеческих способностей: удивляться новому и отводить ему важное место в своей жизни.

Надо сказать, человек попался интересный. Он жил в доме с острым крышей и круглой террасой, на лесном участке, заросшем сосной, и был доктором. Он лечил самого Ленина.

Через неделю у Семена с доктором установились дружеские отношения. Доктор, приходя на берег Пахры, уже осматривался, где Семен, и даже подарил ему бамбуковую удочку.

— Не надо мне, — покачал головой Семен.

— Почему?

Семен не умел рассказать свои ощущения, когда ранним утром подходишь к кусту орешника, раздвигаешь ветви и перебираешь их, какая из них ровнее. Срезаешь ее ножом наискось и чувствуешь, как свежая и холодная роса брызжет с листьев тебе на лицо и щеки. Потом легкими ударами ножа сбиваешь с ветки листья, и они терпко и резко пахнут. Сдираешь зеленую кору, и у тебя в руках удлинище, гибкое и сильное, влажное и блестящее, особенного, сладковатого вкуса, если попробовать лизнуть языком. Такое удлинище нравилось Семену лучше всяких бамбуковых.

— Почему же? — спросил доктор.

— Так, — ответил Семен.

— Так — это значит, что ты не знаешь, а человек про себя все должен знать. Ты откуда?

— Из Сианова.

— Отец где работает?

— В кооперативе продавцом, у меня отец хороший...

— Мой отец был не особенно хорош для других. Но мне он тоже нравился.

— Отец у меня пьющий.

— Это хуже! Кто пьет, тот ворует.

— Отец копейки чужой не возьмет.

— Свое здоровье ворует. Здоровье — такая штука, которую труднее нажить, чем деньги.

Они вместе поднимались на крутой берег Пахры, и доктор дышал тяжело и громко, останавливаясь, чтобы перевести дух.

— Видишь, другое сердце я себе вставить не могу, хотя я и доктор, — сказал он.

Снизу, с Пахры, мальчишки свистнули и заорали:

«Семе-он Дежнев, путешественник!»

— Это кого же? Тебя?

— Меня. — Семен рассказал, что собирается стать путешественником.

— Зачем это тебе?

— Чтобы ездить по рекам и храбро сражаться.

— Я, наверно, тоже так думал в свое время. И потому стал доктором.

Семен не понял.

— Ты думаешь, доктору храбрость не нужна? Пожалуй, больше, чем путешественнику. В каждом деле, если хочет человек делать его хорошо, нужна храбрость.

Семен смотрел недоверчиво. Доктор остановился передохнуть и ворчливо сказал:

— А ты думаешь дело так даеться? Ты его хочешь взять, а оно упирается. В этом-то вся штука и есть. Ерша и то так, не выудишь. Все сноровка требуется. Так-то, путешественник а удочку все-таки возьми!

В другой раз доктор, усмехнувшись, сказал:

— Ну, так, значит, поедешь, откроешь новую страну и сядешь у реки рыбу ловить?

— Ага!

— Так не бывает, брат.

— А как бывает?

— Бывает, что до этой страны всю жизнь добираешься. А жить-то в ней и не приходится. Силы-то уже все ушли на то, чтоб добраться. И тогда говоришь людям: живите,

товарищи, на здоровье. Вот вам страна, защищайте ее. Так, путешественник...

Семен тогда не понял, про что говорил доктор и хотел спросить его об этом, но они скоро перестали встречаться. Вскоре отец отвез Семена в Москву и определил к частнику учиться паяльному мастерству. Ему было двенадцать лет.

Однажды Семен бегал с Егором по берегу Пахры, они играли в гражданскую войну. Неожиданно Егор остановился, не стал стрелять в «белого» Семена и сказал шепотом, указывая глазами вверх: «Ленин!» Оба затихли и стали смотреть.

На высоком берегу Пахры, где луг, окруженный редким березняком, обрывался круто в самой реке, под высокой старой бересой была скамейка. На ней сидел сейчас Ленин. Он внимательно смотрел перед собой. Мальчики поглядели, на что он так засмотрелся. Внизу лежала голубая Пахра, подернутая от ветра рябью. Рябь была ярко зеленая, пятнами, словно отсвечивала от прибрежных кустов, которые отдавали ей свой цвет и сами оставались такими же яркими и зелеными. На том берегу лежал широкий ровный луг. Направо, где его кругло обходила река, виднелись деревянный мост и за ним серые дома Сианова. Еще правее — линия железной дороги, и по ней паровоз, бросая в небо белые клубы, тащил, словно игрушечный, поезд к Кашире. Налево Пахра подбивалась к высокому берегу, лежала плавной, красивой излучиной. А там снова виднелись луга и за ними — мальчики знали — есть каменоломни, где водятся эмси и где ломают белый камень — известняк.

Удивительно было, что Ленин сидел и внимательно вглядывался в такое, что можно видеть каждый день. Мальчики постояли, потом тиховью спустились к реке и прошли нижней тропинкой у воды, чтобы не помешать Ленину, и долго помнили и говорили между собой о встрече.

В зимний холодный вечер Семен, посланный хозяином на Залепу за хлебом, услышал, как все кругом говорили, что умер Ленин. Он испу-

гался. Потом ему стало так жалко Ленина, что он решил сегодня же поехать к отцу в деревню. Но на вокзале нельзя было пробраться в кассе и к поезду: столько ехало народа. Семен влез через площадку в тамбур и втиснулся между человеком в черном полуушубке и женщиной в большом пуховом платке. Несмотря на мороз, ему было тепло между ними.

Отца он не застал дома и побежал в Горки. Уже была ночь. Березы стояли с толстыми пущистыми от снега ветвями. Глубокий мирный снег лежал в лесу и в парке. Наверно, из скамейка та, где сидел когда-то Ленин, была заметена снегом. Мимо дома с колоннами по закругленному проезду была наезжена широкая дорога. По ней подъездили легковые машины, останавливались, дверцы их открывались, и люди торопливо выходили. Огромные венки угадывались своими очертаниями в темноте. Свет из окон и открывавшейся двери освещал красные ленты с черными буквами. Семен долго стоял. Он, казалось, чувствовал, как в дом входит снаружи холод, как в комнатах прибываются люди, венки, и все это холодное, прямо с мороза. И это холодное уносит последнее тепло, в котором жил и дышал Ленин. Теперь, если и будут в доме жить люди, то это будет уже не он, живой, простой человек, которого Семен видел на крутом берегу Пахры, задумчиво рассматривавшим простые их луга и села. Семен замерз и пошел домой.

Утром они с отцом пошли посмотреть, как Ленина увезут из дома, где он жил. Они вышли из деревни вместе с соседями. Пока шли, их перегоняли мужчины в полуушубках и валенках, женщины, закутанные в платки, и ребята в пальтишках, обвязанные крест-накрест материнскими платками: был большой мороз при ясном небе. Шла вся деревня Сычнова, а за ними подходили Новлинские... В Горках на аллее в парке так же стояли белые, спокойные березы, искарясь на солнце свежий и чистый снег: нарядный и ясный был день. Семен с отцом пробрались слева к самому крыльцу и стали у гладких стройных колонн. Егор, опоздавший пойти с

ними, уже не мог пробраться вперед и залез на березу.

Когда открылись обе половины двери, сначала стали выходить люди и выносить венки. Цветы были живые, и Семен подумал, что они сейчас замерзнут — такой был холод, и вдруг забыл про цветы и холод: на руках вынесли «троб, обитый красным... Семен хотел рассмотреть Ленина, такой ли он, каким они его тогда видели с Егоркой, но его испугало, как хрюплю и тяжело задышал отец. Он посмотрел и увидел, что отец, плачет.

Самому ему было тоже тяжело от чувства, которое высказать он не умел. Когда несущие гроб стали спускаться по ступенькам, Семен увидел лицо Ленина и тут только понял, что значит «умереть». Значит, когда «оно» придет, то уже ничего не поделаешь?.. Значит, никто не может избежать смерти? Как же это так: Никто? Не может быть. Он не поверил бы, что такое может случиться и с ним когда-нибудь.

Ленина несли между нарядными, сверкающими деревьями. Вокруг шла толпа людей, и люди забегали вперед, проваливаясь по пояс в снег, но старались не нарушать стройного торжественного шествия. Потом толпа спустилась с отлогой горы к Сычновскому мосту, и деревянный настил моста гулко заскрипел на морозе под шагами людей. Все казалось Семену и тогда и потом, долго спустя, чем-то особенно родным, и он все вспоминал Ленина.

Когда он с отцом, проводив траурный поезд со станции Герасимово, шел обратно в деревню, отец рассказал Семену, как к нему в кооператив зашел однажды Ленин. Ленин купил коробку спичек и заговорил с продавцом.

— Он разговаривал со мною, будто я могу его чему-то научить, а не он меня. Спрашивал, что больше берут, в чем нуждаются крестьяне. А я с ним говорил вот как сейчас с тобой. А потом говорит: «Я о вас слышал не раз. Правильно и честно работаете». И пожал мне руку.

С этого дня Семен стал находить радость в посещениях отца. Ему нравилось видеть за деревянным чисто выскобленным прилавком худую фигуру отца в черненьком пиджаке и его старания ловко, быстро

и точно вывесить кусок хлеба, положенный на медную чашку весов.

Они ходили вместе с отцом на Пахру, поднимались на крутой ее берег, смотрели на Сыяново и Новлинское, на железнодорожный путь, идущий все там же через поля и луга, и Семен удивлялся, что вид земли меняется так помалу и незаметно. Казалось, все должно было сразу как-то перемениться, раз прошла такая революция. Но отец рассказывал о прежней своей работе сначала в Москве на постройках, потом у Рейнбота, о том, как и кто жил раньше на этой земле, и Семен привыкал замечать глубокие перемены там, где они сначала казались почти незаметными.

Он стал рассказывать отцу о своей работе и о желании своем учиться. Ему хотелось делать что-нибудь лучшее, чем работать в паяльной мастерской.

Двадцати лет Семен пошел на рабфак. Годом раньше он вступил в комсомол, а еще через год был призван в армию. Вернувшись в Москву, он поступил в медицинский институт.

Какbtовались впечатления детства на выборе Семена, он не думал. Сейчас Семену Ивановичу показалось, что он увидел это очень ясно. Отец открылся ему во всей горечи жизни, испорченной как раз перед тем, как другие начали улучшать свои жизни. А мог бы и его отец быть одним из ведущих людей: был он неглуп, честен, понимал многое.

Устроившись, Семен взял отца к себе в Москву. У них установилась особая дружба: суровая и скучная на внешние проявления. Отец, чтобы сделать приятное сыну, подолгу удерживался и не пил, но совсем бросить не мог, и часто болел. А Семену хотелось, чтобы у отца была спокойная старость. Он работал и учился.

Учиться Семену было так легко и просто, что он не мог поверить, как это кому-то может не даваться ученье. Чему же тут не даваться? Скоро он будет все знать. Но чем дальше, тем оказывалось труднее узнать все. Зато интереснее: горизонт всегда расширяется при подъеме на высоту. На лекциях по хирургии Семен услышал Петра

Александровича, и этим определилась его специальность врача.

«Врачи — помощники смерти», — все шутил отец. Сыном он необычайно гордился. Отец умер перед войной от болезни печени и почек. Другие печень и почки сын ему вставить не мог, хотя и был уже доктором.

## X

Доктор, встреченный Семеном в детстве, правильно сказал ему и о здоровье, которое трудно наживается, и о сердце, заменить которое ни один врач не может человеку, если он изработал свое. Но всего правильнее сказал он о деле: ты его хочешь взять, а оно упирается.

Первое время после окончания медицинского института, в начале работы с Петром Александровичем, блестящие операции хирурга и неизменный их успех восхищали Семена Ивановича. Скоро они стали подавлять его. Сравнивая на операциях точность движений хирурга и свою робкую, нерешительную манеру, он краснел и от этого смущался еще больше. Петр Александрович непреодолимо стеснял его.

Все, что делал он сам, казалось Семену Ивановичу работой беспомощного человека, которого нельзя пустить одного по дороге — заблудится. И только то, что рядом все время стоял Петр Александрович, спасало его от крупных ошибок. Но мелким не было числа. Он не видел что человеческое тело, как видел его хирург. Он предполагал одно и находил другое.

Первый проблеск появился, когда Семен Иванович заметил, что и у Петра Александровича бывают смутные дни поисков, разочарования и недовольства собой. Ага, значит, даже он натыкается на какие-то неуловимые препятствия, как будто небольшие, но трудные для преодоления. У Семена Ивановича не было достаточно медицинских знаний. Но одно дело понимать по книге и другое по опыту. Тогда он стал накапливать этот опыт.

До войны, ему казалось, он уже многое приобрел. Но когда в госпиталь стали привозить раненых, его опыт снова стал маленьким. С той смертью, которую пришел сеять на нашей земле враг, нужно было бороться во всеоружии.

У каждого рода войск своя техника. Так и у Семена Ивановича должна была быть своя. Но тут он вдруг обо что-то споткнулся. Этого еще не случалось с ним в жизни: сомнение в своих силах одолело его. Он начал раздумывать, есть ли у него данные, чтобы овладеть мастерством, за которое он взялся. И последнее время сомнение это еще усиливалось, когда он думал об операции Лосева.

Все эти три недели Семен Иванович то надеялся на хороший исход, то чувствовал, что хорошего исхода быть не может, и думал, правильно ли он все делал, чтобы спасти жизнь Лосева.

А жизнь была любопытная. Главной чертой Лосева — человека тридцати шести лет, сибиряка, охотника, колхозника — была гордость. О чем бы он ни рассказывал, видно было, что он горд тем, как и среди чего он живет, гордится собой самим, своим прежним здоровьем и устройством своей жизни.

— Я сибиряк, я охотник, я снайпер. Я сорок шесть немцев уничтожил, а они меня одного. Значит, я стою дорого,— говорил он. И было понятно, что этот человек действительно стоит дорого и живет, крепко и сильно вцепившись в жизнь, потому что с таким ранением другой, если бы еще был жив, то впал бы в уныние, а Лосев унывать не хотел или не умел.

— Какое ты, Лосев, о себе высокое понятие имеешь,— сказал ему однажды Майоров.

Лосев ответил пословицей:

— Цени себя выше, люди все равно цену сбавят.— И тут же поправился:— Мне и люди, однако, цену не сбавляют.

Семен Иванович слышал от сестры Ивановской, что Лосев человек интересный и умный, но удерживал себя от желания поговорить с ним: мешало ощущение зависимости жизни Лосева от его врачебного искусства и то, что Лосев, может быть, обвинял его в душе за плохое лечение. Несколько дней тому назад Семен Иванович наблюдал в палате тяжело раненых, как сестра Ивановская делала вливание физиологического раствора казаху, лежавшему у окна напротив от кровати Лосева. Около Лосева, сидел внук Фро-

лова, Санька. Саньку Лосев любил за то, что тот напоминал ему брата. А для Саньки Лосев был интереснейшим человеком. В этот раз Санька передавал Лосеву слышанные им на улице разговоры о том, что немцы совсем близко от Москвы и к октябрьской годовщине ее возьмут, а потом пойдут к реке Волге и тогда заключат мир.

— Москву ему взять? Язви его в душу — не возьмет! — сказал Лосев.— Ты и не думай этого. Народ выстоит. А что эти куклы,— Лосев презрительно называл немцев «куклами», — похваляются, так ты знаешь, как на ярмарке главный кулачник ходит и вызывает: «Ну, кто со мной? Кто на меня?» — и по одному всех друг за другом побарывает. А надумаются двое, кинутся на него спреди и сзади, вот его силу и отберут. Верно?

Но Санька, видимо, еще не был убежден и сказал:

— А ну-ка не отберут? На это Лосев ответил загадочно для Саньки:

— Толкач муку покажет. Не понимаешь? Русские люди настоящие, выстоят.

Семен Иванович узнал пословицу отца. Отец говорил ее, когда при нем сомневались в способностях человека. «Толкач» в этом смысле означал дело человека, которое покажет, чего стоит этот человек.

— Пословица хорошая, Лосев,— сказал Семен Иванович,— дело только очень уж нелегкое.

— А об этом думать не надо, легкое оно или трудное. «За дело, горвится, берись». От него ведь не откажешься раз его навязали. Значит, делай! Глаза боятся — руки делают.

— Враг очень хитрый, дядя Лосев,— сказал Санька,— нам в школе говорили: хитрый.

— Хитрого зверя милее скрадывать Саня. За зайцем пойти или за соболем — что изберешь? Ясно, за соболем: он зверь хитрый, дорогой и зверь-хищник. Вцепится оленю в становую жилу и кровь тянет. Погубляет такая тварь большого зверя.

— А разве немец дорогой зверь?

— Сам немец не дорог, а вцепился в большую тушку, дорогую.

Санька подумал, что это значит:

вцепился в нашу землю, и кивнул головой:

— В нашу родину? Да? — сказал он, зная, что говорит правильно, но Лосев как-то это еще повернул:

— Мы вот зовем — родина, 'еще — Россия, еще — Союз советских республик, а немцы называют «жизненное пространство» — вот как! — И Лосев перевел глаза на доктора.

— Да, — сказал неловко Семен Иванович.

— Очень обидно, товарищ врач, — сказал Лосев, — это «жизненное пространство». Как бы не считают, что оно заселенное народом и народу родное, принадлежит сколько веков. Пространство — значит: пустое. Пустое место для их жизни! А мы где? Мы себе жизнь строили сколько ли веков и еще двадцать четыре года. И нас со счета долой?

— Так предполагают они, Лосев, но этого не будет. — Семену Ивановичу было совестно говорить, потому, что, казалось ему, это «не будет» делалось руками Лосевых, а не его руками.

— Ясно, не будет! На чужое больно падки. Я их за это по всей географии подсчитывал. За Францию — есть! Теперь за Бельгию. За Норвегию офицера сбили: нравится мне норвежский народ, похожи на сибиряков.

— А это кто — сибиряки? — спросил Санька.

— Сибиряки — это народы закаленные, крепкие. Который народ скоровистый, работу любит, мороза не боится, сам себя уважает, тот самый сибиряк и есть, — серьезно и как бы без тени шутки сказал Лосев.

Он лежал суровый, бледный, с прозрачными желтыми руками, и Семен Иванович, глядя на него, чувствовал — не то справедливо, не то нет — вину перед ним, что не додглядел чего-то в его болезни. И если даже все додглядел, сделал все правильно, вина все-таки чувствовалась, как будто Семен Иванович был человек поменьше, а Лосев побольше и, может быть, жить надо было именно Лосеву, а не Семену Ивановичу.

— Какое у вас образование, Лосев? — спросил он.

— Практика жизни больше. В школу ходил два года! Золотишком

испорчен я: все в тайгу тянет. А так — у нас колхоз промысловый Братишка у меня, в связчиках ходил: мы с ним камантики лади Жизнь!

Вот эту жизнЬ старался удер жать Семен Иванович и не мог.

Он сделал повторную операцию очистил полость живота. Один участок кишечника вызывал сомнения, может быть, следовало удалить его... На другой день температура у Лосева упала. Семен Иванович надеялся и ждал. В конце концов новые средства делали иногда чудеса. Но третьего дня температура у Лосева снова кинулась вверх, живот его стал плотен, и возобновились мучительные боли. Поздно вечером третьего дня, заехав в госпиталь, Семен Иванович тихо вошел в палату, где лежал Лосев. Сестра Виктория стояла около его постели и говорила о каком-то письме, которое он, верно, скоро получит.

— Я не поспею получить. Вы уже без меня получите, сестрица, почитайте и матери напишите, — сказал, трудно дыша, Лосев, спокойно определяя срок оставшейся ему недолгой жизни с таким выражением, как будто наказывал домашним перед служебным отъездом на время. Пускай Ивана не задерживает дома. Хотят парень и пусть едет... Речь шла о брате Лосева: Семен Иванович знал от Наты, что он просился учиться в авиационный институт, а мать не пускала, думая, что из всех авиационных учебных заведений выходят только летчики и боясь за младшего сына. «Двоих вас отпустила на войну, а меньшего нипочем не пущу, — писала она. — У меня и так сердце изболело, а в шестнадцать лет ему летать с печи на полати — только и всего...»

Сестра хотела успокоить Лосева и начала было говорить, что он еще сам напишет, но голос ее был не увереный, и Семен Иванович почувствовал, что Лосев это замечает. И сестра сама это поняла.

— Хорошо, я напишу, Лосев, — сказала она.

И Семен Иванович не имел духа подойти к Лосеву. Сейчас в палате человек лежал, существовал, но понимал уже, что скоро наступит время, когда здесь будет «без него». Жизнь будет без него, пойдет даль-

и сестра доделает «без него» эднее простое дело — ответит на то матери, напишет, чтобы не живала Ивана. Организм Лосеворовшийся с какой-то первою, яростной силой, как будтоился! Может быть, в этом слу́было то непреодолимое, заранее виденное врачами, что поборьть ет не в их силах?

мену Ивановичу хотелось знать: непреодолимое ли это или есть и его ошибка, но никто на это не мог ответить, и он тся, прикидывая и соображая, можно было бы сделать еще для ота болезни Лосева.

## XI

перевязочной Петр Александрович Семен Иванович и врач Тихонов смотрели, как сестра Ивановна снимает пропитанный кровью бинт с ноги о что привезенного в гости красноармейца, по фамилии Кашкин. Он лежал на столе и, гляя мускулы шеи и морщась от старался заглянуть, что там у ногами. Лицо его, бледное крытое мелкими каплями пота, откинулось назад. Если бы не нова, успевшая поддержать рабо, голова его пришлась бы ми-ебольшой положенном ему поду подушечки.

Воздух какой душный от носказал он, и зрачки его ушли зеки. Тихонова пропитала ватку тырным спиртом и поднесла к Калинушкину. Он вздохнул и я глаза.

Потерпите немногого, — сказала сестра Ивановская, разрезая ножницами ухую часть бинта и сразу сняла перевязку, как толстую корку, и я ее в таз.

Я ни-чё-го, — сказал медленно красармеец и улыбнулся ласковой, щей улыбкой, — по-тер-плю. А очень плохи мои ноги? — Александрovich в это время рел, уйдя в себя, на огнестрель-перелом большой берцовой ко-правой ноги по самой ее середине. Кость была мелко раздроблена сколком. Края раны неприятно-ные, как бы сотались гноем. Он ответил.

Поднимите ему ногу! — приказал тревисто и как бы сердясь.—

Фролов, с тех пор как доставил Калинушкина в перевязочную, стоял около двери, по привычке притягившись спиной к притолоке, и равнодушно смотрел, как по перевязочной двигаются люди в белых халатах. Услышав голос Петра Александровича, Фролов быстро шагнул к столу и, подведя левую ладонь под желтую, потрескавшуюся пятку Калинушкина, правой рукой крепко обхватил пальцы сломанной ноги. Натягивая ее к себе, он ловко и осторожно поднял ногу над сплетенной из металлических прутьев шиной, внутри обложенной слоем серой ваты. Ната быстро приняла со стола пину, и Фролов, с тем же равнодушием во взгляде, но так же ловко, опустил ногу пониже, продолжая натягивать ее к себе.

Петр Александрович взял из синей эмалированной, стоявшей на столешнице ванюшки желтые прозрачные резиновые перчатки и ловко вдел в них руки. Глядя на ногу Калинушкина, как бы по касательной к ее красноватой распухшей поверхности, он получил из рук «перевязочной» сестры зонд и осторожно ввел его в глубину раны. Калинушкин охнулся, зажмурил глаза и вцепился правой рукой в край стола. Потом он медленно открыл глаза и вздохнул. Все дальнейшие действия хирурга в его ране он уже переносил, скривившись, молча, но по движениям его губ, выражению боли в ясных, немного наивных серо-голубых глазах и поту, выступившему под глазами и на лбу, видно было, как трудно ему терпеть. Петр Александрович недолго осматривал рану.

— Чорт его... Почему в таком состоянии? — Он поднял вопросительно черные, густые свои брови. — Сестра, скажите Зинаиде Платоновне, чтобы приготовила инструменты. Да нет! Куда вы пошли? Приготовьте временно шину... Вон та сестра скажет...

«Та сестра», молоденькая практиканка, робевшая перед хирургом, выскоцила из перевязочной, а Ивановская быстро стала менять слой ваты в шине. После того как перевязочная сестра длинным корпцанлом, как в клюве, пронесла, не коснувшись никого, стопочку стерильной марли и прикрыла ею рану на ноге Калинушкина, Ната широким бинтом прихватила марлю и повела бинт вокруг ноги.

Семен Иванович, заметив, что настроение Петра Александровича колеблется и, увлекаемое нарастающим внутренним давлением, вот-вот покинет область «переменно», нагнулся и стал из-под низа осматривать ногу Калинушкина. Но, поймав себя на том, что рассматривает ногу не для пользы раненого, а только для показа, что и он занят осмотром, покраснел и выпрямился. Сестра Ивановская взглянула на него, и они поняли друг друга и одобрили взглядом честное, без увертки, поведение в штормовую минуту.

Ногу Калинушкина осторожно положили в шину, и он снова охнул, когда пятка его коснулась стола.

— Шину прибинтовать? — спросила сестра.

— Не надо, — ответил Семен Иванович.

— И другая тоже с переломом? — спросил хирург.

— Тоже, — как бы чувствуя вину, что так выпшло, ответил Калинушкин.

По знаку хирурга бровями, быстро и гневному, как молния, сестра Ивановская стала развязывать левую ногу, уложенную в простые длинные дранки и забинтованную от пятки до паха сначала бинтом, а сверху обмоткой.

— Держи, Фролов, — сказала она когда дранки стали отваливаться на стол. Фролов, так же как правую, поднял и левую ногу Калинушкина, не давая прогибаться ей на месте перелома.

У Калинушкина было небольшое осколочное ранение бедра с переломом бедренной кости. Сам осколок нащупывался с задней стороны бедра и был расположен несколько скобу.

— Да, — задумчиво сказал хирург и внимательно осмотрел рану и перелом. — Это все?

Сестра Ивановская показала на грудь Калинушкина. Тот затормозился:

— Тут, сестрица, все в порядке. Я испугался: ну-ка ноги отрезывать? — Он перевел глаза, стараясь встретиться ими с глазами кого-нибудь из стоявших около него людей в белых халатах. Они почему-то ничего не делали с его ногой, только смотрели, и это было страшно.

— Наверно, пропал я? — опять вопросительно сказал он, в то время как плотный широкоплечий человек

с острой черной бородкой, с засученными до локтей рукавами белого халата, протянул руку и пальцами, просвечивающими через желтую прозрачную перчатку, стал надавливать пониже и повыше рачы на бедре. По опущшейся, как бы налитой изнутри, ноге из небольшого отверстия потекла зеленоватая струйка гноя. Сквозь запах напашырного спирта от ватки, свалившейся на стол, до Калинушкина снова стал добираться тот же «душный» запах.

«Затеки, — сказал хирург то, что поняли стоявшие рядом с ним люди, но что Калинушкин понял только как плохое для себя. Он снова потянул голову вверх и вперед и скользил глаза.

— Вот вам! — Хирург сказал это таким тоном, как будто был уверен и не мог тут ждать ничего хорошего. — Результат спешки и незнания. Скальпель есть?

— Кипятится, — ответила сестра, работающая в перевязочной.

— Ну, сделаем вместе с той ногой... Слегка подбинтуйте, сестра Ивановская. Шины пока не надо.

Черные блестящие глаза Петра Александровича встретились с сероголубыми ласковыми и беспокойными глазами красноармейца. Хирург, широко расставив ноги, немного выпятил живот и как бы укрепившись в ожидании, пока Ната подбинтует ногу Калинушкина, смотрел и думал.

Калинушкина беспокоило молчание человека, который как он понял по повелительному его тону и подчинению ему окружавших его людей, был главным здесь. Особенно беспокоило то, что он сказал: «...вместе с той ногой». Но спросить еще раз он не решался.

— Где это вам так досталось? — спросил Петр Александрович. — И откуда на бедре ушиб?

Ната удивленно взглянула на хирурга: она не заметила никакого ушиба а он, как всегда, видел все до мелочей.

— Не уберегся... от танков, — ответил Калинушкин, чувствуя по звуку голоса «главного», что к нему, Калинушкину, он добр и заботлив, а жесткие потоки в голосе, которые он услышал, относились к кому-то другому. Ната, спешившая бинтовать, увидела большой кровоподтек выше места ранения с наружной стороны

бедра. Бинт прозрачно прикрыл его последним оборотом.

Фролов, устав от долгого на вытяжку держания ноги Калинушкина, осторожно опустил ее на стол и медленно выпрямился.

— Как ловко держал! — похвалил Калинушкин, немного ободренный тем, что вторую его ногу так заботливо перевязали: наверное, дело не так уж плохо. — Спасибо, я и не чувствовал.

— Тут у нас все ловкие, — сказал Семен Иванович, — вот узнаете...

— Ну и что же? Товарищи вынесли? — продолжал настойчиво спрашивать Петр Александрович.

— Зачем товарищи? Вохрина убили, еще как первый танк мы подшибли. Больно немцы палили по нам.. А уж это третий танк меня запечатил. И сам кончился...

— Так сколько же вас было?

— Мы с Вохриным и были.

— И вы три танка уничтожили?

— Три.

— Последние два, значит, вы один?

Они далеко от вас были?

— Нет, близко. Засада у нас в роще была. Первого-то Вохрина бронебойными пулями стал стрелять. Но нет, ползет. Гранатами пришлось остановить. Немец из люка полез. Вохрин в него попал.. Тут из-за березы второй танк застрелял. Гляжу, Вохрин мой поник.. Ах, гады! Я за гранаты, связки у меня около куста лежали.. Одну... другую... потом бутылками... А когда третий подошел, я и растерялся: не найду около себя ничего... Около Вохрина, знаю, еще связки у дерева были, я и пополз туда. Он стреляет почем зря. Слыши, по ноге, как обухом, ударило. Полз, а поворотливости не стало. Тут в груди засипело, дыхнуть не дает. Я грудь рукой зажал и к дереву...

Калинушкин рассказывал просто и обстоятельно, останавливаясь и отдыхая. Все слушали молча.

— А он уж лежит, березы подминает так, что ветки об землю хлещут. Тут и меня ушибло. Они подумали — кончился я, открыли люк, а я туда всю связку... Пропали гады, мать их... Ну, все-таки остановил танк.

После долгого разговора, во время которого он не раз покашливал,

Калинушкин, словно стараясь подавить кашель, натужился и покраснел.

— А нельзя было вам отойти, отбежать? — волнуясь, спросила Тихонова, и ее большое материнское тело склонилось к Калинушкину, как бы в стремлении защитить, уберечь.

— Куда же отбежать? Сзади товарищи закрепляются, надеются на нас. Нет, отступления на войне нельзя допускать... Ты о жизни товарища помни, он твою сохранит... — И, видя, что все молчат, спросил: — Товарищ старший врач, как думаете с моими ногами?

Петр Александрович смотрел на лежавшее перед ним молодое тонкое тело со сложными переломами на обеих ногах. Что-то было еще и в груди. Перелом бедра был последним ранением: на третий танк этот парень шел весь израненный, с переломом кости. Петр Александрович, взглянул в серо-голубые обеспокоенные глаза. Надо было ответить на вопрос.

— Вы же только что сказали, Калинушкин: «Ты товарищу жизнь сохранишь, а он тебе», — неточно повторил хирург слова красноармейца. — Я думаю, что сумею сохранить вам... — Он хотел сказать: «жизнь», но сказал: — Ноги.

— Спасибо вам, — ответил Калинушкин, как будто все сомнения его решались одними этими словами хирурга, и глаза его засияли доверием. — А терпеть — это ничего, я потерплю.

— Погодите, погодите, — как будто припоминая что-то, сказал хирург. — Как вы сказали: «в груди засвистело»? Или как? Почему дыхнуть не давало?

— Это, когда пуля в грудь попала, слышу: в ране свистит... Зажмешь — ничего, не так тяжко, а то... Теперь мне ее доктор зашил.

Петр Александрович холодно, почти презрительно посмотрел на Семена Ивановича и перевел взгляд на сестру Ивановскую.

— Правильнее было бы сначала осмотреть ранение груди, а не ко нечностей, но в большом госпитале забыли, кажется, то, о чем знают в передовых отрядах. Неизвестно, какой сюрприз нас ждет. Листок-то какой-нибудь есть с ним?

— Да ведь Калинушкина с того пункта доставили, Петр Александрович, — сказал Семен Иванович. Речь шла о прифронтовом пункте, который враг разбомбил с самолета.

Ната быстро разбинтовала грудь Калинушкина.

«Сюрприз» действительно ждал. На груди было два пулевых ранения. Одно незначительное: пуля чиркнула вкось по правой ключице и только разорвала кожу. Другое, ниже правого соска, прошедшее через легкое... И... здесь, несомненно, была сделана операция. Выходное отверстие было в области девятого ребра, скорее на боку, чем на спине. Семен Иванович рассмотрел и сказал непонятно для Калинушкина одобрительным тоном:

— Пневмоторакс. Легкое подшито к краям раны грудной стенки герметичным швом. Полость плевры... видимо... освобождена от крови и воздуха... — Говоря это, он прикладывал к груди Калинушкина ниже раны холдинговатые цапельцы левой руки, постукивал по ним пальцами правой и, скользнув левой рукой пониже или повыше, снова стучал. — Почти полное расправление легкого... А вот тут... слышите? Звук другой. — Он вытянулся. — Прекрасная операция груди и запущенные ноги...

— Ноги-то не успели поглядеть. Меня на пункт только на четвертый день доставили. Бой шел сильный. Санитар дополз, всего меня перевязал, вина дал, хлеба, и в окопчик подтянул к рощице. А вынесть нельзя было, лежал, ослаб. Когда немцев отбили, меня вынесли и на пункт. Врач, молодой такой, развязал мне грудь. «Тут, — говорит, — тебе немедленная операция нужна». Дали понюхать чего-то, и не помню, что со мной дальше было. Проснулся — в машине везут. Ребята рассказывали: меня со стола взяли. Когда в машины заносили, немец все из пулемета бил... Многих по второму разу ранил.

Семен Иванович быстро и ловко бинтовал грудь Калинушкина: широкие полосы марли плотно ложились одна на другую, бинт катился под мышку и появлялся из-за спины там, где резкой границей отделялась загорелая, бронзовая шея от белого юношеского тела. Это тело, с

которым Калинушкину было так удобно всю жизнь, что он совсем не замечал его и не связывал с ним всю ту радость, которую испытывал от него: возможности двигаться, бегать, плавать, видеть поля, рощи, людей и чувствовать любовь и дружбу к людям, теперь тяжелое и неудобное Калинушкину лежало на столе, и уже другие люди знали, что с ним делать. Калинушкину каждое движение причиняло боль, напоминая ему непрерывно, что вот у него есть ноги, руки, бок, грудь, которые болят. И другие люди старались делать так, чтобы он меньше замечал свои ноги, руки и грудь, и зам Калинушкин мог только доверчиво отдать себя в руки тех людей, которые лучше него знали, что делать с его телом. И он снова доверчиво нащел своими глазами глазами старшего врача.

С этого часа, даже с этой минуты началась борьба хирурга Петра Александровича с тем темным, тяжелым и неумолимым, что настанет на красноармейца Калинушкина.

Даже голос хирурга, которым он приказал немедленно приготовить перевязочную для операции, — в операционной делали, по возможности только чистые операции, — даже голос его прозвучал, как команда кою:

— Приготовить без промедления! — И, сбросив перчатки, он пошел к умывальнику.

## XII

Давно не помнил никто такой глубокой сосредоточенности, такого ухода в себя, с какой Петр Александрович подошел к операционному столу. Стоявшие около него врачи: Семен Иванович, Тихонова, дававший наркоз черненский молодой врач Ласкин, прозванный «жуком», Зинаида Платоновна, Наташа даже Фролова, переодетый в чистый халат, — все чувствовали необычайное, что происходило с хирургом.

Почти все, кроме Семена Ивановича, сначала объясняли это и обычное настроение тем, что Петр Александрович рассердился во время осмотра ран Калинушкина беспорядок, допущенный врачом

первоначальной перевязке. Особо было в плохом состоянии рана правой ноги. Врач должен был вставить в нее дрепаж или хотя бы отрезок марли для лучшего вытягивания гноя; для этого же следовало сделать разрез снизу: отверстие, проделанное осколком, было недостаточно. На бедре тоже полагалось извлечь так близко к поверхности лежавший осколок. Этим удалилась бы самая причина загрязнения раны и опасность накапливания гноя в тканях. Но если и в самом деле Петр Александрович мог быть недоволен врачом, то ведь все услышали от самого Калинушкина, что сделать все нужное врач просто не успел. Думали еще, что Петр Александрович сердится на неправильно пропущенный осмотр, где все как-то шло с конца к началу, и даже листок и расспросы красногвардейца оказались в самом конце, когда надо было с них начать.

Все это было не то.

Семен Иванович понимал лучше других, в чем дело. Его самого взволновал рассказ, Калинушкина. Он ясно видел перед собой тяжело движущийся танк — темное стальное чудовище — и вставшего против него молодого парня с ясными глазами, простого, бесхитростного, с тонким юношеским телом, мало защищенным против железных уверток чудовища, движущегося на него. Это должно было вызвать волнение у хирурга. Сдергившись им, оно же уялось, а получило огромную силу, искальвавшую выхода и направлявшую его мысли.

Калинушкин имел совершенно четкое представление о своей роли среди таких же людей, как он сам. Он сделал все, что мог сделать для них, а это не часто удается людям. В страшную минуту Калинушкин, защищенный лишь таким оружием, которое требует смелости, ловкости, силы воли, самопожертвования, то есть только лучших качеств человека, оказался победителем страшной тяжелой машины. Он верил, что товарищ сделает для него то же, что и он для товарища. Петр Александрович собирался это сделать. Любую рану Калинушкина, взятую отдельно, хирург одолевал уже в сотнях тел, доверенных ему. Но собранные вместе и усиленные ослаб-

ленным общим состоянием раненого эти раны были страшны и прямо угрожали жизни Калинушкина.

Борьба за жизнь человека была профессией хирурга Петра Александровича, и он выходил на эту борьбу ежедневно и спокойно, расчетливо выигрывал бой. Те случаи, когда бой кончался победой слепого, тяжелого и ненавистного Петру Александровичу, большею частью были объяснимы, и нехорош он всегда предвидел. Там было уже непреодолимое, заранее угаданное, с чем хирург боролся потому, что его профессия обязывала бороться до конца. Он боролся, видя, что перебес берет уже смерть, а не жизнь. Но, цепляясь за последние ростки жизни в теле человека, Петр Александрович испытывал не бессилие от невозможности спасти эту уже слабую жизнь, а лишь ясно ощущимый им недостаток знания. Если бы знания было больше, то, возможно, и этот бой оказался бы выигрышным им.

Поэтому после каждого смертного случая в его хирургической практике он думал об этом долго, и не в больнице, не в госпитале, где его все видели, а дома, где почти никто из сотрудников не видел его. Он обдумывал, записывал и тщательно изучал все, что могли сделать в подобном случае человеческая мысль и умение, и чем мог он, хирург Петр Александрович, еще расширить эту вечно колеблемую и отодвигаемую человеком границу его человеческих знаний. И если находил свою ошибку, то разбирал ее строго и точно.

И теперь Петр Александрович ясно видел, как может и как должна пойти борьба за жизнь в самом теле Калинушкина.

Если бы он умел успокаивать себя, то подумал бы, что борьба в таком молодом сильном теле может пойти хорошо. Но лучшее нельзя было брать в расчет. Бактерии, занесенные в тело человека, — сильнейший, опаснейший враг, и поле деятельности их в данном случае было очень широко. Следовало ожидать воспаления другого неповрежденного, легкого, что часто случается при пневмотораксах. Не говоря уже о том, что перелом правой ноги был очень нехорош. Когда и Семен Иванович, угадывавший ход мыслей

хирурга, указал ему на это. Петр Александрович нахмурился.

Было ясно, что Калинушкин находится в положении колеблемого равновесия, где смерть еще не взяла перевеса над жизнью, но может взять каждую минуту. Малейшее упущение хирурга могло все изменить решительно и бесповоротно: от врача зависело теперь добавить легкий груз на ту или другую сторону. Поэтому работа хирурга была уже не только в том, чтобы очистить раны и поставить сломанные кости в правильное положение, но главное в том, чтобы вперед предвидеть пути, которыми может броситься враг в теле Калинушкина, те железные увертки, которыми он будет цепляться за свою, смертельную для Калинушкина, победу.

Этой победы врага хирург допустить не мог. Но, чтобы не было этой победы, существовало два пути. Один более легкий — путь ампутации правой ноги. Этим путем тело освобождалось от избытка боли, все растущих на месте крайне загрязненного перелома большеберцовой кости, откуда они по лимфатической системе проникали все глубже в тело. Другой путь — сохранить ногу, но зато увеличить опасность общего заражения.

Выбирая более легкий путь сохранения жизни Калинушкина, хирург мог быть спокоен, что он поступил правильно, но только правильно поступить было мало. Надо было сделать все возможное, то есть попытаться спасти правую ногу. Выбирая второй путь, хирург рисковал тем, что в этом как раз и таилось то опасное «малейшее упущение», которое могло бесповоротно ухудшить положение Калинушкина. Кроме этих двух обычных путей мог быть третий, но его надо было еще увидеть, найти.

Когда Петр Александрович подошел к операционному столу, Ласкин, который должен был сегодня вести наркоз, увидев приготовленные к операции ноги Калинушкина, сказал:

— Делаемся чем-то вроде эвакуационного пункта. Привозят прямо с позиций без перевязок по несколько дней. По одному этому можно судить, что враг с каждым днем подходит ближе и ближе к Москве.

Петр Александрович пожал плечами:

— Товарищ Ласкин не уяснил себе, что с такими, как Калинушкин, враг с каждым днем дальше от Москвы...

Уже по первому разрезу, сделанному хирургом в области ранения правой голени, Семен Иванович понял, что он ищет возможность сохранить ногу ценой длинных освобождающих разрезов. И снова отметил для себя величайшее познание человеческого тела, которым владел хирург.

Необычайная смелость в этой работе Петра Александровича казалась почти новаторской. Глубокие разрезы тканей, проведенных безуказненно точно, как бы открывали новую манеру хирурга, еще неизвестную ему самому и только что добытую в момент внезапного вдохновения. Изумительная быстрая и точность его работы напоминали лучшие его, ответственнейшие операции, когда Семен Иванович готов был плакать от радостного изумления перед могуществом человека.

Для крупного хирурга это была незначительная операция. Но для мастера нет незначительных дел. На широком, с ладонь, месте ранения, среди разорванных, потерявших свою стройность мускулов, дряблых и пропитанных гноем, неприятно вывернутых наружу, торчали осколки мелко разбитой кости. Семен Иванович видел распухшую ногу и никак не мог соединить с ней представление о легкости, быстроте, движении. Но среди этого безобразного разрушения человеческого тела красиво и целесообразно двигалась умелая товарищеская рука.

Глядя на движения этой руки, Семен Иванович понимал, как много робких, незавершенных движений делает он сам в сравнении с этой работой. Он отдавал себе в этом ясный и беспощадный отчет и в то же время чувствовал в себе возможность такой же работы. Когда в раскрытом хирургом ране показались обломки живой, телевидимой кости, Семен Иванович увидел в ней ту основу жизни, которая возникает снова среди разрушения, хотя только час назад, во время осмотра раны, он думал, что

правая нога Калинушкина совсем отслужила.

Да, это была одна из обыкновенных операций, но Петр Александрович вдохнул в нее новый смысл, и уже видно было, что это новое удержится, потому что оно полезно и нужно.

Но видел это только Семен Иванович да разве еще Зинаида Платоновна. Впрочем, Зинаиде Платоновне видеть мешал страх, что в подготовке инструментов у нее сегодня не все благополучно.

Когда началась операция, Зинаида Платоновна, не видевшая ранения Калинушкина и знавшая лишь от «той сестры», что должно понадобиться из инструментов, отобрала, как всегда, всего с запасом. Но когда хирург отрывисто потребовал: «Люэр!» — кусачки, которыми откусывают неровную или пораженную, ненужную в ране для ее заживления кость,— она подала дрожащей рукой один приготовленный ею люэр. Другого в запасе не было. С люэром обошлось благополучно, Петр Александрович обработал конец кости — вытащил пинцетом множество мелких ее осколков, застрявших в мягких тканях,— и потребовал:

— Ножницы!

Из-за боязливого ожидания, что Петр Александрович спросит еще другой люэр, а его не окажется, Зинаида Платоновна торопливо взяла ножницы и перевернула их колечками вперед к руке хирурга, но сделала это так неловко, что одна половина их — хирургические ножницы не замыкаются наглухо — упала на пол.

— Ножницы! — повторил Петр Александрович.

Других ножниц не было. Не теряясь, Зинаида Платоновна приказала другой сестре подать уже прокипяченные ножницы из перевязочной и обжечь их спиртом. Сама же, вопросительно глядя на хирурга, протянула ему скальпель.

— Ножницы! Ножницы! — закричал хирург, краснея и гневно округляя глаза.— Когда вы изволите дать ножницы?

В это время сестра обожгла ножницы спиртом и робко протянула их хирургу, но он зло взглянул на нее, не замечая ножниц.

— Дайте же ножницы, чего вы стоите? — еще раз крикнул он и, наконец, увидев, выхватил ножницы из ее рук.— Ему лишний грамм во этого,— он указал на пузырек в руке дававшего наркоз Ласкина,— не нужен! — Петр Александрович сделал ударение на последних словах и взглянул на Ласкина. Ната заметила, каким острым, гневным блеском сверкнули глаза хирурга. Выражение лица Ласкина было равнодушно, он стоял, рассеянно глядя в окно, куда доставали верхние ветки тополя с уже желтеющими холодноватыми листьями. На ветках перепархивали воробы. Он не все время держал пульс оперируемого, чего обычно требовал Петр Александрович, а, сосчитав, отпускал руку Калинушкина и минуты две не брал ее снова. Ната подумала, что тут быть буре...

— Какой у него пульс? — резко спросил хирург.

— Удовлетворительный, — значительно сказал Ласкин.

— Как-кой? — задохнулся Петр Александрович.

— Сейчас был восемьдесят четыре, — ответил Ласкин, стараясь нащупать пульс.

— Не был, не был, милостивый государь, а есть! Следить, следить надо за зрачком, за пульсом. Воробьев считать можно и без медицинского образования.

Ласкин надулся и покраснел, но движения его от этого не ускорились.

— Сестра Ивановская, смените усталого товарища! — приказал хирург. Это было оскорбление. Ласкин покзал плечами и отошел. Ната быстро стала на его место, поправила маску и взяла пульс.

Операция продолжалась еще около часа. После быстрой и напряженной работы на месте ранения правой ноги, Петр Александрович уже спокойно вынул осколок из бедра левой, провел два глубоких разреза и вставил дренаж. Обе ноги были укреплены в неподвижные повязки так, что раны можно было открывать, очищать и перевязывать, не тревожа кости, правильно сложенной на месте перелома. К левой ноге был прикреплен груз, который вытягивал мускулы и не давал им,

сокращалась, падаят концы сломанной кости друг на друга.

Когда Семен Иванович с Натой наложил повязки на обе ноги и хирург похвалил их работу. Калинушкин уже совсем проснулся. Он лежал на столе бледный, полуоткрыв рот, и, вздрагивая веками, как будто снова задремывал. Как в панцирь закованные его ноги даже со стороны были ощущимо тяжелы.

По окончании операции Петр Александрович снял розитовые перчатки, но сам наблюдал и даже помогал в наложении шин, потом, стоядя от стола, он наступил на налявшуюся половинку юноши и вспомнил, как кричал во время операции.

— Благодарю вас, Зинаида Платоновна, — сказал он, и это прозвучало, как извинение.

— Ничего, Петр Александрович, — поясняла она.

Семен Иванович вышел из операционной в состоянии сильного внутреннего возбуждения, когда хочешь поделиться с кем-нибудь чувством радости, испытанной от удачи товарища, и когда к этой радости не применяется ни крупинки зависти или недоброжелательства.

Он вспомнил, что молодые врачи, присутствовавшие на операции Звягинцева, называли ее замечательной. Они думали, что так и должно быть в таком прекрасном госпитале и у такого хирурга, как Петр Александрович. Как и Семен Иванович в начале своей работы, они считали, что в любом случае самые приемы хирурга есть нечто неизменное, выработанное долгим опытом, а меняется только сочетание этих приемов в зависимости от операции. Теперь Семен Иванович видел, что впечатление неизменных приемов внешнее, а на самом деле безошибочные и точные действия хирурга обновляются и совершенствуются в самом ходе его работы. Каждая его операция была не механическим повторением уже найденных приемов, а поисками в них наибольшей целесообразности в данных условиях. И хотя операция Звягинцева была очень удачной, но сегодняшняя была знательней. В ней ясно видно было преодоление трудного, постоянное решение задачи не только для себя, как мастера

и хирурга, но и для человека, лежащего перед ним, — то, за что Семен Иванович любил Петра Александровича и считал большим, настоящим человеком.

### XIII

Превосходное течение послеоперационного периода у Звягинцева радовало, как это всегда бывает в случаях избежания большой и серьезной опасности, и врачей, и сестер, и ~~всю~~ были очень внимательны к лейтенанту. Условия, в которых произошло его ранение, были еще первым и необычным случаем за три месяца войны. До сих пор еще ни разу в госпиталь не привозили летчика, употребившего таран для уничтожения самолета врага.

Все работники госпиталя считали Звягинцева героем особенного склада, человеком, который не только говел самолет на таран, но и не потерял присутствия духа, хладнокровия и уверенности, когда ему пришлось, опасно раненому вести самолет назад, к аэродрому. По мнению всех окружающих его врачей и сестер, он уже простился с жизнью, отдал ее родине, и только чудом она вернулась к нему обратно.

И в красноармейских палатах обсуждался вопрос о таране Звягинцева. Однажды Семен Иванович услышал, как Володя — раненый из выходной палаты, обладавший способностью доводить свои мнения до абсурда, спорил со своим соседом, молодым сталеваром. Сталевар, комсомолец и славный парень, высказал мнение, что таран — это такая же точка высшего мастерства, до которой поднимается каждый мастер в своем деле, будь он литейщиком, доменщиком, строителем, — всегда высшая точка мастерства требует смелости и отказа от себя, но зато и содержит в себе самой возможность совершенно благополучного окончания, почему сталевар и оценил в Звягинцеве высокое мастерство больше, чем личную смелость.

— Просто смелость — это хорошо, — сказал он, — но можно быть мастером и в смелости. У Звягинцева никакое не особенное геройство, а знание до мельчайших

подробностей своего дела. Вот это что. А вел он машину назад на аэродром по инстинкту самосохранения, конечно, имея в себе незаурядную силу характера. Ну, да любой мастер своего дела и не может быть без характера.

— Какой может быть инстинкт самосохранения? — яростно возражал ему Волдэя. — Давно объявлена война пережиткам капитализма в сознании человека. Вот этот самый инстинкт для нас пережиток, потому что только трус им может руководиться.

Сталевар возражал, горячился, но Володя спорил до тех пор, пока не подошел комиссар госпиталя и поддержал в этом споре сталевара.

Комиссар любил говорить о таратуре Звягинцева. Раненые, разговаривая об этом, прикидывали, кто из них близких был бы способен на равнозначный поступок, вспоминали то товарища, которому это было бы но плечу, то деда, ходившего с рогатиной на медведя, то отца, спасшего трех человек из горящего дома — случаи храбрости почти исключительной для своего времени. Комиссар замечал, что каждый переживал историю ранения Звягинцева, как что-то свое, перенесенное на своих близких, возможно и не имеющих качеств, которыми обладал Звягинцев. Но перенесение образа героя и приближение его свойственно людям так же, как переходение любви, созданной изображенной Пушкиным или Лермонтовым, на свои собственные, возможно, менее значительные чувства. И если в этом почетная роль поэта, — возвращать чувства людей, то так же почетна и роль героя, потому что он, кроме собственного горюческого поступка — спасения и помощи товарищам — еще поднимает тысячи людей до понимания и ощущения в них того же героического начала.

И вот теперь в госпитале был другой человек, совершенно не похожий на Звягинцева, с широким мальчишеским лицом, коротким носом, робкий и даже как будто боязливый (Фролов и сестры рассказывали, как Калинушкину стало дурно во время перевязки) и до того свой, что в нем сначала и не ощутили ничего героического.

Но после операции все в госпитале узнали, какое трудное и ответ-

ственное дело выполнил Калинушкин и как Петр Александрович сам сделал ему рядовую, несложную опорацию, но как сделал! Тогда до сознания всех стало добираться, что хирург хотел помочь не просто тяжело раненному красноармейцу, а особенному человеку, бойцу обычной стрелковой части, очень скромному на вид, но сумевшему выполнить в очень трудных для него условиях за себя и за товарища все, что им было поручено командованием.

На другой день к палате, куда положили Калинушкина, подходили и спрашивали о нем и Майоров, и Митрошин, и комиссар госпиталя — Сергей Яковлевич. Майоров и Митрошин спрашивали Лосева, с которым были из одной местности.

Лосев взглянул своими горячими огромными глазами на товарищей и на их вопрос о Калинушкине сказал, что — сами должны понимать — дело было серьезное и парню досталось крепко. Лосев главное видел в том, с ногами или без ног останется Калинушкин, потому что парень он молодой и по земле ему ходить еще придется много. Товарищи согласились с этим и побороли о трудности борьбы с танками. Они не рассуждали о героизме человека, поборовшего танк, а сначала рассмотрели вернейшие способы уничтожения вражеских машин. И уже с этого, совершенно иного, поворота одобрили Калинушкина.

Потом с той дружбой, для возникновения которой не надо времени, а только знание человека, подошли и посмотрели на него очень сочувственно, по-мужски, без тени жалостливости. Калинушкин открыл глаза и хотел что-то сказать, но Митрошин грубо и остановил:

— Лежи, лежи, ладно... После паговоришься.

Сестра Ивановская сказала комиссару, что Калинушкин — человек замечательный и что он и сам не понимает, какой он герой.

— Так, так, — сказал Сергей Яковлевич и немножко насмешливо взглянул на сестру.

Комиссар знал всех раненых, поступавших в госпиталь. Человек старый, побывавший чуть не во всех областях родной страны, юг

почти с каждым вспоминал его родину, как место, хорошо ему знакомое. Раненые дали ему прозвище «Земляк», — почти к каждому комиссар обращался приблизительно так:

— Так вы из Пензенской? Как же, знаю, выходит, что мы чуть не земляки. В Башмаковском районе не бывал? Заметчина? Так это же совсем рядом. Ну, а я жил в Знаменском; длинное село, на семь verst. Прежде там помещика Келлера земли были...

— Да это же наш совхоз там, — оживлялся раненый. — Давно ли вы оттуда?

— А вот у этого самого Келлера в пастухах ходил.

И разговор продолжался.

В других областях комиссар побывал во время гражданской войны или в период сталинских пятилеток. Больные охотно говорили с комиссаром, он сообщал им множество экономических сведений о различных районах, и обычно вокруг него собиралась целая аудитория.

Когда в этот день Семен Иванович вошел в дежурную, комиссар сидел у письменного стола. Перед ним на темнокрасном сукне лежали потерянные книжечки партийных билетов. Комиссар перекладывал их, осторожно боясь каждую и внимательно рассматривая поблекшие, кое-где расплывшиеся фамилии и имена.

— Неужели так много прибыло? — спросил Семен Иванович, подразумевая новоприбывших партийцев, которые должны были сдавать на хранение комиссару свои документы.

— Да, прибыли, — сказал комиссар, — вот посмотри...

Комиссар поднял свое тяжелое лицо с глубокими впадинами на щеках. Целая сеть морщинок лежала у глаз. Какое-то морское уменье далеко видеть было в его глазах.

— Что-то очень уж много! — Семен Иванович перебрал книжечки: Осипов Василий, рождения семнадцатого года... Был Осипов Архип, герой, взорвавший пороховой погреб вместе с собой и неприятелем. Где-то досталось ребятам. Билет весь оборванный.

— Да, ребятам досталось крепко. Так вот, друг Семен, прибыл сегодня всего один человек. Командир батальона, Струков. Видел?

— Это у него машину разбомбили? Еще не видел его.

— Тогда послушай... — И комиссар рассказал, что эти четырнадцать книжечек сдал ему майор Струков, и история их такова.

Струков со своими бойцами оборонял рубеж. Три дня они бились с «численно превосходящими силами», противника; какой бой шел и как шел, Струков не рассказал комиссару — был еще слаб. Но после долгого и упорного боя и командир и бойцы поняли, что они попали в окружение, и им не пробиться. Тогда один из бойцов, принятых в партию перед самым боем, Федоров Лаврентий, — тут комиссар посмотрел книжечки, вынул одну и прочитал: — «Федоров, Лаврентий Кузьмич, рождения семнадцатого года, по национальности русский, рабочий, из Горького...» — предложил собрать партийные билеты и закопать их все вместе под деревом, чтобы они не достались врагу. Но если кто-нибудь останется в живых и выйдет из немецкого кольца, пусть вынесет их на родную землю.

Все согласились, собрали книжечки. Кроме трех, все они были новенькие, только что выданные командиром. Федоров завернул их в тряпицу и сказал: «Живой человек, коли выйдет, делом может доказать, что он партиец, а мы, если нас убьют, чем мы докажем? «Хорошо бы кто-нибудь из нас уцелел и вышел на родину». Они закопали в землю партбилеты и стали драться с немцами.

Четырнадцать бойцов легли за родину на одном из ее рубежей вместе со своим командиром. Ранним утром, оглушенный после дикого боя, израненный командир батальона открыл глаза и увидел, что он лежит в лесу рядом с товарищами. И тишина кругом. Струков кое-как встал, завернул потуже остаток левой своей руки, которую ему Федоров вчера перевязал в бую, поклонился своим бойцам и пошел. Дошел он до избы лесника, тут отлежался, переоделся, собрал сведения, где расположились немцы. Через неделю он вернулся к дереву, где они закопали свои партийные билеты. Струков выкопал их, спрятал на себе и пошел к своим.

Перед каждой деревней он снова закапывал книжечки, ходил в раз-

ведку, потом возвращался, доставал их опять и тогда уже проносили. Через шесть дней ему удалось выйти в одну из наших стрелковых частей. Оттуда они с командиром поехали на машине в Москву, попали под обстрел с самолета, и в город их обоих доставили ранеными.

— Я его спрашивал, — сказал комиссар: «А если бы вас схватили немцы?» — «У меня, — отвечает, — граната была: взорвался бы. А партбилеты эти — голос тех, что лежат там, на лесной поляне, окруженные мертвым врагом. Я не смел их доверие обмануть. Донес их голос до родины...»

— Поступок этот, собственно говоря, и нельзя назвать правильным... — задумчиво продолжал комиссар.

— Это очень русская черта, — возразил Семен Иванович, — поступать не так правильно, как надо, а совершать поступок, в существе своем, может быть, и неправильный, но горячий и вдохновенный настолько, что он выше правильного. Я хотел бы поступить так же, как Струков.

Вечером Семен Иванович зашел к Струкову и около часа проговорил с ним. Струков, как и все раненые, побывавшие в очень трудном положении, своего трудного не считал за особенное и говорил о нем просто, видя смелое и героическое в поступках людей, боровшихся рядом с ним.

— Что же это? — спросил себя Семен Иванович. — Почему все они рассказывают больше о товарищах, чем о себе, и скрывают то, хорошее, что проявляли в бою? — И он подумал, что вот уже четвертый месяц в госпиталь, ежедневно доставляют людей, героизмом которых он восхищается, а сами они считают, что не сделали ничего особенного.

И Семен Иванович понял, что люди и не могут рассказать, какими они были во время боя просто потому, что память человека инстинктивно отстраняет эти воспоминания, отказывается восстановить тот гнев, озлобление, горение, ярость и то высочайшее напряжение всех сил, с которыми человек именно в эту войну бросается на врага. Люди и представить себе не могут того подъема всех их душевных и физических сил, какой у них бывает во время боя.

— Так откуда же эта сила в человеке? — спросил себя Семен Иванович.

#### XIV

Вскоре после операции Калинушкина в Москве начались заседания медицинской секции Академии наук. В Лондоне был организован англо-советский комитет для установления сотрудничества и обмена знаниями между медицинскими работниками обеих стран. У советской медицины уже было что сказать, что предложить зарубежным товарищам.

Петру Александровичу часто теперь приходилось уезжать на собрания и доклады, но в госпитале, где он был главным хирургом, все также ни на минуту не останавливалась, шла борьба за жизнь и здоровье раненых бойцов. Все также продолжалась и начатая неизвестным врачом на фронте борьба за жизнь красноармейца Калинушкина.

Последние дни в госпиталь стало прибывать больше раненых, и ранения были свежее: фронт приближался к Москве. Семен Иванович работал наравне с хирургом делая серьезнейшие операции и заменяя его, когда Петр Александрович уезжал в детский госпиталь оперировать изувеченных детей.

— Никогда не думал, милый мой, — сказал он ассистенту, что буду когда-нибудь так сильно чувствовать, как теперь, но оперировать искаженного ребенка невозможно без двух чувств, руководящих с сотворения мира человеческими поступками: сострадания и гнева.

Однажды Семен Иванович поехал с хирургом, чтобы ассистировать при операции изувеченного мальчика десяти лет. Потом он несколько дней ходил, видя перед собой страшную рану на правой стороне лица, опухший, покрытый веснушками нос и на левой стороне жалко смотрящий из-под огромного, как бы налитого водой, века, единственный уцелевший голубой детский глаз.

И снова, как это было в начале войны, Семен Иванович раздавался: он опять чувствовал необходимость самому броситься в схватку, быть врага направо и налево, безумея от злобы и обиды, и от жалости к родной своей земле и вот таким ребятам, изувеченным страшным

врагом. Все-таки лучше было бы ему, думал он, быть где-нибудь впереди, подвергаясь одинаковой с бойцами опасности..

Но уже и думать о Фронте было некогда. Весь этот большой госпиталь был наполнен ранеными. В руках Петра Александровича было, казалось, сосредоточено управление силами, которых он поднимал на бой в теле каждого человека. Но все чаще и чаще хирург вызывал ассистента к телефону и говорил: «Милый мой, постарайтесь справиться сами, я задерживаюсь». И Семен Иванович принимал командование.

Для него как будто убыстрялся ход времени, и Семен Иванович иногда заставлял себя в каком-то неожиданном для самого повороте. Но наблюдать за собой не было времени.

За два-три дня происходило много событий. Привозили новых раненых. У Калинушкина упорно держалась температура и, несмотря на то, что ему доставали все новейшие лекарства, он заметно слабел, и аппетит у него был плохой.

На одной из перевязок Петр Александрович, ожидая, пока Фролов привезет Калинушкина, спросил Семена Ивановича, что он думает о положении больного.

Семен Иванович очень хотел, чтобы положение Калинушкина было хорошо, но видел, что хорошим оно не было. Он все же ответил в уклонительном смысле.

— Вы, милый мой, кривите душой, — сказал хирург, — пожалуй, это не подобает нам с вами? А?

Семен Иванович наклонил голову: в голосе Петра Александровича и в словах «сам с вами» было особенное, поднимавшее ассистента на равную ступень с хирургом, значение.

— Вы понимаете, о чем говорит эта устойчивость температуры?

— Понимаю, — ответил Семен Иванович.

— И вы думаете, что перед вами хирург, который занялся вредной жалостливостью, когда надо было без промедления ампутировать ногу?

— Я этого не думаю, Петр Александрович.

— А что же вы думаете?

— Что я не видел более целесообразной операции, и если и она не спасет Калинушкина, то и ампутация не спасла бы.

— Боюсь, что это не так, милый мой. — И, повернувшись, хирург пошел в перевязочную.

Но перевязка показала, что ничего особенно плохого нет: правая нога Калинушкина была даже в лучшем состоянии, чем предполагал Петр Александрович. Он показал Семену Ивановичу, как лучше вставить дренаж, и сказал, довольный:

— Ха, я думаю, тут все идет нормально. В чем же дело, как вы думаете?

Семен Иванович тут же в перевязочной выслушал Калинушкина и ответил убежденно:

— Дело в пневмонии, Петр Александрович.

— Ну, что же, будем бороться, — сказал хирург.

Вспышка температуры случилась у Калинушкина внезапно, когда уже и ждать ее было неоткуда, и ничем иным нельзя было объяснить ее, как снова возникшим процессом в ране. При обходе Петр Александрович заметил перемены в лице и глазах больного.

— Как вы себя чувствуете, Калинушкин? — спросил хирург, присаживаясь около его кровати. В этот день он был в прекрасном настроении.

— Ничего, хорошо. Вот только ноги как будто тяжелес стали. Как прикованы, — чуть слышно сказал Калинушкин. Он всегда встречал хирурга без капли стеснения, боязни или подобострастия, которые — Петр Александрович чувствовал, — самые различные люди постоянно испытывали при нем из-за настоящих или воображаемых ямы его преимуществ. Хирург взял его руку и отыскал пульс.

— Что такое? — спросил он беспокойно. — Опять температура? Вы, милый мой, присутствуете при перевязках?

— Правой ноги — всегда, хотя сестра Ивановская не нуждается в проверке.

— Все мы нуждаемся в проверке, поверьте мне. А ну-ка, сестра Ивановская, дайте его в перевязочную..

Вскоре шедший на перевязку Митрошин остановился у дверей в перевязочную.

— Что же вы не проходите, Митрошин? — спросила его шедшая за ним сестра. Но, прислушавшись, она

тоже отступила от двери, не решаясь открыть ее: до них доносился гневный голос Петра Александровича.

— На кого это он? — спросила сестра.

— Не понять, — ответил Митроппин, — сильно кричит. Лучше обождать.

— Да, — нерешительно сказала сестра, — подождем входить.

В перевязочной в это время Петр Александрович, уставившись круглыми глазами на сестру Ивановскую, кричал, топая ногой:

— Вы не имеете права портить чужую работу. Понимаете? Человек обязан уважать работу товарища, продолжать ее, а не разорять. Один винтик может испортить весь механизм. Понимаете вы это или нет?..

Сестра Ивановская держала навытяжку левую ногу Калинушкина, как обычно держал Фролов, сегодня не осиливший соблазна и не явившийся на работу. Семен Иванович обтирал бензином бедро Калинушкина выше колена и при каждом надавливании из раны на наружной поверхности бедра выступал гной. Зинаида Платоновна быстро раскладывала на столике инструменты.

Ухудшение положения Калинушкина случилось потому что, сестра Ивановская просмотрела при перевязке крупный затек на бедре. Рана эта была настолько благополучна, ее так привыкли считать «хорошей», что сестра при перевязке направляла все внимание на правую ногу.

Сейчас при виде разбинтованной ноги Калинушкина она жестоко обвиняла себя, но крик Петра Александровича действовал на нее так, что ей хотелось считать себя обиженней и ни в чем не виноватой.

— Ха! Мы говорим: честность в работе! На фронте перед тем, как ити на серьезное дело, заявления о приеме в партию подают. А вы о чём думаете? — кричал Петр Александрович. — Зловещее повышение температуры! Знаю я эти романтические головы! — И хирург с бешеным ством сделал витиеватый, вроде спирали, знак рукой над своей головой. Семен Иванович, несмотря на всю серьезность обстановки едва удерживался от улыбки: фигура Петра Александровича с расставлен-

ными ногами и покрасневшим лицом была необыкновенно комична. Ассистент посмотрел на сестру: она держалась спокойно. Но все-таки зачем же ей отвечать одной, когда он сам виноват не меньше?

— Петр Александрович! — сказал он. — Здесь я виноват так же, как сестра Ивановская. — Петр Александрович перевел глаза на Калинушкina: Калинушкин был испуган и изволнован. И хирург затих.

— Вы же знаете, милый мой, — спокойно сказал он, — я всегда словоохотлив при операциях..

— Аннушка, — позвал Семен Иванович, — смените сестру Ивановскую. Толстая Аннушка подошла и осторожно перехватила ногу Калинушкина. Сестра Ивановская пошла к умывальнику.

«То, что он затопал на меня, ужасно, невыносимо, — думала она, — мои руки, и чувство вины перед хирургом и Калинушкиным отходило все дальше и дальше. — Теперь уж я непременно уйду на фронт или пойду в рабком и скажу, что я готова исполнять все, что понадобится, пусть меня пошлют с нашими комсомольцами, только после этого я иди за что тут не останусь».

Все, что она выполняла после разреза, сделанного Семеном Ивановичем на бедре Калинушкина, ей казалось, делал за нее кто-то другой. Она брала вату, бинт, слышала голоса хирурга и Семена Ивановича, видела красные щеки Аннушки, спинки на порозовевшем лице Зинаиды Платоновны, но чувствовала себя отдаленной от них: «Пожалуйста, — думала она, — можете кричать и топать. Я все равно уйду».

Когда кончилась перевязка, Семен Иванович пошел в операционную.

Ната стояла перед Зинаидой Платоновной, а та уговаривала ее:

— Ты, Наточка, не волнуйся... — говорила Зинаида Платоновна.

— О чём говорить, Зинаида Платоновна? Я тут больше ни за что не осталась.

— Что вы, Ната! — Семен Иванович с удивлением увидел потемневшие злые глаза девушки. — Почему? Вы на Петра Александровича обиделись?

— Я всю жизнь буду помнить, как он кричал на меня и топал, вот что.

— Да, но если посмотреть с точки зрения...

— Смотрите, как хотите, это стыдно и гадко. Большие люди, значит, могут быть злыми и грубыми? Каждая же тогда разница между советским большим человеком и всяkim иным, если он не будет сдерживать свои дурные инстинкты?

— Что вы, что вы, Ната, какие же дурные инстинкты! Ведь это же Петр Александрович! — убедительно сказал ассистент. Никогда не поверил бы, что это вы, вы обиделись, когда виноваты сами...

Но Ната уже вышла из операционной.

Прямо навстречу ей по коридору шел Петр Александрович, чуть помахивая правой рукой, как бы отбрасывая ее что-то назад. Поровнявшись с сестрой, он остановился:

— Вы на меня сердитесь, товарищ Ивановская? — добродушноглядела на нее, спросил он.

Ната хотела сказать, что да, сердитесь, что ей непонятно, как он мог словно ударить ее этим грубым криком. Если бы она все сказала так, как думала, хирург понял бы, и все кончилось бы хорошо, но Ната ответила:

— Разве входит в отношения сестры и старшего врача возможность рассердиться или обидеться? Мы только делаем вместе свое дело... — Она повернулась и пошла, рассматривая только сейчас замеченный ею, особенный из треугольников и ромбов, блестящее матерый паркет коридора.

Петр Александрович с недоумением посмотрел на ее тонкую фигуру, казавшуюся очень легкой от белого халата, и остановился, о чем-то раздумывая. Потом он повернулся и пошел к выходу на лестницу.

— Мы... только... делаем вместе свое дело? Мы... только? Ха! Это-то мне как раз и непонятно... Он прошел мимо Наты, не глядя на нее. Она продолжала идти, все так же рассматривая паркет и считая окна, мимо которых проходила: «Одно... другое... третье...» Навстречу ейшел доктор Ласкин

— Очень сочувствуя вам, — сказал он, беря Нату за локоть и наклоняясь с безупречно перенятой у Петра Александровича ласково-покровительственной манерой. — Я не поверил, когда услышал...

— Да, мне сегодня попало от Петра Александровича, — беспечным, лживым тоном сказала сестра.

— От этого, к сожалению, не застрахованы ни вы, ни я, никто в госпитале. Сегодня попадает мне, завтра вам. Уж на вас кричать? Это... — Он сделал жест, обозначавший, что он и слов не находит. — Вы всегда на своем посту: днем и ночью. Вы забываете о себе, о своем здоровье для раненых бойцов...

Ласкин продолжал говорить что-то, но Ната не слушала больше.

Она быстро отошла от него прошла по коридору, едва сдерживаясь, чтобы не побежать, выхром сбежала по лестнице и, пробегая мимо зеркала, услышала, как хлопнула выходная дверь: Петр Александрович ушел. Она постояла немного, видя себя во весь рост с растрятым лицом и маленькими руками, беспомощно выглядывающими из обшлагов халата. Она представила себе, как она бежит вниз, торопливо проходит через швейцарскую и как есть, в халате и без калоши, выходит на улицу. Петр Александрович идет вдоль сада, твердо и крепко шагая и чуть помахивая правой рукой.

Она могла бы сказать: «Простите меня, Петр Александрович», посмотрела бы в его холодное и враждебное кней лицо и повторила бы еще раз: «Простите». И с радостью увидела бы изменение этого красивого, холодноватого лица.

— Очень, очень рад, — сказал бы он, — вы простудитесь, разве можно так?... — Взял бы ее под руку и решительно повернул к госпиталю...

Ната вздохнула, медленно поднялась по лестнице и пошла в палату, где лежал Калинушкин.

## XV

Казалось, жизнь Калинушкина поискала на тонком волоске. Он лежал совсем спокойно в длинной своей палате, тяжело уйдя плечами в подушки, и как-бы издалека ласково и устало смотрел на подходивших к нему людей. Глаза у него были такие же светлые и немножко наивные, но теперь они выражали непомерную усталость от непрерывной борьбы, идущей в его теле. Сегодня опять та же покорность, которая

так не нравилась хирургу и Семену Ивановичу, когда у Калинушкина развивался воспалительный процесс в легком, появилась в его глазах.

Фролов постоянно говорил о том, что Калинушкин не жилец на свете, потому что он, Фролов, в день прибытия Калинушкина слышал, будто его окликнули в перевязочной, обернулся и никого не увидел. А это всегда так бывает: перед тем, как кому-либо умереть его зовут.

— Чудак! Так ведь это тебя окликнули, а не его,— сказал Семен Иванович,— вот еще раз погуляешь и непременно позовут, вот увидишь.

— А вот сами поглядите, Семен Иванович,—примиряюще сказал Фролов,— Калинушкину не выжить.

Семен Иванович иногда и сам думал так, но ему хотелось думать, что Калинушкин выживет, и он не позволял себе сомневаться. В день повторной операции он заехал в госпиталь поздно вечером и велел давать Калинушкину каждые полчаса ложку шампанского, в случае необходимости — камфару, и если сердце будет хуже работать, звонить ему немедленно. Около Калинушкина осталась дежурить сестра Виктория в помощь Нате, чтобы Калинушкина ни на минуту не оставлять одного.

В тот день вместо Фролова в госпиталь явился Санька. Он помог увезти Калинушкина в палату и долго стоял, глядя на больного: все думал, как это такой небольшой, самый обыкновенный парень мог подбить три танка.

— Ты как же,— спросил Санька,— как ты мог справиться с тремя танками? Чем ты их?

Но сестра Ивановская не велела разговаривать с Калинушкиным, и Санька тихо, стараясь не шуметь, стал прибирать и ставить на место вещи, которые нарушили порядок в палате.

Кроме Калинушкина в ней было еще три человека. Один лежал налево у окна за головой Калинушкина, так что тот не мог его видеть. Это был партизан Песков. Он был моложе всех в госпитале, и с ним Санька очень хотел подружиться. Но Пескову было так плохо, что он почти беспрерывно стонал. Все у него было разбито, сам он не мог даже повернуться.

Он все жаловался сестре, что у

него болят пальцы на ногах. Но Санька, который не раз возил его в перевязочную, знал, что ног у него нет: ноги сожгли ему немцы.

— Что же он говорит про пальцы? Пальцев-то у него нет,— спросил однажды Санька сестру Ивановскую.

— Так бывает, Саня,— ответила сестра, и Санька подумал тогда: «Вот как человеку жаль своего, что он все его чувствует».

Второй раненый лежал против кровати Калинушкина и все писал письма. С ним не удавалось поговорить, потому что он был узбек, плохо понимал по-русски и разговаривал только с высоким туркменом из третьей красноармейской палаты, который в повязке, называемой «шапка Гиппократа», ходил к товарищу, и похоже было, будто он надел чалму. Узбек поправлялся после ранения печени, был желт, худ и часто угощал Саньку печеньем и белым хлебом, которые Санька стеснялся брать, но брал.

Третий в палате был Лосев.

В госпитале Санька чувствовал себя немного робко, хотя и хвастался ребятам в школе, что он здесь свой человек. Обязанности его были невелики: он помогал сестрам перекладывать больных, возил их в перевязочную, готовил ванны для раненых. Больные любили его, уговаривали сахаром и давали папиросы. Папиросы он брал, делал вид, что это привычно ему, прятал в карман халата и иногда отдавал деду, а чаще продавал на рынке, чтобы иметь фонд для игры в бабки. Обычно в дни, когда Фролов «болел», Санька приходил спозаранку до школы и потом уже после уроков вечером. Уходя в этот вечер, Семен Иванович подозвал Саньку и сказал, что Калинушкину и Лосеву нынче тяжело и Саньке лучше ночевать в дежурной, а то сестрам он может понадобиться.

Наступила ночь. В госпитале ночь несла отдых и сон поправляющимся и легко раненым, но в телах тяжело больных к вечеру сильнее колебались борющиеся в них силы, одолевая или уступая врагу. Помощь врачей и сестер была в том, чтобы поддержать эти силы и сгладить насколько возможно резкие, губительные для жизни скачки.

Вечером Калинушкину показалось, что палата как будто стала

выше, потолок странно мерцал: что-то вспыхивало за окном и освещало комнату то зеленым, то красным светом. Калинушкин не сказал об этом сестре, чтобы та не подумала, что это ему кажется. На самом же деле Санька забыл закрыть занавески, и на потолке отражались огни светофоров. Целый день проходящие мимо Калинушкина люди, казалось ему, не то были на самом деле, не то выделялись в каком-то забытии. Казалось, они ходили мимо, не имея к нему никакого отношения, хотя почему-то наклонялись над ним, ставили на тумбочку склянки и стаканы, открывали ему то грудь, то руку и делали уколы. Днем еще можно было различить, кто входит и выходит, но к ночи все как-то стало путаться и даже свой голос, когда он спрашивал о чем-нибудь, казалось, доходил до него издалека.

Он не знал, что у него поднялась температура до тридцати девяти с десятыми, но ему становилось удобнее, как будто он стал весить меньше, и от этого тело его легче лежало на кровати. Какое-то тепло проходило по спине, озоб, мучивший его два дня, исчез, и только все хотелось пить и неловко было беспрестанно просить об этом сестру. Он видел перед собой круглое, молодое лицо с большими строгими глазами. Из-под белой косынки виднелся узкий пробор светлых гладких волос — это была молоденькая сестра Виктория помогавшая Нате. Больные звали ее «написарь». А поздно вечером в палате вдруг оказался тот врач с черной бородкой, который делал ему операцию, но халат его был распахнут и над ним виднелся черный хороший костюм. Он подошел к Калинушкину, подвинул стул близко к кровати, сел и взял его руку. Калинушкин хотел сказать, что помнит его, но сказал почему-то: — Вызвали санитарную команду, — потом подумал и прибавил: — Мост там в неисправности...

Врач сначала сидел у постели Калинушкина, расспрашивая сестру Нату, потом встал и ушел к окну, где долго пробыл у его невидимого соседа, так что Калинушкин не заметил, как врач ушел.

Он думал, что ночь уже проходит, когда сестра вошла и сказала кому-то: «Десять часов вечера». Она при-

носила тарелку с холодной водой, и Виктория взяла тряпку, намочила, отжала и приложила ко лбу Калинушкина. Калинушкину показалось, что рядом с ним, за его головой, лежит товарищ, которого только сейчас доставили прямо с передовой линии в этот госпиталь.

— Вохрин, — сказал он, — я думал, ты уж кончился, а ты вон где! Тебя куда ранило?

Но Вохрин не отвечал, только Виктория тревожно посмотрела на Калинушкина.

— Сестрица, вы к Вохрину подите, — сказал он, — ему что-то худо, дышит тяжело. Я-то уже перевязанный...

Вошла сестра Ната и Виктория сказала ей, что Калинушкин думает, будто тут лежит его товарищ, которого он потерял в бою.

— Не думаю я, — медленно сказал Калинушкин, — мне почудилось, что Вохрин... Я в памяти, — он закрыл глаза. Ему представилось, что он лежит в лесу на влажной после дождя земле и где-то близко стреляют из орудий. Он открыл глаза. Над ним был высокий потолок, углы комнаты, но стрельба была слышна, как будто орудия стояли очень близко.

— Это зенитки бьют. Тревоги не объявляли, — поспешно сказала сестра Ната. — Вы не бойтесь: мы в случае чего вас вынесем.

— Чего же бояться? Я привык, — ответил он, и Ната снова ушла к невидимому соседу Калинушкина, а молоденькая осталась около него.

— Я смотрю, — сказал Калинушкин, — сестре-то и присесть некогда. Что надел враг проклятый! Я какой здоровый был, а со мной, как с малым ребенком, надо. Я уже три ночи ее вижу.

— Кого ее? — спросила Виктория и снова, взяв горячую тряпку со лба Калинушкина, заменила ее свежей и холодной.

— Сестру. Старшая она у вас, что ли? Ната зовут.

И опять что-то перемостилось, и Калинушкин оказался на дороге. Он шел с товарищами и не чувствовал своего тела. Ноги его шагали, как раньше, и рядом с ним шел тот врач с черной бородкой и приказывал: «Приготовить брезентомедление»...

Когда он снова оказался на бро-

все еще была ночь, и электрическая лампочка, спускавшаяся о посередине палаты, освещала под темного абажура краешек очки со стоящей на ней глубокой тарелкой и белый чайничек с чай. Было тихо, и казалось, что в те никого из сестер нет. Ленин напротив Калинушкина Лопонина стонал во сне. За головой прошептал невидимый сосед. м он, трудно выговаривая слова, просил:

Сестра Ната, погляди, на дождь идет или нет?

Недавно шел, а сейчас перестал, — отвела сестра, и Калинушкин понял, что она никуда не уходит пока идет эта длинная сестра присутствует рядом, и время как он сам куда-то таскает и не знает, что с собой та, она знает это за него. И стало спокойно.

Брат за мной приехал, — сказал же тяжелый, хриплый голос, — меня брат, надо итти.

Лежи, Песков, — сказал голос. — Тебе нельзя на дождь, надо лежать спокойно.

Брат зовет, — снова сказал сосед Калинушкин. — Некогда лежать. Пришла разведка итти. Я уж пойду, зами меня, сестрица.

Калинушкин понимал, что соседу кажется, что он пойдет в одежду, а на самом деле он так что не может сам подняться. все-таки Калинушкину показалось, что сосед уходит куда-то далеко и сестра помогает ему лежать, тянет его, и говорит:

Обними меня за шею, Песков, тебе будет легче. Калинушкин поиском глазами монитору сестрицу и не нашел.

хотелось пить, но он слышал, сестра Ната занята, и не пошел ее, а только пошевелил засохшие губами и не удивился, когда

гра протянула ему чайничек, и втянулся в себя из носика воду. Калинушкин не помнил, сколько прошло времени. По серому свету в

он узнал, что было утро. Сильная болела левая нога, и он чувствовал такую тяжесть в теле, как будто шел тяжелый, утомительный, и теперь все тело его разбито юет.

Бывший военный паренек сидел теперь на стуле рядом с ним.

— Ты откуда? — спросил Калинушкин.

— Фролова внук. Я тебя из перевязочной привез. Не помнишь?

— Помню. А лед где?

— Запал, — сказал Санька, — с ним бывает.

— Что же это он? А старший что, ругает?

— А как же? Ругает, конечно. Дед у меня нужный человек: когда трезвый, — Петр Александрович говорит, — ему цены нет.

— Значит, хороший человек?

— Хороший-то он не хороший: ругается дома, дерется. Мне из-за него другой раз школу пропускать приходится. Сейчас война, я не считаюсь, а в мирное время сильно обидно было. А что с него возьмешь? Кричит: «Ты мне не указывай! Ты возрасти до Фролова. Фролов — первый человек в госпитале».

— Он ловкий старик-то, умелец, — сказал Калинушкин, но Санька махнул рукой.

— Ты что же, — спросил он, — первый раз так на танки пошел?

— Зачем первый? У меня дружок был, Вохрин — фамилия, нас с ним как-то назначают в укрытие: истребители танков...

— Страшно их истреблять?

— А то нет? Еще как страшно...

— А Вохрин где?

— Помер... Дай-ка попить. Потишионьку, не перебуди народ.

Санька прогинул чайничек, наклонил носиком к губам Калинушкина, потом поставил чайничек и задышал часто-часто.

— Ты чего? — спросил Калинушкин.

— Песков помер, — сказал Санька, и слезы быстро потекли у него из глаз и западали на халат.

— Эх, сердяга, — сказал Калинушкин, — так это он нынче ночью в разведку собирался? Что ж он, дружок твой был?

Санька кивнул головой и стал смотреть в сторону.

С этого дня Калинушкин стал поправляться.

## XVI

Чем больше развивается военная техника, тем больше тяжелых ранений приносит война. В госпитале всегда бывали такие тяжело раненные, поправить которых было невозможно.

можно. В конце сентября умерло несколько человек, и Семен Иванович отнесся к этому, как к неизбежному. Но смерти Лосева Семен Иванович страшился, как потери близкого человека.

Температура у Лосева держалась ниже нормальной, он все слабел. И все же слабый, исхудалый — тень человека — Лосев жил. Он разговаривал с Санькой и сестрами и даже шептил, что если бы его теперь весить, это был бы точный вес его костей и кожи... И то, что Лосев вопреки всему, что совершил враг с его телом, продолжал жить, почти ужасало Семена Ивановича. Лосев был сильнее, чем он с его знаниями.

Семен Иванович постоянно чувствовал в себе присутствие мысли о Лосеве. Если он раскрывал медицинский журнал, то удивлялся, как часто стали попадаться ему описания случаев, подобных случаю Лосева. Как будто кто-то преднамеренно подсовывал ему и напоминал... Раньше это не бросалось так в глаза. И, осматривая вновь поступающих раненых, он видел, как намечались линии, подводившие его к необходимости что-то предпринять для помощи Лосеву.

Он понимал ясно, что у Лосева образовались спайки, сделавшие кишечник непроходимым. Хуже всего было то, что теперь Семен Иванович мысленно снова делал операцию Лосеву, и она проходила удачно.

Поздно вечером Семен Иванович по обыкновению зашел к Лосеву и встал его в том же положении. Все так же лежали поверх одеяла его слабые прозрачно-желтые руки, серебрен и глубок был взгляд огромных, горячих, живых его глаз. Постигне сила жизни, заключенная в этом теле, становилась препятствием к избавлению этого тела от страданий. Лосев обрадовался Семену Ивановичу и ровно, «дощечкой», протянул ему правую руку. Раньше Лосев всегда подавал левую, где врач нашупывал пульс, но последнее время он стал подавать правую. — здороваться с доктором, как с близким человеком. Это очень трогало Семена Ивановича и почему-то делало Лосева беспомощнее в его глазах. Семен Иванович в той же руке Лосева нашел пульс и стал считать. Пульс слабый, но ровный,

дошел до него очень издалека, и он узнал, что борьба Лосева идет где-то на страшной глубине, и что борьба эта трудна.

— Ишь, руки у меня, как женские, — усмехнулся Лосев, мягко произнося слово «женские». — Победили, ослабли, щей ко рту не донесут. А враг-то у порога.

— Да, враг у порога, — сказал Семен Иванович. Но в то время как Лосев думал о немцах, подходивших с каждым днем ближе к Москве, Семен Иванович подумал о враге, угрожавшем жизни самого Лосева.

Сейчас, сидя у кровати Лосева, он еще раз все пересматривал в уме.

Решение сделать операцию Лосеву, и именно так, как он ее делал мысленно, возникло у Семена Ивановича еще сегодня утром. То, что раньше представлялось ему как мешавшее этой операции, он отодвигал в сторону. И, отодвинувшись, оно уменьшалось и становилось несущественным.

Главное, что понадобилось отстригнуть, было сомнение в том, самому ли ему делать операцию или попросить присутствовать и решать каким путем делать Петра Александровича. Сильное истощение Лосева было тяжелым и опасным фактом, но оно оставалось бы таким же, независимо от того, кто из хирургов оперировал бы Лосева. Каждый лишний день только убавлял силы больного: без операции надежды уже не было. За операцию было великолепное сердце Лосева. А за то, чтобы эту операцию делать Семену Ивановичу, — ясное понимание им всего хода предстоящей работы и догадка, что он натолкнулся на единственный возможный и правильный путь.

Но было одно преимущество у Петра Александровича, и не только в этой операции, а и в любой другой. Кроме технически совершенных приемов, хирург владел еще и необходимой во время операции хладнотостью, которая позволяла ему совершенно отвлечься от личности лежащего перед ним больного.

Об этом необходимом условии хорошей работы хирурга Семен Иванович и сам догадывался и запомнил относящийся к этому рассказ Петра Александровича.

Однажды после операции Петр Александрович рассказал о том, как его товарищ, хороший хирург, взялся делать операцию своей жене. У нее была грудница, и женщина захотела, чтобы муж сам оперировал ее. Но когда хирург увидел на столе перед собой свою жену, он почувствовал такую неуверенность в себе, что если бы было можно, он отказался бы. И вот хороший хирург сделал робкую, беспомощную операцию. Через несколько дней состояние больной так ухудшилось, что операцию пришлось повторить. Ее сделал другой хирург очень легко и удачно.

— Вот, товарищи, — сказал тогда Петр Александрович, — нас иногда упрекают в равнодушии, с которым мы «режем» людей. Это глубочайшая и вреднейшая ошибка не может быть равнодушием у хирурга. Но холодность, но отвлечение от личности лежащего перед ним человека, — это да! Для хирурга недопустима «вредная жалостливость». Если это есть в нем, он не хирург. Впрочем, понимание этой штуки приходит к каждому в свое время...

Вот этого отвлечения от личности не только близкого, а и каждого человека у Семена Ивановича не получалось, и он не знал, получится ли когда-нибудь.

Семен Иванович всегда волновалась на операциях, которые сам делал. Волнение его было двойное: ему мешала мысль, как он поведет себя во время операции, и та «вредная жалостливость», о которой говорил Петр Александрович. В случае с Лосевым это было особенно опасно, потому что Семен Иванович так привык к Лосевым, что чувствовал его совершенно родным себе человеком.

И сейчас, он смотрел в горящие, живые глаза Лосева и думал, что взять его сейчас на операционный стол ему труднее, чем звать из спины под обстрелом и вынести с поля боя.

— Охота вам меня поднять, товарищ врач, — сказал Лосев, — да, видать, не выходит. Мешает что-то внутри, а что оно — его и не видать...

Семен Иванович посидел у Лосева и вышел в коридор. В коридоре горела синяя лампочка — неприятный, мертвенный свет. Заглянув в дверь операционной, он увидел Зи-

наиду Платоновну. Она сидела у стола и перетирала инструменты.

— Как поздно вы сидите, Зинаида Платоновна!

— Дома я теперь одна: сын уехал. Мне тут все равно что дом. А дома женщина без дела никогда не сидит: все найдет что-нибудь, что нужно сделать. Вспомнила, что у меня есть новый комплект инструментов...

Семен Иванович постоял, потрогал отросшую небольшую свою бородку и сказал:

— Зинаида Платоновна, вы, пожалуйста, не уходите, вероятно, вы почтадите мне.

Он быстро прошел по коридору к дежурной комнате врачей. Она была пуста. Он повернул выключатель, подошел к телефону, стоявшему на столе, снял трубку, набрал номер Петра Александровича. «Сказать... а может быть, не надо говорить, а прямо делать?» — «Да?» — услышал он знакомый голос.

— Петр Александрович, я решил сделать сейчас операцию Лосеву. Помните, там у него было... Да, да...

Он вернулся в палату тяжело раненых и подошел к кровати Лосева. Виктория сидела около Калинушкина. Лосев лежал один, с закрытыми глазами.

— Лосев... — позвал Семен Иванович и, глядя в открывшиеся огромные, окруженные темной тенью глаза, сказал, чувствуя, как отрывается от чего-то привычного и падает, словно ощущая высоту, его сердце. — Лосев, я решил сделать вам сейчас операцию. Что вы скажете?

— Дело, ваше, — ответил тихо Лосев. Семену Ивановичу показалось, что в глазах у Лосева появилось недоверие. Нет, какая-то искора, похожая на усмешку... Нет, не усмешка, а то, что и ожидал Семен Иванович: — Пожалуй... не откажусь...

— Ну, вот и ладно, — сказал Семен Иванович. Он чувствовал огромное оживление каждого мускула в своем теле. Ощущение в коже ее живых нервных окончаний, которые как-то делали ее плотнее и крепче, отрывистое, сильное биение сердца — все было хорошо. Он вошел в операционную, включил у двери рубильник и с удовольствием увидел, как ослепительно зажегся

огромный юпитер над операционным столом.

— Попрошу вас, Зинаида Платоновна, приготовить все — и немедленно — для операции Лосеву. — И закрыл рубильник.

Когда Семен Иванович вошел в приготовленную уже операционную, его поразила торжественная строгость и простота обстановки. Свет большой электрической лампы был направлен вниз на операционный стол. Вверх и в стороны свет проходил сквозь молочно-белое стекло абажура и освещал спокойно, мягко и ярко в высоту и ширину всю комнату. На никелированных плюскофтиях, изгибах, кривизне инструментов и барабанов лежали продолговатые и овальные молочно-белые блики от белых халатов, простыней и абажура...

«Так как же это будет?» — подумал он, подходя к операционному столу и глядываясь в глаза Лосева. Он ждал и нашел в этих живых глазах выражение доверия, но побоялся задержать взгляд дольше. Сестра Ивановская стояла у изголовья Лосева. Рядом с ней на эмалированной тарелке лежала маска, приготовленная для наркоза, и капельница с носиком, напоминающая стеклянного петушка. Зинаида Платоновна, закрыв рот марлей и держа вымытые руки над приготовленным к операции животом Лосева, подняла на Семена Ивановича глаза, и в них было простое и, как всегда, бесхитростное выражение.

— Вы так станьте, Зинаида Платоновна, — сказал он, — чтобы вам было удобно и передавать мне инструменты и поддержать расширителя.

— Не беспокойтесь, Семен Иванович, — ответила она, — мне раньше часто приходилось ассистировать Петру Александровичу. — И она протянула руку за стерильной салфеткой.

Но уже страшно серьезная, нахмурив брови и от напряженного внимания крепко скжав губы, сестра Виктория развертывала салфетку и тянулась всем своим тонким телом вперед, чтобы закрыть салфеткой живот Лосева.

— Не так серьезно, — сказал Семен Иванович улыбаясь. — Да, да, вам, Виктория. Не хмурьте так серьезно брови.

Но она не улыбнулась, тут разжала тесно сомкнутые губы.

Ната по знаку Семена Ивановича взяла маску, Зинаида Платонова протянула скальпель. Семен Иванович примерил взглядом, как сти разрез, несколько иначе, и со спросом уже шагом старо

Что-то отходило от Семена Ивановича, проясняясь и обостряя все стволы. Одно из них было оченьное: человек, по фамилии Лосево, особыми, близкими Семену новичу качествами, исчез. Ему было. Не было ни горячих Лосева, ни четырехугольного его ни больших его дружеских руки было только операционное по: холодное, ясное представление о том, что нужно делать. Не долго, чтобы помочь человеку Лосеву, что нужно делать в этом учении человеческого тела, чтобы исправить образовавшееся в нем поврежде

Хирург вступил в полосу холода, ясного и четкого видения, начал операцию. А стоящие рядом с ним люди увидели, что лицо Семена Ивановича бледнело, с непроницаемым, даже холодным угадать по этому лицу, хорошо плохо состояние больного, хотя или плохо идет операция, было возможно.

Когда Семен Иванович вышел из операционной, он незаметно прошел до половины коридора и сел на диванчик у двери в большую красноармейскую палату. В палате всегда было темно, одни дышали и спокойно, другие похрапывали, кто-то стонал во сне.

Семен Иванович чувствовал очень легко, как бывает после физического напряжения, да все в человеке только что и сильно работало. В мускулах чувствуется еще тепло, сердце работает сильными ударами, а тело как будто стало легче, и кажется, что дыхание воздуха на плечи стало легче.

«Точно кули таскал», — подумал Семен Иванович.

Теперь, когда окончилась операция, его страшно трогал горячий дружеский, доверчивый взгляд сестры. Это опять был тот Лосев, которого он волновался и который хотел бы выпасти из любого

Он видел перед собой исхудалое тело Лосева, выпирающие, обтянутые тонкой серой кожей юстики таза. Он представил себе, как жестко, холодно и неудобно было Лосеву коснуться исхудалой спиной твердой поверхности стола, и подумал, что у него нет сильнее желания, чтобы это измученное тело снова ожило и распрымилось. Возвратившееся чувство любви и жалости к Лосеву было больше того, какое Семен Иванович испытывал до операции.

«Ну, что же,— подумал он,— теперь, может быть, мы вытащим его...»

В палате тихо дышали, похрапывали, стонали во сне раненые бойцы... Перед Семеном Ивановичем были люди огромной, великой страны, происходившие от своих отцов и дедов, так же как Осипов Василий, рождения 17-го года, русский рабочий человек, погибший при защите родной земли на одном из ее рубежей в 1941 году, происходил от Осипова Архила, взорвавшего себя вместе с пороховым погребом и врагами. Перед ним был народ, искавший справедливости, страдавший очень много и раньше: но за всю свою историю не страдавший так, как в эту войну от нашествия страшного врага, замахнувшегося, чтобы его уничтожить.

Семен Иванович думал, что вот он работает в очень маленьком уголке страны, и не так уж много около него близких ему людей: Петр Александрович, несколько товарищей — врачей и сестер. Но за этим небольшим кругом людей, образовывался второй, во много раз шире: это были бойцы, наполнившие госпиталь. Люди в этом круге менялись: одни уходили на фронт или в тыл, другие прибывали с фронта. А там были те четырнадцать, лежавшие в земле, которая еще была в руках у врага, бойцы, голоса которых тоже доходили до Семена Ивановича.

И сила всего этого круга людей была в том, что они не хотели примиряться с уничтожением, не хотели привыкнуть к смерти.

Семен Иванович подумал, что мы только начинаем жить. И все дело в том, чтобы найти свое место в этом живом потоке, чувствуя соприкосновение со всеми его живыми частичками. Тогда и для каждого человека не будет суживания и увядания, а расширение и расцвет: жизнь!

К Семену Ивановичу быстро подошла санитарка:

— Петр Александрович вас к телефону просят, — сказала она, — второй раз звонят.

Семен Иванович встал с диванчика, пошел в дежурную и взял трубку.

— Все ли у вас благополучно, милый мой? — услышал он голос хирурга. — Звоню вам из дома: тут в нашем районе, без тревоги, сброшена бомба. Просмотрели...

Петр Александрович говорил спокойным голосом, но Семен Иванович понял, что он тревожится за исход операции.

— У нас все в порядке, Петр Александрович. Я только что кончил оперировать Лосева...

— Ну, ну... Вам бы теперь пойти отдохнуть, милый мой. Завтра будешь с утра весь день. Ну, покойной ночи, а пожалуй — доброго утра: уже светает.

Семен Иванович выключил свет и откинул штору.

Возникла отдаленная стрельба зениток. Потом звук, доносившийся как бы с другого конца Москвы, стал приближаться. Бражеские самолеты летели над городом, и батареи, обстреливая, передавали их друг другу. Голубые лучи прожекторов, наклоняясь, ходили по светлому, предутреннему небу. Легкий путь светящихся трассирующих пуль пересек небо над госпиталем.

Война, та, которую называют отечественной войной, — столкновение сил: одной — враждебной, стремящейся отнять и разрушить жизнь, и другой — умной силы, которая расстраивает жизни злой силы, защищает и создает жизнь, шла над Москвой.

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

## ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Свръзъ раздумье степное,  
Свръзъ метели да лед  
Лъются вести волною —  
Жаворонок поет,  
И корабль над страною,  
Голубея, плывет.

Глаз не выклевал ворон,  
Сердца не раскогти:  
Харьков с Киевом ворог  
Не лишил еще сил.  
Ветер веет над бором,  
Шастежь двери раскрыты.

Парус — шелк ярко-алый,  
Мачты — ель да сосна,  
Что сынам даровала  
Мать родная страна.  
Бормчий силы немалой —  
Сотня стран, не одна.

Ой ты, рута живая,  
Золотой мой песок,  
Заповѣдного края  
Рощи, пивы да лог,  
Речь дошла к вам родная,  
Счастья час недалек.

Иред рассветом, пред новым  
Поникает зима,  
Боевым трубным звом  
Побеждается тьма.  
Руль сжимая сурово,  
Правит Слава сама.

Вот четыре дороги —  
Всем напастям конец,  
И расцвел буйно-строгий  
Цвет — победы венец.  
Ты на отчм пороге,  
Украинский боец!

Перевод с украинского  
МАРИИ ЗАМДХОВСКОЙ

БОРИС ГОРШИН

## НА БЕРЕГУ

Он плесом зачерпнул воды.  
Как глаз, чиста была вода живая.  
Он пил и пил,  
с колючей бороды  
играющие капельки слюды  
губами посвежевшими сдувая.

У ног лежала тихая река,  
и словно в детстве, волны голубые

дымились позолотою слегка,  
и плыли за холмы сторожевые  
крестьянскими возами облака.

И понял он, что здесь вся жизнь его,  
все думы, за которые в ответе  
он был, и что от счастья своего,  
от берега,  
от этих светлых вод  
он не отступит ни за что на свете.

В. ШКОЛОСКИЙ

## О РАЗЛУКАХ И ПОТЕРЯХ

**Вместо вступления несколько слов  
о дорогах и пространстве**

Я видел, как уходили на восток вагоны. Ехали поезда, наполненные стаканами, сверху перекрытыми мебелью.

Пришлося видеть советские стачки в шустырях, похожих на берег небогающего острова. Как будто Робинзон на плоту вызовет вещи с корабля.

Я узнал, сколько стоит кипяток, как скорятся из-за стульев для спанья в неприветливой снежной Казани. Видел снега и спокойствие дальних среднеазиатских дорог — дорог с огнями. Легкий снег. Дымок над будкой с кипятком. К поездам выходили рабочие с фонарями. Это тыл.

В Средней Азии, в Сибири новые заводы. Прошло величое переселение машин.

Страна перестроилась. Такое простое слово. Но мы знаем, как трудно перестроить под огнем роту. Перестроить страну во время войны, передвинуть ее промышленное вооружение считалось невозможным.

Новые заводы в мохнатых горах Урала. На высокот поднятых степях Казахстана — заводы.

Трудно даже разумом связать те составы, одни из вагонов-ресторанов только, другие из подмосковных вагонов-электричек, странно прилепленных к паровозам. Трудно связать воображением и памятью эшелоны отступления с новым великим освоением страны.

Я бываю в клубе писателей, мои товарищи носят запитный цвет — форму армии и синие китель флота.

Люди уезжают взволнованными, люди возвращаются измененными. Наш старый клуб, общий дубом изнутри, клуб с крутою деревянной винтовой лестницей и похож и не похож на вокзал. Изменился даже воздух. Трубы повисли, тянутся черными водорослями через двери, шумят калорифер, вдувая воздух в комнату, оттуда, где раньше был камин. Люди разъедутся, и память изменит звучание слов, унесет пепел, обогатит мысль, научит видеть будущее.

Идет вторая военная зима. Еще не выпал снег на Москву, но утром крыши седы и седа трава. Седина разлуки, седина мороза.

Разлуки, и потери, и короткие встречи, и дальние дороги... Я не подобрал еще глагола для этого предложения.

История произносит большую фразу, и я записываю эту фразу, как машинистка под диктовку, и не знаю, как построены слова, где тут имена собственные, где точки и как завершится мысль.

Мне хочется говорить с читателем, хотя я еще ничего не могу договорить. И вот я написал рассказы о разлуках, о потерях.

Я написал их для тебя, синеглазая, пепельноволосая, сейчас седая. Ты за круглыми боками земли, за Уральским лесистым хребтом.

Москва цела, она освещена, но пёстрые фонтачи стоят пунктиром огней, без ореолов, и только вспышки проводов освещают улицу сразу целиком как будто подумал троллейбус или трамвай.

Вспомнили или заглянули вперед. Ты помнишь Батюшкова? Его книга стоит у меня в комнате, с кото-

рой я разлучен морозом, а ты — тысячами километров. Там было написано про флаг на фрегате: флаг трепетал вверху, между носом и кормой корабля.

Меж воспоминанием и надеждой  
Сей памятью о будущем..  
Моя душа вся в надежде.

20 ноября 1942 г.

## ПИСЬМА

### О «Наутилусе» несколько слов

Капитан третьего ранга Тарымов шел в море на подводной лодке.

Подводная лодка, — думал капитан, — поразительно не похожа на «Наутилус», описанный в романе Жюль Верна, и я не капитан Немо.

На «Наутилусе» можно было ходить по коридорам, капитан Немо играл на рояли, драли с осьминогами, читал книги в библиотеке.

В подлодке нет пространства.

Но капитан Немо не отправлял письма по радио, в эфир, не разыскивал брата Николая — танкиста, от которого нет вестей, не оставлял адреса.

Тесно. Человек лишен пространства. Выйти нельзя, разве только на крутой горб лодки, тогда, когда она идет в надводном положении. Но и тогда есть не пространство, а плоскость моря и на ней точка железной палубы. Там, под срезом воды, людям тесно, как инструментам в ящике, но инструменты не должны дышать.

Под водою нет пространства, под водой нельзя шуметь: немцы слушают.

Во всем мире люди ходят, бегают, подымаются по лестнице, — здесь команда и капитан закреплены в отсеках.

Лишнее пространства, лодка ведется волей командира туда, где она нанесет удар, чтобы очистить пространство моря от врага.

Лишнее пространства, время длино. Оно становится еще длинней, когда переступает через пять дней. После пятнадцати дней время как будто теряет смазку и греет подшипники. Так оно туда идет. Ограниченно воздуха, крутизна переборок, — узость и теснота овладевают душой.

А в детстве лежал он с братом под кроватью, играл в прятки. Одевало опущено, под кроватью тесно и уютно, над головой переплет матра-

ца, страшно, интересно. Ищет тебя кто-то большой. Страх ходит по комнате, а ты притаился.

Двенадцатый день идет подлодка. Она идет по Гольфстрому туда, где немцы. Ее ищут сторожевые суда, ее ищут самолеты, ее подслушивают, ее стерегут мины. И ненавидят ее ненавистью магнитов.

Сжатая теснотою маленькая кучка людей идет против врага.

Подводная лодка не дом. Дом на берегу, где земля широка, и под небом не надо нагибаться и потолок без клепок. Но как трудно дома!

Николай не отвечает, давно нет писем.

Он был на Урале; раньше мать жила на Волге, а теперь пространство родины — как немая карта, оно живо, оно представимо, любимо, родственно, но не названо. Все друзья на фронте. Россия большая, своя, но без адресов.

Он направил свое письмо в Радиокомитет с надеждой, что Николай ответит. Может быть, он на Кавказе, а может быть, где-нибудь под Смоленском партизанит в лесах или его лечат в госпитале в Казахстане.

А лодка уже шла обратно. Все еще было сырь, все еще было холодно, но время шло скорее, потому что лодка спешила к Большой Земле, где есть длина, ширина и высота.

Где он войдет к товарищам, будет пить чай, где набирают табак из кистя, затем свертывают папироску. И не спрашивают себя, нашупав спички в кармане, откуда достать воздух для горения.

Лодка шла назад в ледяном наряде. Лед матово облегал ее. Для того чтобы снять этот панцирь, достаточно было погрузиться в тепло струй, идущих из Мексиканского залива сюда в Баренцево море.

Лодка совершила хороший поход, она нанесла удар немецкому линкору. Он ушел, накренившись, как

шнанный, ушел, окруженный эсминцами, озабоченными, взорванными.

После такого хорошего похода можно прятти с похода в ледяной коре, не сняв боевого наряда.

Подка шла не погружаясь.

## О письмах треугольных и прямоугольных

Дома на базе потолок высок, комнаты кажутся огромными, кровать очень широкой, вообще трудно занять столько пространства. Воздух везде сухой, а стены прямые.

— Нет письма?

— На ваше имя пришло двести семьдесят пять писем и одно от брата.

Ему подали две пачки,—одну большую, из треугольников, связанных лентой, другую поменьше, из конвертов, стянутых бечевкой.

— Откуда эти письма? — сказал он, разрезая скрепы.

— Все больше из Москвы, потом из Урала, из Сибири, четыре с Памира, тридцать семь с Дальнего Востока, и с Игарки только три.

Тарымов сидел изумленный в уже полу забытой комнате. На столе и на полу лежали письма, все женские. Они начинались одинаково: «Вы, вероятно, очень удивитесь, что я Вам пишу, но я услыхала по радио...» Дальние писались по-разному: в одних о том, как женщина подумала: грустно капитану, который разыскивает своего брата. Другие писали прямо о себе. Женщины вспоминали, как они стояли на крыше под фашистскими самолетами, и это тоже было очень страшно, потому что крыша не может пойти ни вверх, ни вниз, ни вбок. Другие писали о своих близких, о том, что от них нет писем с фронта.

Из Караганды писала женщина по имени Казакова о том, что у нее сын в морской пехоте, он забойщик, и сейчас она утром надевает его сапоги, его одежду, спускается в шахту, становится на место сына, рубит уголь, и так легче.

Две женщины, родившиеся в Луганске, писали с Алтая, вспоминая о том, как в Луганске в саду пели соловьи, как трудно без соловьев, без дома, как нужно вернуться к себе, в Борошиловград.

«Если вам будет некуда ехать, — писали они, приезжайте к нам, мы познакомим вас со своими, мы будем слушать соловьев».

Капитан разбирал письма. Он пропустил обед, письма повторялись, из писем смотрели и улыбались карточки.

Капитан Немо под воду гулял в лесу, и бегали там метровые пауки, возвышались мраморные развалины Аглантиды. Он гулял там гордый, одинокий, переступая свинцовыми подошвами по ракушкам.

Это тесно.

Тарымов думал о том, откуда достать бумагу для того, чтобы ответить на все письма.

Вспоминал детство.

Как будто бы он с братом в лесу заблудился, кричит: «Ау!»

«Ау!» — отвечает мать совсем близко и потом веселое «ау!» наполняет весь лес до самого края.

Нет края у нашей земли, ее пространство связало всеобщей любовью.

Мы даже не знаем, как любим друг друга.

«Ау!» — кричит сердце сердцу.

«Ау!» — не бойся.

Большая родина вся наполнена своими.

Большое и понятное сердце в нем кристально.

## НОГИ

### О том, что время не шло, потому что у него не было ног

Утром не хотелось просыпаться. Он оттягивал пробуждение, не открывал глаза. Кругом уже шумели, в постели приносили чай. Надо просыпаться. День начинался, надо

опять испытывать тяжелое, неподвижное время.

Одеяло на постели лежало не так, как прежде. Там, на другом конце кровати, оно лежало плоско.

Во сне ноги были, они ощущались, они даже ныли. Сперва, после ранения, было не так тяжело.

Ранен он был разрывной пулей в обе ноги. Лежал на сырой глине в лесу. Невидимый ему автоматчик не подпускал к нему санитаров.

Он лежал двое суток страдая. Солнце вставало, как всегда, утром в лесу просыпались птицы. Потом наступала жара, жажда. Ночью он лизал росу с травы.

Товарищи сбили немецкого снайпера с дерева, вытащили раненого на плац-шпалатку.

Ноги ампутировали здесь, в городе. Ампутировал доктор — веселый, ржавый, самоуверенный. О нем все говорили с уважением, все его хвалили.

Ампутация для такого хирурга простая, скучная, ежедневная работа. Он спасал людей, раненных в живот, вставлял куски кости и спивал нервы.

Когда ржавый хирург входил в палату, все ему улыбались. Василий Иванович подходил к больным, смотрел температурные листки. Все было нормально. Больные поправлялись после операции, раны заживали без нагноения.

Дни тянулись медленно, и утром незачем было открывать глаза Михаилу Сулину. Ему двадцать лет. Уж не так было много дней в жизни, только что он собрался жить и выбрал, какое взять в руки счастье.

Когда его принесли раненого из лесу, его целовали товарищи, кололи щетиной, поили горячим чаем.

Как надежно было в своем блиндаже! Приятно знакомый вкус цукковой кашки давал надежду.

Но не сохранили ему, Михаилу Сулину, ног, и теперь он не хотел жить.

## О протезах

У постели стояли ноги, кожаные, с дырками, с никелированными шарнирами.

Соседи надевали протезы, учились ходить, рассказывали друг другу о том, как они ходят. Они говорили, что для того, чтобы привыкнуть к протезам, нужна воля, а ходить можно. Они говорили о новых специальностях. Они уходили, и у них уже была у каждого своя походка.

Война давала новых соседей.

Сулины не сразу овладела ата-

тия. После ампутации он спал. Утром проснулся веселый, хотел сесть на постели и упал на лицо. Вот это сразило его сердце. Теперь он не хотел жить, не хотел мыться, и нянька вытирала его лицо теплым мокрым полотенцем.

Дни не шли. Хотелось растянуть сон. Во сне он видел дорогу. По левую и по правую сторону пшеница, а он, Сулин, идет и в поле зрения видит, то, что он не видел раньше: две милые знакомые ноги.

Человек-то, оказывается, видит свою ноги, когда идет.

Время не шло, потому что у него не было ног.

В госпитале продолжалась жизнь. Раненые рассказывали о новых боях, о том, что у нас прибавились автоматы.

Замазали окна в палате.

Сулину дали кресло на колесах, его подкатили к окну.

На улице лежал снег. К госпиталю утром подъехал хирург, слез с про-летки, быстро прошел и исчез в подъезде. Счастливый!

Сулин попробил, чтобы его подкатили к постели, он вполз на постель покрылся одеялом, как пин-келью, с головой.

Хорошо было бы попасть обратно в сон. Ночь после боя — ты цел, тебя грееят подоткнутая со всех сторон солдатская, уютом пахнущая линней, отогревающая ноги. Ты ишёл, этот час твой, й рялом товарищи.

Кто-то откинул одеяло. Над Сулиным стоял хирург.

— Вот что, товарищ Сулин, — сказал хирург. — Так нельзя. Ноги у вас стоят, а вы же хотите учиться ходить. Надо, товарищ Сулин, жить и надо, милый мой, жизнь любить. Голова у вас есть, руки, вы молодой. Нам надо родину отстаивать. Вам учиться надо, вы можете быть токарем, инженером, как сумеете.

Василий Иванович сел около кровати.

— Василий Иванович, — ответил Сулин, — дайте мне спать. Не говорите мне скучных, обыкновенных слов. Мне их все уже говорили. Слова те затверженные. Я вам скажу — протезные те слова, шарнирные. Был я молодой, Василий Иванович, хоть и не танцевал, а мог бы, гулять любил. Был я в школе, как все, потом в вузе учился. Если, Василий Ива-

нович, жить нельзя, то умереть-то я имею право. Зачем я согласился на ампутацию! Мог бы умереть тогда я, и похоронили бы меня, как человека, в длинном гробу. Я не хочу жить калекой. Или хоть дайте морфий.

Сулин вскочил, опираясь руками вперед.

Доктор слушал его, улыбаясь грустно.

— Наркоза не дам,— сказал он.

— Вот вам хорошо,— сказал Сулин,— ходите, ногастый. Работаете, все вас хвалят.

— Товарищ Сулин,— спросил доктор,— а как вы думаете, стоит мне жить?

— Вам стоит. А мне, если смеете, дайте увольнительную от этой жизни.

— Мне жить стоит,— повторил Василий Иванович и поднял свои штаны выше колена.

Сулин увидел: блестят шарниры, черная кожа с дырочками.

— Трамвай,— сказал доктор,— обычевенный трамвай: висел я молодым на подножке, подтянуло меня, закричал я от страха, потом от боли. Подымали трамвай надо мной домкратом. Ногу ампутировали выше колена. Я уже был молодым хитургом, и очень боялся, что не смогу работать. Работаю.— Так вот что, Сулин,— продолжал доктор, поправляя свои полосатые штаны и опуская их на штаблеты,— вот что, Сулин, вот что, дорогой товарищ, будьте вы ходить на протезах и отнеситесь к горю, как воин.

## ОПОЛЧЕНЕЦ

Тьмы времен нет. Нет забвенья. Когда идешь по Москве, около Мясницких или Арбатских ворот, то потому так изгибаются переулки, потому так переломлены они, что когда-то стояли здесь ворота и переулок должен был выйти к ним.

Живу я в Лаврущенском переулке, угол Толмачевского, а сзади меня переулок Кадашевский, рядом Климентьевский.

Толмачевский переулок — потому, что рядом Ордынка, а при орде были толмачи.

На Кадашах работали царские ткачи, ткали холсты, в Климентьевском переулке была церковь Клиmenta, и здесь казаки остановили гетмана Хоткевича.

Лучами в наших местах идут Ордынка и Полянка к стенам старых крепостей, которых уже нет.

Нет ворот, по остались направления дорог. История каждый день поворачивает меня. Она не прошла.

Написано в старой книге: «Вы говорите время идет, безумцы, это вы проходите».

История не проходит.

В персидской сказке мудрец епра, плавал людей, плачущих за гробом: покойник живой или мертвый?

— Все мертвые мертвы,— ответили ему. И сказал тот человек в сказке: «Нет, если человек утонул после себя дерево, им посаженное, колодеп,

им вырытый, или сына — он не мертв».

Бессмертие в истории — единственное человеческое доступное.

Недавно проехал по Можайскому шоссе — старые реки у деревни Бородино живут в нашей истории и зовут их Держа, Колочь, Война, Сокинница. Все память о битвах.

Стоят Бязьма в Смоленской земле. Это древняя земля, ее знали арабы и называли Смоленск Азмилинском. Здесь в земле много сердоликов и браслетов, связанных из проволоки жгутом.

Здесь смолили лодки, сплавляли их по Днепру на Киев, и оттуда шли лодки на Царьград, и когда была буря, связывали их вместе, и они скрепляли друг о друга смолеными своими бортами, но не тонули.

Здесь умели еще в XII веке читать Гомера, говорили о Платоне и сумели строить крепости и разводить пчел, здесь было много воська и меда, и потому здесь делали прянинки.

Бязьма была вся цветная — желтая, красная. Улицы ее кривые, церкви ее, как цветы, — весь город как будто сделан пчелами.

Нет города. Есть кости города, разбитые кости, нет города, изорванные рельсы. Люди положены живыми в противотанковые рвы, похоронены люди.

Нет города Вязьмы, нет сел на Днепре, но верховья Днепра в наших руках. Мы там, где сошлись Волга, Западная Двина и Днепр. У нас место рождения рек, мы пойдем вниз вместе с полой водой, мы спросим немца, выкопали ли они колодец, посадили ли они дерево, мы спросим, почему они убили наших детей.

Мы живые, нет тьмы времен, мы сажали деревья, строили дома, у нас есть сыновья, мы помним свою историю.

Нет стены Белого города, но для идущего она все еще препятствие, он все еще проходит в ворота.

Мне пришлось писать книгу о венецианском путешественнике — Марко Поло. Он проехал через Россию на Китай в те времена, когда Монгольская империя объединила и Китай, и Сибирь, и покоренную Россию. Марко Поло писал своей дорожник много лет. Сперва он писал о женщинах, потом о кречетах и соколах для охоты. Кречеты тогда стоили дорого. Это был драгоценный подарок. Потом Марко Поло постарел и начал писать о драгоценных камнях и бумажных деньгах, изобретенных китайцами.

Так путешествовал купец: вниз по крутизне жизни.

Народы тогда были спутаны. В Пекине стояли русские войска под начальством князя Григория. В Южном Китае были аланы — предки татарских осетин. Вдоль дорог тянулись фактории торговых народов.

Карл Маркс говорил, что торговые народы древности жили в порах других народов. Так жили боги Демокрита в порах между атомами.

Но Марко Поло любил свой народ, любил свой город, который тогда еще был полон запахом светлых елей. В Венеции были сваи. Венецианец Марко Поло сражался с генуэзцами, в тюрьме написал свою книгу, не выдавши тайны дорог.

Ко мне приходил Константин Ильинич Кунин — востоковед. Мы разговаривали с ним о сирийцах-историографах, которые бывали в Тобольске, и в Тибете, и в Цейлоне и сейчас говорят в Курдистане на языке книгя астророка Даниила.

Мы говорили о том, что такое нация и как изменяется понятие о

национах. Мы говорили о Данилевском, о типах развития народа, о том, что народы разнообразны. Говорили о Достоевском и его речи на праздновании памяти Пушкина, о том, что русский народ понимает другие народы и не хочет заменить собою народы мира. Говорили о Хлебникове; Хлебников писал, что русский народ немцеупорен, так, как бывают огнеупорные материалы.

Кунин в это время начал книгу о тверском купце Афанасии Никитине. Афанасий Никитин выехал из Руфы в 1466 году. Присоединился он к посольству, что везло кречетов шемахинскому хану от царя Ивана Третьего. По дороге Афанасия ограбили. Вернуться на Русь ему было не с чем. Попал он за Каспийское море, попал в Индию. В Индии прошли много лет, торговал конями. Смотрел, какой товар тамошний нужен для Твери. Товара такого не нашел.

Вел Афанасий Никитин записки, писал про людей военных, про князей, про женщин. То, что было не скромно, записывал Никитин по-индусски и персидски.

Возвращался тверянин Афанасий Никитин через Трапезунд. Путь шел на Кафу в Крыму. Много раз ветер отбрасывал назад корабль. С трудом добрался Никитин до Кафы, оттуда попал сухим путем домой. Ехал долго. Весною умер он в Смоленске. Рукопись его была списана и отправлена к великому князю.

Списывали ее дьяки слово за словом, а что было непонятно, то и букву за буквой. Так попали в рукопись персидские и индусские слова.

Кончалась рукопись словами: «Уруси тантри сакласун. Ала сактие буду ниами».

О годе 1941

Началась война. Немцы пересекли нашу границу. Танками прорвались через наши реки.

В именах мест боев ожила русская история.

На Россию шли немцы, люди, не знающие другой истории, кроме своей. Они нашли для войны хлор, газ, выедающий краску из травы и листьев, превращающий жизнь в тень. Шли против нас танки, ото-

бранные у французов, голландцев, бельгийцев, поляков, чехов, у государств, превращенных в тень.

Тогда начали собирать московское ополчение. Записывались истопники домов, директора заводов, дворники, писатели, архитекторы. Шло немолодое войско с необычным оружием, мало против танков.

Уходили на фронт краснопресненское ополчение. В ополчении шел Кунин рядом со многими писателями.

Ополчение билось в Смоленщине под Дорогобужем, а потом часть его попала в окружение. Мы в Москве этого не знали — отправили ополчению подарки. С подарками поехала жена Кунина.

Остались книги. Книга о Васко да Гама, книга о Магеллане, детская книга, о том, как открывали мир. Полное издание книги Марко Поро и неизданные рукописи — книга об Афанасии Никитине.

Затем я получил открытку. Писал Кунин. Писал, что вышел из окружения, переплыл реку, попал в партизанский район, его вывели к одной армии; стал он там переводчиком, а недавно узнал, что жена его погибла.

Еще он писал: «Я никогда не думал, что вид убитого врага может утешить». Просил Кунин сходить на его квартиру посмотреть, не погибла ли библиотека и где рукопись книги об Афанасии Никитине.

На открытке была приписка Федора Грица: «Переводчик Кунин убит в штыковом бою».

Убит Кунин, черноволосый, длинноногий, приземистый, убит человек, знавший китайский язык, любивший русскую историю.

У него не осталось семьи, которая могла бы о нем вспомнить.

Не дойдя до Смоленска, на русском снегу, защищая родину, умер еврей Кунин.

Кунин, если бы я мог, бы тебе сказать в последний час слово утешения!

Ты умер на русской земле, не пойдя до Смоленска, там, где умер тот тверяинин. Я прочту над тобой молитву Никитина:

«Ала саклие буду ниани, уруси тангри сакласу» — что значит: «Да сохранит бог сей мир, да сохранит бог Россию».

Так утешно молились Афанасий, умирая под Смоленском, любя родину всем сердцем.

## РАЗГОВОР В ЛЕСУ

### Инспекторское посещение

Лес был перестойный.

Его начали уже сводить, но помешала война. Время уже разредило насаждения, но короны деревьев раскинулись широко и сверху лес, вероятно, был непроницаем. Люди лежали под плащ-палатками, повешенными на шесты, в тесных конвертах, на носилках. Здесь сортировали раненых и лечили легко раненных, которых можно было не отправлять в тыл. Плохо было с огнем, потому что редко бывает огонь без дыма. Между тем пошел дождь, и хвост отсыпал, а сверху легали самолеты.

Они кружились, сменялись. За разведчиками, легкими, прозрачными, как венский стул, прилетал бомбардировщик. Был дороги. Лес не был раскрыт, но выходить на опушку или полянку нельзя было.

Старый дивизионный врач, который производил инспекцию пункта, собирался сесть на лошадь, чтобы уехать, но дорогу бомбили.

Врачи пункта — молодежь. Дивизионный врач — человек с европейским именем, знаменитый теоретик, человек дерзкого, неожиданного размаха, ученик и, может быть, со-перник академика Павлова.

Для врачей он был прежде всего профессором. Этот уютный, шутивший на лекциях, любящий хорошо есть, умеющий пить человек устроил в госпитале проборку за то, что белье плохо кипятилось.

Ему так радовались, когда он приехал. Он приехал из науки, от большой мысли, а лазил в котелки, проверял белье и говорил как начальник. Сейчас он уезжал. Все знали, что старый профессор смел, его не удергут бомбардировка.

Старик — так его звали изуваже-

ния — хотя он и в самом деле был стариком, поставил ногу в стремя. Садился на коня он почти незаметно. Но сейчас он задержался, и седой мерин, отставив ногу влево, покосился на профессора изумленно.

— Подожду, — сказал профессор.

Молодые врачи посмотрели на него с надеждой. Он улыбнулся и сказал: «Пережду!»

### Профессор проводит беседу

— Ну, значит, деловая часть окончена. О чем бы поговорить с вами, товарищи? Давайте я расскажу вам про Ивана Петровича Павлова, моего учителя. Великий это был человек, и замечательный из него вышел бы командующий фронтом. Держал он нас в руках так, что если посадит на стул, то без дела у него со стула не сойдешь. Он меня раз поставил следить за одной собакой. Надо было записывать движения капель слюны каждые двадцать минут. И я спал полгода на полу, подложив полено под голову, и боялся проспать, боялся, что полено окажется уже очень мягким.

Иван Петрович меня любил, может быть, за то, что я дружил с его сыном. Суровый этот человек уважал дружбу. А может быть, любил он меня еще и за то, что коптал я хорошо, а время было трудное, при налете институте развалили огород, и требовал Иван Петрович, чтобы все копали хорошо, и хороших огородников называли столпами и устоями института.

— Ну, я расхвастился.

Слышно было, как бомбят дорогу.

— Ждать придется, — сказал профессор. — Сядем-ка к раненым, им тоже интересно, что врачи говорят.

— Так вот, товарищи. Было это совсем недавно — шесть лет тому назад. Умер у Ивана Петровича сын в Ленинграде, умер от рака. Мы очень за старика беспокоились, и послали меня к нему, чтобы побывал я с академиком. А я не знал, что делать, как утешать такого человека. Он большой, все сам решает. Скажешь ему, а он оборвет, и будет ему еще труднее.

Вот приехал я к нему в Колту-

ши, там стоят такие беленъкие дачки. В одной даче две обезьяны живут — Рафаэль и Роза. Такие неприятные, похожи на человека, но как будто человек опустился, пропался, стыд потерял и еще этим хвастается, а ноги без сапог и пальцы на ногах длинные.

Приехал я утром, пришел к Павлову. Была уже очень глубокая, вот как сейчас, осень. На рябине ягоды темнокрасные, лес сквозит, а сосновы выделились.

— Купаться, — сказал Иван Петрович, — купаться пойдем, — и велел дать мне простыню.

Идем под гору. Иван Петрович хромает, у него нога была сломана. Я понимаю, что он думает. Думает он, что надо купаться, надо попытаться восстановить ту бодрость, которую дает холодная вода и тренирует мозгнатой простыней. Надо не нарушать своей жизни, надо цепляться за старые привычки, потому что старые привычки рождают прежние отзвуки, мы их зовем рефлексами. Можно вцепиться в жизнь, как в ручки трамвая, и она увезет тебя, как трамвай, а потом в нее, в жизнь, влезешь.

Идем мы вниз, и Иван Петрович пакткой сшибает листву с дороги, сердится, что не убранны.

Купальня махонькая, так — квадратик воды. Зеленые дощатые перегородки, на воде осенний лист. Льда нет, а лезть не хочется.

Иван Петрович разделся. Спокойно сонялся в воду, помочил холодной водой под ложечкой, нагнулся, вымыл волосы, нырнул и знакомым пролазом вынырнул в озеро.

Плыл он по-стариковски, низко держа над водой голову, и способ плыть у него был старинный, саженками, но все же вода между плечом и шеей его бурлила. Плыл и я за ним. Плыбу по-лягушачки, брасом. тоже нынешнего кроля я не понимаю. Поплавали, вылезли. Действительно хорошо. Обтерлись простынями. У Ивана Петровича щеки порозовели, и он заговорил о горе.

— Когда сын мой родился, Охтенского моста еще не было, а Троицкий был деревянный, а меня уже считали старым профессором. Я сидел тогда в кабинете, писал. Женя

рожала дома, я сам не принимал. Прибежал товарищ, говорит: «Сын родился, и какая у тебя колоть». Я писал и не заметил, что лампа коптит и петролей в лампе почти выгорел. Петролей тогда, дорогой мой, еще керосином не звали, возили в цистернах, и на каждой цистерне было свое имя, как нынче на пароходах, только имена были священные — Будда, Магомет, Конфуций, а цистерну с именем Христа полиция не разрешила. Бывало, идут такие цистерны, их везет паровоз, длинный, с трубой, а сын через оконце читает названия... Теперь сын мертвый.

Теперь все иное, вот останешься, как сосна в лесу, а все деревья без листвьев, а сосна будет жива, а ей холодно, я нового много не понимаю, у меня управство стариковское.

Вдали бомбыли, вдали отвечали зенитки. Молодежь слушала старика-профессора, понимая, что это он их утешает, не хочет уехать в Сюре.

— Вот пошли мы, товарищи, к обезьянам. Рафаэль сидит, рассматривает синюю губу нижнюю, он так любил ее попытить. Чешется Рафаэль, прыгнул потом, и глаза блестят, а сосредоточиться не может, торможения нет.

Смотрит Иван Петрович и говорит: «Какая прекрасная хаотическая молодая жизнь!» И у него на глазах слезы.

Поплыли, на плечах у нас простыни тяжелые.

— Рак, — говорит Иван Петрович. — Разрастаются в организме отдельные клетки: клетки-паразиты, клетки-эгоисты, и гибнет человек. Так народы и государства, потерявшие разум, хотят вытеснить других. Они говорят, что это рост организма, но это рост рака.

Значит, Иван Петрович все время думает о сыне. Вижу я, что он идет в главное помещение. На вешалке много пальто, котелки: иностранцы приехали, будут выражать соболезнование.

Входит Иван Петрович, дверь открывает, часы бьют девять. Он сам был, как заденный, никогда не спаздывал. В двенадцать часов всегда вытаскивал из кармана часы и

вздрагивал. Это потому, что читал он всю жизнь в Ленинграде в Военно-медицинской академии лекции, а на Петропавловской крепости рядом пушка в полдень била. Большое значение имеют, товарищи, привычки. На этом воинский порядок стоит. Привыкайте все исполнить до конца так, чтобы это уже было вне сознания, чтобы привычка вас держала, чтобы вытесняла она страх, а то, что сверх — будет подвиг.

### Профессор по старому обычанию вводит в беседу анекдот

— Как же поможет, товарищ доктор, в бою привычка? — спросил боец.

— А вот как — служил я военным врачом на крейсере. И вот что у нас рассказывали, это еще про старое время, когда корабли ходили на парусах... Засвистит боцман в дудку — «Все наверх», и какая бы ни была буря, лезут матросы на мачты. Корабль качает, реи за волны цепляют, может быть, — а они там наверху, потому что приказ.

Так вот что рассказывают. Потонул раз военный корабль под Севастополем... Вот потонул фрегат, а боцман был на том фрегате праведник и прямо из воды попал в рай. А матросы были воры и пьяницы, и прямо их души из воды в ад попали...

Сидит боцман в раю — день, хороший, два — хорошо. На третий день скучно без команды. Докладывает он об этом херувиму, тот доложил серафиму — так пошло по команде к богу, что, мол, боцман просит команду к себе. И вниз идет революция — никак нельзя, потому что команда уже получила свое назначение. — кто на вертеле сидит, кто в смоляном озере, и вообще всякий получает свое удовольствие. Опять хлопотал боцман — полный отказ. Вылез он тогда из рая через забор, для матроса это не высоко, попал к аду. Подает дочесение главному черту — выпустите, мол, команду.

Полный отказ.

Тогда рассердился боцман, вынуждудку и просвистел сигнал — «Все наверх». И тут команда, кто из смолы, кто с вертела, кто из огнен-

мого озера — разом все наверх и все одеты по форме. Собрал их башмак, и пошли они куда надо. Дело простое — условный рефлекс.

Понятно?

— Забавно, но понятно, — сказал раненый.

— Так, вот, слушайте дальше. Иван Петрович никогда не опаздывал...

### Рассказ о самом главном

Вот бывают часы, выходит Иван Петрович, садится, закидывает голову с сухими седыми волосами, кладет на стол крепкие старческие кулаки, и я сквозь круглые манжеты вижу его сухие и сильные еще руки.

Кончился бой часов.

— Господа, — сказал Павлов. — Сын мой умер, он умер от рака. Мой дед в Рязани тоже умер от рака. Есть основание думать, что предрасположение к этому заболеванию передается по наследству.

Говорит Иван Петрович, и голос у него с отзвуком, не так, как обычно. Он говорит. Трудно ему. И вдруг он сердится и так продолжает, глядя прямо на немца, седого блондина, который смотрит на Ивана Петровича с любезным сожалением.

— Милостивые государи мои, — сказал Павлов, — у наших соседей, немцев, существует сейчас теория о том, что можно бороться с болезнями, лишая права иметь детей тех, кто больны. Так вот, милостивые государи мои, в старину предполагали, что средства, дорогие и средства отвратительные особенно помогают от болезней. Предполагают бороться таким способом с сифилисом, с эпилепсией, так думают прервать даже жизнь рас, которые авторам системы не нравятся. Но теория эта не учитывает сложности жизни. Человек — это не породистая собака, у которой все рефлексы подчинены одному. Стоимость человека, дорогие коллеги, трудно подсчитать. Я, не будучи сам больным, передал предрасположение к ужасной болезни от деда к сыну, и вот, по теории соседей наших, по немецкой теории, я не должен был родиться.

Тут Иван Петрович встал, улыбнулся тихонько и продолжал.

— Дорогие коллеги, я никогда не повторял ни чьих слов, и меня слушали. Будем считать доказанным, что я имел право родиться. И народ мой такой, что без него миру не прожить.

Сел Иван Петрович.

— Оставим звериные способы изменять жизнь. Ведь мы видим, что эта теория ложная, что она неправильно отсеивает, неправильно отбирает. Поэтому должна быть иная наука. Ее создавал Сеченов, Мечников. Мы кое-что сделали и здесь и на Песочной улице в Ленинграде. Смелость имею сказать, что русская наука, в которой свободное участие принимают и другие народы, создаст теорию истинную. Надо работать для того, чтобы окончательно объединить человечество на рациональных основаниях и сделать его счастливым.

Иван Петрович помолчал и сказал тихонько:

— Счастье! Если не мое, так другое счастье. Мой сын умер, но завтрашнее заседание состоится, как обыкновенно.

— А мы сидели, товарищи, и слушали так, как слушают командующего фронтом, и мы чувствовали, товарищи, что мы едем в вагонах, прицепленных к этому сильному, вперед смотрящему человеку — паровозу.

Слышно было, как недалеко бомбят дорогу.

Профessor встал, легкой походкой, небрежно ступая по осенней траве легкими ногами, подошел он к своей лошади и одним движением оказался в седле.

Лошадь посмотрела на людей, косясь и подняв голову, как будто она считала себя сейчас очень важной.

— Профессор, дорогу бомбят, — сказала молодая докторша.

— Я поеду сторонкой, — ответил профессор. — Так не забывайте, друзья мои, отчетливость, создание навыков и кругозор. Надо все видеть, раскинуть крылья, и наука поддержит вас, как воздух поддерживает крыло.

Он тронул коня и быстро уехал.

Сидел в седле он прямо, молодо, гордясь уменьем.

## НА ДНЕПРЕ

### Мне задали вопрос

Немцы отходят. Они сжигают деревни. Левый берег Днепра, как бритый.

Дни два я был здесь, таял снег, и вот из-под снега показались черные обводы домов, как будто буквы.

Это горевшие деревни.

Правее на Минском шоссе лежит переломленным хребтом широкий ютунный мост, показывая ребристую свою грудь. За ним насыпь асфальта, как шерстяная нить. Ядом с ним сожженный временный ют и наш только что поставленный.

Левый берег Днепра — как бричный. По краям дороги бегут ручьи, юлина Днепра широка, и не за что зацепиться взглядом. Но стучат топоры, старые женщины из откуда-то добытых бревен и досок ставят ременные избы. И рядом толкуют юкъ в деревянных ступках, похожих на ромки.

Немцы ушли. Из землянок вылезли дети и улыбаются. Скоро стает ног, русские будут сеять.

Еще дальше серый лед Днепра обрызган темносерыми камнями ракитных устоев моста. Мост скорченный лежит на льду. За рекою треляют. Высоко над днепровской юлиной поднялась железнодорожная насыпь. Талые поля — наступила распутица. На рельсах черезажды четырнадцать шагов выкуплен кусок из рельсов, взорваны все соединения.

Разрушения однообразны. В потоке глубокие колодцы, оббитые внутри тесом. Рядом обрывки бумаги, вощеная бумага, как будто кто-то ел крупные конфеты.

Это прошли наши мины и отрыли фугасы.

Глубоко, на пять с половиной метров, были заложены фугасы, затрамбованы, заронены, вынутая земля была унесена за километр. Давно было все приготовлено, в узкую цепь потом спустили в последний момент взрыватель. Глубоко подземлею чуть слышно шли заведенные немцами машины.

Сколько замедленной ненависти у немцев! Они готовили эти машинки

уже тогда, когда спекулировали валютой и выпрашивали у Америки подаяния на восстановление хозяйства. Это оружие, приготовленное за десятки лет.

Взорванный металл мешает найти мины, и вот все же мины найдены.

На насыпи резкий ветер. Перед самым мостом в глубокой котловине от взрыва лежат два бойца. У одного в руке тонкий щуп, кончающийся стальным острием.

Знакомлюсь. Один из них — сержант Сухоруков Владимир Аркадьевич. По мирной жизни, по гражданке, как у нас говорят, он — избач, заведывал избой-читальней в колхозе на Дону. Колхоз так и назывался — «Луч на Дону». Сухорукову тридцать восемь лет, семья его угнана немцами или немцами истреблена. Сегодня он уже обезвредил несколько мин, а вчера нашел фугасный колодец. А рядом с ним лежит черноворый кругломицкий Анатолий Антонович Черныч, из-под Новороссийска. Был он помощником машиниста, была у него семья, и семья уничтожена, или увезена немцами. И вот двое бойцов с самого начала войны идут за немцами или перед ними. Минер и при наступлении и при отступлении находится в непосредственном соприкосновении с гибелью.

Минер может ошибиться в жизни только один раз. Немецкая мина имеет три взрывателя, ее нужно обрывать руками, надо осторожно вынуть верхний взрыватель, повернуть нижний так, чтобы сошлись отверстия, и ввести медную чеку, закрепив взрыватель, и тогда можно мину нести к себе на склад.

Мины тут разные, противопехотные и танковые; летом их разыскивать труднее, потому что они зеленые. На станции Туманово все было заминировано ловушками, и котелок, и колодец, и блок-аппарат — все кругом отравлено взрывами. Здесь нужно осторожно дышать.

Вчера они открывали фугас.

Работают они на этой работе каждый день, значит, им надо спать, есть, иметь свой режим дня. Нашли колодец, начали рыть, наступила

тъма. С минами лучше ночью не работать. Легли спать, встали утром, думают попить чаю. Лейтенант говорит: «Лучше после попьем и поберемся. Давайте сейчас докопаем».

Кончили выкальывать. Оказалось, что взрыватель был на исходе, до смерти осталось полчаса. Вынули эту миныку, положили, побрились, попили чай, пошли дальше.

На станции Одинцово сорок одна мина, и в каждой избе мина, и каждую мину находит лейтенант Николай Алексеевич Загорский — год рождения девятнадцатый.

Сказал мне Сухоруков:

— Вот семья пропала и жизни как будто не было и не был я избачом. Иногда лежу — вспоминаю, что читали у нас в колхозе Островского, Макаренку уважали, Гайдара любили... Книг было не много. Не напасешь. Я хочу с немцами поговорить. Поговорить, спросить их матерей: как это вы детей растили? Какие книжки им давали? Кто их писал?

А правда, что немцы Гайдара убили?

## О Гайдаре

Гайдар еще мальчиком ушел в Красную Армию. Сражался с немцами под Киевом. Сражался в приднепровских лесах, отступал от немцев, а потом гнал их. Юношей он стал командиром отряда, потом демобилизовался.

Первые книги Гайдара люди полюбили за то, что он вспоминал о хорошем.

У писателя труда вторая книга.

Первая книга проливается, как ложь. Гайдар чем дальше, тем все лучше писал.

Он написал книгу о мальчике Тимуре и его команде, о детях, помогающих людям жить легче.

На фронт он пошел журналистом.

Немцы хотели взять Киев с хода, но их выбили из города ополченцы. Началось окружение. Враг былведен в подзорную трубу, а Киев работал, открылся театр «Миниатюр», открылся цирк. Немцы охватили Киев глубоким обхватом, и тогда, по приказу, началось отступление.

Ушла армия, за армией шли люди.

Шел одним из последних Аркадий Гайдар. Дорога вела на Прилуки. Немцы величивались, стараясь разрезать армию. Появились люди, ищущие свои части. Гайдар собирал людей, и снова оказался он во главе полка.

В болотах арьергард был окружён. В небольшой рощице, на сухом острове заперты были среди топи тысячи людей.

Решали снять борты автомобилей и по ним уйти через болота. Проложили узкую дорогу на шесть километров, почти на километр бортов не хватило.

Шли глубокой грязью.

Гайдар шел сзади. С остатками людьми выбрался в приднепровские леса, попал в партизанский отряд.

Зимой получили мы письмо, что Аркадий Гайдар убит. Тело его вынесли и похоронили около железнодорожного пути, недалеко от станционной будки, под дубом, у Днепра.

Будет еще весна. Прогоним мы немцев.

Растает вода в лесах, пойдет вода мимо разрушенных, взорванных мостов Смоленщины, пойдет вниз к Украине.

Около Кичкаса починят серебрящую рану плотины.

Будет подыматься вода, начнут уходить опять под воду пороги.

Вода начнет разливаться по полям. Те поля много лет были дном озера Днепростроя, они будут пить воду, долго пить намокая.

Они будут пить воду, как горе, покамест горя станет довольно. Начнет повышаться вода, снова станет зеркало озера.

В приднепровских лесах стоит дуб.

У него широко раскинутые ветви.

Ветер там, как здесь. Дуб держит в охапке ветер.

Под дубом лежит Аркадий Гайдар.

Уже будет остановлено горе и станут крыть крышами разорванные города, восстановят Вязьму и станут называть улицы именами погибших.

Тогда приедем туда, где лежит Гайдар.

Он умер тогда, когда научился писать очень хорошо.

Гайдар не мертв — он оставил после себя книгу и сына.

# ЗВЕЗДЫ

В Калуге приблизительно четыре тысячи домов, из них пятьсот каменных

Города расположены вокруг Москвы кольцами. До одних девяносто километров, а до других два девяносто — сто восемьдесят. Так до Клина девяносто, до Владимира сто восемьдесят. До Калуги чуть меньше ста восемьдесят.

Город стоит на высоком берегу Оки, которая здесь образует крутое излучину.

В Калуге приблизительно четыре тысячи домов, из них пятьсот каменных.

Над рекою парк, за парком улицы. Одна из крайних улиц называется улицей Брута.

Улица Брута спускается к реке. По улице течет ручей, ручей срызается; улица превращается в овраг. У самой реки стоят маленький дом. За рекою сосновый бор. В доме жил Циолковский — звездоплаватель.

Маленький домик в три комнаты. В одной из комнат из угла в угол натянута железная проволока. По проволоке передвигается керосиновая лампа-молния. Она может висеть и над креслом и над столом. Это придумал Циолковский.

Еще в доме был велосипед, тяжелый на ходу, и присланные в подарок с завода ножи и вилки из нержавеющей стали.

Я приехал к Циолковскому с режиссером Журавлевым. Циолковского просяли консультировать ленту о полете на ракетоплане.

Он выслушал нас, наставя на собеседника раструб большой цапиковой плохо спаянной трубы.

Циолковский плохо слышал. Десяти лет его почти лишила слуха скарлатина.

Мы привезли Циолковскому деньги за консультацию. Он позвал дочь и начал рассыпать деньги по городу всем знакомым — кому сто, кому пятьдесят рублей. Денег было немного, но старик казалось, что это богатство, что надо делиться. Он посыпал деньги и капусту в подарок, капусту со своего огорода на широту. Внук был болен. Он прыгнул в березы с простижкой вместо

парашюта и не разбился насмерть только потому, что упал на навозную кучу.

Мы ели у Циолковского широт с капустой и говорили о звездах и стратостатах. Ему звали в Москву присутствовать при полете в стрatosferu. Старик говорил грустно:

«Ну что же, я приеду, как мальчик, посыпет в гондоле стратостата. Он подымется без меня. И я знаю, что у них там будет — у них веревка запутается. В изобретениях самое сложное — это простое. Вот я никак не могу придумать, где поместить руль стратонлана. Нельзя же его поместить в струе выходящих из ракеты газов».

Мы приехали в Москву. Стратостат не поднялся в назначенный день — запуталась веревка. Циолковский был прав.

Потом был чудный день с темносиним небом. В небе созревал стратостат, медленно подымаясь.

Чем меньше было давление вокруг, тем круче становились бока стратостата.

Стратостат подымался, вся Москва смотрела вверх.

## О большой вселенной

В сентябре 1935 года Циолковский, чувствуя приближение смерти, написал из Калуги письмо:

«Мудрейший вождь и друг всех трудящихся, товарищ Сталин!

Всю свою жизнь я мечтал своим трудами хоть немножко продвинуть человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться...

Однако сейчас болезнь не дает закончить начатого дела. Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным сообщениям передаю партии большевиков и Советской Власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды.

Всей душой и мыслями Вам.

С последним искренним приветом всегда Вам

К. Циолковский.

Товарищ Сталин ответил 17 сентября телеграммой:

«Знаменитому деятелю науки тов. К. Э. Циолковскому.

Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии большевиков и советской власти.

Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку.

И. Стalin.

Циолковский оставлял звезды, как имущество,— он передавал их коммунистической партии, как дом. У него было чувство, что он реальный обитатель вселенной, что у него ключи от звезд, и он передавал ключи при отъезде хозяину.

Шли годы, зрели дни.

Маяковский говорил: «Дни зрели, как дыни».

Сколько незрелых дней видел я на своем веку!

Шли дни. В маленьком журнале для молодежи прочел статью молодого изобретателя. Он писал о стратоплане, о ракетном двигателе, о принципах движения, о том, что порох и dynamit slab для начинки ракеты. Он писал об опасностях взрыва ракеты.

Я не запомнил подпись.

Шли дни, дни зрели, как дыни. Сколько горьких дней созрело!

Созрела война. Немцы наступали на нас.

Прошло почти два года, и в кино в картине «Сталинград» увидел я огненные хвосты новых снарядов. В народе их зовут «Катюша», и имя изобретателя врезалось в память советских людей.

Я узнал звездоплавателя, наследника Циолковского. Он стремился к звездам и бросил незаконченное изобретение в голову немцам, потому что немцы стояли на дороге к познанию вселенной.

Его снаряд прорывается сквозь немцев в будущее. Мы знаем об нем мало. Те, кто стреляют, не рассказывают, а те, в которых стреляют, уже ничего потом рассказывать не могут. И только звук, похожий на звук мандолины, известен тем немцам, которые стояли у края свое гибели и до которых не дошел одинный вал.

Я был в Казахстане и провожа сына, приходившего домой на новику, в артиллерийскую школу.

Он там учится стрелять из обычных русских пушек, тех пушек, которые толкнут врага, как пистолеты, загнав его в ступку.

Был вечер, надо торопиться проверке. Я провожал сына за город, до перекрестка.

Снежная дорога уходила вверх Млечный путь тек над нами.

Одиноко висела Полярная звезда. Сын мне говорил о звездах, о Джинсе, о спиральных туманностях, об их движении, о годовых параллаксах. Их берут как базисы для вычисления звездных расстояний, но и они малы. Он мне рассказывал о смещении спектра, по которому можно догадываться о движении миров, столиц удаленных, что самый большой телескоп не может проколоть мглу междузвездия до них.

Не самое важное своя жизнь. Надо думать только о близком, над думать о звездах.

Сын уходит, его нагоняет друго курсант.

Они идут, высокие, широкослечи, сильно перетянутые ремнями, ушами меховых шапок, спущеныны по уставу, потому что мороз сильен

Двое уходят вдаль, они похожи друг на друга, как два жолудя.

Над ними казахстанское небо звезды великой толпой стоят в небе. Звезды смотрят на заснеженную землю.

Им не грустно.

Генерал-майор А. А. ИГНАТЬЕВ

## ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

### ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

#### Глава первая

#### РОКОВЫЕ ДНИ

Петербургский экспресс прибыл в Париж в понедельник 27 июля<sup>1</sup> 1914 года точно по расписанию в 6 часов вечера. Он оказался последним поездом, прибывшим из России до мировой войны.

Нарвалось первое звено моей связи с родиной.

На хорошо мне знакомом, закопченном парижском Северном вокзале на встречу мне бросились два французских офицера: ординарцы военного министра, господина Мессими, и начальника генерального штаба, генерала Жоффра. Вытянувшись и взявшись руку (по французскому уставу с вывернутой наружу ладонью) под козырек, они мне доложили, что их начальники ожидают с нетерпением моего визита. Тут уж было не до мундира с орденами, ни до сюртука с цилиндром — весь этот церемониал был выброшен надолго, если не навсегда, из дипломатического обихода. Прямо с вокзала, не заезжая домой, я отправился на улицу Сен-Доминик и через несколько минут уже вошел в давно знакомый мне кабинет военного министра.

Все французские министерства размещены, как известно, в бывших дворцах королевской аристократии, и военным министрам было, между прочим, лестно восседать за роскошным столом самого Наполеона.

Мессими принадлежал к типу политических высокочек: он не был адвокатом и не был связан с парламентом «династическими» узами. По образованию это был блестящий генштабист, по социальному положению — крупный помещик, разводивший известную мясную породу серых быков в провинции Невер, по политическим взглядам — республиканец с левым уклоном, по темпераменту — типичный сангвиник. Изношенное рапыте времени лицо и красноватый нос хранили следы привольной жизни. На пост военного министра в кабинете Бивиани Мессими попал не задолго до моей поездки с Пуанкаре в Россию. При первом же приеме он успел выразить мне возмущение деятельностью своих предшественников: вместо трех французских офицеров он хотел командировать для стажировки в Россию ежегодно на правах взаимности несколько десятков, а русский язык ввести как обязательный во Французской военной академии. Хотя эти столь желательные для меня мероприятия не успели осуществиться, но все же переговоры о них создали ту благоприятную атмосферу, которая оказалась столь ценной с минуты моего возвращения в Париж.

Мессими встретил меня уже почти как коллегу-генштабиста, и мне поэтому было нетрудно исполнить поручение Сухомлинова: объявить о частичной мобилизации против Австро-Венгрии не больше четырех военных округов, но вместе с тем на всякий случай «подбодрить французов».

Как я и ожидал, «подбодрять» наших союзников не пришлось. Мессими мне сообщил, что уже со вчерашнего дня были приняты первые меры по охране железных дорог и ценных сооружений, по возвращению отпускных, но что подготовку к мобилизации приходится проводить с особой осторожностью, дабы не вызвать этим затруднений в продолжении дипломатических переговоров с Германией, Англией и Австро-Венгрией.

— Во всяком случае, пропусти вас заверить ваше правительство (это слово всегда звучало для меня фальшиво, так как, по существу, правительства, в европейском понимании этого слова, в царской России не существовало), что Франция при всех обстоятельствах точно выполнит свои союзнические обязательства,— закончил Мессими.

То же примерно повторил мне и генерал Жоффр, которого я застал в его рабочем кабинете на бульваре Сен Жермен. Толстяк-старик с молодым лицом и хитрым взгляdom был по обыкновению загадочен и неразговорчив. Принимать на себя роль газетного репортера мне было не к лицу, хотя я и сгорал нетерпением узнать подробности выполнения союзниками плана мобилизации.

— Мы принимаем пока только меры, предусмотренные для предвоенного периода,— осторожно объявил мне Жоффр, и в этой осторожности отражалась та дисциплинированность в отношении к своему правительству, которая всегда меня поражала в будущем главнокомандующем. (Пуанкарэ тем временем, прервав свое путешествие, еще только плыл по волнам Балтийского и Немецкого морей, а без него никто не решался брать на себя ответственность за какое-нибудь серьезное решение.)

В посольстве, расположеннном в двух шагах от военного министерства, я застал всех коллег за лихорадочной работой, в которой они были истинными мастерами: шифровкой и расшифровкой телеграмм.

Если в мирное время шифр представлял одну из важнейших частей дипломатической машины, то в военное время от качества шифра зависела судьба армий и народов. Шифры существовали с незапамятных времен, но можно с уверенностью сказать, что никогда раньше они не играли такой роли, как в первую мировую войну. Союзники, разделенные непроницаемой стеной неприятельских фронтов, через голову врагов передавали по невидимым волнам эфира секретные документы по взаимному осведомлению. Беда была только в том, что перехватить радиовещание оказалось гораздо проще, чем захватить вражеского посланца. Шифр в этих условиях стал одним из важнейших элементов секретной связи.

Русский дипломатический шифр, по мнению специалистов, был единственным, не поддававшимся расшифровке, но зато военные шифры и, в частности, наш агентский были доступны для детей младшего возраста и тем более для немцев. Трагическая гибель армии Самсонова в начале войны была связана, как многие объясняли, с тем, что немцы перехватили русскую радиотелеграмму. Урок этот не послужил, однако, на пользу нашему генеральному штабу: он был так влюблен в свой глупейший буквенный шифр, что продолжал в течение двух лет посыпать нам под особым секретом необходимые для этой системы входные лозунги, рассчитывая затруднить этим расшифровку. Последняя была настолько легка, что ею занимались не только наши враги, но даже и лучшие друзья. Я бы и сам этому не поверил, если бы однажды, при вскрытии обычной дневной корреспонденции во французской Главной квартире, не нашел среди других документов не подлинную, а уже тщательно расшифрованную телеграмму на мое имя из Петербурга. Это была, конечно, небрежность того органа, на который была возложена цензура моей переписки. Французов я поблагодарил за выполненную вместо меня «работу», а начальство свое лишь раз просил о присыпке мне какого-нибудь порядочного шифра.

Этот вопрос явился особенно серьезным в роковые дни перед войной. Я, не доверяя своему агентскому шифру, вынужден был посыпать свои телеграммы через посольство за подпись самого Извольского. Отноше-

ния, установленные с послем с минуты моего назначения в Париж, особенно пригодились: малейшая несогласованность и расхождение в оценке положения между нами могли повести к самым неправильным выводам в Петербурге. Как приговоренны к смерти сохраняет до самой последней минуты надежду на помилование, так и все мы, большие и малые участники дипломатических переговоров, в последние дни перед войной надеялись на какое-то чудо, на мирный исход русско-австро-сербского конфликта.

Между тем, телеграммы Сазонова с каждым часом становились все тревожнее: главный дипломатический наиким Германии, естественно, был направлен на Россию.

Одним из решающих моментов явилась ночь с 29 на 30 июля.

Поздно вечером я послал очередную телеграфную сводку о военных мероприятиях нашей союзницы, — сведения, которые мне не без труда удалось получить от Жоффра. (Пуанкаре вернулся в этот день в Париж, все власти почувствовали под собой почву и стали более общительными.)

«Во Франции все возможное сделано, и в министерстве спокойно ждут событий», — вот какими словами я заканчивал свою телеграмму.

События не заставили себя долго ждать.

Почти одновременно, то есть около двух часов утра, секретари уже расшифровали длинную депешу Сазонова, в которой он сообщал об ультимативных требованиях Германии прекратить наши военные приготовления:

«Нам остается только ускорить наши вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны», — гласили последние слова депеши.

— Как вы это понимаете? — спросил меня Извольский. — Что это за туманное слово — «вооружение»?

— Это всеобщая мобилизация, — ответил я.

— Но как же я объявлю об этом французам: мобилизация ведь еще у нас не объявлена, — колебался посол.

После обычного совещания со мной и с советником посольства Севагопулю Извольский решил лично пойти на Ке д'Орз<sup>1</sup> и просил меня одновременно передать содержание сазоновской депеши военному министру.

Воинственный генштабист Мессими, услышав про «вероятную неизбежность» войны, превратился неожиданно в дипломата. Он долго подыскивал выражения и в конце концов выработал следующую формулу ответа на мое заявление,

«Вы могли бы заявить, что в высших интересах мира вы согласны временно замедлить мобилизационные мероприятия, что не мешало бы вам продолжать и даже усилить военные приготовления, воздерживаясь по возможности от массовых перевозок войск».

Я прекрасно сознавал, что в подобных советах, кстати невыполнимых, русский генеральный штаб не нуждался, но ссориться с союзниками из-за этого не стоило, и потому, зная шепетильность Извольского, я передал ему дословно записанные мною слова военного министра.

Трудность положения в эти дни заключалась в том, что Франция, следуя примеру Австро-Венгрии и России, начала мобилизацию еще во время дипломатических переговоров. Вместе с тем, не желая попасть в положение нападающей стороны и тем нарушить условия строго оборонительного договора с Англией, французское правительство было вынуждено на следующий день, 30 июля, принять даже такие противоречивые меры, как мобилизация пяти пограничных корпусов и одновременный отвод их передовых частей на десять километров от германской границы. Пуанкаре представлял эту меру Извольскому как доказательство миролюбия, а Жоффр объяснял мне этот тонкий маневр, как выполнение заранее предусмотренного плана мобилизации.

Эта разнь между французским дипломатическим и военным миром отражалась и на моих отношениях с Извольским, его неприятный характер хорошо был известен всем сослуживцам. От бессонны-

<sup>1</sup> Министерство иностранных дел.

ночей и трепки нервов посол становился совершенно несносным и приличиям.

— Вы врете,— сорвалось у него, наконец, по моему адресу,— Пуанкаре мне это объяснял совсем не так.

Во всякое другое время я имел право тоже вспылить, но в эту минуту обижаться не приходилось: я понимал, что этот выкрик был вызван только горячим желанием как можно лучше выполнить свой служебный долг.

К утру 31 июля последние надежды на сохранение европейского мира улетучились. Оставалась одна забота: как бы не дрогнула в последнюю минуту Франция, как бы не сорвалась мобилизация.

Совет министров под председательством Пуанкаре заседал почти беспрерывно. Унизительный ультиматум Германии, конечно, был отвергнут: надо было быть или наивным, или непомерно нахальным, какими часто проявляли себя немецкие дипломаты, чтобы предложить Франции сохранение нейтралитета в случае войны с Россией и потребовать в залог этого «временную» уступку восточных крепостей — Туля и Вердена; это было равносильно по существу, обездвижению Франции. Однако последнее слово — «Приказ о всеобщей мобилизации» все откладывалось. Я ожидал его с нетерпением и по раздавшемуся около четырех часов дня телефонному звонку уже догадался, что Мессими вызывает меня, наконец, по этому вопросу.

Встреча была сердечная. По одному рукопожатию я понял, что дело сделано. Нервное настроение Мессими отразилось в той телеграмме, которую для точной передачи слов министра я составил первоначально на французском языке тут же в министерском кабинете. Подлинный текст этого исторического документа на русском языке я сохранил себе на память:

«Особо секретно. Срочная. От военного агента. Объявлена общая мобилизация в 3 ч. 40 м. дня.

Военный министр выразил пожелание:

1) Повлиять на Сербию, попросив перейти поскорее в наступление.  
2) Получать ежедневные сведения о германских корпусах, направляемых против нас.

3) Быть уведомленным о сроке нашего выступления против Германии. Наиболее желательным для французов направлением нашего удара продолжает являться Варшава — Позен. Игнатьев».

Последние слова вызывались не только сознанием относительной военной слабости Франции по сравнению с Германией, но и отражали то тяжелое впечатление, которое сохранялось во французских правящих военных кругах от последнего совещания между Жоффром и Жилинским. Я тоже разделял мнение Жоффра об опасностях, связанных с нашим вторжением в Восточную Пруссию. Во мне еще жила академическая теория моего профессора Золотарева об оборонительном значении линии Буго — Нарева, о Привислянском районе, о выгоде глубокого обхода левого фланга австрийских армий, приводившего в угрозе жизненному центру Германии — Силезскому промышленному району. Вот почему, не высказывая своих мыслей французам, я все же не препятствовал их давлению на план наших операций, давлению, которое считается ныне столь преступным многими историками войны.

Телеграмма Мессими уже вскрывала сама по себе будущий основной недостаток в ведении союзниками мировой войны: отсутствие единого руководства.

Я вернулся в посольство с чувством человека, у которого свалилась гора с плеч. Союзники не подвели!

Извольский тоже был доволен, но не без сарказма по адресу «военных» заметил, что «мобилизация — это еще не война»<sup>1</sup>. Эту дипломатическую формулу уже повторяли на все лады в политических кругах Парижа, приписывая ее то Бриану, то самому Пуанкаре.

Было около семи часов вечера, когда, покончив со служебными дела-

<sup>1</sup> La mobilisation ce n'est pas la guerre.

ми, мы вышли с Севастопуло из посольства и вспомнили, что со вчерашнего дня еще не только не спали, но и не ели. Мы уже давно жили, как на бивуаке, подремывая то в том, то в другом посольском кресле в перерывах между телеграммами, совещаниями у Извольского и беготней в министерства. Хороших ресторанов поблизости не было, и мы решили перейти пешком на правый берег Сены.

Царившая во все эти тревожные дни нестерпимая жара как будто спала, и было приятно взглянуть, наконец, на мой милый Париж. Он как всегда был полон очарования, и, остановившись на мосту через Сену, я лишился раз за разом заливался картиной, на которую когда-то мне указала одна очень чуткая француженка: закат солнца светлорозовый, смягченный перламутровой дымкой, свойственной только Парижу. Где-то вдали обрисовывались башни старого Трокадеро.

Ближайшим к Сене рестораном, где можно было хорошо поесть, являлся «Максим», когда-то одно из самых веселых мест ночного Парижа. В нем и теперь было людно, но прежние завсегдатаитонули в толпе самой разночинной публики: солдаты в красных штанах, мастерающей люд в кепках, скромные интеллигенты в соломенных шляпах. Всем этим людям в обычное время не могло в голову притти перешагнуть порог этого фешенебельного ресторана: он был им не только не по карману, но и не по вкусу. Теперь веселье заменилось волнением последних минут перед расставанием со всем, что дорого, перед разлукой с теми, кто мил и люб сердцу. Ровно десять лет тому назад я сам испытал подобные чувства, отправляясь в далекую, неведомую для меня Манчжурию.

По парижскому обычаю, многих мужчин сопровождали их «petits amis» (подружки), и от атмосферы старого «Максима», где когда-то разодетые парижские женщины со своими кавалерами подхватывали хором модные веселые куплеты, оставалась лишь та непринужденность, которая позволяла объединиться всем собравшимся в общем патриотическом порыве.

- За твое здоровье!
- За наше!
- За армию!
- За Францию! — слышалось со всех сторон.

Опытные гарсоны не успевали менять опорожнявшиеся бутылки шампанского. Денег никто не жалел. Некоторые из этих гарсонов, уже уходившие на фронт, принимали участие в общем празднике; гости подносили им полные стаканы искристого вина.

Широчайшие окна витрин и двери были настежь открыты, и скоро ресторан слился с улицей. По ней то и дело проходили кучки молодежи.

«A Berlin! A Berlin!» — подхватывали они в темп марша этот победный клич.

Больно было его слышать. Были ли эти люди только невежественны или просто обмануты? А быть может, они были счастливее меня, не сознавая всей тяжести предстоящей борьбы?

Те же трогательные картины прощания мы встречали и на больших бульварах: незнакомые люди крепко обнимали каждого встречного в военной форме, женщины не отрывали губ в последнем прощальном поцелуе с возлюбленными. Немногим из них было суждено вновь встретиться.

Ровно в 12 часов ночи по приказу военного губернатора «Максим», как и большинство шикарных ресторанов, закрыл свои двери на многие месяцы и годы.

Когда мы с Севастопуло подходили к Опера, нас чуть не сбил с ног бежавший молодой человек без шляпы с перекошенным от ужаса лицом, повторявший только одно имя:

— Жорес! Жорес!..

За ним бежали другие кричавшие уже ясно:

— Жорес! Жорес убит!..

Двигаться дальше оказалось невозможным. Толпа затруднила буль

вары, появилась полиция, и дипломатам в подобные минуты попадать в сутолоку не рекомендовалось.

Севастопуло решил пробраться окольным путем в центр посольского осведомления — редакцию газеты «Фигаро», а я поспешил в военное министерство, чтобы узнать подробности злодействия. Мессими еще не вернулся из совета министров. Меня принял начальник его военного кабинета.

— Это не иначе как дело des camelots du roi (королевских молодчиков), но как это ужасно и как нежестости, — сказал генерал. — Можно опасаться народных беспорядков в день похорон, какой-нибудь новой провокации.

— Да, вы правы, — ответил я, — это незаменимая утрата. Я лично знал Жореса. Он был замечательный человек, и я знаю, какое он имел влияние на народ. Не думаю, однако, что это прискорбное событие могло бы помешать мобилизации. Я только что был на бульварах. Патриотический подъем большой. Ils sont tous bien partis. (Они все хорошо начали поход.)

На следующий день, 1 августа, я услышал ту же фразу от самого Жоффра. Он чувствовал себя уверенным, или, как говорят французы, il s'est bien mis en selle (хорошо сел в седло).

«Всенная машина, — доносил я тогда, — работает с точностью часового механизма».

Где-то, в самой глубине души, тлелилась еще последняя искра надежды, что Германия, убедившись в образованности против нее двух фронтов, в последнюю минуту поколеблется. Вооруженные народы стояли друг против друга, не решаясь на первый удар. Жить в этой иллюзии пришлоось недолго.

«Сегодня в 6 часов вечера Германия объявила нам войну», — прочел телеграмму из Петербурга сидевший против меня за своим громадным письменным столом Извольский и, забыв в эту минуту свой английский сnobизм, перекрестился.

Я невольно взглянул на стоявшие рядом настольные часы. Обе стрелки выравнялись в одну длинную линию, указывая тоже 6 часов: они были поставлены по парижскому времени, и телеграмма из Петербурга бежала по проводам со скоростью движения земли.

В кабинете воцарилась тишина. Извольский, потерев монокль и вынув из кармана батистовый платочек, утирая глаза. Развалившийся против меня в кресле долговязый Севастопуло неожиданно сложился перочинным ножиком и мрачно уставился в землю. Я последовал примеру Извольского и тоже перекрестился, как крестились в наше время русские люди, шедшие на войну. Война мне была хорошо знакома. Но испытания, выпавшие на долю России и русского народа в мировую войну 1914—1918 годов, превосходили в моем сознании все, что можно было себе вообразить...

Первым нарушил тишину Извольский:

— Ну, Алексей Алексеевич, с этой минуты мы, дипломаты, должны смолкнуть. Первое слово за вами, военными. Нам остается лишь помогать.

Спустившись по крохотной внутренней винтовой лестнице в кабинет ярило, чтобы пожать руку коллегам — секретарям посольства, я первым увидел раскормленного на хороших княжеских хлебах молодого лицемера Орлова. Он приехал в Париж в отпуск к своему богатому дядюшке, и его привлекли к работе по шифрованию телеграмм. Он так усердно печатал на машинке, что в первую минуту и не заметил меня, но сидевший рядом с ним малюсенький блондинчик, атташе посольства, барон Х., порывисто подскочил ко мне и, заискивающе пожмав мне руку, сказал по-немецки:

— Gott sei Dank! Jetzt wird schon alles in Ordnung gehen! (Хвала Богу! Теперь все будет в порядке!)

У меня помутилось в глазах.

— Вон! — мог я только крякнуть и ударил при этом так сильно кулаком по столу, что чернильница высоко подпрыгнула, а толстяк Орлов с трудом удержался на стуле.

Барон исчез, а я слова поднялся к посту.

— Вот что случилось,— доложил я.— Пропшу немедленно убрать из посольства этого барончика.

— Я не имею права,— пробовал было успокоить меня Извольский.— надо запросить Петербург.

Но я не унимался:

— Если этот субъект перешагнет порог посольства, то завтра я покину свой пост и уеду в Россию.

Барона больше никто из нас не видел.

Этот урок оказался, однако, недостаточным для посольских сослуживцев. Не прошло и недели, как французский генеральный штаб просил меня принять меры для прекращения телефонных переговоров между русским и австро-венгерским посольством.

Стало известно за представителей России. Я стремительно влетел через несколько минут в кабинет первого секретаря посольства, моего дальнего родственника Бориса Алексеевича Татищева. У него как раз собирались и другие коллеги — вторые секретари: граф Ребиндер, барон Унгерн-Штернберг и граф Людерс-Веймарн.

— Неужели все это правда? — спросил я.

Татищев побагровел от стыда.

— Чего ты горячишься, Алексей Алексеевич? — удивлялись остальные.— Ты же сам знаком с австрийцами. Они такие милые люди, а ведь Австрия формально еще войны французам не объявила.

— Ну так слушайте, — не выдержал я в конце концов, — если вы не поймете того, что произошло, если не измените ваших чувств к России, то попомните мои слова: наступит день, когда на ваше место придут другие, настоящие русские люди. И вот их словам французы будут верить, а в вас скоро извергутся.

— Ради бога! Что ты говоришь! Одумайся, — волновался всегда невозмутимый Татищев.

На следующее утро в посольской церкви по случаю начала войны был назначен торжественный молебен.

Собралась вся русская колония, люд вместо молебна она услышала отпевание: вышедший на амвон настоятель протоиерей Смирнов оказался до того расстроенным, что при первых же словах проповеди расплакался и далее продолжать не мог. Вышел большой конфуз. Смутившийся Извольский обратился ко мне и просил меня выйти на амвон и поправить дело. Я объяснил, что мирянам в церкви патриотических речей произносить не положено. По моему совету, Извольский вышел на паперть и сам произнес несколько слов, покрытых криками «ура!» собравшихся на церковном дворе россиян.

\* \* \*

Во французском генеральном штабе с внешней стороны не было заметно перемен. Все сидели в тех же комнатах и на тех же местах, на которых я заставал их предшественников еще восемь лет тому назад.

Проходя по безлюдным унылым коридорам, я видел на стенах все те же большие батальные акварели — желтоватые пески и холмы, изображавшие поля сражений при Альме и Инкермане. Это всякий раз неизменно напоминало мне о Крымской войне. Неужели у французов не хватало такта заменить эти картины? Всеобщая мобилизация еще как бы не докатилась до этого военного святилища, — «мобилизация — это еще не война» — и поэтому все продолжали сидеть в штатских пиджаках.

Зато во внутреннюю организацию вторгся новый элемент: мой старый знакомый, краснощкий жизнерадостный толстяк полковник Бертело, был назначен, по настоянию Жоффра, помощником начальника штаба, или, по-русски, генерал-квартирмейстером штаба главнокомандующего.

— Зайдите к Бертело, ему надо кое о чем с вами поговорить, — просто и вместе с тем загадочно сказал мне Жоффр.

Бертело сидел уже в соседнем кабинете.

Не будучи избалован в русско-японскую войну работой нашего разведывательного отделения, я был поражен теми, хотя и неполными, сведениями о распределении германских сил, которые мне передавал тонкий генштабист еще до соприкосновения с ними. Согласно этим данным, против Франции развертывались восемнадцать корпусов и от семи до восьми кавалерийских дивизий, а против России — четыре корпуса (I, V, XVII и XX). Не установленными считались четыре корпуса (II, VI, Гвардейский и Гвардейский резервный). Всем было, конечно, прекрасно известно о существовании Гвардейского корпуса, но «не установленным» он считался потому, что на этот день не поступило еще данных о том, куда он будет отправлен — против нас или против французов.

Из-за ненадежности агентского шифра я продолжал передавать подобные сведения дипломатическим шифром за подписью Извольского, что в ту пору было связано с вреднейшей проволочкой времени, а впоследствии могло ввести в заблуждение относительно действительной осведомленности в военных вопросах дипломатов царской России.

Свидание с Бертело положило начало моей основной деятельности в мировую войну: осведомления русской армии о противнике по данным французской главной квартиры. С 1 августа 1914 года по 1 января 1918 года, то есть и спустя три месяца после Октябрьской революции, не проходило ни одного дня, чтобы за моей подписью не поступило в Россию информации. На войне нет ничего тяжелее, чем перерывы в сведомлении о противнике.

\* \* \*

Дома меня ожидал сюрприз. Наш буфетчик, степенный Иван Петрович, доложил, что меня уже давно поджидает какой-то французский военный; и действительно, передо мной в приемной вытянулся солдат-терриориал в красных штанах и потертый шинель старого образца (новая Форма защитного цвета для территориальной армии еще не была заготовлена).

— Mon colonel (мой полковник), солдат первого класса, Лаборд Леон, является по случаю назначения вестовым к «моему полковнику», — чекко отрапортовал человек, которого я не сразу признал.

— Леон Лаборд, так это вы, мой милый граф! — спросил я.

— Ну, конечно, — ответил мне солдат. — Неужели вы позабыли наш вечер у Муммов два года тому назад?

И тотчас перед моими глазами встала одна из картилок беззаботного светского Парижа.

Сижу я как-то окруженный парижанками после обеда у хозяина одной из лучших марок французского шампанского — «Мумм».

Против меня, грея спину у большого каминна, стоит во фраке, в белом жилете стройный блондин с голубыми глазами и упрямым подбородком — граф Лаборд.

— Что же, полковник, — обращается он ко мне, — когда же война?

— Кафая там война, — бравирует я. — Все это только газетные утки.

— Полно, полно. Вы, конечно, многое знаете, — щебечут дамы, — но сказать нам не хотите. Вы ведь в случае войны останетесь с нами, не правда ли?

— А меня возьмете своим вестовым, — пуглит Лаборд. — Мы с вами соратники. Действительной службе в войсках я не подлежу, а для вас могу быть полезен. Вы увидите, как мы хорошо устроимся.

Лаборд пристал ко мне, как человек, твердо знающий, чего он хочет. На следующее утро он позвонил по телефону и, напомнив обещание, просил замолвить о нем слово в генеральном штабе. Отделаться было невозможно, и я скорее для проформы, в спутку, рассказал об этом случае при свидании начальнику 2-го бюро. К великому моему изумлению, полковник обещал передать пожелание Лаборда в инспекцию пехоты, а я совершенно об этом позабыл.

Вот какая случайность доставила мне ценнего и преданного сотрудника.

\* \* \*

Фактическое начало войны не изменило атмосферы посольства. Там погрежнему знакомили меня с бесчисленными телеграммами — копиями донесений наших послов и посланников в Петербург.

Самыми длинными были телеграммы русского посла в Лондоне графа Бенкендорфа. Уроженец балтийских провинций, этот несметно богатый старик провёл чуть ли не всю жизнь в Лондоне и своим уравновешенным спокойствием представлял полную противоположность Извольскому. Бенкендорф считался незаменимым для дипломатических отношений с Англией: ее государственный и политический строй требовал особых качеств от посла. Между прочим, все свои депеши он составлял на французском языке: по-русски он писал с трудом и получил когда-то «высочайшее» разрешение не пользоваться родным языком даже для сношений с собственной страной.

С точностью фонографической пластиинки Бенкендорф передавал в своих телеграммах бесконечные переговоры с Греем:

«Я просил Грея... Грэй ответил... Я возразил Грею...» и т. д.

Эти донесения напоминали нам о том, что Англия была отделена от первого континента и напряженной парижской атмосферы хоть и не широким, но очень глубоким проливом.

Сцена, разыгравшаяся передо мной во французском генеральном штабе через несколько часов после объявления Германией войны Франции, была в этом отношении особенно характерна.

Постучав и приоткрыл дверь в кабинет начальника 2-го бюро, полковника Дюпона, я заметил сидевшего ко мне спиной английского коллегу, полковника Ярд-Буллера — сухого, молчаливого и на вид весьма недалекого джентльмена. Не желая мешать беседе, я собирался уже скрыться за дверью, но Дюпон настойчиво просил меня войти.

— Вы не будете здесь лишним. Вот рассудите, как мне понимать молчание вашего коллеги? Он и сейчас еще не хочет сказать, можем ли мы рассчитывать на вступление его страны в войну.

Любезно со мной поздоровавшись, Ярд-Буллер продолжал упорно молчать, а на все мои расспросы вежливо отвечался неполучением инструкций от своего правительства.

Невесела была наша беседа с Дюпоном после ухода моего английского коллеги. Я никогда не забывал тех трех томительных дней, которые отделяли объявление войны с Германией от вступления в войну Великобритании.

Так велико было морское и экономическое могущество Англии, что со вступлением в войну на нашей стороне вся Германия воскликнула в один голос: «Gott, strafe England» (Боже, покарай Англию!)

\* \* \*

Кроме дипломатической работы, с первого же дня мобилизации я должен был заботиться о судьбе русских военнообязанных во Франции.

Двор посольства неожиданно наполнился толпой соотечественников, настойчиво требовавших оформления их отношений к военной службе, а вскоре и двор стал тесен, и люди всех возрастов и состояний стали, по требованию французской полиции, в очередь, растянувшуюся до самого Сан-Жерменского бульвара. С трудом удавалось пробиться до дверей посольской канцелярии. В открытые окна кабинета Извольского, где обсуждались вопросы войны или мира, доносился гул нетерпеливой толпы.

Вначале я был уверен, что вопрос о призыва под знамена, подобно другим личным делам иностранцев за границей, касался только консультских властей, тем более что в инструкции для военных агентов об этом вовсе не упоминалось. На деле же оказалось, что наш генеральный консул, престарелый Карпс, как и все посольские коллеги, считал ответ-

ственным за судьбу русских граждан во Франции именно меня — военного агента. Наши граждане без оформления официальными властями их отношения к военной службе могли быть отправленными во французский концентрационный лагерь.

Когда я вышел в первый раз к толпе, из нее уже раздавались крики негодования за долгое бесплодное ожидание и прямые угрозы по адресу русских представителей. Особенно выделялся своим громким голосом и громадным ростом молодой бронет, заявлявший о своем желании быть отправленным немедленно на фронт. Я не помню его фамилии, но не забыл его трагической судьбы. Будучи зачислен, как и большинство русских, в Иностранный легион, он после первых недель войны стал во главе соотечественников, возмущившихся против бесчеловечного к ним отношения со стороны французских унтерофицеров, привыкших иметь дело только с теми подонками общества, которыми в мирное время комплектовался Иностранный легион. Многие вступавшие на службу в Иностранный легион меняли свою фамилию, как бы отрекаясь от своего прошлого, точь-в-точь как при поступлении в монастыри люди меняли свои имена. Нравы в легионе были особые: процветала порнография, пьяница, разврат, но надо всем довлеяла железная дисциплина и мунтрана, поддерживаемая не только изощренными методами наказания, но и хорошими тумаками кадровых сверхсрочно служащих унтерофицеров.

В течение войны не проходило ни одного кровопролитного сражения, в которое французское командование не бросало бы легион. Его нечего было жалеть. Много раз сменил он свой состав и, несмотря на это, берег традиций своей непревзойденной боевой дисциплинированности. В результате после войны эта «презренная» часть проходила на пардах не в хвосте, а в голове всех других полков, первой среди первых заслуживших высшую боевую награду — красный аксельбант на правом плече.

Суровая военная школа перевоспитывала во Франции людей, и лучшими войсками на войне показали себя также полки пограничного ХХ корпуса и зуавы: они комплектовались преимущественно из парижан или, что то же, из самых необузданных сорви-голов.

Возмущение русских легионеров, людей преимущественно интеллигентных, царившими в легионе порядками вполне объяснимо, но, к сожалению, оно вылилось в кровавый бунт против командования, да и тому же в момент, когда эта часть занимала передовые окопы. Улучив минуту, русские проникли в унтер-офицерскую землянку и зверски избили своих угнетателей. Расправа была жестокая: полевой суд приворил бунтовщиков к расстрелу.

На следующее утро, получив об этом известие во французской главной квартире, я бросился к главнокомандующему, объяснил ему, что причина преступления лежит в непонимании русскими французского языка, французских нравов и добился помилования. Увы! Приговор к этому времени уже был приведен в исполнение.

Главным виновником определения русских в Иностранный легион я всегда считал самого Мессими. Он знал «порядки», царившие в легионе и тщательно скрывавшиеся от иностраных дипломатических представителей. Для меня же, не посвященного в это, предложенный военным министром выход из положения представлялся в день мобилизации единственным спасительным якорем, ибо доступ в регулярные воинские части для иностранцев был строго воспрещен.

\* \* \*

Принимая в свое ведение во дворе посольства неорганизованную и разъмущенную толпу, я не пренебрегал встретить в ней столь разнообразные и даже враждебные друг другу элементы. В первую очередь я вызвал к себе нескольких офицеров, находившихся случайно проездом или в отпуску в Париже. Они настаивали на немедленной отправке их в Россию, но все сухопутные границы оказались уже закрытыми, и де-

вступления Англии в войну выезд морем был невозможен. Я попросил офицеров потерпеть и помочь мне в работе по регистрации соотечественников. Через несколько часов двор посольства превратился в своеобразное воинское присутствие: за столиками сидели мои импровизированные помощники и ставили наскоро изготовленные печати военного агента на представляемые документы.

— У меня паспорта нет!

— Я никогда его не получал!

— Я должен переговорить с самим военным агентом.— таинственно заявляет третий, еще не старый гражданин, сохраняющий под штатским пиджаком военную выправку. Он оказывается одним из офицеров саперного батальона, поднявших восстание в 1905 году и бежавших за границу. Теперь война призывает его вернуться в свою армию. Приходится принимать решение.

— Я эмигрант, враг царского режима,— заявляет другой.— Никаких документов у меня нет, но я желаю защищать свою родину от проклятых немцев.

Таких приходится уговаривать не возвращаться в Россию. Некоторые из эмигрантов-патристов не послушали моего совета и были арестованы русскими жандармами при переезде через французскую границу.

— Я беглый матрос из Кронштадта!

— Я из Севастополя!

— Я бежал от еврейского погрома из Бердичева!

В конце концов я узнал тот Париж, о котором имел представление только понаслышке; я познакомился с бесчисленными обитателями пятого парижского района, почти сплошь заселенного русскими евреями — фурманчиками, я увидел впервые людей, для которых царская Россия была не матерью, а злой мачехой.

Под шум толпы и постукивание печатей пришлось принимать самостоятельно ответственные решения.

Посол и генеральный консул давно умыли руки, и я послал следующую телеграмму в Главное управление генерального штаба в Петербург:

«Признал необходимым разрешить всем русским гражданам и в том числе политическим эмигрантам вступать по моей рекомендации на службу во французскую армию. Пропу утверждения».

Оно последовало, как обычно, лишь после того, как дело было в точности закончено.

В те дни я считал, что перед лицом общей опасности должны смолкнуть внутренние политические распри, но, конечно, не предполагал, что мое решение в отношении революционной эмиграции облегчит мне связи с ее представителями в дни февральской революции, а на старость дней доставит удовольствие встретить среди советских товарищей старых парижских знакомых.

\* \* \*

Я всегда ценил свой пост в Париже из-за того разнообразия, которое характеризовало работу военного агента, и той самостоятельности, которую она предоставила. Однако последние пережитые дни оставили после себя впечатление какого-то тяжелого кошмара. Тщетно старался я регулировать часы работы, сосредоточить мысли, не разбрасываться. Как дипломаты, так и военные представители за границей оказывались в положении жалких щепок, втянутых в бурный водоворот исторических событий. Это чувство полной беспомощности вызывало потребность связи со своей родиной или хотя бы с родной семьей. Но я был предоставлен только самому себе. От начальства ни одной директивы, ни одного осведомления, а любящая душа где-то далеко-далеко, отрезанная закрытием всех европейских границ.

Единственным нравственным удовлетворением являлось выступление против общего врага наших союзников-французов и потому-то 3 августа,

в день объявления войны Германией, я почувствовал, что гора свалилась с плеч: Россия не оказалась одинокой.

Относительная слабость французской армии, ее техническая отсталость — все это искупалось в этот день общим патриотическим подъемом нации.

«Да здравствуют кирасиры! — Да здравствует армия!» — услышал я под вечер из окон моей канцелярии.

То выступал в поход 1-й кирасирский полк, казармы которого распологались как раз по соседству. Я выглянул и не поверили своим глазам: в 1914 году, через десять лет после русско-японской войны, на откорыленных конях ехали стройные всадники, закованные в средневековые кирасы, покрытые для маскировки желтыми парусиновыми чехлами! Такие же чехлы скрывали и наполеоновские каски со стальным гребнем, из-под которого спускался на спину всадника длинный черный хвост из конского волоса. Судьба этого несчастного полка, была, конечно, предрешена. После тяжких потерь он был превращен в пехоту, но, сохранив свои боевые традиции, поддерживал честь полка, атакуя немцев с карabinами на перегородках в кровопролитных боях под Ипром.

Кирасиры прошли, служебные дела закончены, и около десяти часов вечера я решил, наконец, раздеться и с чувством исполненного долга заснуть.

Большое створчатое окно моей спальни выходило на гарк Марсова поля, где над низенькими деревцами и декоративным кустарником висела черная громада Эйфелевой башни. Ночь была особенно тихая, беззвучная, и вершина башни уходила, казалось, куда-то в небо.

Тра-та-та-та — раздался вдруг совсем близко зловещий треск старого манчжурского знакомого пулемета. Со временем Мукдена мне не приходилось его слышать.

Он работал с одной из площадок Эйфелевой башни, но по какой цели? Где же враг? На земле все спокойно, — очевидно, враг был в воздухе.

Накинув снова пиджак, я спустился на пустынную улицу и зашагал по направлению к Сене, рассчитывая найти там более широкий кругозор и выяснить причину продолжавшейся ночной стрельбы. Под воротами соседних домов столпились растерянные жильцы верхних этажей.

С набережной открылась неповторимая картина: на черном небе выступала светло-желтая масса формы толстой сигары — цеппелин, под которой можно было различить даже кабины экипажа — настолько ярко это чудовище было освещено скрещивающимися лучами французских прожекторов. Оно плавно и не быстро двигалось в восточном направлении, преследуемое белыми облачками французских шрапнелей. То вела огонь полевая батарея, расположившаяся на зеленом пригорке Трокадеро. Казалось, еще вчера проезжал я на утренней верховой прогулке мимо этих столь знакомых мест.

«Началось!» — подумал я, как когда-то, услышав канонаду под Ляояном.

Утром я уже оделся в военную форму, с тем чтобы расстаться с ней только после окончания мировой войны.

## Глава вторая

### НАЧАЛО МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

Отъезд мой в главную квартиру состоялся 9 августа 1914 года.

Основной документ франко-русского союза — протокол совещания начальников генеральных штабов — предусматривал, что связь между союзными армиями при возникновении войны будет осуществляться через военных агентов, для чего французский военный атташе в России будет состоять при ставке главнокомандующего, а русский — при французской главной квартире.

В день, назначенный для отъезда из Парижа, я встал рано и особенно тяжело почувствовал свое одиночество в давно опустевшей квартире, кому было меня проводить, некому благословить на ратное дело, как гда-то провожали и благословляли на родной стороне перед отъездом манчжурскую войну.

Укладыраю самое необходимое для жизни и работы в небольшой одногородый ящик — французскую офицерскую кантику. Ящик сбит из убых прочных досок, окрашен в серую краску, а на крыше красными хвами написано: «*Attaché militaire de Russie*» (русский военный атташе).

Другого багажа брать нельзя. Разстаюсь на долгие годы со штатским рдеробом и облачаюсь в походную форму — высокие салоги, защитный гель, походные ремни с полевой сумкой, в которую приходится сложить агентский шифр, благо он не громоздок. На грудь прицепляю только ордена: Владимира с мечами, полученный за Мукден, и офицерский ст Почетного легиона — последний как знак внимания к французам. Дебряных аксельбантов, присвоенных офицерам генерального штаба, старой манчжурской традиции не надеваю.

Выходя из квартиры, не знаю, на какой срок покидаю ставший уже меня родным Париж. Завтракаю наспех в посольстве, чтобы прощаться с Извольским. Он крайне удручен моим отъездом.

— Что же я буду без вас делать? Не могу же я остаться без воинского сотрудника!

— Я об этом подумал, — отвечал я, — помощнику моему, ротмистру губатову, я, конечно, ничего поручить не могу, — он еще совсем мальчик, и притом ничего в военных делах несмыслящий. Но мне, однако, предложением услуг явился полковник Озношибин. Он, правда, от военного дела отстал, — в Париже обслуживал великих князей, обленился, все же когда-то кончил академию, хорошо знает Францию и французов. Извольский, как обычно, вспылил:

— Озношибин? Я знаю только, что он хорошо исполняет цыганские танцы.

— Он получил от меня все инструкции, я оставляю ему военный фр, и он будет передавать мне все вопросы и пожелания вашего окопревосходительства, — успокаивал я раззолинавшегося посла.

Последовавший через несколько дней после этого разговора молниеносный разгром Бельгии вызвал полную растерянность в нашем посольстве: Извольский вызвал к себе Озношибина.

— Скажите, полковник, чем вы объясняете такую быструю сдачу бельгийских крепостей? Пуанкаре уверяет, что у немцев очень большие шкоты, но для донесения мне необходимо дать какие-нибудь более подобные сведения. Какие же это пушки? — допрашивал посол.

— Так точно, ваше окопревосходительство, у немцев очень большие пушки, — глубоко вздохнув, ответил городной, хорошо откормленный ликовник, подтягивая брюшко и от волнения сидя почтительно уже наном кончике стула.

— Вот каков ваш импровизированный помощник! — с возмущением ловился мне впоследствии Извольский.

В два часа мне надлежало явиться во внутренний двор *Cour de l'Orloge* военного министерства, где меня должен был ожидать автомобиль, чтобы отвезти в главную квартиру. Местоположение ее держалось в секрете, и мне его не сообщали. Это недоверие показалось мне обидным: в Манчжурии всякий офицер знал, где ночует Куропаткин!

Казенных легковых машин во французской армии еще не существовало, и для командного состава были реквизированы частные, а владельцев обращены в шоферов. В первые же дни войны хорошие машины ли быстро разобраны, а мне досталась какая-то крохотная, совсем никакая, открытая машина, принадлежавшая небогатому коммерсанту и ершенно несоответствующая моему положению представителя русской армии. Проводниками оказались жандармы с карабинами; они расселись в купотопный небольшой грузовичок, на который стали грузить почту.

После довольно продолжительного и раздражавшего меня ожидания,

мы, наконец, двинулись в путь, и я рассчитывал, быть может в последний раз, взглянуть на еще недавно столь оживленный Париж.

С первых же дней войны он, правда, опустел: такси не работали из-за экономии горючего, а пассажирские автобусы были предназначены для подвоза на фронт продовольствия. Окна их были заменены сетками, а к полкам приделаны большие крюки для подвески мясных туш. Жизнь беспечной и богатой страны перестраивалась на военный лад. Я должен был, впрочем, это заметить еще в первый день войны, когда вместо любимого слюеного «круассана» мне подали сероватый ситный хлеб.

Мне хотелось проехать через центр города еще и потому, что через него шел путь в Порт-Сен-Дени в северной части города. Развертывание германских армий и наступление их через Бельгию к этому дню уже определилось, и потому я решил, что лучшим местом для расположения главной квартиры должен быть город Амьен. Отсюда, как мне казалось, можно было удобнее всего направлять контрудары как в северном, так и в восточном направлениях, во фланг наступающим из Бельгии германским армиям. Амьен был кроме того одним из важнейших железнодорожных узлов Франции, достаточно при этом удаленным от границ. Меня таким образом тянуло на север, а вместо этого машина с жандармами, не переезжая на правый берег Сены, покатила прямо к восточному выезду из города — Порт де Вансен.

Вот и Вансенский лес, когда-то самое популярное место для отдыхающих парижан, вот и зеленые скаты Вансенского форта, в глубоких рвах которого были расстреляны еще несколько дней тому назад сотни профессиональных взломщиков, воров и хулиганов; полиция давно была с ними знакома и использовала осадное положение для очищения столицы от подобных элементов, особенно опасных в военное время.

У самых ворот города, предназначенных в мирное время для взимания городского налога с горючего, построена из добротных дюймовых досок деревянный палисад с бойницами. Восемнадцать лет тому назад я вычерчивал на уроках фортификации в Пажеском корпусе подобные укрепления, но нам еще тогда объясняли, что палисады из дерева с введением на вооружение современных винтовок потеряли свое значение.

У ворот — первая остановка для проверки документов, остановка вполне «безопасная», так как бородач-террорист в форме старого образца при просмотре держит ружье у ноги. Но чем дальше мы удаляемся от города, тем эти остановки становятся опаснее: в каждом городе, селе, а особенно в маленькой деревушке, перед вздигнутыми поперек дороги баррикадами из телег, столов и стульев стоит охрана, преимущественно старики, кто с винтовкой, а кто просто с охотничьей двухстволкой. При осмотре приходится сидеть под направленным на тебя дулюм заряженного ружья. Их смущает моя военная форма, а в особенности погоны и фуражка: они принимают их за германские, и меня спасает только орден Почетного легиона. Все твердо убеждены, что какие-то вражеские машины прорвались через границу и носятся по всей стране. Каждый хочет защитить свой родной угол.

Мой шофер возмущался этим непочтительным ко мне отношением, а я лишний раз оценил высокоразвитое чувство патриотизма у французов. «Ах, кабы у нас так относились к общему делу обороны», — думал я тогда, не мечтая, что доживу до тех дней, когда Революция перекует наше население в новых, советских людей.

Сквозь облака пыли, подымаемые ехавшей впереди машиной (гудронированных дорог в ту пору еще не существовало), я не переставал любоваться разнообразием сменявшихся пейзажей нарядного цветущего центра Франции — провинции Иль де Франс. Влево от дороги расстилась живописная долина Марны, а гираво ласкающие взор рощи и луга воскрешали картины Ватто, Коре и Робера. Оскорбляли глаза, как, впрочем, во всех европейских странах, торчавшие то тут, то там вдоль дороги безобразные щиты — рекламы торговых фирм, изображавшие то голого смеющегося ребенка с намыленной головой, то краснощекую рожу монаха за бутылкой ликера. Но и они в этот день не казались столь пошлы-

ми. Мне хорошо были знакомы разрушения, чинимые войной, и больно было подумать, что всему этому красивому миру, всем этим рощам и лужайкам, деревушкам и древним замкам суждено быть может погибнуть под грубым сапогом германской солдатни.

Чем дальше мы продвигались на восток, тем больше переезжали перекрестков, тем сильнее хотелось приказать шоферу свернуть на север. Меня тянуло к нему точь-в-точь, как стрелку в полевом компасе. Скоро и ласкающая природа сменилась выжженными пальящим солнцем полями.

Жара продолжала стоять невыносимая. Мелькают скучные виноградники Шампани, цветущий Эперне, неприветливый Шалон, а мы все продолжаем путь в восточной границе. Мне ясно, что наней-то и развертывается французская армия. В моем понимании это должно было привести к неминуемой катастрофе, настолько я был убежден в наступлении главных германских сил через Арденны на Париж.

День склонялся к вечеру, когда мы неожиданно свернули с большой дороги и, пересекши ярко-зеленый луг, обсаженный широчайшими пирамидальными тополями, въехали в небольшой городок Витри ле Франсуа. Нас остановили только на центральной площади, заявив, что путешествие окончено: мы находились уже в расположении французской главной квартиры.

Первым, что привлекло мое внимание, были пулеметы, установленные на одной из соборных башен (зениток в то время не существовало). Я не знал тогда еще немцев, я долго не мог поверить всем возводившимся на них обвинениям в варварском способе ведения войны. Наше поколение было воспитано на уважении к немецкой культуре, и потому рассказы стариков-французов, участников войны 1870 года, о диких нравах германских улан мы были склонны принимать за жалобы побежденных на победителей. Вот почему мне казалось, что бомбардировки немцами церквей как наблюдательных пунктов объяснялись тактическими требованиями и что пулеметы на соборе являлись как раз оправданием для подобной стрельбы. Но прошло немного времени, и я мог убедиться, что разрушение памятников входит в доктрину германского империализма, а разницы между разрушением и грабежом для германской армии тоже не существует.

Через несколько минут, получив в комендатуре свой *Billet de logement* (билет на квартиру) и пройдя по улице, я уже постиг ту беспросветную скучку, на которую меня обрекала служба при французской главной квартире. Никто не мог себе объяснить, в силу каких соображений Жоффр упорно выбирал для своего штаба только небольшие и самые захудальные города, не в пример немцам, которые, по доходившим до нас слухам, располагались в самых живописных замках. Вильгельмовские генералы грабили их до тла. Внешняя скромность Жоффра хорошо скрывала внутреннее честолюбие, и он ее, пожалуй, подчеркивал в назидание другим генералам, как пример республиканского демократизма.

Витри ле Франсуа был типичным провинциальным французским городком. Центральная соборная площадь ожидала только в течение двух часов воскресной обедни и в базарный день. Тут же, вблизи площади,— мэрия, двухэтажный каменный дом с развевающимся национальным флагом на крыше. Двери этого дома с хоропо начищенным медными ручками открываются редко, главным образом для свадебных кортежей. Внутри он пахнет не то ладаном, не то чернилами.

Неотъемлемой принадлежностью города является так называемый бульвар, состоящий из двух рядов невысоких, но чрезвычайно толстых черных стволов лип. Верхушка их представляет безобразные нарости в виде кулаков, образовавшихся от многолетней ежегодной осенней стрижки ветвей. Весной эти черные нелепые столбы покрываются сперва красными молодыми побегами, а затем светлозелеными куполами нежной листвы. Они не всегда успевают даже зацветать и не дают почти никакой тени, но французы особенно ими гордятся.

— *Qu'ils sont beaux nos tilleuls!* (Как хороши наши липы!) — говорят

они. Кроме этого бульвара, в городе нет зелени: «La ville ce n'est pas la campagne!» (город — это тебе не деревня!).

Вся жизнь — радости и печали, любовь и ненависть — все в провинциальном городке должно быть, тщательно прикрыто за вековыми каменными стенами домов и наглухо закрытыми серыми ставнями. Окна открываются только для утренней уборки квартиры и для проветривания летом перед закатом солнца.

По улицам можно гулять, но нигде нельзя присесть. Это не «распущенний Париж с его скамеечками для влюбленных парочек».

Провинциалы ложатся и встают с петухами. На первый взгляд трудно разгадать, чем они заняты целый день. Мужчин можно встретить только вечером, каждого в его излюбленном закопченном от времени «бистро», за бокалом кофе и рюмочкой коньяку.

Поселен я был у местного нотариуса. Он отвел для меня лучшую комнату с роскошной кроватью, покрытой розовым шелковым пуховиком. Все это так мало было похоже на войну! О ней напоминал только сам хозяин: каждый вечер он терпеливо ждал моего возвращения со службы, чтобы узнать новости с фронта. Газетам даже он, провинциал, уже перестал верить.

— Скажите, господин полковник,— умоляюще спрашивал мой хозяин, намекая на немцев,— как вы думаете, придут «они» сюда?

Голос его при этом ото дня в день все более дрожал: все его клиенты ушли в армию, дела остановились, и он уже чувствовал себя глубоко несчастным. Зато по утрам я получал совершенно обратное впечатление от его тестя, небольшого сухого старичка с седой бородкой клинышком по моде Наполеона III.

— Пусть придут! — заявляет он.— Пусть придут! Я им покажу, что это для них не семидесятый год!

Не прошло и десяти дней, как в одном из таких же городков, далеко к югу от Витри-ле-Франсуа, я, проходя по главной улице, увидел мчащийся мне навстречу небольшой двухколесный шарabanчик.

— Куда вы, куда вы? — закричал я, узнав в седоках нотариуса и его тестя.

— Я должен был спасти дела моих клиентов, — старался объяснить свое бегство нотариус.

— А я, — сказал старичок, — уехал только из-за необходимости: мой мясник уехал, пришлось и мне уехать.

Мои друзья мчались на юг, не предрешая конца своего путешествия.

Гнетущая тишина провинциального городка приходилась как нельзя больше по вкусу той мирной обители, которую представила из себя французская главная квартира.

Жоффр жил в небольшом домишке в три комнаты. При командующем состояло только два officiers d'ordonnance (адъютанта). Один из них, старший капитан Тузелье, взятый из запаса, кроме обязанностей службы, заведывал и несложным хозяйством главнокомандующего. Обслуживающий персонал Жоффра тоже был немногочислен: два вестовых и два шоферов, из которых старший — все тот же маркиз Альбюферса; забыв про Жокей-клуб, он исправно мне козыряет, ожидая во дворе: права входа внутрь здания он не имел.

С маленьким окружением главнокомандующего я познакомился тотчас после приезда, получив приглашение к обеду. Это был высший знак почета, которого я удостоился только два-три раза за всю войну. Скромный бюджет главнокомандующего не позволял никаких приемов. В крохотной столовой был накрыт стол на шесть приборов: кроме начальника штаба, совершенно бесцветного генерала Беллена, и его помощника, толстяка Бертельо, постоянным гостем считался только капитан Тардье — мой старый парижский знакомый. Форма альпийского стрелка с беретом придавала ему довольно воинственный вид. За ним ухаживали как за единственным представителем прессы, да к тому же и депутатом. Беседа, лишенная всякого живого интереса, прерывалась минутами гробового молчания. Много воды утекло, пока я сам постиг, что эта скуча представляет на войне великую силу — результат внутренней дисциплиниро-

ваниности, силу, отодвигающую на задний план личные дела, засирающую в прочный сейф все военные вопросы и не допускающую засорение ума праздной болтовней и, что самое опасное, слухами и сплетнями.

В своем скромном спокойствии французская главная квартира своеобразно отражала геронческое настроение этого периода войны во Франции. Личные интересы были оставлены там, где-то далеко в тылу.

В работе самого штаба также ничто не выдавало внешних событий и внутренних переживаний. Ни беготни, ни суеты, ни бесплодных ожиданий начальства. Никто мне не сказал, что вход куда бы то ни было, кроме 2-го разведывательного бюро, мне воспрещен, нигде не было немецкой надписи «Verboten» или русской «Вход запрещен», но в том-то и состоит секрет французов, что сдним подчеркнуто-вежливым приветствием, одним банальным вопросом о здоровье или погоде они умеют дать понять, что посетителю в комнате оставаться не следует. Отказ от приема облегчается, кроме того, строгим соблюдением общепринятого правила — не входить в помещение не постучавшись.

В первые дни я оказался единственным иностранцем в этом своеобразном французском мире, отделенном от всего окружающего мира невидимой, но непроницаемой стеной.

Бюро штаба располагалось в двух больших зданиях образцовой школы, соединенных стеклянной галереей. Она-то и была отведена для занятий русскому военному атташе и представителю прессы. Целыми днями мы сидели с Тарье друг против друга за большим столом, умпрая не только от скуки, но и от жары. Ни писем, ни частных телеграмм из главной квартиры не принимали, это было нам объявлено в первый же день приезда. Утром разрешалась верховая прогулка, но только на зеленом лугу на окраине города. Я пытался было через несколько дней поехать на фронт или хотя бы осмотреть окрестности, но для этого оказалось необходимым испросить разрешение самого Жоффра, а об этом никто не смел заняться.

Порядок дня по своей строгой регламентации напоминал мне монастырь или кадетский корпус. Подъем в пять часов утра, черный, очень скверный кофе (не зная порялков, в первый день я так и остался без кофе) с куском серого хлеба, выдававшимся в самом помещении школы. В полдень — перерыв на завтрак в одном из городских ресторанов-столовок «Popotes», там же в шесть часов столь же скверный обед, а в десять часов вечера — сигнал для всех, кроме ночной смены.

— Все это возмутительно, вы должны протестовать! — негодовал Лаборд, но я улыбался и молчал. Если в мирное время надо было держать французов «в порядке», не допуская даже в мелочах умаления собственного положения как представителя союзной армии, то в военное время надо было ограничиваться только тем, что может принести пользу собственной армии и общему делу.

Я хотел доказать, что мною руководят исключительно интересы службы, что мне можно доверять, как «строгому исполнителю» всех правил, установленных военными законами (таков был текст первого параграфа русского дисциплинарного устава).

Первые же недели, проведенные во французском военном «монастыре», создали для меня то положение, которое не могли поколебать впоследствии ни парижские, ни петербургские интриги.

Строгая регламентация в работе всех органов французской главной квартиры распространялась и на мое служебное положение: я, по понятиям генерала Жоффра, должен был сообщать в Россию главным образом сведения о противнике, но эти сведения передавались мне французами лишь после их «окончательной и документальной» обработки: в этом французская главная квартира не хотела вводить в заблуждение нашу далекую Ставку. Так думал Жоффр, так подсказывал здравый смысл. Но Огенквар (Управление генерал-квартирмейстера русского генерального штаба) продолжал и в военное время считать меня подчиненным только ему, требовал отправки всех телеграмм в его адрес в Петроград. Там они пролеживали два-три дня для расшифровки и перевешивания (в многомиллионной русской армии шифровальщиков найти было трудно)

и в конце концов сама ставка получала подчас самые срочные сведения только тогда, когда они теряли свое значение. Обидно было сознавать, что причиной задержки в осведомлении являлась исключительно нала бюрократическая неорганизованность, тогда как никаких технических затруднений по передаче телеграмм не встречалось. Не только башня Эйфеля для радиопередач, но и датский кабель, связывавший Россию с Францией, минуя Германию, работал бесперебойно.

Получение мною сведений о противнике облегчалось тем, что во главе разведывательного бюро в течении всей войны стоял мой старый парижский знакомый, полковник Дюпон. Угрюмый, неразговорчивый и невзрачный на вид полковник-артиллерист с пенсне на носу и вечной трубкой в зубах, он производил внешне впечатление вялого лентяя, а на самом деле был одним из лучших и наиболее культурных работников генерального штаба. Полковник Дюпон «умел читать» (это дано не всякому), много размышлял, и хотя редко, но зато кратко и ясно писал. Его бисерный почерк, которым он писал почти без поправок, отражал дисциплинированность его мысли — результат долгой работы над самим собой. Такой же работы он требовал и от подчиненных; он никогда не горячился, не выходил из себя, но все его боялись. Я сохранил о нем благодарное воспоминание за то, что многому от него научился.

Перед Дюпоном висела большая стенная карта театра военных действий.

Карта французского генерального штаба всегда представляла предмет моего восхищения и зависти.

Военный человек, будь то главнокомандующий или скромный разведчик, поставив перед собой задачу, вырабатывает план, который должен быть пронизан насквозь основной идеей маневра. При этом, однако, для принятия окончательного решения он должен уметь «читать» каргу так, чтобы она становилась для него живой картиной местности и даже природы. В прогивном случае его план будет представлять мертвую и в большинстве случаев невыполнимую схему. Одноцветные русские и германские карты, несмотря на многолетнюю работу по ним, живой картины мне не давали; их приходилось «подымать» цветными карандашами: синими — речки и ручьи, зелеными — леса, коричневыми дороги и т. д.

Карта, висевшая перед Дюпоном, как хорошая картина, запечателась в памяти навсегда: слишком много было пережито над ней тяжелых дней. У верхнего северного края испещренная черной сетью железных дорог — Бельгия. Как два часовых на ее юго-восточной границе стоят две современных крепости — Льеж и Намюр. Где-то на отлете, к северо-западу, запирает устье главной бельгийской реки Эско Анвер (по-русски и по-немецки — Антверпен), это чудо крепостной техники и военная гордость маленького королевства. Его отделяет от Франции буро-зеленая полоса лесистых Арденн, просеченных только двумя-тремя красными жилками — будущими путями вторжения германских армий. Они должны разбиться о «неприступную», по мнению французов, современную крепость Мобеж, которая оседлала главную двухколейную железную дорогу на Париж. Весь театр будущих сражений прорезан в восточной части двумя притоками Рейна — Маасом и Мозелем, текущими в северном направлении, и притоками Сены — Уазой, Эн и Марной, текущими в западном направлении. Оба бассейна разделены буроватой полоской Аргонских возвышенностей.

Восточный край карты, окаймленный широкой светлозеленою долиной Рейна, представлял потерянные французами в 70-м году дорогие их сердцу Эльзас и Лотарингию. Этот район рассматривался нашими союзниками как плацдарм для вторжения в Германию, как исторический и естественный барьер против нашествия немецких полчищ.

Все это не могло служить оправданием для пренебрежения французским командованием Северного фронта.

Современная линия Мажино была представлена в ту пору цепью устарелых крепостей: на севере — Верден, а далее Туль, Эпиналь, Бель-

фор, запирающие проходы живописных Богезов до черневших на карте Дюпона неприступных швейцарских Альп.

Как канва паутины, стягивающаяся к пауку, со всех сторон стягивалась к Парижу сеть французских железных дорог. (Эта особенность потребовала, между прочим, впоследствии больших усилий от железнодорожных обществ для организации параллельных к фронту магистралей, необходимых для войсковых перебросок.)

\* \* \*

В первый же день моего приезда, 9 августа, в Главную квартиру общей положение на Западном фронте (то есть французском, в отличие от Восточного, как было принято именовать русский фронт), мне уже представлялось тяжелым: передовые германские корпуса вторглись в Бельгию, первоклассная крепость Льеж пала, и только несколько фортов еще геройски держались под огнем тяжелой германской артиллерии. Прибывший из Брюсселя для связи мой бельгийский коллега тяжело вздыхал, жалуясь на отсутствие поддержки со стороны французов и англичан. Первой моей заботой было уточнить номера германских корпусов, которые, по данным французской главной квартиры, находились на каждом из двух фронтов, а затем, выполняя возложенную на меня задачу, доносить о перебросках неприятельских сил с французского на русский фронт.

Вопрос этот представлялся настолько серьезным, что теперь я могу писать о нем, не полагаясь только на одну память, а основываясь свои суждения на тех документах, которые мне удалось вывезти после революции из Франции и сдать на хранение в Исторический архив нашей Красной Армии.

Задача моя облегчена, кроме того, тем, что мои скромные сотрудники, писаря, не покинули меня подобно офицерам после Октябрьской революции, не перешли в стан белогвардейцев, а с любовью и сознанием долга перед родиной помогали составить документальный «Отчет о деятельности русского военного агента во Франции 1914—1918 годов».

Так, 11 августа я телеграфировал:

«Из числа не установленных еще корпусов, VI и Гвардейский находятся на Западном фронте, а из одиннадцати кавалерийских дивизий, формируемых немцами в военное время, девять уже действуют против Франции.

Бельгийская армия,— добавлял я,— действует в полной связи, но на нее надежда плохая. Английская армия, вероятно, запоздает к решительному столкновению, которое, по моим расчетам, должно произойти в конце недели. Нашему решительному наступлению от Варшавы на Позен придется большое значение ввиду выгоды для нас использовать наше превосходство на германском фронте. Настроение войск превосходно. В главной квартире — тоже спокойное и уверенное», — писал я своим, памятуя о настроениях нашего командования после Баффонго, Ляояна и Сандепу. Мои расчеты на решительное столкновение были основаны на тех же отрывках разговоров, которые мне с трудом удавалось уловить в окружавшей меня молчаливой среде.

Ценным моим осведомителем оказался Лаборд. Он обедал в своей компании шоферов, которые возили на фронт то того, то другого офицера связи или генерала. Таким образом я узнал, что Кастьельно атаковал немцев на восточном участке Западного фронта, но нарвался на заранее минированные немцами поля. Когда еще за пять лет до войны один из копенгагенских осведомителей рассказывал мне о заминированных участках, то я, признаться, с трудом ему верил, как не принимал долго всерьез и рассказы французов о постройке немцами в мирное время бетонных площадок в самой Франции под видом полов для гаражей у богатых помещиков. Действительно, Германия была единственной страной в Европе, основательно подготовившей мировую войну.

Перегруппировка французской армии потребовала в первую очередь срочной переброски на север французской кавалерии под начальством генерала Сорде. По словам Лаборда, она почти целиком погибла от непо-

сильных переходов в страшную жару и отсутствия воды в Арденнских горах. Стальным кирасирам, голубым гусарам и конно-егерям пришлося первым бесславно заплатить за ошибки первоначального неправильного развертывания французских армий.

«В это время уже развивались,— доносил я 15 августа,— энергичные операции немцев в Бельгии: перебросив сильную кавалерию на северный берег Мааса для демонстрации против бельгийской армии, сосредоточенной к северо-западу от Льежа, немцы двинули прямо на запад со стороны Люксембурга 8 корпусов (II, IV, VI, VII, IX, X, XI и Гвардейский); которые к сегодняшнему утру должны были дойти до Мааса на узком фронте от Намюра до французской границы. На активные действия бельгийской армии во фланг германскому обходу рассчитывать трудно, ибо в ней уже есть стремление запереться в Антверпене. В этом же духе ожидаются здесь с нетерпением сведения от генерала Лагиша о наших действиях, но он пока ничего не донес».

Таким образом за весь период времени от вторжения немцев в Бельгию до 16 августа, то есть за пятнадцать тревожных для французов дней, никаких сведений — ни от Лагиша, ни от Огенквара, ни из Ставки не поступало. Лишь в этот день, в десяти часам вечера, пришла первая пиркулярная телеграмма с ориентировкой о действиях на русском фронте:

«Наши мобилизации прошли в блестящем порядке. До 1 августа противник на нашу территорию только в Завислянском районе».

Досадным казалось, что как раз в этот район на левом берегу Вислы проникли не мы, а немцы.

«Надежные сведения о группировке противника,— говорилось далее в телеграмме,— указывают нахождение против нас на германском фронте лишь пяти корпусов мирной дислокации, и то, вероятно, не полностью, а на австрийском — двенадцати корпусов».

Отрадно было узнать, что сведения мои о пяти корпусах, находившихся против нас, считались надежными, однако, самих номеров корпусов Ставка упорно не сообщала — по той, очевидно, причине, что она этого не знала, как не знали и мы когда-то в Манчжурии размеров теснивших нас японских сил.

И наоборот, во французской главной квартире после первой же недели мне удавалось изо дня в день проверять присутствие на Западном фронте германских частей и появление то одного, то другого полка или бригады II и V германских корпусов, числившихся на русском фронте.

Восточный фронт продолжал оставаться для меня загадочным, что лучше всего видно из следующей телеграммы, посланной мною 20 августа, то есть через три недели после начала войны:

«Вернувшись из главной квартиры на несколько часов в Париж по делам службы, я был принят военным министром, который, как и все, интересовался сведениями об успехах нашего вторжения в Германию. Между тем сведения, получаемые мною для ориентировки, указывают лишь на столь незначительные действия передовых частей, что я принужден скорее умалчивать о них, с тем чтобы наши союзники притписывали моей неосведомленности отсутствие известий о серьезных операциях с нашей стороны. Министр совершенно серьезно допускает возможность нашего вторжения в Германию и движение на Берлин со стороны Варшавы. Если, по нашим соображениям, мы не предполагаем предпринимать в течение ближайших дней серьезных наступательных действий против Германии, то нахожу необходимым, в целях сохранения союзнического доверия, дать французам какие-либо серьезные объяснения о причинах, заставляющих нас отложить наступление на известный срок. В этом отношении необходимо считаться с тем, что французский главнокомандующий был извещен непосредственно французским послом в Петербурге Палсологом о нашей готовности к операциям к 1 августу и что, согласно последнего договоренного протокола штабов, наши армии могут начать серьезное наступление с 20 дня мобилизации, который для нашей армии истекает сегодня».

Я тогда не предполагал, что сражаясь у Гумбциена, русские войска окажут серьезную помощь союзникам.

Между тем действия в Бельгии продолжали разыгрываться стремительным темпом: был взят Брюссель, обложен Намюр, бельгийская армия отходила к Антверпену.

Сообщая мне эти сведения, скромный, уже немолодой полковник — мой новый бельгийский коллега — выразил мне между прочим свое удивление по поводу отсутствия русского представителя в его армии. Наш военный агент генерального штаба, подполковник Майер, в первый же день войны выехал из Брюсселя в нейтральную Голландию, где он тоже был аккредитован, что, конечно, произвело дурное впечатление на страну, решившую мужественно защищаться против разбойниччьего германского нападения. Мне казалось необходимым поддержать русский престиж, и этим-то и объясняется моя поездка в Париж, где я уже наметил своего представителя при бельгийской армии. Это был молодой гвардейский штаб-ротмистр Прежбяно, бывший паж, неказистый на вид, но прекрасно воспитанный и идеально владевший французским языком. Рано осиротев, он еще до выпуска в офицеры оказался владельцем богатейших имений в Бессарабии, что, по его понятиям, уже одно должно было открывать ему любую дверь, в какую он бы ни постучался. В этом маленьком уродце была заложена исключительная энергия, направленная на создание собственной карьеры. Он уже давно бросил строевую службу и еще корнетом добивался назначения в распоряжение одного из военных агентов. Русские деньги позволяли ему хорошо жить за границей. Искренность в его понятиях не могла считаться добродетелью. Словом, он был фигурой во всех отношениях мало достойной. Но выбора у меня не было.

— Ваш представитель в Бельгии имеет, повидимому, свое собственное осведомление, — сказал мне однажды Дюпон, показывая листовку на английском языке о небывальных победах, одержанных русской армией, о горящих немецких городах, о бежавших в панике германских корпусах. Произведя расследование, я с ужасом узнал, что автором подобной информации оказался Прежбяно.

— Их (то есть бельгийцев) необходимо было подбодрить, — развязно объяснял он мне, — и я не виноват, что соседи-англичане перехватили мою информацию.

Катастрофа, которую я предвидел, как следствие неправильного плана развертывания французских армий, выразилась в бесплодных попытках французского командования оказать Бельгии помощь. Германская армия выполняла с первого же дня войны разработанный в мирное время план вторжения через Бельгию, разбивая по частям перебрасываемые на север французские корпуса. Ни номеров этих корпусов, ни подробностей боевых действий мне, конечно, никто не сообщал.

Разобраться в обстановке мне помогал отчасти милейший и очень дельный английский майор Клэйв, прибывший в главную квартиру для связи и организации железнодорожных перевозок. Мы с ним быстро сошлись, и благодаря ему я мог заранее предупредить наше командование о предстоящем «решительном сражении в Бельгии», которое в истории получило название «Пограничного сражения».

«Великое сражение началось, — доносил я 22 августа. Настроение в главной квартире спокойное, но уже более серьезное, в Париже — несколько нервное. Имея основание готовиться к худшему, продолжаю находить весьма желательным какое-либо серьезное действие против находящихся на нашем фронте пяти германских корпусов, так как это помимо действительного для нас успеха одно может поддержать дух Франции в тяжелые минуты. Меня все более зацикливают вопросами о нашем вторжении в Германию, на что я всеми силами стараюсь подготовить союзников к неизбежной длительности характера кампании, которая неминуемо должна закончиться победой».

Слова телеграммы «тяжелые минуты» объясняются некоторыми подробностями, полученными мною от того же моего неофициального осведомителя Лаборда: главный удар правофланговых германских армий был направлен против выдвинутой в Бельгию 5-й французской армии гене-

рала Ларензака. По словам Лаборда, она была наголову разбита. Беженцы запрудили все дороги и сеяли панику среди войск и без того деморализованных поспешным отступлением. То тут, то там вдоль шоссе валялись тела убитых французских солдат: на груди их белел кусок бумаги с краткой надписью, объясняющей их смерть: «Traître» (предатель). Проходившие мимо солдаты плотнее скимали ряды, а унтеры и офицеры грознее наводили порядок в отступающих ротах.

Суровость, проявлявшаяся французскими командирами для поддержания боевой дисциплины в трагические минуты, вначале меня поражала. В одном из знакомых мне пограничных пехотных полков произошел такой случай. Рота был выдвинута для активной обороны небольшого, но важного в тактическом отношении моста. Под натиском передовых германских частей необстрелянная рота дрогнула и стала отходить к речке.

— Ни с места! — тщетно кричал командир роты, перебегая по стрелковой цепи от одного взвода к другому, но, убедившись, что его слова не действуют, он выхватил револьвер, застрелил двух взводных и задержал отступление. Мост был спасен.

Демократическая свобода мирного времени потребовала суровой дисциплины для ведения войны.

В тихой штабной обители про поражение 5-й армии никто не упоминал, и только сидевший против меня Тардье по секрету сообщил, что «хозяин» уехал на фронт наводить порядок. Как оказалось, эта поездка явилась для Жоффра одним из самых тяжелых испытаний: толстяк Ларензак был его личным другом и, кроме того, справедливо считался одним из умнейших французских генералов. Это не помешало Жоффру принять решение об его увольнении, но он предпочел объявить это своему другу лично. Военному человеку нельзя бояться тяжелых объявлений и лучше объявить об увольнении с глазу на глаз.

\* \* \*

25 августа началось наступление немцев на Париж.

Немцы овладели уже всей территорией Бельгии, форты Льежа пали. Намюр был взят, Антверпен обложен, английская же и французская армии постепенно отступали под концентрическим давлением превосходящих немецких сил, которые, перекрыв через Арденны, дошли до линии Валансан — Мобеж — Монмеди. Вот та первая линия, сведения о которой были мне, наконец, сообщены.

«Вся эта картина, — заканчивал я в тот же день свою телеграмму, — в связи с характером боев дает мне основание предполагать, что французские армии перейти в наступление в ближайшем будущем уже едва ли смогут...

На мой взгляд выясняется, что весь успех войны зависит всецело от наших действий в ближайшие недели до переброски на наш фронт германских корпусов (эти строки телеграф, к сожалению, не давал возможности подчеркнуть).

Переброска германских сил будет облегчена находящимися в их распоряжении бельгийскими железными дорогами, порчи коих, к сожалению, несущественны. Кроме того, немцы, вероятно, нарушают нейтралитет Голландии.

Потери с обеих сторон громадны вследствие ожесточенного характера сражений и открытого наступления пехоты днем. Во многих французских пехотных полках они достигли 50 процентов. Дух армии продолжает держаться надеждой на окончательный благоприятный исход и выручку с нашей стороны».

От моих настойчивых просьб получить осведомление о происходящем на русском фронте Ставка отделалась, наконец, следующей ни к чему не обязывающей отпиской:

«Ввиду нетерпения, с которым французское правительство относится к нашему наступлению в Германию, начальник штаба верховного главнокомандующего просит ваше высокопревосходительство (то есть Изволь-

ского) сообщить нижеследующее французскому высшему командованию для исключительного его сведения: наступательное движение наших войск против Германии производится большими массами и выполняется с наибольшей возможной скоростью, совместной с требованиями благородства (!). Ныне в Восточной Пруссии разрешаются стратегические задачи, и как только это будет выполнено, явится возможность более скорого развития дальнейших наших наступательных операций».

В то же время моя информация о действиях на Западном фронте становилась день ото дня все обширнее. Она позволила мне, начиная с 28 августа, в моих ежедневных телеграммах в Россию рисовать более полную картину наступления германских армий.

В этот день я доносила:

Германские армии представляются мне как бы разбитыми на три группы:

А) Северную — правофланговую, состоящую из трех армий:

1-я — ген. Клука, II, IV, IV рез. и III корпуса.

2-я — ген. Бюлова, IX, VII и X корпуса.

3-я — командующий неизвестен, Гвардейск. и 2 Саксонских корпуса.

Вся эта группа наступает уступами справа, причем правофланговая 1-я армия в направлении Валансьен — Сен-Кантен, коего она достигла сегодня, 15/28 августа, к вечеру.

2-я армия отделила два корпуса для осады Мобсжа.

3-я армия наступает на юг между Мобежем и Арденским лесом.

Б) Средняя группа: две армии.

4-я армия принца Биркенбахского — VIII, VIII резервн., VI и XVII резервн.

Эта армия наступает на Маас на фронте от Арденского леса до Виртона.

5-я армия кронпринца — V, XIII, XVI корпуса — наступает на фронте от Виртона до Вердена.

Атаки этих двух армий сегодня, 15/28 августа, отбиты.

В) Левая группа — лотарингская — две армии:

6-я армия, принца Баварского:

I, II и III Баварские корпуса.

XXI и III резервн. корпуса.

7-я армия генерала фон Херингтон — XIV и XV корпуса.

Обе эти армии дерутся день и ночь с французскими армиями в равных силах на фронте от высот впереди Нанси до Богезов.

Утомление войск сильное с обеих сторон: потери, особенно с немецкой стороны, громадные, но дух французской армии превосходит. Все солдаты на день ожидают нашего вторжения вдоль левого берега Вислы».

«16/29 августа 1-я правофланговая германская армия, имея уступом слева 11-ю армию, стремительно и безостановочно двигаясь на Париж, достигнув Сен-Кантена сегодня утром, стала проникать еще более на запад, стремясь захватить переправы на Сомме, обороняемые англичанами. Немецкий кавалерийский корпус направляется на Шольн (Chaulnes), где он должен был сегодня натолкнуться на значительные французские силы. 5-я французская армия, сосредоточенная за рекой Уаз, перешла в решительное наступление во фланг обходящим немецким колоннам в направлении Сен-Кантена. Общее руководство этой решительной операцией принял на себя сам генерал Жоффр. На всех остальных фронтах ведутся кровопролитные бои, приближающие нас, на мой взгляд, к концу первого периода войны».

Контратака 5-й французской армии «против немецкой гвардии и X корпуса блестяще удалась, и немцы были отброшены с большими потерями», однако, опасение 5-й французской армии быть отрезанной от остальных армий заставило главнокомандующего отказаться от решительного действия 5-й армии, тем более что на стороне французов не было преобладающих сил.

Открывшаяся передо мной картина планомерного наступления германских армий представляла положение с часу на час все более и более серьезное. Когда я, по обыкновению, зашел к Дюпону около шести

часов утра 30 августа, он подвел меня к карте и, расставив пальцы, стал отмерять только что нанесенную углем линию фронта от Парижа.

— Вот положение к сегодняшнему дню,— сказал он мне.— Судите сами.

Он уже, вероятно, знал про полученные за ночь донесения о неудачных атаках, но, как обычно, не сообщал мне о них до окончательной проверки.

Париж! Он представлял для нас с Дюпоном в это утро совсем не то, что для хладнокровных исследователей войны!

После полудня я уже отправил следующую телеграмму:

«17/30 августа обходящая левый фланг германская армия неудержимо двигается на Париж, делая переходы в среднем около 30 километров, и к вечеру этого дня достигла линии Морель, Руа, Нуайон<sup>1</sup>. Против Мобежа оставлены резервные войска. На мой взгляд, вступление немцев в Париж вопрос уже дней, так как французы не располагают достаточными силами, чтобы перейти в контратаку против обходящей группы без риска быть отрезанными от остальных армий. В силу той же причины удачная контратака корпусов 5-й армии против гвардии и X корпуса не могла быть развита сегодня (17/30 августа), виду решительно веденного наступления двух саксонских корпусов против IX французского корпуса, немецкая гвардия и X корпус понесли громадные потери, так как находились все под огнем трехсот французских полевых орудий. На восточном лотарингском участке фронта утомление обоих противников в связи с громадными потерями привело сегодня к усиленной канонаде без особо важных столкновений. I Баварский корпус отправлен в Мюнхен для полного переформирования вследствие потерь, достигших 75 процентов. За 5-й германской армией открыты две новые резервные сводные дивизии, составленные из эрзац-батальонов разных корпусов».

Не скрывая этой телеграммой от русского командования истинного положения вещей, я не мог предполагать, что причинил этим, как я узнал впоследствии, столько хлопот французскому послу в России Палеологу. Из приятного и бесцветного собирателя питерских сплетен высшего света этот потомок греческих королей и богатейших одесситов, узнав о моей телеграмме, превратился в грозного Зевеса: он горячо убеждал Сазонова, что «только такой паникер, как Игнатьев», может сомневаться в полной безопасности Парижа! Прозорливость почтенного дипломата не дала ему возможности предусмотреть бегства его собственного правительства из Парижа в Бордо.

«Общее впечатление,— доносил я на следующий день, 18/31 августа,— что немцы, миновав разделявшие их Арденские возвышенности, выравнили полукруг своих армий и, равняясь по обходящему флангу, концентрически будут наступать на Париж. Французы, удерживаясь пока с успехом на Восточном фронте, также концентрически отходят на центральный массив. Дух в войсках остается превосходный; в главной квартире настроение, конечно, удрученное, но вполне спокойное. Переданное мной сегодня содержание телеграммы из Петрограда о трехдневных боях 12/25, 13/26 и 14/27 августа в Восточной Пруссии в районе Сольдау—Алленштейн—Битофсбург и занятие нами Алленштейна, известное уже из газет, не подняло духа в штабе, так как сведения об этих боях подтвердили опасения французов о затяжке наших операций в Восточной Пруссии».

Так думал штаб — французская главная квартира, которая была уже окрещена названием Гран Кю Же (от сокращения тремя начальными буквами CGQ названия французской главной квартиры Grand Quartier Général), но не так реагировала на наше вторжение в Восточную Пруссию французская пресса.

Широкой, в палец толщины стрелой, обозначались на первых страницах таких газет, как «Матэн», наш поход на Берлин, представляв-

<sup>1</sup> Города юго-западнее Сен-Кантена.

шийся уже не мечтой, а действительностью. В эти тяжелые дни германского нашествия наши успехи явились единственной могучей поддержкой духа французского народа.

Такой пламенный патриот, как академик Баррас, продолжал кампанию в своей газете «Эко де Пари» в течение долгого времени и еще 8 сентября 1914 года писал: «L'arrivée des cosaques à Berlin, gérontons le encore, elle est prochaine, non immédiate, mais immédiatement l'Allemagne va être renseignée sur l'approche des Russes» (Приход казаков в Берлин, повторяю мы еще раз, произойдет вскоре, но не тотчас же, а Германия будет тотчас осведомлена о приближении русских).

Соображения, переданные в моей телеграмме об отходе на центральный массив, зародились после бесед с моим другом — подполковником Бертелеми — помощником Дюпона. Он был гораздо более общительным, чем его начальник, и оказался единственным моим компаньоном по посещению полутемного закопченного «бистро», где после скучного обеда мы позволяли себе «украшать жизнь» чашкой черного кофе.

— Что же,— говорил Бертелеми,— существуют военные принципы, которые должны оставаться незыблыми при всех обстоятельствах, и первым из них является сохранение живой силы. Для этого можно пожертвовать и Парижем, который защищать несложно, но занимать противнику тоже трудновато; подобная операция потребовала бы от немцев немало дивизий, тогда как нам будет представляться возможность задерживаться последовательно на Марне, на Сене и отходить на центральное плато. Район этот богатый, плодородный, базироваться сможем на Лион, Марсель, Тулузу; артиллерийские заводы и арсеналы останутся в наших руках: немецкие армии непременно растянутся, и это даст нам возможность действовать по внутренним операционным линиям.

— Да,— отвечал я,— мы тоже всю эту стратегию хорошо изучали в академии, но живая сила зависит столько же от материального, сколько от морального состояния армии и страны.

— Ну, в этом вы, кажется, сомневаться не можете,— заканчивал всякий раз Бертелеми, приводя сведения о быстром восстановлении духа даже в потерпевшей поражение 5-й французской армии.

«18/31 августа положение резко ухудшилось. Англичане, отступавшие все последние дни за французские войска (18/31), занимали линии Суассон-Компьен, однако, при известии о наступлении немцев неожиданно покинули позиции, оголив совершенно левый фланг 5-й французской армии, расположенной вокруг Лаона. Правофланговая немецкая армия, повидимому, свернула с направления Парижа и предприняла глубокий обход левого фланга французских армий, центр которых занимал вчера линию Лаон — Реймс — Верден. На лотарингском участке Восточного Фронта — без перемен.

Сегодня утром, 19 августа (1 сентября), немецкая радиотелеграмма известила о полном будто бы поражении нашей 2-й армии под Тайненбергом, что мы приписываем фабрике фальшивых сведений».

«Обойденная с фланга 5-я французская армия сумела за сегодняшний день выйти из трудного положения и отойти за реку Эн к востоку от Суассона. Для облегчения отхода 1-я армия перешла в частичное наступление. Германские армии к сегодняшнему дню достигли следующих результатов: кавалерийский корпус силою в три дивизии, поддержанный, как всегда, пехотой, прошел Компьенский лес.

1-я германская армия дошла до линии Мондидье — Руа.

2-я германская армия — впереди Ретеля.

3-я германская армия — к западу от Монмеди.

4-я германская армия — к востоку от Стене.

5-я германская армия не перешла еще на левый берег Мааса между Стене и Верденом.

6-я и 7-я германские армии — повидимому, истощены в непрерывных боях».

«Дух французских армий, совершающих ежедневно чудеса храбрости, — превосходный, несмотря на необходимость отступать без победы».

В то время как в Витри ле Франсуа тяжелые события на фронте не нарушали спокойного уравновешенного порядка жизни, из Парижа мой заместитель Ознобишин 1 сентября сообщил мне:

«Посольство с минуты на минуту ждет приказания об отъезде. Бордо и приняло все меры, а именно: берут с собой лишь самые секретные дела, остальное все жгут, так как наше посольство в случае занятия Парижа немцами несомненно подвергнется разграблению и разрушению. Что касается нашего архива, то я сложил все, что было в железном шкафу в сундуке, который увез с собой. Остальные дела (не секретные) я положил в железный шкаф — пусть лежат там, а лишние секретные издания статистического характера прикажу сжечь в момент нашего выезда. Посольство уезжает целиком, никого здесь не оставляя».

Вспомнился бравый казачий есаул под Мукденом, посланный на розыски брошенных при отступлении повозок с архивами. «Нашли, господин полковник», — докладывал он, — нашли, но, чтоб не отдать японцам, все сожгли».

«Ничего не жечь, — телеграфировал я Ознобишину, — приеду сам».

На рассвете мой автомобиль уже мчал меня в Париж. Около полудня я очутился на узкой улице Гренель перед закрытыми массивными воротами нашего посольства. Через минуту меня радостно приветствовал француз-консьерж, старый служака, знакомый мне еще со времен Нелидова. Он очень обрадовался и, сняв фуражку с красным околышем, формы, присвоенной русскому министерству иностранных дел, почтительно доложил:

— Какое счастье! Вы приехали весьма кстати. Эти господа, — указал он глазами на открытые настежь двери канцелярии, — чуть ли не сожгли дома! В такую жару затопили калорифер центрального отопления, чтобы жечь в нем бумаги.

— Неужели это правда? — пришлось лишний раз спросить у Татищева.

— А что ж такого? — невозмутимо ответил он мне, допивая один из бесчисленных стаканов пива, к которому питал чрезмерную слабость после долгой службы в Берлине. — Это ведь копии, а подлинники донесений найдутся в Петрограде.

— Не знаю, найдутся ли, — усомнился я.

Какие-то смутные предчувствия о неизбежных грозных потрясениях в России уже зарождались в душе.

— Да к тому же, сжигая архивы, — пробовал я образумить Татищева, — вы уничтожаете ценнейший рукописный материал о пребывании в Париже Александра I во главе русской армии 1814 года, о революциях 1830, 1848 годов, Парижской Коммуне, подлинные черновики писем таких интересных послов, как князь Орлов, граф Киселев и другие.

— Неужели в Париже мало надежных подвалов? Поручили бы мне. Я бы нашел таких верных французских друзей, что сам корт не тронул бы ваших бумаг!

Спорить с людьми, не знающими цены историческим документам, впрочем, не стоило, и я поднялся в кабинет к Извольскому, у которого уже сидели Севастопуло и Карцов. Все трое о чём-то горячо спорили.

— Вот скажите, Алексей Алексеевич, — набросился на меня посол, — войдут немцы в Париж или нет?

— Мне не удалось побывать в германской главной квартире, — улыбнувшись, ответил я, — и планы ее мне неизвестны. Могу только доложить, что сегодня ночью немецкий авангард ночевал в Шантанье (будущее место расположения французской главной квартиры в 40 километрах к северу от Парижа), что разъезды неприятеля были уже замечены с внешних фортах столицы и что с востока, через Марнену, я проехать уже не мог. От этого до оккупации немцами Парижа еще далеко: французская армия отступает в полном порядке.

— Вот всегда военные не могут дать точного ответа, — вспылил уже пунцовый не то от волнения, не то от нестерпимой жары Извольский. —

Вы понимаете, что если немцы придут сюда, то первого, кого они расстреляют, так это меня.

— Ну, что ты, Александр Петрович,— дрожащим от страха голосом успокаивал и себя и посла генеральный консул (я был поражен, что Карцов обращается к послу на «ты». Консулы в России были не в почете, они считались дипломатами второго сорта, и Извольский тщательно скрывал свое родство с Карзовым). — Ты вот мне лучше скажи, — продолжал старик, — оставаться мне в Париже или уезжать в Бордо?

— Я тебе в конце концов не губернантка, — уже не сдерживая себя, закричала «начальство». — Одно только знаю, что если бы я был на своем месте, то, конечно, никуда бы не уехал.

Но Карцов не растерялся и остроумно ответил:

— Вот в том-то только и беда, дорогой, что ты не на моем месте, а я не на твоем!

Тут уже все дружно рассмеялись.

Чтобы не пропустить на следующий день поезда, мои посольские коллеги решили ночевать в гостинице при вокзале, хотя он буквально находился в трех шагах от посольства.

Оставленный мною при Озношине Шегубатов поступил еще «мудрее».

В качестве моего официального помощника этот, с позволения сказать, гвардейский штаб-ротмистр взял на себя охрану секретного сундука, погрузил его в мою собственную машину, заехал за своей дамой сердца, полусоветской львицей, и приказал моему шоферу взять направление на запад.

— Как я мог этого ожидать, — пыхтел Озношин, объясняя невозможность зашифровать мою телеграмму в Рюссию.

Шифр уже указал с Шегубатовым в спасительное Бордо.

Над русским посольством взвился не известный мне дотоле флаг из трех подос: желтой, красной и черной. Русская империя поручила свои интересы в опустевшем Париже испанскому королю!

Два месяца спустя, проезжая через Париж, я телеграфировал Извольскому в Бордо:

«Распорядился убрать испанские флаги. Простите самоуправство».

Правительство бежало, дипломаты за ним последовали, банкиры давно удрали, красивые витрины в роскошных магазинах закрылись серыми металлическими ставнями, но Париж стал еще прекраснее: его широкие авеню казались еще просторнее, его старинные дворцы — еще величественнее, а на центральной площади Конкорд чувствуя полную свободу, рассаживались на перилах в часы досуга, как воробушки, веселые мидинетки и, болтая ножками, беззаботно рассматривали в небе пролетавших изредка «таубе» — голубей, как прозвали парижане вражеские самолеты.

## Глаза третья

### МАРНА

Марна — какое ласкающее слух слово, какое красивое, чисто женское название реки!

Кто бы мог подумать, прогуливаясь в воскресный день по ее светло-зеленым берегам или катаясь в лодке под нависшими над рекой живописными ивами, что этой речке суждено будет обагриться кровью сынов французского народа, стать свидетельницей того внезапного подъема духа в отступающих французских армиях, который доставил им победу!

Моральная сторона войны столь трудно поддается учету, что современники, не желая над этим задумываться, окрестили сражение между 6 и 9 сентября 1914 года «Чудом на Марне». Красавица-река стала легендарной.

Мне выпало на долю быть свидетелем событий этих дней. Они стали историческими, но в ту пору ничем не нарушили того установленного порядка дня и работы, которые всегда отличали французскую главную квартиру. Если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что происходит даже не «Чудо», а просто битва, решившая участь всей войны,— я бы ему не поверил. Как и все французские товарищи, я лишь продолжал исполнять свои обязанности, стремясь использовать боевые столкновения для проверки сведений о противнике и для передачи, насколько это позволял телеграф, картины происходившего.

Не только военные атташе, ограниченные в своей деятельности, но и сами участники сражения не могут писать истории: у них нет для этого самого главного — неприятельских документов, по которым только и можно делать правильные выводы о талантливости собственного высшего руководства, о храбрости и стойкости войск и, наконец, о степени трудностей, встреченных на пути к победе, а у меня, кроме того, в то время не было всех сведений, по которым можно было судить о могучей поддержке, оказанной в эти дни русской армией Франции.

Кроме того, современникам не всегда удается быть хорошими историками. При оценке военных событий они не в состоянии отрешиться от невольного пристрастия к той или другой армии, стране, ее государственному строю, от воспринятого еще на школьной скамье вкуса к той или иной военной доктрине.

Да простят же мне историки ту неполноту данных, которая помешала мне тогда, в дни Марнского сражения, представить его во всем величии и военной поучительности.

\* \* \*

В первые три дня по возвращении моем из Парижа операции на фронте явились естественным продолжением грозного и, казалось, безудержного наступления германских армий.

«1-я и 2-я германские армии,— телеграфировал я уже 3 сентября,— будут, повидимому, стремиться отрезать французскую армию от Парижа, в то время как их 3-я, 4-я и 5-я будут стремиться отрезать французов от восточных крепостей».

Опасное положение правофланговой 1-й германской армии фон Клука и 2-й армии фон Бюлова стало выясняться уже 4 сентября:

«Армии эти уже достигли реки Марны, не оставляя ничего против Парижа,— сообщал я, а в телеграмме от 5 сентября уточнял это так:

«Опасное положение 1-й германской армии, имеющей с фланга парижскую армию, должно быть причиной начала генерального сражения».

Этот прогноз основывался не только на движении германской армии, но и на тех отрывочных сведениях о положении французских армий, которые мне удавалось извлекать из бесед как с Бертело, так и с начальником 3-го оперативного бюро, подполковником Гамеленом, бывшим ординарцем и любимцем самого Жоффра.

Я встречался с Гамеленом еще в довоенное время. Он был самый толковый в окружении будущего главнокомандующего, и я привык готовиться с ним, когда приходилось проводить во французском генеральном штабе какой-нибудь деликатный вопрос.

Я никогда не получал французского *Ordre de bataille* (боевого расписания), но к началу Марнской битвы расположение французских армий представлялось мне так: на крайнем левом фланге из каких-то резервных частей и первых прибывших из Африки полков сформировалась парижская армия под командой призванного из запаса, но бодрого старичка генерала Манури. Вправо от нее отходила куда-то на юг английская армия фельдмаршала Френча, где-то еще правее отступала 4-я армия Лангль де Кастильи, о 3-й французской армии Саррайля я совсем не слыхал, а о 1-й и 2-й знал только, что ими командует мой старый знакомый Гастельно, продолжавший сражаться фронтом на восток.

Оригинальные проекты почти всегда зарождаются одновременно у сильных людей.

Мысль использовать опасное положение правого фланга германских сил возникла внезапно у обоих ответственных военачальников — у новокомандующего Жоффра и у военного губернатора Парижа, генерала Галлиени, который с отъездом правительства в Бордо, явился почти единственный диктатором столицы.

Идея эта явилась основой победы на Марне. Не только современники даже историки не смогли решить вопроса, кому обязана былация своим спасением. Бесконечные споры по этому поводу долгое время разделяли французский военный и политический мир на два лагеря — Жоффра и Галлиени, вызывая даже обширную полемику в прессе и военной литературе. Разрешение споров затруднялось, кроме того, чисто враждебными личными отношениями между главными виновниками-возникшими разногласий.

Во Франции было во много раз меньше генералов, чем в России, и поэтому они все хорошо знали друг друга, а Жоффр и Галлиениались, вдобавок, старыми сослуживцами, причем Галлиени, командовавший когда-то войсками на Мадагаскаре, привык смотреть на Жоффра на своего подчиненного — начальника инженерной обороны острова. Служба в колониях налагала на французских генералов особый отпечаток: она развивала в них самостоятельность, независимость, предполагала широкое поле для применения административных способностей, но в то же время отрывала на несколько лет от жизни метрополии и превращала их в провинциалов, группировавших вокруг себя своих поклонников, из которых формировалась так называемые Petites belles (маленькие часовенки).

Оторванность от правящих кругов вызывала в них болезненную подозрительность, и Жоффр усматривал в каждом шаге своего бывшего юнкера какую-нибудь интригу, ведущуюся против него в Париже. Галлиени в свое время умел оценить Жоффра как выдающегося администратора, но не мог примириться с низведением себя на роль подчиненного. Мне мало пришлось иметь дела с этим генералом, хотя вскоре на Марне он занял пост военного министра. Высокий, с непомерно широкой талией и сплюснутой большой головой, близорукий, он казался штатским, одетым в военную форму, что, конечно, не соответствовало страстной привязанности к военному делу, его скрытому, но яркому темпераменту.

Узнав о соскальзывании 1-й германской армии по периферии введенного ему парижского района, Галлиени, еще до получения директив Жоффра, как всякий хороший командир, стал рваться в бой. Вместо живой обороны столицы, он твердо решил выйти из скружающих ее ров, собрать в кулак все небольшие силы и, перейдя в наступление, решительно наказать зазнавшегося противника за его пренебрежение к исключительному гарнизону.

Ему принадлежит пальма первенства в применении на поле сражения моторизованной пехоты: собрав все такси Парижа, он использовал для переброски на север целой марокканской дивизии во фланг армии Клука.)

Немцы увлеклись преследованием французских армий, — после первого сражения они считали их уже разбитыми. 1-я и 2-я германские армии продвигались на юг, ставя себя в опасное положение. Жоффр еле этот момент удобным для общего перехода в наступление.

Так думали французские полководцы, но маленький седой упрямый рик, английский фельдмаршал Френч, не разделял их мнения. Вытащив свои войска из тяжелого положения еще после попытки помочь британской армии, Френч решил больше не рисковать, и если помогать союзникам, то помогать благородно.

Опыт уже давно показал, что одной из труднейших задач в военном деле является согласование действий союзников.

Не было буквально ни одного дня, когда кто-нибудь из них не допу-

стил бы тот или иной член gaffe — ляпсус, который я для курьеза занес в свою записную книжку военного агента.

Предупреждать и ликвидировать подобные «гаффы», сглаживать перехватости в отношении высоких начальников — все это ложится на плечи одних и тех же лиц из их окружения, роль которых в разрешении великих задач почти всегда недооценивается. От них требуется одно, и самое редкое, качество — природный такт: способность учитывать при обращении с людьми условия обстановки, характеры, привычки, а иногда и слабости их начальников.

Много пришлось мне встретить на своем жизненном пути людей умных, образованных, талантливых, но как редко удавалось иметь дело с людьми тактичными.

Мой старый приятель, английский полковник Вильсон, будущий маршал, в дни Марны был только помощником начальника штаба Френча.

Я познакомился с ним в Париже, еще на французских маневрах 1906 года. Мы оба одинаково полюбили Францию, и это сблизило нас навсегда.

Мужественный, громадного роста, сухой, с лицом, изборожденным смолоду волевыми складками, сидет, бывало, Вильсон в кресле, закинет ногу на ногу высоко-высоко и слушает долго, терпеливо собеседника или докладчика, не выпуская из зубов вечной трубы. Он был способен выслушать, не моргнув, самую тяжелую истину, и только вглядываясь пристальное в черты его лица, можно было угадать или горькую усмешку, или сердечную боль, а чаще всего тонкую, полную английского юмора иронию.

В дни Марнского сражения Вильсон несомненно сыграл большую роль: он понимал, что французы ставят все на карту и что англичанам с их небольшими силами надлежит согласовать все свои действия с союзниками. Благодаря ему английская армия хотя и с чрезмерной осторожностью, но все же выполнила свою роль.

Задача Вильсона затруднялась тем, что с самого начала войны отношения его начальника Френча с командующим соседней 5-й французской армией Ларензаком, властным и горячим южанином, были крайне натянуты.

Трудно иногда бывает определить, воинская ли часть обязана своей репутацией командиру, или наоборот. Каждый корпус французской армии комплектовался на территории своего округа и ярко отражал все качества или недостатки его населения. I корпус, квартировавший в мирное время в Лилле, состоял из северян — сильных белобрысих великанов, угрюмых, но честных солдат. Такими они показали себя в первых боях.

Пылкие болтливые южане, уроженцы солнечной Ривьеры и жаркого Марселя, не выдерживали первых боевых столкновений на Лотарингском фронте и зачастую попросту бежали. Северяне, забрав их в руки, превратили впоследствии южан в первоклассные войска, отличившиеся под Верденом.

Судьба стала менять меня с Франше Д'Эспере, командиром I корпуса, в течение долгих лет. Коренастый, пышущий здоровьем, хорошо упитанный, этот потомок французской королевской аристократии унаследовал от нее характерные для своей страны военные традиции: личное мужество, властолюбие, доходящее до жестокости, и мировоззрение в узких рамках военного ремесла. Он блестяще выполнил ответственную задачу, выпавшую на долю его армии в Марнском сражении: вдохнув в своих подчиненных — командиров деморализованных остатков 5-й армии — веру в успех, он заставил их перейти в наступление; ему приходилось в то же время тянуть за собой слева английскую армию, а справа — растягиваться, чтобы оказать поддержку 9-й армии Фоша, против которой была направлена сильнейшая германская контратака.

Естественно, что когда во время войны, с пелью изучения фронта, мне приходилось посещать войска 5-й армии, оборонявшие впоследствии ближайший к Парижу сектор, я всегда относился с большим уважением

и командующему армией Франше д'Эспере. Я никогда не мог забыть, что в Марнском сражении он, несмотря на растянутость своего фронта, по собственной инициативе передал в распоряжение своего соседа, Фоша, один из лучших своих корпусов. Таких генералов в истории встречалось немного.

Франше, со своей стороны, также оказывал мне особое внимание; он не поручал сопровождать меня, как это было принято, одному из офицеров своего штаба, а после хорошего завтрака сам брал меня с собой в машину и начинал осмотр передовых позиций с посещения города Реймса, входившего в сектор его армии. Это позволяло ему оказывать высшую, по его мнению, военную любезность: подвергнуть гостя обстрелу тяжелой германской артиллерии, систематически бомбардировавшей в эти часы уже сильно пострадавший центр города.

Постепенно разрушающийся древний собор стоял, как часовой, — один среди развалин окружавших его старинных дворцов розового цвета. На его потемневшем от веков каменном остове, появлялись все новые и новые раны — белые пятна разбитого камня, а внутри все сильнее дул ветер через разбитые разноцветные стеклянные vitraux, составлявшие гордость этого памятника седой старине. Потом обрушилась одна из башен, и самый свод собора обратился в кучу мусора. После войны Рейнский собор был полностью восстановлен по сохранившимся документам.

В конце войны Франше был назначен командующим армией на Салонском фронте и здесь оказался одним из наиболее жестоких исполнителей приказа Клемансо о русских солдатах экспедиционного корпуса. После Октябрьской революции, выйдя перед строем безоружных, растерявшихся от непонимания обстановки наших несчастных соотечественников, Франше дал им только десять минут на размышление: продолжать сражаться, или ити на работы в концлагерь под конвоем чёрных солдат. За редкими исключениями, все предпочли переносить тяжелые испытания в Африке, чем продолжать служить за чуждые им французские интересы.

Прошло еще восемнадцать долгих лет, когда, исполнив обязанности комиссара нашего советского стенда в Авиационном салоне в Париже, я снова услышал фамилию Франше. Маршал Франции удостоил нас своим посещением, и мне пришлось приветствовать его при входе, почтительно сняв с головы мягкую фетровую шляпу.

— Здравствуйте, monsieur, — сказал мне Франше, подчеркивая подобным обращением, без упоминания не только моего прежнего звания; но даже фамилии, презрительное ко мне отношение. Меня это не задело, как не смущила и заключительная провокация со стороны маршала.

— Скажите, вы вот подобные аппараты и посыаете в Испанию? — обратился он ко мне, выслушав объяснение о стоявшем на углу стендамаленьком серебристом истребителе.

— Нет, господин маршал, — ответил я, — эти аппараты мы выставляем только для парижанок (нас окружало в эту минуту очень много нарядных дам), а в Испанию мы *попытаем* аппараты гораздо более современные.

— Толпа аплодировала, — то была эпоха народного фронта.

Адъютанты, стоявшие за спиной маршала, прикрыв рот рукой, не удержались от смеха. Франше отошел от советского стенда.

Позднее я узнал, что он уже тогда был женат на «знатной» русской белоэмигрантке.

Марнское сражение явилось пробным камнем для талантов многих генералов, а для некоторых, как Фош, — началом их блестящей боевой карьеры.

Выдающегося профессора тактики в высшей военной школе, полковника, а впоследствии генерала Фоша, мне до войны встречать не пришлось. Он тогда уже командовал пограничным XX корпусом в Нанси. Корпус этот комплектовался из парижан, потомков санкюловотов и имел еще более блестящую репутацию, чем I корпус.

Многочисленные ученики Фоша, как Гамелен и другие, восторгались не только его горячим темпераментом, но и той ясностью, с которой он излагал принципы стратегии, анализировал исторические примеры. То, схватив указку, Фош изображал фехтовальщика на рапирах, уподобляя различные виды маневров тонкостям фехтовального искусства, то, выбросив на карту спички, обозначал ими отдельные моменты военных операций. Фош, уже по одним рассказам, представлялся мне той самой фигурой, которую я встретил в Витри ле Франсуа в конце августа. Он по внешности вполне соответствовал типу опытного фехтовальщика.

На сохранившемся моментальном фотоизображении Жоффр стоит в профиль,— грузный, неповоротливый, он одет небрежно; а перед ним вытянулся в струнку Фош в мундирчике в талию, руки по швам,— сохранивший свою молодость лихой генерал.

Он в эту минуту только что получил неблагодарную роль: связать группой из нескольких деморализованных отступлением дивизий 5-ю и 4-ю французские армии, и не предвидел, что через несколько дней на него-то и будет направлен главный удар германских армий с императорской гвардией во главе.

У него нет тыла, нет придающихся всякой армии органов снабжения, но об этом должен думать его начальник штаба.

У него нет штаба, но Фош — враг больших штабов.

Он — стратег, водитель войск, он же сын деревенского бондаря, или Жоффр, а потомок лотарингских вояк, из рода в род защищавших свою пограничную область от германских гуннов.

Вызываая Фоша с командного поста XX корпуса, главная квартира приказала ему захватить с собой подполковника 5-го гусарского полка Бейгана, с которым он даже не был знаком. Этого стройного, крепкого в цветлоголубом доломане я хорошо помнил по маневрам и во Франции, и в Красном Селе. Под элегантной кавалерийской внешностью скрывалась большая работоспособность отличного генштабиста, чисто французская самоуверенность и самообладание. Если бы он и был способен на какие-либо переживания, то они, конечно, не отражались бы на окаменелых чертах его лица с тонкими губами и столь же тонкими усиками.

Бейган был создан Фошем, который нашел в нем идеального начальника штаба, освобождавшего его от всей штабной кухни, перенесившего терпением все резкости его властного характера, искренно преклонявшегося перед авторитетом бывшего профессора тактики — будущего маршала Франции.

Вот те главные военные вожди, имена которых связаны со сражениями на Марне. Но исход его зависел, больше чем в каком-либо другом сражении, не от них, а от того трудно объяснимого морального перевеса, который я пытался передать в заключительных словах своей телеграммы от 8 сентября,— то есть после первого же дня небывалого историй — по своим размерам — столкновения вооруженных масс:

«Дух французских армий, выдержавших десятидневное отступление, снова воспрял, и подъем его не поддается описанию».

Последние дни отступления от Марны ознаменовались, между прочим, и отступлением на юг самой главной квартиры: из Витри ле Франсуа, на два три дня, в живописный Бар-сюр-Об, а оттуда, накануне Марнского сражения, — в Шатильон-на-Сене, расположенный более чем в ста километрах от поля сражения. Рассматривать немцев в бинокль Жоффр не собирался: это за него делали командиры дивизий и корпусов, осведомлявшие его о положении через командующих армиями. Жоффр не командовал, а давал директивы, распоряжался не батальонами и полками, подобно Куропаткину под Мукденом; а только армиям. Он, вместе с тем, не подражал, как многие полководцы, Наполеону, быть охотником до громких фраз и, для перехода от отступления в наступление, кроме директивы, известной мне тогда только в самых общих чертах, издал следующий скромный, но ставший историческим приказ:

«Au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et à reculer l'ennemi.

Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.

Dans les circonstances actuelles aucune défaillance ne peut être tolérée.

Signé: JOFFRE

Message à communiquer à tous, jusque sur le Front.

(«В момент, когда завязывается сражение, от которого зависит спасение страны, необходимо напомнить всем, что теперь не время оглядываться назад. Все усилия должны быть направлены к тому, чтобы атаковать и отбросить неприятеля.

Бойковая часть, которая не может продвигаться вперед, должна во что бы то ни стало удержать захваченное ею пространство и дать лучше себя убить на месте, чем попытиться назад.

При настоящих обстоятельствах никакая слабость не может быть терпима.

Подпись: ЖОФФР

Извещение, которое должно быть немедленно доведено до сведения всех до самой линии фронта».)

Подготовка к переходу в наступление отразилась на спокойном житье-бытье главной квартиры появлением множества запыленных, машин, подвозивших с предельной скоростью офицеров связи. Они являлись не только передатчиками распоряжений, но и доверенными лицами главнокомандующего. Одним из самых интересных был майор Морен — се сочин de Morin (эта свинья Морен), как в шутку встречали его в нашей «Popotte» — столовке 2-го бюро. Все хорошо знали Мопассана и ту новеллу, героям которой был некий Морен. Наш Морен, впрочем, не имел ничего общего с мрачным мопассановским мэром. Это был великолепный, мужественный офицер, зачастую небритый после бессонных ночей, но никогда не теряший бодрого вида; одним своим появлением он неизменно всплывал оживление в окружающих.

Такой и должен быть офицер связи, — без паники, без суэты. За столом он, конечно, не позволял себе проронить слова о виденном на фронте, но за обедом все с затянутым дыханием ожидали от Морена очередного анекдота. Одно это как будто указывало, что на фронте несчастной 5-й армии, к которой Морен был прикомандирован, дела были уже не так плохи, как это было в действительности. На каждом языке можно пошутить по-своему, а на французском, благодаря благотворству в нем синонимов, это особенно удастся. На этом построена не только веселая сатира, но и весь французский юмор. Морен бывал тут неподражаем. Даже передавая телефонограммы, в которых встречались названия мало известных деревень, Морен, уточняя их по буквам, не мог удержаться, чтобы не повеселить своего собеседника на фронте, в особенности если тот чего-либо не понимал «O», — comme Octave, «U», — comme Ursule, «R», — comme Raymonde et «Q», — comme toi! По-русски это выходило примерно так: «И» — Иван, «Д» — ты — то есть дурак».

До перехода французских армий в наступление, сведения, доставляемые офицерами связи от измученных армий, могли только причинять заботы, но зато вести от союзной английской армии внушали тревогу не только всему окружению главнокомандующего, но и ему самому, терпеливому и сильному духом старику. Жоффр, в конце концов, лично поехал к английскому фельдмаршалу, чтобы убедить его перейти в наступление одновременно с 5-й французской армией. Он этого частично и добился, так как три английских корпуса заняли в сентябре исходное положение для наступления, хотя и не в восточном направлении, как того требовал удар во фланг фон Клуку, а в северном.

Ночью с 5 на 6 сентября, по неказаниям очевидцев, на французском фронте никто не спал. Рассыпались последние приказания для перехода в наступление. Но в главной квартире порядок работы не изменился: подпись последние директивы, Жоффр лег спать, по обыкновению, в десять часов вечера и приказал разбудить себя только на рассвете, в пять часов утра: он был уверен в исполнителях своих приказаний, и заодно лишал их искушения обращаться к нему за помощью.

Мое личное положение к началу Марнской битвы значительно укрепилось. Терпение, проявленное в первые недели войны, принесло свои плоды: меня стали считать не чужестранцем, а равноправным членом французской военной семьи. Телеграммы мои становились благодаря этому днем ото дня более полными: я мог упоминать в них названия ручьев и деревень, встречавшихся не на географических, а на топографических картах, давать не только сводки о противнике, но и кое-какие общие вы воды и прогнозы на основании разговоров с такими толковыми коллегами, как Морен.

Переход в наступление французских армий был изложен в моей телеграмме на следующий день:

«Указанное мною ранее опасное положение 1-й германской армии было блестяще использовано главнокомандующим, который за 6 и 7 сентября исправил стратегическое положение так: против 1-й германской армии, перешедшей на левый южный берег ручья Гран Морен, удерживалась 5-я французская армия на линии Куломье-Эстернё, фронтом на север.

Английская армия повела наступление на фронт Куломье-Эсбели.

6-я парижская армия, заходя левым плечом, повела наступление во фланг 1-й германской армии на фронте Мон Лези-сюр-Урк.

С 8 часов утра 7 сентября 1-я германская армия стала отступать в северо-восточном направлении.

На правом французском фланге, против 5-й германской армии, 5-я французская армия заняла фланговое положение на линии в западу от Бар ле Дюк — Сульи фронтом на северо-запад. В то же время гарнизон крепости Верден перешел в наступление в западном направлении, стремясь выйти на сообщения армии кронпринца. Таким образом, французские армии заняли охватывающее положение, и немцы для парирования его повели сегодня, 7 сентября, усиленное наступление на центр на фронте Фер Шампенуаз — Витри ле Франсуа.

В Лотарингии идет горячее сражение, пока безрезультатное, причем выясняется, что с этого фронта немцы не перебросили против нас ни одной части.

В то время Дилюн и я не могли, конечно, знать о переброске в Восточную Пруссию XI германского корпуса еще до высадки его из вагонов на Западном фронте.

«1-я германская армия, выставив два корпуса заслоном на запад, продолжает, повидимому, отходить на линию Ла Ферте — Монмирайль, — доносил я 8 сентября. — 2-я германская армия ведет бой на фронте Монмирайль — линия болот к северу от Фер Шампенуаз.

3-я германская армия продвинулась своим левым флангом до Камп де Майльи, но сегодня, вероятно, контратакована превосходными силами, переброшенными французами по железной дороге. Последний способ вообще искусно применяется главнокомандующим для парализования сил на том или ином фронте.

4-я германская армия атаковала на фронте Витри ле Франсуа — де Сермез.

5-я германская армия, загнув свой левый фланг, XVI корпус, фронтом на восток, вела ожесточенные бои с 3-й французской армией и гарнизоном Вердена.

6-я и 7-я германские армии продолжали сражение на Восточном фронте.

Возникал вопрос: сумеют ли русские армии использовать опыт За-

падного фронта: переброска войск к полю сражения по железным дорогам представляла в то время последнее новшество.

Отход 1-й германской армии был, конечно, хорошим симптомом,— как первый шаг назад, который немцы были вынуждены сделать с самого начала войны. Однако это никого не озячило во французской главной квартире, и 9 сентября я доносил:

«8 сентября упорное сражение продолжалось на всем фронте с некоторым успехом для французов на некоторых участках: обходное движение против правого фланга 1-й германской армии не вполне удалось, так как немцы успели перебросить на правый фланг своего заслона, на запад II-й, IV-й, и IV-й резервный корпуса, которые повели наступления и потеснили парижскую армию с фронта Лизи-Бетти.

В образовавшийся прорыв 1-й германской армии английская армия продолжала наступать, и с рассветом 9 сентября начала переправу на северный берег Марны у Ферте. Далее, к востоку, французы продвинулись также вперед до ручья Пти Морен, имея перед собой III-й и IX-й корпуса в полном составе, а также X-й резервный. В центре, наоборот, немцы имели успех у Фер Шампенуаз, где вели бой гвардия XII-й, и, вероятно, XII резервный корпуса.

Далее, сильнейшие, но безрезультатные бои велись на фронте Витри ле Франсуа — Сормез, где были обнаружены XIX-й, VIII-й и XVIII-й корпуса.

Наконец армия кронпринца продолжала бой фронтом на юг и восток, причем левофланговый XVI германский корпус был оттеснен.

На восточном Лотарингском фронте — без перемен.

Крепость Мобеж пала.

Последнее известие не произвело, впрочем, никакого впечатления. Возраставшее с каждым часом напряжение на фронте приковывало к нему, естественно, все наше внимание, и перелом мы ощущали только в ночь на 10 сентября. Чувствуя важность момента, я под утро зашел к Вертелю и принес ему на одобрение следующую телеграмму:

«9 сентября генеральное сражение продолжалось на всем фронте. 1-я германская армия отошла на северный берег Марны. После полуночи немцы сделали попытку охватить, в свою очередь, обходящий фланг и заняли одним полком с артиллерией Нантель, что не помешало парижской армии удержаться на всем остальном фронте и иметь даже успех, захватив два неприятельских знамени.

Английская армия, перебравшись через Марну, продолжала наступать в северном направлении, и противник отходил на северо-восток.

Для обеспечения правого фланга англичан французы продвинулись и к вечеру заняли Шато Тьери.

Главное усилие немцев было направлено на центр, на фронте к югу от Сезанн — Фер Шампенуаз, но к вечеру 9 сентября французы контр-атаками отбросили немецкую гвардию и IX корпус к северу от Сен-Гондских болот.

3-я немецкая армия имела в начале дня также успех, и в связи с гвардией отодвинула французский центр, но к вечеру французам и тут удалось продвинуться снова вперед вперед на пять.

4-я германская армия вела бой с меньшей интенсивностью, чем 8 сентября, на фронте Витри ле Франсуа — Ревиньи.

На фронте 5-й германской армии горячие бои велись без особых результатов.

Вероятно, с целью угрозы правому флангу французских армий, немцы подвели незначительные силы в долину Мааса.

На Восточном фронте они с дальних дистанций пытались бомбардировать Нанси.

«А-ПЕ-ТЕ-О-КА-ЖЭ, ЭС-А-Ю-ПЕ...» — слышалось чуть не круглый день из-за двери моей импровизированной шифровальной.

Это Лаборд диктовал по пятизначным группам очередную шифрованную телеграмму, а сидящий против него подслеповатый русский граф Мордвинов, в форме французского рядового, усердно стучал на

машинке. Владел он ею плохо, и диктовка то и дело сопровождалась энергичными солдатскими окриками Лаборда, вошедшего уже в свою роль старшего и заведующего хозяйством. Кроме Мордвинова, он имел подчиненных двух шоферов и вестового при двух моих верховых конях. Ескуре появился и пятый подчиненный, в лице сына Извольского, восемнадцатилетнего парня, полного остроумия и совсем не похожего на отца. Я взял его к себе после того, как он показал себя не трусом при паническом отступлении 5-й французской армии.

Так зародилась Русская военная миссия.

Мы были поселены в опустевшей загородной усадьбе, принадлежавшей знакомым парижанам, и это придавало нам известную самостоятельность.

Главной гордостью нашей миссии стал автомобиль,— громадный открытый синий ролс-ройс, роскошно отделанный его хозяином Мордвиновым, владельцем известных заводов на Урале. Несмотря на всю свою близорукость, Мордвинов умолял взять его с собой на войну, вместе с его прекрасным открытым автомобилем. Лаборд, проехав со мной из Парижа в этой машине под управлением Мордвинова, вопрос о нем разрешил мудро:

— Вот что,— сказал он мне,— машина хороша, мы ее оставим себе, этого слепого русского хозяина посадим печатать на машинке, а его шоferа определим в армию, и он будет нас возить.

Много тысяч километров сделала эта машина без единой поломки. На смену лопнувшей покрышки я позволял тратить не более двух минут, участствуя при этом лично в снятии и надевании запасного колеса. Осколком снаряда пробил как-то крыло этой птицы, летавшей со скоростью 120 километров в час, другим осколком повредило капот мотора, но верный шоfer и личный мой друг — сержант Латизо не унывал: ни буря, ниьюга не могли нарушить плавного и регулярного хода его любимицы.

Война больше всего сближает людей, даже разных классов. Еду я как-то лет двадцать спустя, уже советским гражданином, по железной дороге и сажусь обедать в роскошном вагон-ресторане. Замечаю, что ко мне приглядывается хозяин буфета, а через несколько секунд, к великому, но только моему, но и всех пассажиров, изумлению,— бросается ко мне и горячо меня обнимает:

— Неужели не узнасте? Я тот самый ваш вестовой Верне, которого так частенько распекал наш друг Лаборд!

Латизо и Верне остались моими друзьями, но, конечно, ни Лаборд, ни Мордвинов, ни Извольский не примирились с моим уходом из прежнего мира.

Между тем в Шатильоне они разделяли со мной все те огорчения, которые доставляли мне получавшиеся из России телеграммы.

\* \* \*

О том, что происходило в это время на Восточном, русско-германском, фронте, по циркулярным телеграммам невозможно было составить себе понятие. Это продолжало оставаться для меня вечной загадкой.

Полученные мною как раз накануне Марского сражения первые пифрованные телеграммы тоже не помогли разрешению загадки, не дали самого ценного — уточнения номеров германских корпусов и дивизий, обнаруженных на нашем фронте. Первая телеграмма, присланная через посольство 4 сентября, как особо секретная, гласила:

«Сообщите срочно Игнатьеву: 25 австрийских дивизий, наступавших на фронте Ополе — Красносстав, понесли громадный урон, вынуждены к обороне и частью подаются назад, 12 австрийских дивизий (номеров и тут не упоминалось) совершенно разбиты у Львова. Как только выяснится ожидаемое отступление австрийцев, немедленно будут приняты меры к переброске наших сил на германский фронт, причем имеется в виду также развитие наступательных действий на левом берегу Вислы».

Вторая половина этой телеграммы, повидимому, являлась следствием

многоократно передававшихся мною пожеланий французской главной квартиры о развитии наших операций в направлении Краков — Познань. «Полагаю соответственным, — телеграфировал мне еще 1 сентября Монкевич, — чтобы вы доложили генералу Жоффру, что у нас имеются достоверные сведения о начавшейся еще в четверг 27 августа перевозке германских сил с западной границы на восточную (части, как обычно, не указывались).

Ряд признаков (выражение очень невоенное и достойное автора — представителя министерства иностранных дел при ставке, Базили), указывает на то, что немцы перебрасывают войска с Западного на Восточный фронт. Помимо сведений о перевозке частей по германским железным дорогам, в настоящее время обнаруживается присутствие этих войск на нашем фронте». (Каких именно войск тоже, конечно, не сообщалось.)

Наконец и генеральный штаб и Ставка сообщили о появлении на нашем фронте III баварского корпуса, не повидавшего, как известно, за все четыре года войны фронта в Лотарингии. Однако верх бестактности проявил генерал-квартирмайстер Ставки Николая Николаевича, так называемый «черный» Данилов (мы его так называли в отличие от «рыжего» Данилова — талантливого и всеми уважаемого Николая Александровича).

«Для разговоров в главной квартире Жоффра, — гласила телеграмма Данилова от 7 сентября (то есть на второй день Марнского сражения), — мы можем констатировать факт переброски части сил немцев против нас, чем облегчается положение французов, и что, вероятно, позволит им перейти к проявлению соответствующей активности».

Напоминать французам об активности в подобную минуту казалось более чем неуместным: Марнское сражение находилось в самом разгаре.

Тем не менее, как ни было тяжело, но я по долгу службы передал и эту телеграмму Жоффру, и Бертело просил меня сообщить 9 сентября следующий телеграфный ответ французской главной квартиры на французском языке:

«On estime qu'il est actuellement impossible de supposer que des unités actives quelconques puissent être retirées du Front français, la bataille actuelle en donne toutes les preuves.— On ne nie pas quand même, que les troupes de réserve et de landwehr peuvent être dirigées contre nous, mais on met en doute leur valeur militaire. Il se pourrait bien aussi que des bruits de ce genre étaient lancés par les Allemands eux-mêmes dans le but de retenir notre offensive et gagner du temps pour les coups contre la France, ainsi que pour le perfectionnement de leur défense sur notre frontière. On reste rassuré que nous faisons en ce moment l'effort suprême avec le but de concentrer toutes les forces et toutes les ressources disponibles pour utiliser le temps qui nous est donné par la lutte de la France contre le gros des forces allemandes.»

(«Считая, что в настоящее время невозможно предполагать, будто какие-либо действующие части могли быть сняты с французского фронта; происходящее сражение дает этому все доказательства. Впрочем, не отрицается, что резервные и ландверные войска могут быть направлены против нас, но их ценность вызывает сомнение. Возможно также, что подобные слухи распускаются самими немцами, с целью задержать наше наступление и выиграть время для ударов против Франции, а также для усовершенствования обороны на нашей границе. Здесь вполне уверены, что мы делаем в настоящий момент самое большое усилие для сосредоточения всех наших сил и всех средств для использования этого времени, которое нам дается борьбой, ведущейся Францией против главных германских сил.»)

Этот тонкий намек на возможность неправильного осведомления нашего командования напомнил мне сложившееся еще с манчжурской войны мнение о нашем пристрастии к тайной агентуре и о плохой организациивойсковой разведки.

Лишь много позже удалось раскрыть источники русского осведомления и убедиться, что манчжурская болезнь, которой были заражены раз-

ведывательные отделы штабов, оставалась неизлечимой и что она-то и явилась одной из главных причин незаслуженных русской армией тяжелых поражений.

\* \* \*

Величественная по своей напряженности эпопея, что разыгралась на Марсовых полях, к 10 сентября подходила к своему финалу.

«На крайнем левом фланге парижской армии немцы стали отходить и очистили Нантель. С 9 часов утра их 1-я армия продолжала отступать в северо-восточном направлении. Гвардия и X корпус также начали отступление на север», — доносил я вечером того же дня и заканчивая свою телеграмму следующим скромным намеком на победу: «В общем надо признать, что французы имели за истекший период сражения большой успех, откинув правый фланг германской армии почти на три переноса».

Я не считал сражения оконченным, но я мог ошибиться. Мне казалось, что я вправе оторваться хоть на несколько часов от своих телеграмм и лично выяснить положение на фронтах. Баки моей машин были давно наполнены горючим, и Лаборд и Латизо уже третий десяток подъездовыми, при револьверах, а моя шашка заняла почетное место за кожаным конвертом для карт, прикрепленным позади него сидения. Оставалось только получить словесное разрешение «хозяина», так как постоянный *«Laisser passer»* (номерованный пропуск, выдававшийся только старшим чинам главной квартиры) уже лежал в моей полевой сумке. Он давал право без сообщения пароля проезжать в любое час дня и ночи на любой, даже передовой, участок фронта. Я сохранил этот пропуск как воспоминание о первой мировой войне.

Бюро штаба в Шатильоне располагалось на окраине городка, в стоявшем здании женского монастыря, давно поступившем в собственность государства; там же, в одной из келий, жил и работал Бертело.

Нестерпимая жара первых дней сражения сменилась холодными осенними дождями, но толстяк продолжал работать в своем белом халте: он, как хирург, руководил операциями. Впрочем, на форму одежды никто не обращал внимания.

Доступ к Бертело я уже имел свободный и, как обычно, просил черного разрешения Жоффра *faire une tournée sur le Front* (прогуляться по фронту).

— Это вопрос принципиальный, мой милый полковник, — сказал Бертело. — Вы знаете, что мы ни одного иностранца на фронт не допускаем. Но для вас, как раз сегодня, главнокомандующий приказал сделать исключение. Необходимо только, чтобы ваши коллеги — англичане, бельгийцы, японцы, сербы — про это не узнали. Кроме того, вам ни в коем случае не следует пересезжать на северный берег Марны, избегая тревожных и без того занятых напих генералов. Впрочем, вы это сами прекрасно понимаете, — провожатого для вас не требуется.

— Привозите нам завтра хорошие вести, — улыбаясь, закончил Бертело.

Он всегда был всем доволен, что являлся одним из главных качеств этого хитрого стратега. И мне странно вспомнить сейчас о том, что несколько лет спустя выдержаный, уравновешенный Бертело потерял голову под чарами румынской королевы, красавицы Марии, и ринулся в бесславный, заранее обреченный на неудачу поход против советской России.

\* \* \*

Было еще совсем темно, когда перед рассветом я выехал из нашей усадьбы на фронт. Избранный с вечера маршрут был нанесен на карту, и ролс-ройс плавно помчал меня прямо на север, в направлении Фер-Шампенуаз.

Это название мне было давно и хорошо знакомо. Я читал его не раз на серебряной трубе трубача, когда-то стоявшего со мной в дворцовом

карауле. Кавалергардский полк получил это отличие за подвиг, совершенный в одном из последних боев против Наполеона в 1814 году. Ровно через сто лет Фер Шампенуаз — небольшая деревушка, расположенная на шоссе из Парижа в Нанси, — явилась центром самых ожесточенных боев в Марнском сражении.

На центральной крохотной площади уцелел скромный памятник — колонка из серого камня, наверху которой распластал свои крылья потчерневший от времени двуглавый орел. Я велел Латизо остановиться, вышел из машины, снял фуражку и прочел краткую надпись.

#### «EN MEMOIRE DES SOLDATS RUSSES TOMBÉS ICI EN 1814»<sup>1</sup>

Неподалеку, в сторонке, прижимаясь к стенке, стояла небольшая рттия пленных немцев. Это были гвардейцы. Их хранили республиканские солдаты в красных штанах, с неизменной трубкой во рту. По исхудым лицам немецких пленных, по их потухшим безразличным взорам можно было убедиться, что люди эти были доведены до предела изнечожения. Вот он, результат пресловутых пятидесятикилометровых передов на «кайзер-маневрах», которыми так гордились перед войной германские коллеги. Их армии пришли на поле сражения измученными — только непосильными переходами по страшной жаре, но и голодными — из-за отставания продовольственных транспортов и обозов. Когда после сражения на Марне французские врачи вскрыли из любознательности несколько немецких трупов, то в их желудках нашли только куски ярой сахарной свеклы. Поля были еще не убраны, и голодные германские солдаты заменяли свеклой недополученный военный рацион.

Куда девались традиционные немецкие каски из черной кожи, с трюковечным шишаком и золотым орлом! При походной форме цвета «рельд-грау» (полевой-серый) каски эти покрывались, подобно французским кирасам, матерчатыми чехлами. Для облегчения на походе пехота эсавалась даже с шашечным инструментом.

Интересен был замысел, положенный в основу плана Шлиффена, — захоронение с семью армиями, правым плечом вперед, через Бельгию во Францию. Добросовестно был разработан в берлинском генеральном штабе марш-маневр на Париж. «Nach Paris!» — было лозунгом всей германской армии. Офицеры уже мысленно заказывали хороший завтрак у Вуана и непревзойденное французское вино — «солнце в бутылках»; пеммы, как известно, любят не только покушать, но и пожрать. Теперь эти планы рухнули — если не навсегда, то надолго. Немецкие стратеги неисправимы: привыкшие с детства смотреть на все немецкое через сильное величительное стекло, etwas colossal (нечто колоссальное), они проваливают свои проекты из-за несоответствия поставленных задач силам своих бесспорно хороших солдат.

Немецкие генералы учитывают патриотизм германского народа, но признают его своей «собой привилегией»: патриотизм других народов и ответность их на подвиги для защиты родной земли они в расчет не принимают.

Глядя на пленных верзил — германских гвардейцев, трудно было узнать в этих оборванцах тех самых людей, которыми я любовался еще месяц назад на гвардейском вахтпараде в Берлине.

По дошедшему до меня впоследствии рассказам о допросах пленных строевых офицеров картина сражения немцам представлялась так.

По порядку, вошедшему уже в привычку, они встали 6 сентября очень рано, чтобы использовать для очередного тяжелого перехода более прохладные утренние часы. Попили кофе, закусили, чем бог послал, или, вернее, что удалось пограбить во французских деревнях, и, ничего не подозревая, тронулись в путь. Пройдя через собственное личное охранение, головная кавалерийская застава задержалась: она была встречена ружейными выстрелами из-за стен какого-то каменного замка. Подошел пехотный головной отряд, развернулся, открыл огонь. Колонна авангарда

<sup>1</sup> В память русских солдат, павших на этом месте в 1814 году.

приостановилась, ожидая распоряжения, потом сошла с дороги, стала тоже перестраиваться в боевой порядок, выдвинула артиллерию. А пехотный огонь все усиливался, фронт с каждым часом расширялся. Пехотные цепи авангарда стали наступать, — как вдруг внезапно попали под страшный ураган французских гранат.

Так выполнялся приказ Жоффра: «Прекратить отступление».

Так и началось сражение.

А вот и начало его конца. Когда я приближался к тем боевым рубежам, о которых за последние дни упоминал в своих телеграммах в Россию, меня обдало волной тяжелого трупного запаха. Лаборд и Латизо, конечно, тоже почувствовали его, но, вероятно, из чувства военной этики, не поделились этим первым впечатлением. По мере приближения к Фер Шампенуазу смрад этот смешивался с запахом гари, — не дыма пылающих деревень, а гари от тлеющих старинных дубовых балок в разрушенных снарядами каменных постройках и разбросанной то тут, то там, отсыревшей от непогоды бивачной подстилочной соломы. Я уже замечал, что всякое сражение в манчжурскую войну заканчивалось почему-то дождем, — и небо во Франции также, повидимому, гневалось на артиллерийскую канонаду.

Трупный запах, характеризовавший Марнские поля сражений и еще долго меня преследовавший, исходил от бесчисленных трупов лошадей, валявшихся по обочинам шоссе. Громадные животные казались какими-то чудовищами от непомерно вздутых животов. Зловоние исходило также от растертых до глубоких ран конских спина и боков.

Причина падежа была для меня ясна: лошади пали не только от снарядов, но и от переутомления, от допотопной французской седловки, а главным образом, от недостатка воды. По привычке, унаследованной от мирного времени, конница, очевидно, двигалась исключительно по дорогам, переходя через речки и ручьи по мостам, и потому могла пользоваться для водопоя только колодцами на ночлегах. А они давно пересохли в это небывало жаркое лето.

Мои мрачные предположения подтвердились видом пересекавшей наш путь колонны в несколько эскадронов; они плелись шагом вслед за своей пехотой, чуть ли не вперемежку с продвигавшимися на север полковыми обозами. Это были уже совершенно непрятательные для боя и потому оставленные в тылу части 9-й кавалерийской дивизии, которой, как я помню, командовал мой «крестный» по Жокей-клубу, генерал де Лепе. Я встретился с ним через несколько недель после Марны в Париже, по это уже был не тот подвижной, полный лихости кавалерист, каким я привык его видеть; он постарел, и нервный тип его лица казался еще сильнее.

— Не о такой войне мечтали мы, — сказал он со вздохом. — Конные атаки немыслимы из-за проклятых пулеметов, а из деревень не выкуют этих башней.

— Наше высшее командование, — продолжал де Лепе, требовало от нас боевых действий в спешенном строю, а разве это дело для кавалерии! Покоя начальство тоже не давало, лошади оставались по целым неделям нерасседленными и целыми днями не поенными...

Бороться с консерватизмом французских генералов на войне оказалось задачей невыполнимой; их самих пришлось сменять и отправлять «на траву», — «отдыхать», как говорили в свое время русские кавалеристы.

После этой беседы мне тоже стало ясно, почему ни в одной из своих телеграмм я не нашел повода упомянуть о когда-то блестящей и не оправдавшей возлагавшихся на нее надежд французской кавалерии.

Отправляясь на поле сражения, я не представлял себе, что, не видя войск, мне удастся вынести из поездки что-либо поучительное. Но я ошибся. Не зря ведь тратил время даже сам Наполеон, облезкая поля сражений.

Самые жестокие бои в Марнском сражении происходили к северу и востоку от Сен-Гондских болот, где местность представляла собою безотрадные, волнистые, мало населенные равнины, испещренные чахлыми

сосновыми рощами. В мирное время это были те редкие для Франции районы, где имелась возможность производить маневрирование крупными войсковыми соединениями и вести боевую артиллерию стрельбу. Тут раскинулся исторический Шалонский лагерь, на который возлагал в свое время столько надежд создавший его Наполеон III. Здесь же, не подалеку, располагался лагерь Майли — местопребывание русских бригад во время мировой войны.

Для укрытия от взоров<sup>6</sup> противника французы при обучении войск рекомендовали широко использовать складки местности, но, проехав много километров, я нигде не нашел следов столкновения на открытых пространствах. Лишь вдоль придорожных канав лежали отдельные трупы солдат в красных штанах. «Вот они — безвестные защитники родины!» — думалось мне. Среди них я, быть может, узнал бы и тех беспечных парижан, что целовались, прощаюсь с возлюбленными на бульварах в памятную ночь мобилизации.

Стало ясно, что войска уже постигли значение хотя и примитивной, но все же кое-какой воздушной разведки и укрывались по иному. Остановив машину, мы решили заглянуть в рощицу, и то, что увидели, открыло глаза на многое. Даже мало впечатлительный и замкнутый Лаборд, и тот не удержался от тяжелого вздоха: вдоль прорубленной артиллерийскими гранатами просеки лежали вырагненные взводы французской пехоты. Все головы были обуглены, и раскрытые глаза мертвцев казались от этого еще более страшными. Сомнений не было: это были жертвы знаменитых coups de hache (ударов топором) собственной французской 75-миллиметровки, стрелявшей на рикошет гранатами, начиненными мелким.

Я изучал эту стрельбу как раз за два года до войны, сопровождая нашу артиллерию комиссию в Шалонский лагерь, на курсы усовершенствования командиров батарей. Правда, на показной стрельбе нам хвастались только поражениями деревянных болванок, уложенных в скопы, но в своем рапорте я уже указывал на несравненную в ту пору мощь французского полевого орудия. Председатель комиссии, генерал Маниковский, поддерживал мое мнение, но всемогущий в ту пору артиллерист, великий князь Сергей Михайлович, методов французской стрельбы не признавал и продолжал увлекаться прицельной стрельбой по щитам, преимущественно шрапнелью, на Лужском полигоне.

Не доверяя первому впечатлению, мы стали заходить в другие рощицы и увидели жертвы французской артиллерии — полегшие на опушках цепи германской пехоты, а за ними жертвы французской артиллерии — части собственной пехоты: артиллерея поддерживала, очевидно, ее наступление, но не удлиняла достаточно прицела. Увы, причиной оказывалось все то же пренебрежение техникой и отсутствие телефонной связи, на которую я безрезультатно указывал нашим союзникам. Телефоны были редкостью, а радио в частях тогда еще не существовало.

Но вот и брошенные немцами их артиллерийские позиции. Как свидетель поражения, валяется на земле полевая гаубица с разбитыми колесами, другая, рядом с ней, осталась стоять со стволом, сдвинутым с муфты одним удачным разрывом французской полевой гранаты; в ровинах полегла поголовно вся прислуга с обугленными головами.

Чем дальше я продвигался на север, тем громче гремела артиллерийская канонада. Казалось, что ей нет границ ни в силе, ни во времени, ни в пространстве. Подобной музыки мне еще слышать не приходилось. Манчжурские сражения показались столь же ничтожными, как жалкой кажется теперь Марна по сравнению с великой битвой под Москвой...

Становилось все яснее, что Марнское сражение было выиграно не пехотой, а французской артиллерией. В Манчжурии «царицей полей сражений» оказалась пехота, — на Марне усталую, деморализованную долгим отступлением пехоту спасла артиллерея. Это мнение разделял, как я мог впоследствии убедиться, и сам генерал Жоффр.

Осмотр германских батарей, разбитых французской артиллерией,

убедил меня, что отход гвардии и X германского корпуса, сражавшихся против 9-й армии Фоша, не был добровольным, и что вслед за отступлением армии фон Клука и Бюлова, о которых я уже доносил в своих телеграммах, германский центр тоже дрогнул. Рубежи, намеченные в моем маршруте, уже остались позади, и несравненное ни с чем ощущение успеха на войне побуждало не обращать внимания на неприглядную картину победоносной армии. В такие часы жертвы в счет не идут.

Двигаясь вдоль фронта в западном направлении и доехав до выезды Монмирайля, обращенного в груду развалин, мы еще раз попробовали пробиться на север, ближе к тем местам, откуда продолжала доноситься канонада, но все дороги были запружены спешившимися на север синими колоннами пехоты. Казалось, им не было конца. Люди шли плотными рядами, без отсталых, без растяжек, — так, как я привык их видеть на больших маневрах после тяжелых переходов. Латизо, как всякий хороший шофер, стремился их обогнать, но я считал неуместным стеснять движение войск своей машиной и велел повернуть обратно на восток, чтобы успеть взглянуть и на правый фланг французских армий.

Вот и родной Витри ле Франсуа, который еще не остыл от горячих боев: то тут, то там по его окраинам, из полуразрушенных построек, вырываются языки пламени незатушенных пожаров. Хочется взглянуть на гостеприимный дом моего нотариуса, и Латизо сворачивает с дороги на соборную площадь. Мало оживленный городок совершенно вымер и своей тишиной напоминает кладбище. На повторные звонки Лаборда дверь открыла изумленная нашим появлением хозяйка; она приняла нас как родных и свела в подвал, где собирались ее подруги, спасаясь от бомбардировки. Мужья уже давно скрылись. Милые женщины усердно угождали нас чем бог послал, но мы спешили: на дворе уже темнело, а нам предстояло еще проехать больше сотни километров до главной квартиры.

Ночь была как-то особенно темна. Усталость нечувствовалась, и, полулежа в машине, я все же не дремал: хотелось как можно скорее поделиться впечатлениями с французскими товарищами, узнать про общее положение за день на фронтах.

Главная квартира уже спала, и в полутемном, освещенном только ночником монастырском коридоре я не без труда нашел келью Бертело.

Приоткрыв дверь, я изумился. Несмотря на поздний час, Жоффр еще не спал и, наклонившись над картой, освещенной коптишней геросиновой лампой, слушал доклад стоявшего около него Бертело. Тут же, в сторонке, сидел и начальник штаба, генерал Беллен.

— Ах, это Игнатьев? Входите, входите! — весело воскликнул Бертельо. — Расскажите, что нового!

Жоффр оторвался от карты и, как всегда, слегка свернувшись на левый бок, покал мне руку, приглашая присесть на крохотный переплетенный соломой табуретик.

Докладывал я, как помнится, кратко, но с большим подъемом, и в заключение просил разрешения в моей телеграмме в Россию охарактеризовать общее положение словом «победа».

— Ах, зачем такое громкое слово? — как-то смущенно улыбаясь, возразил Жоффр. — Вот тут, в Аргоннах, ils se sont rapprochés (они еще цепляются), — и он показал на карте армию германского кронпринца к юго-западу от Верлена. — Напишите: «успех», «общий отход немцев».

Но я не унимался и продолжал настаивать на слове «победа», пытаясь найти поддержку у Бертельо.

Тяжелая работа не отразилась на его лоснящемся от здоровья лице. Своим довольным видом он напоминал ученика, только что блестяще выдержавшего трудный экзамен. Но Бертельо знал своего упрямого начальника, не посмел ему перечить, и только лишний раз стал указывать карандашом успехи, достигнутые на каждом из участков обширного фронта.

— Ну, пусть будет так, — сказал Жоффр. — Но вот о чем вы должны были бы предупредить великого князя: это о непредусмотренном расходе

артиллерийских снарядов. Совершенно необходимо, чтобы он учел это для вашей армии.

— Я бы с удовольствием это сделал, — заметил я Жоффру, — но генерал Бертело уже знает, сколько мне пришлось преподать непрошеных советов великому князю, и лишний урок с моей стороны мог бы вызвать в нем только раздражение. А вот если бы вы, за своей подписью, посоветовали, на основании опыта нашего фронта, принять меры по обеспечению снарядами русской армии, то это могло бы быть более действенным.

Да, вы правы, — сказал, подумав, Жоффр. — Я даже сделаю это через наше правительство. Это будет выглядеть еще более серьезным.

Я, конечно, промолчал о том упорстве, доходившем до враждебности, с которым русское начальство еще до войны относилось к моим настойчивым указаниям об увеличении, по примеру французов, боевого комплекта снарядов до 1500 на каждое полевое орудие, вместо имевшихся у нас 900 снарядов.

«У них так, а у нас так», — звучал еще в ушах ответ Жилинского.

Жоффр тут же стал диктовать Бертесло телеграмму Мильерану.

Ни поражения, ни победы не нарушали плавного хода работы высшего французского командования.

\* \* \*

Пропли годы, кончилась война. Безвытурные, но полные воли и упорства приказы Жоффра сменились трескучими фразами Фоша, гордого своей победой над армиями кайзера.

Франция почувствовала себя вправе диктовать свои законы всей Европе, и только одна страна, занимавшая шестую часть мира, позволяла себе роскошь жить и думать самостоятельно.

Среди драгоценных камней,красивших корочу победительницы, самым блестящим бриллиантом все же оставалась битва при Марне. Ее-то особенно старались использовать все те силы реакции, которые подняли голову после заключения Версальского мира.

Когда-то один из величайших американских миллиардеров, Морган, хвастаясь организацией своего громадного дела, говорил, что он может в этом отношении завидовать только «организации германской армии и католической церкви».

Организация католической церкви позволяла ей использовать все средства для собственной пропаганды, и Марское сражение тоже послужило для нее «подходящим материалом».

В одну из головщин этого события я получил следующую приглашательную карточку:

Как участник Марнского сражения, вы приглашаетесь на церемонию для прославления Всевышнего, показавшего себя в дни Марны таким добрым французом.

Архиепископ Маршал Франции  
Парижский Фош

Самодовольство победителей, захвативших права на самого «всевышнего», могло вызвать в то время только горькую улыбку, но соединение на одном и том же, хотя и полуофициальном, документе подписей представителей церкви и армии ярко отражало тот реакционный послевоенный консерватизм, который уже тогда открывал широкую дверь для грядущего фашизма.

Не за то проливали кровь французские солдаты первых дней войны, не такой представлялась им будущая судьба Европы. Все мы надеялись, что эта война будет последней.

## Глава четвертая

### НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

— Когда же кончится война? — задал мне наизнаный вопрос, спустя несколько дней после Марны, офицер военного кабинета президента республики Пенелон, встретив меня во дворе штаба главной квартиры.

Поддерживая связь между Жоффром и Пуанкаре, Пенелон, вероятно, из желания придать более воинственный характер своей миссии, прилетал из Бордо измученным, в запыленном автомобиле, вместо того чтобы совершать ту же поездку несравненно скорее в железнодорожном экспрессе. Война представлялась еще многим интересной новинкой, такой, как про нее читалось в исторических романах: только лихие ординарцы на взмыленных конях замечались офицерами связи в потрепанных от стоверстных пробегов машинах.

— Не менее двух лет, — бросил я в ответ Пенелону, учитывая опыт манчжурской войны и нерешительный результат битвы на Марне.

— Не может быть, — ужаснулся мой собеседник. — А господин президент собирался уже к рождеству вернуться в Париж.

Я пожал плечами и не задерживал всегда куда-то спешившего Пенелона. Однако через несколько дней оказалось, что мой ответ произвел в мирном далеком Бордо совсем неожиданное впечатление.

— Пуанкаре очень озабочен вашими пессимистическими взглядами на войну, — сообщил мне Извольский. — Президент считает, что подобные мнения могут возыметь вредное влияние на французскую армию.

Пришлось давать объяснения.

— Если союзники не подготовятся к длительной борьбе, — ответил я, — если не озабочатся пополнением материальной части, и в особенности накоплением запаса артиллерийских снарядов, то они будут разбиты. Впрочем, если мои советы признаются господином президентом вредными, то я готов немедленно покинуть свой пост и просить мое начальство о срочной присыпал заместителя, большего оптимиста, чем я.

Как лавировал в Бордо Извольский, мне, конечно, неизвестно, но вопрос был исчерпан.

Однако и я ошибся: война длилась не два, а целых четыре года! Я не мог предвидеть, что уже через месяц после разговора с Пенелоном она начнет принимать характер мировой, что 29 октября 1914 года на стороне Германии выступит Турция, а ровно через год и Болгария; что на стороне России, Франции, Англии, Бельгии и Сербии выступят Япония и Италия, через два года — Румыния и Португалия, а через три — Китай, Греция, южно-американские республики и решившие участь войны Северо-Американские Соединенные Штаты.

Германская военная машина потерпела окончательное крушение на французском, то есть на Западном фронте. За все четыре года войны он притягивал на себя большую часть германской армии. Французы прекрасно сознавали, что не будь русского фронта, они были бы раздавлены германской армией, но в русских правящих кругах даже сама марксистская победа вызвала совершенно неожиданную реакцию. Ставка поручила мне запросить мнение генерала Жоффра по следующему вопросу:

«Ход военных операций на обоих европейских театрах войны и сведения, получаемые со всех сторон о перевозке значительных германских сил с запада на восток, наводят на мысль, что немцы, оставив слабую завесу на Западном фронте, все силы бросят на восточный театр, с тем, чтобы совместно с австрийцами нанести решительный удар России...»

Подобные тревожные телеграммы, не указывающие источников осведомления и даже примерного размера перебрасываемых войск, заставляли французов предполагать, что наши разведывательные органы придают чрезмерное значение данным агентурной разведки.

Широкое и планомерное развитие германской контрразведки вынуждало Гран Ку Же относиться с чрезвычайной осторожностью ко всякого рода сенсационным и недокументальным сведениям, залодозривая в них работу германского контрразведчика.

Последняя телеграмма Ставки сопровождалась в тот же день телеграммой Сазонова к Изюмольскому. В ней-то и скрывалась истинная подозрева стратегических и мало обоснованных размышлений русского командования, а именно:

«Как бы Франция, утомленная войной, не нашла в себе решимости отложить наступление в то время, когда она будет иметь в руках достаточные гарантии возвращения ей утраченных в 1871 году земель. Нынешняя дипломатическая обстановка, конечно, в принципе исключает возможность принятия Францией того положения, но она может быть к тому вынуждена состоянием своей армии к моменту, предусматриваемому великим князем, а также общественным мнением. Великий князь издавал своему сообщению генералу Жоффру исключительно характер звучания между обоими главнокомандующими, то есть строго военного, если вас (посла), со своей стороны, в пределах возможного выяснить положение, которое может принять Франция в предусматриваемом его сочеством случае.

За такой формой, достойной византийских чиновников, скрывался настороженность предательства со стороны Франции: царские министры, видимо, опасались, не заключит ли она сепаратного мира с Германией за счет России.

Этот документ показывал, кроме того, полную неосведомленность русских правящих кругов о положении на Западном фронте. Неужели эти люди не читают моих ежедневных телеграмм? — думалось мне. — Или это может попросту они с ними не считаются?

Они не могли не знать, что после Марнского сражения боевые действия на западе не прекращались. Вся Франция с напряженным вниманием следила за той упорной борьбой, начало которой было положено альпийским обходом правого фланга германских армий в сражении на Арне.

Немцы парировали удар, перебросив к этому флангу свои резервы, пытались, в свою очередь, обойти левый фланг французов с тем, чтобы обиться к северным портам Франции, откуда ожидались английские дкрепления. Толстяк Бертело тоже не дремал и перебрасывал на север войска, снятые с Лотарингского фронта.

«Для обоих противников, — как я доносил, — переброска по железным рогам с каждым днем приобретала все большее значение».

Количество наличных резервов имело, однако, свой предел, и к середине октября 1914 года, к моменту растяжения фронта до Бельгийской аркании, резервы французов почти истощились.

После беспримерных по ярости контратак французской морской пехоты, покрывшей себя славой (*fusiliers marins*), германское продвижение остановилось, а для обороны остававшегося до моря двадцатипятикилометрового пространства пришлось прибегнуть к «последнему резерву» — к искусенному наводнению.

— Ну, слава богу! — с облегчением сказал мне Бертело. — Им больше тиши негуда: мы открыли северные шлюзы и пустили на них воду!

Так закончилась длительная операция, прозванная «бегом к морю»!

Это были черные дни для несчастной Бельгии. Пал Антверпен, был занят Брюсселем, и остатки деморализованной бельгийской армии, впремежку с населением, сиасались от бесчеловечного преследования немцев в бегством к французской границе. Остановить эти толпы и разобраться в них требовало немало усилий, но никакие испытания не могли щить французов права погнаться и пошутить.

В армии долго был в ходу следующий, весьма близкий к действительности, анекдот.

За недостатком полевых войск на последнем пограничном участке через Изер стоял часовым добрый старый французский территориал. Ход. Дождь. Часовой поднял воротник и взглянул в ночную даль. дороге со стороны Бельгии ему уже не раз приходилось пропускать то себя то солдат, то мирных граждан, жен, детей, и бравый часовой пил, наконец, самостоятельно наавести порядок.

— Halte là! Qui vive? (Кто идет?) — останавливает он надвигающуюся на него новую толпу, из которой доносятся жалобные крики.

— Les fuyards (беженцы).

На что территориал спокойно и авторитетно приказывает:

— Les fuyards, à gauche! (беженцы налево).

После перехода моста он собирал беженцев налево, а всех одетых в военную форму — направо.

Там, за рекой Изер, на последнем небольшом клочке бельгийской территории, король Альберт собрал вокруг себя остатки своей армии. Высокий, блондин в пенсне, он ни в каком отношении не казался выдающимся человеком. Но за то, что он не продал немцам чести своей страны и разделил судьбу своего несчастного народа, он заслужил его уважение и покрыл себя славой героя.

В конце 1914 года, в одну из своих поездок на фронт, я заехал, из военно-дипломатической вежливости, и на крайний левофланговый участок, оборонявшийся бельгийцами. Он оставался частью затопленным до конца войны и тактического интереса уже не представляя. Время от времени немцы все же напоминали о себе тяжелыми снарядами, а позднее и бомбёжкой с самолетов скромной бельгийской главной квартиры. Она была расположена почти непосредственно на линии фронта, в небольшой деревушке Фюрп, где в уцелевшей вилле принял меня сам король, он же главнокомандующий, и пригласил меня к завтраку.

Обстановка была действительно трогательная, никакого двора, никакой придворной роскоши. Королева — маленькая, худенькая, но очень энергичная женщина, в костюме сестры милосердия — напомнила мне знакомую простоту Скандинавии.

Как всегда и везде, разговор со мной вращался вокруг положения на русском фронте, и, как всегда и везде, мне ничего не оставалось добавить к писавшимся в газетах официальным и сухим сообщениям Петрарадского телеграфного агентства.

Эти сообщения изредка пополнялись так называемыми «циркулярными» телеграммами нашего генерального штаба, но когда они получались, они производили на французов, как я доносил, «впечатление, обратное тому, которое мы желали произвести».

Как показала история, уже в начале октября 9-я германская армия Максзена начала марш-маневр против Варшавы, заставляя этим русское командование изменить первоначальные наступательные планы.

Мое служебное положение снова стало нестерпимым, так как за период горячих сражений на Восточном фронте посыпка даже «циркулярных» телеграмм нашего генерального штаба совсем прекратилась.

«Высшее французское командование знает об операциях наших армий не больше, чем обыватель любой страны мира», — телеграфировал я генерал-квартирмейстеру ставки Данилову 4 декабря 1914 года.

«А мы находимся в аналогичном положении, но нисколько этим не тяготимся!» (!) — мудро ответил мне Данилов, отдаваясь от меня, как от назойливой мухи, и умалчивая с этой целью о получаемых им ежедневно телеграммах с Западного фронта.

С постепенной его стабилизацией от моря до границы и развитием операций на русском фронте вопрос переброски германских сил приобретал все большее значение.

Учет их представлял, однако, тоже все большие трудности, — не только из-за отвода германских частей на долгий срок во вторую линию, но и вследствие неожиданного появления уже в начале октября шести новых германских корпусов серии от 24 до 27, из которых пять были постепенно обнаружены на французском фронте и один — на русском. Все знали, что после тяжелых потерь, понесенных немцами в первые недели войны на Западном фронте, они поспешили досрочно призвать под знамена очередной призыв 1915 года, размер которого в два раза превосходил французский и определялся от 400 000 до 500 000 человек, но самому Дюю не верилось, что немцы сумеют в такой короткий срок сформировать столь крупные соединения, как корпуса.

Брошенная в сражение во Фландрии необстрелянная и неуверенная в себе молодежь, составлявшая эти новые корпуса, пошла в атаку, держа друг друга под руки. Быть может, этим было положено начало пресловутых германских «психических атак» 1940 года.

Хладнокровных англичан, переведенных после Марны на северный фронт в район города Ипра, это не смущило и их пулеметы исправно косили плотные немецкие строи.

Французы на первых порах показали, впрочем, по-своему красивую, но менужную храбрость: сен-сирские юнкера пошли в первую атаку в парадной форме и в белых замшевых перчатках.

Агентурные сведения о переброске германских сил, поступившие после Марны из русской Ставки, начали получать свое подтверждение во французской главной квартире только в первых числах ноября, когда было переброшено на восток две кавалерийских дивизии. В связи с этим я счел полезным телеграфировать некоторые соображения о времени, потребном для проведения немцами перебросок.

«Принимая за основание расстояние от Брюсселя до Бреды в 1 200 км среднюю скорость движения поездов — 20 км в час, число отправляемых поездов в сутки — 40, число поездов, потребных для корпусов, — 120, можно заключить, что для перевозки корпуса потребуется: на сбор и погрузку — 2 дня, на пробег всех 120 поездов — 6 дней, на выгрузку и сосредоточение — 2 дня, — то есть всего от 10 до 12 дней.

С начала вторитых боев под Варшавой русский генеральный штаб, служба которого, какказалось, начала налаживаться, определял германские силы на русском фронте от 3 до 5 полевых корпусов, 6 резервных, от 2 до 3 ландверных и 6 кавалерийских дивизий.

«Здесь полагают, — отвечал я 20 ноября, — что против нас действует гораздо больше сил, чем те, кои показаны в нашей телеграмме». А через неделю после этого пояснял:

«Неудачи, которые потерпели немцы в боях во Фландрии, равно как и временное затишье, наступившее за последние дни, естественно изменили мои соображения о переброске сил на Восточный фронт. По многим признакам, немцы спяли с фронта большую часть тяжелой артиллерии.

Переброска частей с французского на русский фронт становилась тяжелой реальностью.

И чем дольше длилась война, тем сложнее становилась работа по выяснению не только германских перебросок, но и роста германских сил. После октябрьских корпусов, в январе 1915 года была обнаружена целая серия новых корпусов, в конце марта — правда, уже не корпусов, а дивизий, из которых 11 насчитывалось на французском, и 3 на русском фронте, в мае 1915 года — уже только полков. Число дивизий росло, но сила каждой из них уменьшалась. С неподражаемой изобретательностью и организованностью немцы перетряхивали свои людские запасы, разыскивая пополнения dans le fond des tiroirs (на дне ящиков), как говорили французы.

\* \* \*

Я давно покинул свой стол в помещении штаба и работал в отведенной мне квартире госпожи Буланже, жены мобилизованного писателя — типичного буржуазного эстета. Приехав как-то с фронта в краткосрочный отпуск, хозяин набросился на моего шоferа Латизо за то, что масло от моей машины закапало каменную плиту в подворотне. Буланже считал высшей несправедливостью свое пребывание в грязных, холодных щопах, в обществе «нечелюстурных» людей.

В гостиной госпожи Буланже, обращенной в мой рабочий кабинет, вместо гравюр XVIII века с любовными сценами и пасторальми, появились две громадных карты русского и французского фронтов, испещренные надписями углем, с названиями обнаруженных германских частей. Голь легко было стирать.) Подле каждой карты, от изеньского потолка до самого пола, висели таблицы: на одной стене — красного цвета, для

Французского фронта, а на противоположной — зелёного, для русского фронта, отображавшие организацию всех германских армий.

На моем письменном столе, застланном богатым хозяйственным шелковым покрывалом, стояли две деревянные картотеки, доведенные до номеров немецких полков, а под часы и батальонов: одна для русского, а другая для французского фронта. На каждой карточке были точно проставлены документы, то есть номера сводок или телеграмм из России, на основании которых она была составлена.

Мои скромные помощники, выполнившие всю эту кропотливую работу, знали, что к вечеру, перед отправкой телеграмм в Россию, данные карты таблиц и картотеки должны были сходиться.

В те «святые святых», что представлял мой кабинет, вход посторонним лицам был запрещен, но, конечно, я не мог в этом отказать такому высокому начальнику, как Фош. Он в эту зиму командовал уже всем Северным фронтом, как единственный из французов, умевший ладить с англичанами. Являясь по службе к Жоффру, Фош неизменно заходил ко мне «попить русского чайку», как он сам выражался. Незадолго до войны он побывал на маневрах в России, и здоровые, загорелые лица на пехотных солдат в проповеди гимнастерках, русское раскатистое «ура!» произвели на этого пехотного командира неизгладимое впечатление. Он посвятившись возвращался в разговоре к этим воспоминаниям.

В противоположность Жоффру, которого ослепило оказанное ему Ильи колаевым внимание, Фош старался избегать вопроса о будущем русском командовании.

Рассматривая внимательно висевшие на стенах вокруг нас карты таблицы, он восторгался установленным у меня тройным контролем с немцами и зававлялся, как ребенок, сверяя сведения об обнаружении на его фронте германских полков.

— Вы же согласны, mon général,— осторожно настаивал я, что инициатива остается в руках немцев исключительно по причине несоглашенности действий наших армий и отсутствия общего высшего руководства. Вот сейчас мы выдерживаем натиск на Варшаву, а вы только подготовляете операцию. Хочь и неудачно был задуман наш первый наступление на Восточную Пруссию, а все же, как теперь выяснилось, это сильное давление на моральное состояние немецкого командования и вынудило его в самую критическую для него минуту наступления на Париж, бросить на наш фронт целый полевой корпус, да, вероятно, привести и другие, быть может, мне не указанные подкрепления.

— Кому вы говорите,— с горечью отвечал Фош, не отрывая глаз от одной, то от другой карты. В моем узком кабинете он чувствовал себя свободным и от начальства и от подчиненных.— Мы на нашем собственном фронте страдаем от отсутствия общего руководства. Попробовали бы вы сговориться с англичанами! Они твердо решили,— правда, из-за недостатка снарядов, в которых мы и сами нуждаемся,— начать воевать только в будущем году!

Мечте Фоша о единстве командования суждено было осуществиться лишь через три года после нашей беседы. Он был назначен главнокомандующим всеми силами союзников на Западном фронте в самом конце войны, в марте 1918 года, после последней предсмертной попытки немцев прорвать Западный фронт. Английская армия, против которой был тогда направлен первый удар, оказалась в таком критическом положении, что только энергичное вмешательство Фоша задержало дальнейшее развитие успеха неприятеля. Ллойд Джордж добился после этого подчинения своей армии французскому главнокомандующему.

Уходя из моего кабинета, Фош неизменно приглашал меня посетить его фронт.

— Надо, чтобы мои войска видели представителя союзной армии, пояснял он.

Эти последние слова заранее облегчили для меня то тяжелое положение, в которое попадает военный человек, оказываясь в роли безуспеш-

ного зрителя на войне. Когда я вспоминал о докучливых иностранцах, с которыми приходилось возиться в русско-японскую войну, мне нередко бывало совестно отрывать от дела французских начальников на фронте и мучить их расспросами о положении на их участках, о встречаемых затруднениях, технических усовершенствованиях. Война предъявляет воинному атташе, даже союзной армии, еще больше требований дипломатического такта.

\* \* \*

На Западном фронте все было для меня ново и совсем не похоже не только на то, чему нас учили в академии, но и на те уроки, которые были нам даны русско-японской войной.

Техника XX века стала шагать такими темпами, что пошатнула немало доктрины, казавшихся нам священными. Параллели, сравнения в методике ведения войн, отделенные одна от другой не веками, а десятком-другим лет, стали невозможными, а для высшего руководства подчас и преступными. В мировой войне сроки стали уже измеряться не годами, а месяцами.

В течение первых двух лет войны союзникам с трудом удавалось догонять немцев в отношении технических средств. При первых же попытках, еще осенью 1914 года, прорвать германский фронт французы настали на неразрушенные полевой артиллерией бетонированные капониры, а вскоре — и на стальные купола. Не хотелось верить, что бетон и сталь могут быть применены в столь короткий срок в полевой войне.

В декабре 1914 года французы рассчитывали, что, выпустив на фронт в пэлтора километра за один день 28 000 снарядов, они смётут с земли всю сложную паутину проволочных заграждений и подавят оборону.

В феврале 1915 года атака почти на столь же ограниченном участке потребовала для своей подготовки уже 70 000 снарядов, но в обоих случаях вторая линия неприятельской обороны оказалась перезрушенной, и французская пехота смогла продвинуться с большими потерями всего на три — четыре километра.

В апреле 1915 года немцы не остались в долгу и для подготовки собственной атаки, — правда, тоже бесплодной, — выпустили на фронте в шесть километров до 50 000 одних только тяжелых снарядов, которых у союзников было совершенно недостаточно.

Как только начали обозначаться признаки равновесия сил в артиллерии и, в особенности, в обеспечении снарядами обеих сторон, немцы уже в январе 1915 года стали подготовлять атаки тяжелыми минометами; эта новая траншейная артиллерия явилася такой новинкой, что, за отсутствием соответствующих военных терминов как на французском, так и на русском языках, я сохранил для этих чудовищ, стрелявших вправду, всего на сотни метров, немецкое название: «Миненверфер».

Когда и этого средства стало нехватать, чтобы сломить стойкость французской пехоты, немцы пошли на последнее страшное средство, превзошедшее по своей бесчеловечности все те зверские методы ведения войны, в систематичность и преднамеренность которых так долго не хотелось верить.

XXVI германский корпус, — телеграфировал я. — вчера, 22 апреля (1915 года) внезапно атаковал территориальную (то есть, по-нашему, ополченскую) дивизию, которая являлась звеном между правым крылом бельгийцев и левым флангом англичан. Отравив защитников передовых траншей удущливыми ядовитыми газами, немцы ворвались в укрепленные линии. При поспешном отступлении, вызванном исключительно волной удущливых газов, дивизия потеряла 24 орудия, частью старых образцов.

Захватчивая донесения, я добавлял:

«Отчаянные усилия немцев одержать успех на Западном фронте объясняют здесь стремлением воздействовать на Италию». Эта бывшая германская союзница продолжала сохранять в начале войны нейтралитет и уже поглядывала в сторону союзников.

Неподвижность Западного фронта продолжала представлять загадку, чем и объясняются мои частые поездки на боевые участки. Французы, в противоположность мирному времени и порядкам засекречивания, за-вещанным Жоффром в первые дни войны, — стремились использовать мои посещения для возможно полного осведомления.

Обычно меня принимал один из командующих армиями или корпусом; они были заранее предупреждены о моем приезде. На схеме, представлявшей из месяца в месяц все более сложную паутину окопов и ходов сообщения, генерал, со свойственной французам доскональностью, объяснял систему обороны своего участка и хвастал отвоеванными в последних боях неприятельскими траншеями длиной иногда только в несколько десятков метров. Первое время меня поражало несоответствие достигнутых результатов с числом сосредоточенных для этого орудий и пулеметов; только постепенно, из бесед то с одним, то с другим командиром, мне становилась ясна картина боев, совершенно отличная от всего, что я видел в Манчикурии. Расход ружейных патронов бывал ничтожный, так как никакой стрелковой огневой подготовки вести не приходилось. Ее заменил систематический прогрессивный артиллерийский огонь в течение иногда двух-трех часов, а иногда и целых суток. Одновременно, под покровом ночи, в передние окопы незаметно подводились пехотные подразделения для атаки. Перед холодным зимним рассветом притаившиеся в полной тишине ряды солдат, предназначенных для удара, обходили унтер с бочонком подмышкой, угощая каждого стаканом крепкого, душистого коньяка. В утреннем тумане беззвучно высказывали первая волна атакующих, за ней, через несколько минут, вторая, потом третья... Рукопашный, а тем более штыковой бой отошел в область предания.

Вот первая волна *blaue Teuffeln* (голубых дьяволов), как прозвали немцы французских пехотинцев за их порыв и серо-голубые шинели, добегает до немецких окопов и, найдя их разрушенными артиллерией, не задерживается. Люди перепрыгивают через немецкие траншеи и бегут дальше. Так же легко они преодолевают нередко и вторую линию, рвутся вперед, но тут же начинают падать под ураганным огнем тяжелой артиллерии и укрывающихся у прочных капониров немецких пулеметов.

Третья линия немецкой обороны представляла, неодолимую крепость и требовала для своего разрушения новой длительной бомбардировки. Вынтоква оказалась мало пригодной для борьбы в окопах: немцы в первые месяцы войны показывали исключительное упорство в обороне и продолжали держаться даже после того, как волны атакующих уже прошли через их траншеи. С ними разделялись отборные солдаты, получившие название *les nettoyeurs* (чистильщики): вместо вынтоков они были вооружены кинжалами, ручными гранатами и револьверами.

— Нужны ли нам револьверы? — запроприятивал я самого начальника Артиллерийского управления, великого князя Сергея Михайловича, после того как донес о новой роли этого оружия. «Нет не нужны. Сергея! — получил я в ответ и, возмущенный вечной самовлюбленностью этого управления, ответил с непозволительной по тем временам дерзостью: «Подтверждаю получение вашего номера 7642. Револьверы нам не нужны. Игнатьев».

Самые наглядные объяснения происходившего на французском фронте удавалось получать только по утрам, после ночевки у командира корпуса. В сопровождении одного из офицеров штаба я отправлялся в передовые линии окопов. Зимой их бывало трудно даже найти: до того они сливались с окружавшей сероватой местностью, но зато летом перевернутая земля покрывалась сплошной поленой красных маков, напоминавших о других, более счастливых, мирных временах.

Навсегда запомнился мне милый рыжий капитан с толстой палкой в руке, не раз сопровождавший меня на излюбленном мною участке фронта в Артуа, между Монт Сент Элуа и Нотр Дам де Лоретт. С высоты отрывалась панорама на десятки километров. Слева, на севере, в сфере дальнего артиллерийского огня, виднелась жертва германского

нашествия — угольный район Бетюма, впереди — длинная плоская цепь гребней голубовато-серых возвышенностей, представлявшихся, по объяснению капитана, линию германской обороны.

Я рассматривал ее в свой прекрасный цейсовский бинокль, поданный когда-то шведскими артиллеристами, но подавивший капитану, признаясь, больше из вежливости: разглядеть что-либо удавалось редко.

Немцы были по-своему вежливы и, несмотря на большую дистанцию, хорошо пристрелявшись, приветствовали обычно появление непропущенных наблюдателей двумя-тремя тяжелыми фугасами. Через два года войны живописный лесок, покрывавший высоту, был перенесен глубокими воронками. Далее, вниз к передовым окопам, приходилось продвигаться по бесконечным ходам сообщений. На это у меня обычно терпения не хватало, тем более что благодаря моему высокому росту и малой глубине французских окопов они, казалось, не представляли для меня достаточно надежного укрытия. Капитан мой уже привык сокращать по моей просьбе расстояния и торжественно маршировал со своей палкой напрямик, перемахивая через ходы сообщения, попадавшиеся на пути.

Самым надежным укрытием и прекрасным наблюдательным пунктом мне представлялись глубокие воронки от снарядов, — второй раз снаряд ведь в то же место не попадет!

Во время подобных прогулок капитан был неутомим и, спустившись в окопы, он то и дело хвастал то укрытым под землей погребком с ручными гранатами — этим тоже новым оружием пехотинца, то хорошо замаскированным пулеметным гнездом. Одним только он не мог похвастаться — видом людей. (Санитарная часть работала в начале войны очень плохо.)

Зима 1914 года выдалась особенно суровая, и землянки, то затопленные водой, то промерзшие, без теплушек, без всяких, даже примитивных, удобств, делали невыносимым для нервных, подвижных французов тягостное сидение в окопах. Теплой одежды заготовлено не было и, в виде драгоценной новинки, часовым выдавались полотнища из козлиных шкур. Сколько раз хотелось похвастаться перед французами нашим русским полушибком! Русские башлыки заменялись шерстяными шарфами всех цветов; они высыпались на фронт заботливыми женами и *les marraines* (крестными матерями).

Женщины Франции, привыкшие играть большую роль в жизни страны и народа в мирное время, немало содействовали поддержанию воинственного духа не только на фронте, но и в тылу.

Прежде всего большинство француженок, особенно тех, кто имел близких людей на фронте, стало относиться с презрением к мужчинам, укрывшимся в тылу. Для них было создано специальное произведение: *les émibusqués* (окопавшиеся).

Самыми несчастными оказались солдаты из оккупированных немцами департаментов; о них позаботиться было некому, и для этих одиночек людей были созданы «крестные матери» — *les marraines*. Командование через гражданских префектов доставляло списки солдат и офицеров, не имевших в тылу ни родных, ни знакомых, и женщины всех возрастов и положений наперерыв выбирали себе крестников, заводили с ними переписку, посыпали подарки на фронт, и, что еще важнее, давали приют отпускникам. Не обходилось, конечно, без романов и семейных драм. Благодаря удобным сообщениям недельные отпуска давались регулярно, каждые три-четыре месяца, за исключением периодов напряженных боев, но при этом на условиях, одинаковых для всех — от генерала до рядового солдата. Зато в зону армий, кроме сестер милосердия, ни одна женщина не пропускалась.

\* \* \*

Читателю может показаться странным, что при всех расчетах за первый год войны я не учитывал английской армии. Обрамленная с двух сторон французскими дивизиями, она продолжала занимать в то время

небольшой сравнительно участок к югу от бельгийцев, который постепенно расширялся по мере прибытия первых эшелонов новой армии, формируемой на островах, согласно ненавистному для довоенной Англии новому закону о воинской повинности. Формировал эту армию упрямый и жестокий солдат — лорд Китченер. Все его помнили по его деятельности в англо-бурскую войну, и все знали, что с ним шутить не приходится.

Но как бы ни скромны были силы английской армии в первые месяцы войны, мне все же казалось неприличным отсутствие при ней русского военного представителя. И военный агент, престарелый генерал Ермолов, и специально назначенный впоследствии на пост представителя Ставки генерал Дессино предпочитали на континенте не появляться. А между тем англичане уже тогда могли оказать немалую помощь союзникам своей непревзойденной в ту эпоху Intelligence Service и даже Scotland Yard. Их агентурная разведка, направленная, правда, больше на политические и экономические, чем на военные вопросы, раскрыла бы русскому военному руководству многие немецкие тайны, выдала бы и немецких агентов, завербованных в самой России.

Хотя французы относились почти с предубеждением к сведениям военного характера, получаемым англичанами из бельгийских и голландских источников, мне все же казалось необходимым использовать английскую главную квартиру для проверки сведений о переброске немецких дивизий на русский фронт.

Прием, оказанный мне в Сент Омере — скучном и мало привлекательном городе севера Франции, — благодаря любезности моего старого друга Вильсона отличался той простотой, лишенной всякого палибратства, которая представляет одну из главных прелестей английской пачии. Я приехал for business (для дела) и этого было достаточно, чтобы в разведывательном отделении я мог получить все нужные сведения.

Англичане с трудом одолевали новую для них науку войны. Помнился, как, проходя через одну из классных комнат городской школы, превращенной в штабные бюро, я поражался терпению какого-то французского капитана. Стоя у черной доски с большим куском мела в руке, этот дотошный маленький артиллерист усердно старался вложить в умы окружавших его великанов в просторных френчах цвета «хаки» премудрости прогрессивного и баражного огня.

Ах! Ах! — слышались удивленные негромкие возгласы то одного, то другого из собравшихся английских командиров. Все это было для них так ново и мало понятно, но терпеливый французик не унывал и честно выполнял возложенное на него поручение.

Вспомнив, что я по роду оружия — кавалерист, Вильсон предложил мне посетить на фронте одну из спешенных кавалерийских бригад, занимавшую передовые окопы.

Вечерело, когда мой грузный открытый ролс-ройс, забыв про все свои скоростные рекорды, тихо пробирался по узенькой булыжной дорожке, среди берегового моря болотистых лугов.

Как бы прощаясь с холодным зимним днем, лениво бухали то тут, то там тяжелые немецкие снаряды.

Мы никого не встречали и начали уже было сомневаться в правильности взятого направления, когда, наконец, приближаясь почти в полной темноте к какой-то одинокой двухэтажной каменной ферме, мы были остановлены окриком на английском языке. Перед нами вырос великан-часовой. После проверки моего французского Laissez Passer (пропуска), он объяснил, что тут помещается штаб кавалерийской бригады.

Кому же, кроме англичан, на шестом месяце войны могло притти к голову разместиться не в хорошо замаскированной землянке, а в привлекавшем внимание, но зато комфортабельном домике!

— До нас могут долететь только тяжелые снаряды, и шансы попадания в ферму у немцев очень невелики, — хладнокровно объясняли мне хозяева.

После представления генералу, бодрому, сухому джентльмену, и до-

клада начальника штаба о положении на фронте я получил предложение to change (переодеться к обеду).

К счастью, под сидением машины у меня всегда находились длинные рейтусы и ботинки со шпорами, которыми я смог заменить высокие сапоги. Но чего стоила эта прикраса перед тем великолепием, которое я увидел, опустившись по внутренней лестнице из отведенной мне комнаты в столовую!

Там был сервирован обеденный стол с прекрасной посудой и серебром (содержать серебро в блестящем виде умеют только англичане). Около каждого прибора лежал большой кусок чудного, совсем белого хлеба; о нем я уже давно забыл и предвкушал удовольствие поскорее его отведать. Мой походный китель совершенно не соответствовал элегантным английским мундирам образца мирного времени, накрахмаленным рубашкам и рейтусам с тонкими красными лампасами, в которые облеклись к обеду хозяева. Они свято хранили традиции даже переодевания к обеду и были способны мужественно умереть, но умереть с комфортом.

Разница в бытовых условиях военного времени между французской и английской армией никого не смущала. Когда, под впечатлением пре красного обеда, ничем не отличавшегося от приемов в мирное время, я очутился на следующее утро в окопах, меня интересовали не столько предметы вооружения, сколько сами войска, которые я видел впервые. Поражало прежде всего то гордое достоинство, с которым держали себя не только младшие командиры, но и рядовые солдаты. Правда, это были волонтеры отборной кавалерийской части, но их непринужденная спортивная выправка, их мужественные, хорошо побритые лица и хорошая мускулатура уже сами по себе влущали доверие к могущественной нации. Кого ухватил зубами британский лев, того он не выпустит.—это не раз доказала история.

Марать сапог в окопах не пришлось: я шел по аккуратно сбитым решетчатым деревянным мосткам, под которыми стояла жидкая грязь, спускался в землянки по обитым деревом ступеням, любовался прочными, почти красивыми блиндажами из нескольких рядов толстых бревен, пересыпанных землей. Откуда и как завезли англичане столько леса в эту беслесную, безотрадную равнину? Люди побеждали природу, отводили воду, боролись за чистоту и хотя бы скромный, но все же комфорт.

В просторных, тяжелых рюкзаках было для этого все необходимое. Где бы и в каких условиях англичанин ни находился, он даже с одним рюкзаком умудряется, насколько возможно, не прибегать к чужим услугам.

Английская армия жила во Франции своей самостоятельной жизнью и считала вполне нормальным иметь все преимущества перед французской, не только в отношении продовольствия, но, впоследствии, и вооружения.

Война для англичан представлялась хотя и новым, но одним из тех государственных предприятий, которые издавна проводились Британской империей с настойчивой последовательностью, доводившей конкурентов и врагов до отчаяния.

На третий год войны, во всю длину расширявшегося с каждым месяцем английского фронта были выстроены в три яруса орудия всех калибров, начиная с полевых и до самых тяжелых морских. Триста шестьдесят пять дней в году, с утра до ночи, не соблюдая даже пресловутых Week-end (уик-эндов) англичане бомбили немецкую оборону. Подобную роскошь они могли себе позволить благодаря неограниченному запасу боеприпасов и развитой за первые годы войны мощной орудийной промышленности. Расстрелянная пушка заменялась так же просто, как лопнувшая автомобильная шина. Всякому попадавшему в конце войны на английский фронт казалось, что он обходит громадный кузнецкий цех, и оглушающий шум молотобойцев надолго оставался в ушах.

Но до этих счастливых дней вся тяжесть борьбы с германской, австро-венгерской и турецкой армиями продолжала, увы, лежать на плечах только русской и французской армий.

«В гостях хорошо, а дома лучше», — и таким домом являлась для меня в первые два года войны французская главная квартира G.Q.G. (Гран Кю Же). Она занималась войной, и только войной, не считаясь с тем, что о ней скажут. Работники этого военного дома были несловоохотливы, документы держались под надежным замком, считаясь долгие годы даже после войны секретными. Вот почему памфлеты немногих журналистов типа Pierrefeu (Пиерфе), опубликовавших свои тенденциозные мемуары под громким названием «Гран Кю Же», только извратили представление о работе этого муравейника, составленного из скромных, но усердных тружеников. Роль французского Гран Кю Же в конечном исходе мировой войны, несомненно, оставалась недооцененной.

В результате марсской победы Гран Кю Же, вслед за армией, тоже продвинулся на север и в течение двух месяцев оставался в Ромильи на-Сене, очень неопрятном, закопченном городке. Общество восточных железных дорог сосредоточило в нем свои заводы и мастерские, Латизо это учел и словцом заменил в нашей машине мягкие рессоры мирного времени — вагонными! Машинка с рамой в две тонны стала после этого действительно всечной.

Ромильи считался одним из крупных центров социалистической партии и, предаваясь невеселым размышлениям о затяжном характере войны, под шум барабанившего в оконные рамы беспросветного осеннего дождя, мы с Лабордом передко рассуждали: почему это папа Жоффру выбрал это место пребывания; не из политических ли соображений?

На унылой площади, насупротив того отрятного домика рабочего, который был нам отведен, высился, как полагается, собор, откуда по воскресным дням доносились звуки органа и необычных для католической церкви хоровых песнопений. Несмотря на марсскую победу они продолжали отражать вспышь потрясенного германским нашествием французского народа, отчаяние вдов, сестер и матерей.

Oh, reine de France, priez pour nous,  
Notre espérance, venez et sauvez-nous!  
(О, царица Франции, помолись за нас,  
Наша надежда, приди и спаси нас!)

пели дружным хором молящиеся; среди них бывало лемало и солдат.

Наконец в начале ноября Лаборд, вернувшись как-то с ужина, сообщил под большим секретом полученную им от шофера сенсационную и приятную новость: «Мы переезжаем в Шантанье».

Шантанье, куда, казалось, совсем еще недавно мы ездили с моим другом Нарышкиным на скачки. Там, по строго установленному порядку, разыгрывался за неделю до Большого парижского дерби приз Жокей-клуба, служивший последним испытанием для отобранных уже на предшествующих скачках лучших французских трехлеток. В этот жаркий день на светло-зеленой скаковой дорожке встречались впервые соревнующиеся в решающей скачке красавцы-жеребцы и нежные кобылы.

С раннего утра набитые до отказа поезда, отходившие из Парижа каждые полчаса, перевозили в Шантанье — городок, расположенный в сорока пяти километрах к северу от Парижа, — толпу, жаждущую до скакового спорта, или вернее, — до игры в тотализатор. Обычно в этот день стояла нестерпимая июньская жара, но это не освобождало нас, членов Жокей-клуба, так сказать «героев дня», от длиннополых черных сюртуков, лакированных ботинок и блестящих цилиндров.

В специально отведенной для нас громадной ложе в центре трибуны пили горячие пересуды то о шансах какой-нибудь скаковой конюшни (имена владельцев играли большую роль, чем имена лошадей, а тем более жокеев), то о прогуливавшихся мимо ложи красавицах в самых модных туалетах: очень длинных, чуть ли не со шлейфами, платьях из легких, почти прозрачных пестрых материй и в громадных соломенных шляпах, украшенных бантами и искусственными цветами. (Парижские

моды в военное время быстро изменились: из-за отсутствия других средств городского передвижения, кроме метро и собственной пары ног, парижанкам пришлось укоротить платья чуть ли не до колен, а форму шляп как можно больше приблизить к мужскому головному убору.

Война, заперев двери театров, цирков и мюзик-холлов, упразднила и скачки. Но Шантанье не потерял своего военно-спортивного облика. Правда, дворцовые конюшни, расположенные против скаковых трибун (один из памятников роскошной жизни принца де Конде, двоюродного брата Людовика XIV), были обращены в гараж главной квартиры, но по широким аллеям, продолженным в лесу, окаймлявшем скаковой круг, продолжал галопировать чистокровный молодняк.

На этих аллеях, тянувшихся на много километров, не встречалось ни одной травинки, ни одного твердого комка: старики-сторож на паре грузных серых першеронов, уже двадцать лет, каждый день, систематически, не торопясь, бороновали эти замечательные тренировочные дорожки. Где-то в сторонке скрывались за высокими отводами кустов копии грозных стипльчезных препятствий, скакового круга Отейля. Старая парижская знакомая, баронесса Нардуччи, спасти свою верховую лошадь — громадного рыжего скакуна, просила меня спасти его и «реквизировать». Фураж на вторую лошадь по случаю войны мне полагался, и, выполнив просьбу баронессы, я получил возможность поддерживать время от времени свою кавалерийскую тренировку, преодолевая то покрытый нежным газоном высокий ирландский банкет, то прикрытую изящным герцелем «реку».

Это было единственное развлечение, которое допускалось в нашем военном «монастыре», строго охранявшем свой устав и порядки, непонятные для непосвященных.

Многоэтажная, когда-то первоклассная, гостиница «Гранд Конде», куда в мирное время съезжались влюбленные парочки богатых парижан; потеряв свой блеск, с трудом вмешала штабные бюро. Организация, предусмотренная мобилизационным планом, оказалась несоответствующей требованиям войны. Главная квартира не могла оставаться в узких рамках чисто оперативного органа.

Прежде всего, был создан новый отдел — личного состава. Продолжая придавать первостепенное значение подбору и квалификации кадров, Жоффр, получив права главнокомандующего, отрёкся от должности в первый же месяц войны «по служебному несоответствию» двух командующих армий, семь командиров корпусов, двадцать четыре начальника дивизий — то есть около тридцати процентов высшего командного состава. Жоффр оказался в более счастливом положении, чем Куропаткин.

Чистка началась с головы, но одновременно погребалась и пополнение; подготовка их началась не сверху, а снизу. Небывалый и неожиданный процесс потерь в младшем и среднем командном составе в сражении на Марне и отмеченный в первых же боях недостаточная боевая подготовка мирного времени потребовала срочных мер для коренной перестройки на ходу всей французской военной машины. Для этого была необходима выдержанная, спокойная, а главным образом, систематическая работа. Никакие успехи, неудачи и связанные с ними войсковые переброски не должны были отражаться на занятиях в той «граальской школе», которую представляла французская армия в первые два года войны.

Когда впоследствии мне задавали вопрос, кого из двух французских полководцев я ставлю выше — Жоффра или Фоша, я неизменно отвечал: «Без всего тобо, что сделал Жоффр для подготовки победы, Фош не мог бы победить».

Бессменным и ответственным исполнителем указаний главнокомандующего по вопросам комплектования и подготовки кадров был начальник отдела личного состава, ординарец Жоффра, майор Бель. Этот маленький близорукий еврей в чёрном мундирчике с серебряными пуговицами — форме, присвоенной стрелковым батальонам, обладал необыкновенной памятью и способностью разгадывать людей по первому взгляду;

казалось, что пенсне, которое он беспрестанно поправлял на носу, ему в этом помогало.

Всякий раз, когда мне удавалось проникать в его бюро, куда вход посторонним был строжайше воспрещен, я еще в дверях задавал стереотипный вопрос:

— En bien, Bell, où en sommes nous? (Так что же, Белль, до чего мы дошли?).

И так же спокойно, пожимая мою руку, он последовательно отвечал: в октябре — «до сержантов», в ноябре — «до лейтенантов», в январе — «до капитанов» и т. д.— вплоть до генералов, очередь до которых дошла в конце следующего, 1915, года.

Отобранные для продвижения по службе кандидаты должны были проходить через спешно открытые в тылу фронта школы, где ознакомлялись со всеми новыми методами ведения боя, со всеми новыми образцами вооружения. После этого их прикомандировывали на некоторый срок для практики к командирам тех подразделений, для которых они предназначались. Только по получении отличной аттестации от фронтового команда они получали право на следующий чин и назначение на высшую должность.

Когда мне случалось спросить мнение Белля о встреченном генерале или командире, он, не заглядывая в досье, тут же давал подробный ответ, будто все они были людьми из его роты.

Большие и мало кем оцененные услуги оказал своей армии скромный майор, Белль, немало нажил он врагов, но заставил их смолкнуть своим блестящим поведением на фронте: он погиб во главе бригады, переброшенненной в Италию для прекращения паники после неслыханного разгрома итальянцев под Капоретто.

Самым близким для меня человеком после переезда в Шантанье стал только что произведенный в генералы полковник Пелле, организатор чешской армии в послевоенное время. Он представлял образец военного дипломата — тип, весьма редко встречающийся во Франции, где каждое ремесло отгораживается одно от другого, сужая круг мышления подчас самых талантливых и одаренных от природы людей. Генерал должен воевать, а дипломат ноты писать, скрывая за ними свои мысли». Пелле показал себя и тонким дипломатом на ответственном посту военного атташе в Берлине в самые тяжелые, предвоенные годы, и крупным военным организатором. В начале войны вопрос о материальном снабжении армии был поручен именно Пелле, после чего он стал начальником штаба, при таком упрямом и нелегком начальнике, каким был Жоффр.

Пелле хорошо знал Берлин и в особенности военное окружение Вильгельма. Его не подкупили все те заигрывания с Францией, на которые не скупился Вильгельм, чтобы обеспечить для Германии дружественный нейтралитет ее извечного западного врага и облегчить этим реализацию своей авантюристической политики на Востоке, оторвать Францию от Англии, а если можно — и от России.

Еще в бытность мою в Дании мне приходилось слышать рассказы своего коллеги в Берлине, Александра Александровича Михельсона, об исключительном внимании, которое оказывал Вильгельм французскому военному атташе. Послед каждого парада, а их было немало, император демонстративно подолгу разговаривал на французском языке только с Пелле.

С постепенным превращением войны между Францией и Германией в мировую такой человек, как Пелле, оказался особенно ценным. Мне было уже известно, насколько не легко французам принаравливаться к жизни скандальных стран, а понимать образ мысли воинственных сербов, хитроумных греков и своеобразных американцев было дано не всякому. Не проходило дня, чтобы кто-нибудь из союзников не совершал какой-нибудь une gaffe (небольшой промах); они были оглашены впоследствии во всех белых, желтых, синих и прочих толстых книгах, в которых опубликовывали дипломатические документы первой мировой войны.

Пелле умел улаживать отношения даже с таким беспокойным человеческим, как президент республики Пуанкаре. С трудом подчинившись

необходимости удалиться в Бордо, Пуанкаре по возвращении в Париж стал поистине несносен, томясь предоставленной ему конституцией властью без прав. Телефон между Парижем и Шантilly не умолкал, а Жоффр так не любил им пользоваться: следа после себя этот аппарат не оставлял, а старик уважал и ценил документ, хотя бы самый краткий, но налагающий ответственность на его составителя.

— Что вы думаете, генерал, об оставлении русскими Варшавы? — спросил Пуанкаре Жоффра в день получения этого известия.

— Я ничего об этом не слыхал, — ответил Жоффр.

— Как же так? — возмутился президент. — Все газеты полны этой новостью!

— А Игнатьев мне еще об этом ничего не сообщал, — исчерпал вопрос главнокомандующий.

Телеграмма из нашего генерального штаба, как частенько случалось, пришла после телеграммы Петербургского телеграфного агентства, и я еще не передал Жоффру подписанной мною ежедневной утренней сводки.

По случаю войны Пуанкаре вспоминал свои молодые годы и гордился службой в стрелковых частях, в которых он дослужился до чина капитана резерва. В таком невысоком чине ему показываться было неудобно, и при выездах на фронт он одевался в форму шоффера из богатого дома. Его фигурка типичного французского буржуа с козлиной бородкой это переодевание воинственного вида не придавало, но зато пришло по вкусу французским солдатам: народ они опасный и всегда найдут предлог посмеяться. «Самое опасное — показаться смешным», — сказал когда-то один французский писатель XVII века. И вот, этой судьбы не избежал Пуанкаре. Он с первого же своего посещения фронта стал настолько непопулярным в солдатской массе, что в главной квартире приходилось изыскивать всякие способы, чтобы избежать какой-нибудь враждебной по отношению к нему демонстрации.

— Куда бы нам его послать? — советовался, бывало, со мной начальник оперативного отделения, полковник Гамелен. — В Эльзасе (на самом спокойном участке) он уже дважды побывал. Послать в Шампань? У, чорт! Да там как раз заняли участок насмешники-марсельцы. Своими анекдотами они способны убить кого хочешь.

Пуанкаре умел говорить прекрасные речи, но до солдатского сердца они не доходили. Жоффр не умел построить даже красивой фразы, но когда, в знак уважения к совершенному подвигу, он жал рядовому солдату руку, — скромный подчиненный чувствовал, что «папа Жоффр» хороший начальник.

\* \* \*

Стоял холодный дождливый март 1915 года, французская пехота тонула в грязи, выбраясь из окопов после очередной попытки прорвать немецкую оборону на участке в Шампань, — попытки, стоившей больших потерь.

При подобных неудачах союзников мне хотелось всякий раз получить лишнее объяснение от самого главнокомандующего. Он никогда мне в этом не отказывал и через своего офицера-ординарца назначал обычно прием в какой-либо ранний утренний час. Он неизменно продолжал вставать в шесть часов. Привыкнув терять время в бесплодных ожиданиях приема в России, я всегда бывал удивлен, не встречая в скромной приемной главнокомандующего ни одного посетителя. На офицере-ординарце лежала обязанность пропускать их строго по расписанию.

Жоффр, как обычно, насупив брови, делился со мной впечатлениями о минувших боях:

— Nous les grattons peu à peu (Мы их скоблим понемногу), — говорил он, — и тем препятствуем переброскам германских сил на ваш фронт. Наденьте, я чувствую, сколь дорого обходится русскому народу эта война, но я спасаюсь, что вы не в состоянии оценить значение тех потерь, которые мы сами несем. Мы теряем в этих боях цвет нашей нации, в я вижу, как после войны мы очумимся в отношении национальной культуры перед огромной пропастью (он подкреплял последние слова жестом

своих толстых рук). И я не знаю, чем эта пропасть будет восполнена. Что будут представлять собой новые поколения?

Сколько раз, ужасаясь впоследствии нависшей над Францией опасностью дикой фашистской антикультурности, приходилось вспоминать пророческие слова Жоффра. Он тогда уже сошел в могилу.

Жоффр не терял никогда случая напоминать французской армии об ее могучем союзнике.

— Qui vive? (Стой! Кто идет?), — издалека останавливал меня часовой, когда темной ночью я возвращался из штаба по тропинке, протоптанной через скаковой круг.

— La Russie! (Россия!), — вместо положенного ответа — «Франция», — неизменно отвечал я.

Часовой брал наизготовку и командовал:

— Avance au rassemblement! (Иди на сближение!)

В трех шагах требовалось произнести пароль, который два-три раза в неделю, чередуясь с названиями французских городов, бывал то «Москва», то «Владивосток», то «Рязань», то «Казань».

В то самое утро, когда Жоффр собирался отправиться навстречу дипломатам, возвращавшимся из тяжелых боев, я как раз подал ему телеграмму о падении крепости Перемышль. Он ухватился за этот счастливый случай для поднятия духа своих войск, приказав отпраздновать победу русских войск выдачей всем чинам, от генерала до солдата (а в том числе и мне, зачисленному на французский паек), по четверти литра красного вина. Я был, кроме того, приглашен сопровождать главно-командующего в поездке.

Французы, конечно, не известна наша осенняя и весенняя распутница, наши непролазные ухабы, но после первой военной зимы даже их прекрасные шоссе оказались разбитыми и покрылись толстым слоем липкой известковой грязи. Приближение к фронту обозначалось, кроме того, долетавшими отзвуками артиллерийских выстрелов.

Но вот передняя машина с небольшим трехцветным флагом, окаймленным золотой бахромой, сворачивает с дороги, и из нее грунто вылезает Жоффр в длинной серой шинели с пелериной.

Моросят дождь. Навстречу, по узкой дороге надвигается длинная лента французской пехоты. Она уже в ловом обмундировании серо-голубого цвета и хорошо сплавляется с серым горизонтом и нависшим над пустынными полями свинцовым небом.

Беспрекоупречность войска на походе, заставляя их сходить с дороги, Жоффр не позволял, и потому после прохождения первых двух рот колонна остановилась и выстроилась вдоль обочины. Развалистой походкой, склонившись, как обычно, немного на левый бок, Жоффр пошел сам обходить ряды вышедших только что из боя своих солдат. Изредка он останавливался и, прикальывая к шинели боевой орден, лагибался сперва к левому, потом к правому плечу награжденного, как бы обнимая его. Это входило в церемониал награждения. Другим солдатам, по указанию сопровождавших его вдоль фронта ротных командиров, он только похлопывал руку.

За эту простоту и ценили Жоффра французские солдаты.

Некоторые дивизии, отведенные на отдых, уже успели расположиться квартиро-биваком и были выстроены для встречи главнокомандующего на ближайших полях.

Vive la Russie! (Да здравствует Россия!) — слышались крики из передовых в боях рядов французских солдат, когда я проезжал вдоль фронта, с русской серой папахой на голове.

Оркестры вместо «Марсельезы» исполняли в этот день русский гимн. Сердце, казалось, разорается от чувства гордости быть русским.

(Продолжение следует)

## О СЛАВЕ И ПОЭЗИИ

(Письмо на фронт)

Мой друг!

В Баренцевом море тюлени вероятно кричат среди тумана. Кричат не очень громко, как будто басы пробуют голоса в пустой церкви. Утро. Голос хриповат.

Море шатается под туманом, как под крышкой кастрюли. Берег из камня. На эти камни когда-нибудь павалят груды оружия. Эти камни, друг, будут памятниками. Такие памятники ставили у вод шотландцы. Об этом рассказывает недостоверный Осснан, сын героя Фингала, в книге, которую, достоверно знаем, любил Суворов. Эта книга осталась, хотя моя библиотека очень прополота.

Скоро вечер, друг. Из-за красного дома вижу поспешно созревает серебряный привязной аэростат. Смотрю с балкона. Москва прорастает серебряными цветами. С крутого берега дома вижу, как уходит в небо, темнея, аэростат. Движения подъема как будто все медленней. Луна над Москвой.

Сегодня еще не помаргивает небокрай. Как сухая трава, звенят в городе трассы аэростатов.

В комнате, кажется мне, растут изменяясь листы книг на грядках полок. Так весной трава в лесу шевелит листья, прорастая.

За квадратами окон Москва проросшая трассами. Все изменилось, друг.

Я напишу тебе о книгах. Ты прочтешь под клепаным потолком.

Все изменилось, все растет. Целиной становится старая пашня. Трава, звенья, вырастает, мягкая трава, и сменяется ковылем.

Если встретимся, то пойдем друг к другу, и трава охлестнет нашу грудь. Будем проминать темным следом целину.

Там за портьерой луна над Москвой. Посмотрим, друг, как выглядят

дят на старом столе, за которым ты так часто сидел передо мной, старые книги.

Но начнем с того, что все знают. Ходят по экранам, переливаясь точками потемневшего серебра, прожектор киноаппарата. «Леди Гамильтон» проездом в России. На экране рассказывается, как любила сна капитана, а война отняла его, сделала одноглазым адмиралом.

Война уводила Нельсона от любимой. Англичане пересматривают свою историю и прощают леди за то, что она не была женой Нельсона и за то, что Гамильтон умерла-нищей. Они жалеют ее. Она помогает им показать войну, горящие и утопающие корабли:

Под радугой боя вижу Суворова. Легкий, низкорослый, он построен как изречение, которое запомнили века.

Он строил себя, как строят корабль. Он строил себя для войны.

Суворову писал Нельсон. Разговор шел о славе. Нельсон считал себя похожим на Суворова. Он написал Суворову из Палермо 22-го ноября 1799 года:

«Нынешний день сделал меня самым гордым человеком в Европе: некто, видевший Вас в продолжение нескольких лет, сказал мне, что нет двух человек, которые бы наружностью своей и манерами так походили друг на друга, как мы. Мы непременно друг другу сродны, и я Вас убедительно прошу никогда не лишать меня дорогого наименования любящего вас брата и искреннего друга.

Бронте-Нельсон»

Суворов отвечал в январе 1800 года из Праги, перейдя Альпы:

«...Глядя на Ваш портрет, я действительно нашел между нами некоторое сходство... Это для меня новое отличие, которое для меня очень приятно, но мне еще приятнее знать, что я характером похожу на Вас...»

Быть похожим на Суворова значило много. Суворов писал о себе в третьем лице — он, Суворов. Суворов ощущал себя, как героя. Свою воинскую службу, как создание героического образа. И вот прописка Суворова к письму Нельсону:

«Я думал, что Вы отправились из Мальты в Египет, Палермо не остров Цитера... Впрочем, знаменивший брат, чего не отдаст Вам в мире за радугу Абукирской битвы. С новым годом, с новым веком.

Кн. А. Ит.»

На острове Цитеры герои были задержаны красотою женщины. Леди Гамильтон задержала Нельсона в Палермо. Суворов вызывал к новому бою своего брата по оружию, вызывал славой.

Быть братом Суворова значило быть героем. Костровский перевод книги «Оссиан сын Фингалов» посвящен Суворову.

«Оссиан» — книга любопытная. Она рассказывает о борьбе кельтов с норманами и о других войнах. Она веками создавалась, произвольно реадаптировалась Макферсоном, но все слилось в одной идее — защита родины.

Макферсон сильно переделал Оссиана. Но книга эта у порога нового времени, когда народы осознавали себя, как нации. Костров в предисловии к своему переводу пишет о бардах:

«Они составили в уме своем понятия о совершенном герое... Вожди не преминули мечтательного сего героя принять себе за образец. Тщательные усилия, чтобы подражать ему, совершенное, возрождали в их сердцах все геройские чувства, какие сретаем мы в стихотворчество отдаленных сих времен»<sup>1</sup>.

Герой для Суворова — образец. Суворов жил на народе или, как сказали бы тогда, для всенародства.

Суворов построил себя, как строят бой, построил себя с трудом, с жертвами. Он пример того, каким должен быть командир и сколько знать должен командир для того, чтобы стать простым и доходчивым для народа.

Греческие и римские историки вводили в свои книги речи вождей. Это авторские комментарии, — такие речи не произносились. Историки древности правдивы, но же документальны, у них не было даже задачи воспроизвести документ.

Суворов же говорил со своими войсками. Традиция этого разговора чрезвычайно высокая, античная. Как я сказал уже, книжная.

Суворов жил в селе Кончанско- ском. Если взять карту Фоминцына в книге «Скоморохи на Руси», то мы увидим, что Кончанское — скоморошье село.

Из мемуаров Болотова мы знаем, что сказочник гренадер в шатре русского командующего перед боем рассказывал сказки. Мы знаем, что скоморохи жили в имении Пожарского и что он их отставлял. В русских песенниках, в частности, в Чулковском песеннике, мы видим, как перешли скоморошьи песни в русские солдатские песни. Оттуда вероятно любимый переход от заунывного тона к мажорному в русской воинской песне.

А Суворов любил не только Оссиана, но и «Прирожденную повариуху» Чулкова, первую русскую бытовую повесть.

Суворов связан с мировой литературой. Он сам писал вещи о славе и о справедливости. Но краткость, умение создавать пословицы Суворов взял из фольклора, и именно из его скоморошьей струи.

Солдат — обычный герой русской сказки не только бытовой, но и волшебной. Солдат в напей сказке — удачник, устроитель жизни, на это обратил внимание Глеб Успенский. Солдат русской сказки меньше всего похож на Платона Карагаева.

Собственные стихи Суворова надо посмотреть, они не похожи на стихи его современников поэтов, но они похожи на поэзию, их мысль движется не по строкам, размер определяется интонацией. Русский ра-

<sup>1</sup> Русский Архив. 1872 г., стр. 759.

<sup>2</sup> Оссиан сын Фингалов. Перевод Е. Кострова. Москва, 1792 год. Пред- уведомление, стр. XIII.

зый этих хорошо был понят Суворовым и поэтически он был не худи, а впереди своего времени. Суворов жил для нас, как для нас состоялся после многих раздумий мое честное надгробье на своей могиле из простого упоминания земли.

К этому камню сейчас в Ленинграде приходят воины.

Памятник Суворова стоит среди синих рябь, на нем он изображен ярою в пламени. Он похож на того человека, сходством с которым горелся Нельсон. На поклонника Оссиана и тезку Александра Македонского

Тысячи рассказывают литературные обстоятельства.

Юрий Николаевич Тынянов в Монголии. Он написал еще одну часть «Пушкин».

Живем мы врозь. Но ветер войны душит нас, как траву, в одну сторону и враз подымает. Я читал Тынянова и думал о славе.

Грустны пушкиноведения превратили Тыняновым. Его роман памятник о прекрасном человеке, которого в жизненном, что этот маленький урод сидит за собою всех и подружит друзей, женщин, соперниц, потому что он — веселое желание народов существовать.

Раннее созревание Пушкина, его уникальный дар видеть во всем живое — даны в романе. Гений сияет наurus.

Еще утром, еще нельзя отличить синий от цвета неба, еще будущий поднятый парус.

На юности Пушкин читал Оссиана и даже подражал ему. Он рассказал о том, как Тоскар по приказанию Фригии поставил на берегах Греции памятник победы. Памятник создан из камня со дна реки.

Венчай, сын шумного потока,  
О храбрых поздним временем.

Он говорил о Кагульском чугуне, памятнике, поставленном среди Борисовского пруда, как читалось Оссиана.

И видит окружены волнами.  
Над грудой мшистою скалой  
Стоит памятник. Ширяясь  
крылами,  
Над ним сидит орел младой.  
И сокол вождю, и стрелы  
громовые

Вокруг грозного столпа трехкратно  
обвились;  
Кругом подножия, шума, валы  
седые  
В блестящей пене улеглись.

О, громкий век военных споров,  
Свидетель славы россиян!  
Ты видел, как Орлов, Румянцев и  
Суворов,

Потомки грозные славян,  
Черногором Зевсовым победу  
похищали;  
Их смелым подвигам страшась  
дивился мир;

Державин и Петров героям песнь  
брязгали  
Струнами громозвучных лир.

(Воспоминания в Царском Селе. 1814 год).

(Чугун Кагульский — страницы новой книги Тынянова о Пушкине. На черном листе — черные буквы. Почерк тверд и различим.)

Слава восемнадцатого века кажется мне шумящей перьями крыльев. Она идет легкой поступью Суворова.. Радуга боя над ними.

Пушкин возрос в грозе двадцатого года.

В те дни русские поля были покрыты трофеями. В Смоленской губернии в деревенских банях пар поддавали плаща водой на груды ядер, раскаленных в печи. Ядра в деревне были обычной камней.

У славы этих дней латинское имя — fame. Над ней стоят камни, украшенные оружием. Ей посвящены памятники Царского Села, мосты, решетки Ленинграда.

Мы не знаем себя. Пушкин хотел быть «питомцем нег и Аполлона». А его поколение было омыто грозой двадцатого года. Поколение молодых, веселых, вернувшихся с дальних победных походов.

Надо было отказатьсь от лени, от поэтического прекраснодушия. Веселость же не оставляет поэта.

Надо уйти из условного мира поэзии. Уйти даже от друзей. Даже от полу-правды, поэзии Державина.

Блажен в златом кругу вельмож Птиц, внимаемой царями,  
Владея смехом и слезами,  
Приправя горькой правдой ложь,  
Он вкус притупленный щекотит  
И к славе спесь бояр охотит.  
Он украшает их пиры

И внемлет умные хвалы.  
Меж тем, за тяжкими дверями,  
Тоскись у черного крыльца,  
Народ, толкаемый слугами,  
Поодаль слушает певца...

(1827 г.)

Пушкин создал новый образ поэта.

Во всей своей поэзии он присутствует, как герой. У него есть свое место в строфе.

Перед смертью Пушкин не пришел на открытие Александровой колонны. Но он писал, что его памятник вознесется выше Александрийского столпа. (Жуковский изменил, напечатав «Наполеона столпа».)

Маяковский написал поэму «Во весь голос», как отпускную себе. Поэт, умевший шутить, любивший таву, написал о поэзии простой и необходимой, вечной как водопровод «сработанный еще рабами Рима».

Он написал:

Умри мой стих,  
умри, как рядовой,  
как безымянные  
на штурмах мерли наши.

Он отдал славу народу.

Сейчас Маяковскому было бы пятьдесят лет. Поэзия вокруг него была бы иная.

Пушкин умер, преодолевая собственный свой стих. Он говорил, что вокруг русской поэзии на карауле имбы, держа в руках рифмы.

Маяковский жил изменяясь.

Лучшее, что написано по теории русской поэзии, это статья Маяковского «Как делать стихи». В ней поэт говорил:

«Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собою в гроб секрет своего ремесла». Это статья-завещание. На примере рождения стихотворения поэт показывает сущность поэзии. Он говорит о том, какой груз жизни подымает поэт.

Поэт пишет о рифме. «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало... В результате моя рифмовка почти всегда необычайна и во всяком случае по меня не употреблялась. В словах же рифм ее нет».

Маяковский говорил: «Новизна в

поэтическом произведении обязательна».

Рифма — это один из моментов непрерывного процесса. Через поэзию человек сближает и как бы рифмует понятия, обновляя их. Академик Павлов говорил, что в жизни огромную роль играет реакция организма на новизну, что это один из наиболее биологически необходимых рефлексов. Этот рефлекс Павлов называл «рефлексом — что такое?»

На горьком примере стихотворения о гибели поэта Маяковский беспеченно, как военачальник войны, расставляет слова и выигрывает сражение.

Байрон удивлялся жестокости Суворова, решившегося на штурм Измайла. Между тем, Суворов оказался любимым генералом солдат. Поэзия тоже беспощадна, прежде всего к поэту. Когда я спросил одного поэта, как он может так откровенно говорить про себя в стихах поэт ответил — «Это зарифовано».

Кажется страшным, что поэт пишет о гибели близких. Поэт лишен права забвения. Он исследует горе за других. Он присужден к откровенности. Надо иметь много силы для того, чтобы написать поэму «Сын».

Даже о горе надо написать по-новому. Надо узнать, что такое горе в великой войне.

Поэт должен быть откровенным; у него стеклянный дом. Его сердце бьется явно.

Маяковский писал:

Дайте руку!  
Вот грудина кистка.

Слушайте,  
уже не стук, а стон..

Сердце растоптанное, окровавленное хотел дать поэт как знамя.

Когда Маяковский работал в России, он работал трудно, но его рифмы легки, он создавал поговорки.

Русская народная рифма шутливая, так написано в первом т. «пушкинского «Современника». Русская рифма разнообразна.

Плакат, лозунг — то, что вешается на стенах, должно быть хорошо написано, хорошо найдено. Мы мало нашли за время войны, мало сделали, чтобы пригодиться войне — так, как пригодились барды Суворову.

Многие из нас скорее

второе поколение бардов, которых Костров называл клерками, бардами священнического звания. Полуправдой не заменишь правду.

Пушкин спорил в своей славе с Александром. Это хорошо понял Максим Горький. Пушкин считал себя выразителем идей своего народа, он боролся за свое влияние.

Маяковский хотел назвать свою книгу «Облако в штанах» — «Тринадцатый апостол».

Поэту надо быть гордым.

Гордым и народным.

Если бы Суворов пришел к солдату без славы, без военной науки, если бы он был просто прост, он бы не был Суворовым.

Он должен был притти старшим начальником.

Солдатство великого полководца хорошо, когда оно приводит к солдату великого полководца, чтобы объяснить маневр, а не для панибратства.

«Фома Смыслов», за которого сейчас пишет Семен Кирсанов, пишет, на мой взгляд, неплохие стихи. Кирсанов понял не использованные еще возможности русского раешного стиха.

В русском народном стихе есть высокие мысли и лирика. Солдатская песня включает в себя перебой настроений. Суворов совмещал в себе античную традицию, Оссиана и народное скоморошество и просторечье.

Фома Смыслов может быть гордее.

Американцы в великом и умелом своем кинематографическом искусстве делают комедию из смешения смешного и страшного. Одно смешное, как одно бытовое, недостаточно для великого. Лев Толстой говорил, что красное можно писать на картине только зеленым, то есть красное только тогда красно, когда сно окружено зеленым.

Владимир Маяковский включил в свое искусство высокое и уличное.

Он уличное подымал, давал голос своему времени.

Державин был солдатом. Он писал для гвардейцев солдатские стихи, пользовался просторечием, и Державин — это не высокая речь, а чередование высокой речи и низкой, и поэтому он почти сосед Суворова.

На совсем нехватало правды.

Когда-то давно, до войны, Константин Симонов писал поэму о Суворове. Суворов в Альпах, он стар, его ведут поддерживая. Старость дала бессонницу. Ночью на привале видят он часы. Такие часы были у его отца. Часы играли, потом выхлопали овечки, за овечками — пастушка. Суворову семьдесят лет. Он видит такие же часы.

Все было так, как он и ждал, —  
И луг, и замок, и овечки.  
Но замок сильно полинял  
И три овечки постарели,  
И на условленный сигнал  
Охрипшей старенькой свирели  
Никто не вышел на балкон

Часы стояли опустело  
И лишь пружина все гнала  
Вперед их старческое тело.

Суворов состарился иначе. Пружины славы гнала его, и свирель не охрипла. Реальное изображение человека, — это изображение его в главном деле. Мы знаем о Суворове времена альпийского похода.

«Показался Суворов, человек небольшого роста, сухой и уже состарившийся, с лицом, покрытым морщинами, с зажмуренными почти глазами. Он говорил, что они притетно слабеют у него; когда же открывал их, тогда виден был блестящий огонь Гения».

Дальше идет запись слов Суворова. Он рассказывал о славном Оссиане, сравнивал его с Гомером и продолжал: «Римляне говорили, что надо публично хвалить себя для того, что это производит поревнование в слушающих».

Говорил о войне «Я, как Цазарь, не делаю никогда планов частных; гляжу на предметы только в целом; вихрь случая всегда переменяет наши заранее обдуманные планы»<sup>1</sup>.

Обед кончался. Суворов ел и пил более всякого из нас...

Распорядок дня Суворова этих времен мы знаем точно. Он ночью спал немного, но спал еще после обеда.

Часы изломанные и полинялые, — это малое, неверное — полуправда. Пушкин учил нас, как надо говорить

<sup>1</sup> Подвиги Суворова в Италии и Швейцарии. Перевод с французского. Москва, 1806, часть 2-я, стр. 178—179.

рить о гении. Он писал в 1825 году из Михайловского:

«Оставь любопытство толпы и будь за одно с Гением...

Мы знаем Байрона доволюю. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе среди воскресающей Греции.

1825 год, сентябрь».

О поэте надо писать так, как Цезарь учил воевать: видя главное. Про поэта надо писать, как про творца.

Маяковский начал свою автобиографию словами:

«Я поэт тем и интересен».

Завет Пушкина не исполнили Булгаков и Художественный театр. Они дали квартиру Пушкина и приблизили к нам роман Дантеса. Пушкина на сцене нет. Не скажу: «Слава богу, что нет». Есть его дом, его враг, молодой и красивый, по простым шашечным законам театра привлекающий какое-то сочувствие.

Гнусное дело Дантеса давно уже раскрыто в работах советских ученых. Надо было посмотреть работы профессора Казанского и понять, что Пушкин умирал, вырываясь на свободу, делая вызов царю перед лицом дипломатии того времени. Анонимка, полученная Пушкиным, связывала Натали не с Дантеем, а с Николаем. И Данте не просто красавец. Данте — враг любви поэта.

Путь к Беатриче шел для Данте через «Ад» и «Чистилище». Поэты на путях любви воспели жизнь. Любовь щеголей — короткое замыкание. Это любовь оскорбительная.

«О доблести, о подвигах, о славе» мечтал Александр Блок, когда он любил. Невозможное возможно в жизни, когда поэт дает любви голос. Любовь Дантеса была пантомимой. Дантеса надо увидеть, прочтя Маяковского:

Сумми сын Данте!

Беликосьветский шкода.

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года?

Только этого Дантеса бы и видели.

Впрочем,

что ж болтанье!

Спиритизма вроде.

Так сказать,

невольник чести...

пульсю сражен.

Их

и на сегодня

много ходят,

всических

охотников

до наших жен.

Дело идет о любви. Ее надо сохранить, не растратить. От ревности зверем чувствовал себя Маяковский.

Медведем,

когда он смертельно сердится на телефон

грудь

на врага тяну.

А сердце

глубже уходит в рогатину!

И вот прошло:

Шкурой

ревности медведь лежит когтист.

Искрепана любовь. Путь через ад и чистилище поэт прошел ни к кому.

И молниями телеграмм

мне везачем

тебя

будить и беспокоить.

Поэт остался в опустошенной вселенной.

Поговорим еще раз о любви и славе.

Военная любовь напряжена разлукой, человек оторван от дома.

Стихи Симонова о любви лучше его стихов о Суворове. Стихотворение «Жди меня» — заклинание. Ожидание как будто сжигает разлуку и сохраняет любимого. Но иные стихи Симонова написаны про любовные разговоры холостых мужчин.

Названья ласковые, птички

На ум не шли нам. Вдалеко

Мы тосковали по-мужичьи

На грубом нашем языке.

О белом полотне постели,

О верхней вздернутой губе.

О гнущемся и тонком теле

На пытку отданном тебе.

Это не по-мужичьи и не очень новое. Мысль об измене, о душевной неверности, о неотданности, очевидно, увеличивает желание.

Лирику Симонова ищут на фронте. Но что мы сделали для того

чтобы на фронте была бы вся русская блестательная поэзия о любви,

Жне и разлуке?

Подумай, друг, еще раз о любви и славе.

Ты знаешь, как разлюбил Блок:

Уж не мечтать о доблести,  
о славе.

Все миновалось, молодость  
прощла.

Твое лицо в его простой  
оправе

Своей рукой убрал я со стола.

Сейчас кладется основа будущего.  
Сейчас ручьи трогаются с гор в  
далний путь.

Береги любовь и славу с молоду,  
Как шубу с нова.

Берегите образ поэта.

Для того чтобы поднять груз време-  
ни, писать о величайших жерт-

вах народа, надо прежде всего найти себя как поэта, создать, как Суворов создал образ военачальника, образ поэта отечественной войны. Тогда груз будет поднят. Уход же от поэзии сегодняшнего дня, уход в переводы, в чистую лирику, в книги, которые когда-нибудь будут написаны, и каждодневная работа без подъема — все неверно. Верен один путь.

Такой путь сделал Суворов через Альпы.

Так с Новым годом, друг! С Новым, третьим, годом войны.

Пусть в этот год срифуется с фронтом второй фронт и люди будут соревноваться в славе, как адмирал Нельсон с Суворовым.

Пусть станем мы братьями по победе.

В. Ш.

### П. Незнамов

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МАЯКОВСКОМ

### 1

В середине сентября 1922 года я приехал в Москву и поселился в помещении Вхутемаса на улице Кирова, тогда еще Мясницкой. В один из ближайших вечеров, вместе с Асеевым, Пальмовым, Родченко и другими товарищами, я уже был у Маяковского.

Маяковский тогда ходил остриженный под машинку — высокий складный человек, хорошо оборудо-

<sup>1</sup> Поэт Петр Александрович Незнамов в течение многих лет близко знал Владимира Владимировича Маяковского и часто помогал ему в работе. В первые месяцы Великой отечественной войны товарищ Незнамов ушел добровольцем в ряды народного ополчения. Рукопись воспоминаний П. А. Незнамова о Маяковском, часть которых здесь впервые публикуется, хранится в библиотеке-музее В. Маяковского в Москве.

ванный для ходьбы, красивый и прочный, выносливый, как думалось мне, на много десятилетий вперед; грипп тогда еще не мучил его. В каком он был костюме не помню, но казался вросшим в него и костюм был рад служить этому органически отягоченному человеку.

На столе стоял большой вкусный самовар, все пили чай. Время от времени появлялась Аннушка, пожилая домработница. Все съедобное, что было в квартире, было на столе. Кормить всех здесь было в обычae.

Пальмову Маяковский сказал:

— А, Пальмира!

Он с ним был на «ты», они учились вместе в школе живописи и ваяния. А о себе я услышал на роскошных его низах:

— Вы такой загоревший, вы такой алпшеронский...

Я действительно в это лето не много загорел. Но в словах этих была не только шутка, но и поощрение и покровительство: Маяковский мне понравился.

Ничего от «тигра», на чём настаивал Бурлюк, в нем не было, скорей что-то «медвежатное», если принять в расчет всем известную элегантную «неуклюжесть» его.

Тем не менее жест его был свободен и размашист, движение не связывало; большие руки всегда находили работу; «снарядами», на которых он упражнял силу и гибкость своих пальцев, были: то стакан с чаем, то папироса, то длинная металлическая цепочка, наматываемая и разматываемая, то карты.

Никогда не забуду его позы, когда он, взяв со стола какой-то журнальчик, процитировал и сатирически растерзал продукцию нескольких петроградских пролетпоэтов. Он стоял и, высоко держа книжку в раскрытом виде тремя пальцами правой руки, яростно потрясал ею в воздухе и при этом как бы наступал на слушателей, выкрикивая свои гневные оценки. Оценки попадали не в бровь, а в глаз. Я думаю, что многие видели его в этой позе: в личном разговоре, в издательстве, на эстраде,— в позе обусловленной всем размахом его чувств и всем размахом его натуры.

Впрочем, говорил он в этот вечер мало: он как бы отдыхал от дневного перерасхода энергии по издательствам, редакциям, дискуссиям, давая передышку своей неуемности, своей нетерпеливой силе, своему максимализму.

...Первые дни по приезде в Москву я видел Маяковского только вечерами, на чаепитиях, спорящим, веселящимся, играющим в карты. На работе я его узнал несколько позднее. Но это не значит, что все эти вечера были для него только отдыхом. «Отдых» этот был очень относительным. Люди, разошедшиеся с ним позднее, не раз мелко упрекали его: «Мало ли о чём мы договаривались с вами за чаем». Следовательно, здесь в часы отдыха происходили многие деловые встречи, достигалась договоренность, шла работа ума.

Кроме того, столько раз случалось ему во время этого «отдыха» исполнять срочную работу. В комнатах танцовали, шумели, играли на роялях, а Маяковский тут же, положив листок бумаги на крылышко этого самого рояля, записывал только что родившиеся строфы стихотворе-

ния. Он сперва глухо гудел их себе под нос, потом начиналось энергичное наборматьвание, чечто схоже с наматыванием каната или веревки на руку, иногда продолжительное, если строфа шла трудно, и, наконец, карандаш его касался бумаги.

Иногда Маяковский предлагал тут же прослушать собравшимся новорожденное стихотворение, и тогда гиперболы в косую сажень в плечах и образы один другого удачнее, полные свежести и злобы дня, шли завоевывать слушателя и читателя. И все мыapplодировали автору, написавшему свою вещь в столь некабинетной обстановке.

Наконец все его бутады, шутливые зарифмования, игра словом, как мячиком, перестановка слогов были не чем иным, как ежедневной поэтической деятельностью. Его слово было его дело. Поэзия была делом его жизни, и он в сущности всегда пребывал в состоянии рабочей готовности и внутренней мобилизации. Когда он слышал слово «боржом», он начинал его спрягать:

— Мы боржом, вы боржете, они оборжут.

Или вдруг начинал «стукать лбами» стоящие по своей звуковой основе рядом прилагательные:

— Восточный — водосточный — водочный.

Он брал слово в раскаленном до красна состоянии и, не дав ему застыть, тут же делал из него поэтическую заготовку. Он всегда в этой области что-нибудь планировал, накапливал, распределял. Для постороннего все это казалось ненужным, но человек, понимающий, что к чему, сближал эту его работу с ежедневными упражнениями пианиста в своем ремесле.

Ведь в том-то и дело, что это был круглосуточный писатель, который даже в полуздремотном состоянии, уже засыпая, мог... писать. Это невозможно, но факт. Во всяком случае, это его устраивало. Однажды, играя в городки в Пушкине, он успел сделать запись даже между двумя ударами рюхой. Пиджак его остался в комнате, блокнота с ним не было, и он нацарапал эту заготовку углем на папиросной коробке.

В дебрях слова он распоряжался так же, как мы на своих подоконниках, он всегда был в собранном состоянии, когда дело касалось лите-

ратуры, и потому работа у него спорилась и «розой цвела по ладони». Вся жизнь его проходила в стихе. «И любишь стихом, а в прозе немою» — как это его здорово определяло!

## 2

В октябре — декабре 1922 года я работал в издательстве «Круг». Меня привлек туда Асеев, и я помогал ему и Казину при приеме стихов.

Асеев издал там «Избранные», а Маяковский «Лирику», «Солнце» и «Маяковский издается». Последняя книжка была значительно дополнена, расширено было и заглавие, а ее предисловие «Схема смеха» вызвало настоящую сенсацию. Обложку к ней делал Родченко; обложка была остроумная и яркая, простотой конструкции побившая всю тогдашнюю юлие-анненковскую практику в этой области.

Люди в «Круге» ходили самые разные. Подражатель Клюева А. Ширяевец принес книгу стихов «Мужикослов», которую тотчас же все стали называть «Мужик Ослов».

Из Петрограда наезжали «Серапионовы братья», заходил даровитый Лев Лунц; Н. Тихонов явился со своей «Брагой». Приходили какие-то волжане с вешевыми мешками за спиной. Маяковский назвал их «Пайконосы».

Когда приходил Маяковский, в комнате сразу становилось тесно от него самого, от громады его голоса, от безапелляционности его принципиальных заявлений. Он с Асеевым отставал «непривычные» обложки Родченко, негодовал по поводу дурных красок, испортивших одну из обложек, резко высказывался о части продукции «Круга», смотрел — беру выражение Хлебникова — «как Енисей зимой» и вдруг яснел взглядом и начинал шутить. Он подходил к Казину и с полным добродушия и доброжелательностью непредаваемым тоном говорил:

— Какой вы, Казин, стали гордый, недоступный для широких масс!

Маленький общительный Казин улыбался. Но было немало мелких самолюбий, которых одно-два слова Маяковского надолго выбивали из седла. Иные из них делались врагами на всю жизнь. Это они, преврат-

но перетягивая его бравады, пищели вслед ему: рекламист; это они густо клеветали (когда вышли в свет два тома «13 лет работы»), что на полученные (небольшие) Маяковским деньги можно прожить тринацать лет тринацати семьям.

Он противостоял им всей своей практикой, всей цельностью своей натуры, всей твердостью своих революционных взглядов, не был похож на них, не пил с ними водки, не ходил по пивным, не вел специфических разговоров о женщинах. Как же им было не говорить ему:

— Ну, скажите, Маяковский, кто превзойдет вас в аппетитах?

А он в это время заботился не об аппетитах, а об интересах своей страны, которую любил больше всего на свете, и при том любил каждой строчкой своего стиха, следовательно, самым существом своим.

Ни в каких заграницах он не забывал о престиже своей родины. В ноябре 1922 года он побывал в Берлине и Париже, и видевшие его там с удовлетворением рассказывали в «Круге», с каким достоинством Маяковский держал себя на чужбине.

По приезде он прочел доклады: «Что Берлин» и «Что Париж».

Именно в это время Маяковский исхлопотал у советской власти разрешение на издание журнала «Леф», чтобы «агитировать нашим искусством массы».

Редакционная коллегия журнала состояло из семи человек, но Маяковский так азартно относился к предприятию, что сам написал все три передовых к первому номеру «Лефа». Он интересовался и технической стороной, и бумагой, и типографией, и оформлением. Раз он делает «Леф», он делает его всерьез!

Я был секретарем журнала и по этой обязанности иногда бывал у Маяковского в его рабочей комнате в Лубянском проезде. Комната была небольшая, изрядную часть ее полезной площади занимали диван и письменный стол, и все-таки чаще всего я видел Маяковского ходящим по ней, вернее сказать, он «толокся» в комнате. Во всяком случае, не здесь у него при ходьбе «брюки трещали в шагу».

Здесь им написаны были все варианты «Про это».

Дела у Гиза были неважные, дёньги платились трудно, заведующий финчастью М. И. Быков часто отказывал в платежах по ведомостям. Маяковский советовал мне «брать Михаила Ивановича мертввой хваткой», то есть тем, чего у меня как раз не было. Но однажды более часу не выходя из кабинета Быкова я «высыпал» кучу денег, когда их уже и ждать перестали. Это была моя «мертвая сидка». На получение денег я имел доверенность от Владимира Владимировича.

Клише рисунков и иллюстраций для первых номеров нам делал замечательный гравер на Усачевке, частник (тогда это еще было в ходу). Он работал в одиночку и очень быстро, но и он однажды опоздал. Однако Маяковский категорически заявил мне, что все клише должны быть готовы к сроку.

— В свежем, соленом или маринованом виде, но вы должны их привезти сегодня же, — заявил он.

Я просидел на Усачевке весь вечер и к половине первого привез все клише.

— Вот это другое дело, — сказал подбровший Маяковский, — передайте их Брижу и садитесь есть. Очень натерпелись?

Это была «проверка исполнения». Маяковский был необычайно добросовестным и почти пунктуальным в отношении сроков выполнения заказов, он держал свое слово и других учил держать. Любодорого было смотреть, как он работал. Плакаты и подписи к ним, которые он брался делать для трестов, совместно — то с Родченко, то с Лавинским, то с Алексеем Левиным — у него прямо горели в руках.

### 3

1924 год прошел для Маяковского под знаком поэмы о Ленине. Сперва он, повидимому, очень много читал о Владимире Ильиче и разговаривал с людьми, хорошо знавшими последнего, потом относительно долго писал самую поэму, потом проверял ее на аудиториях Москвы и, наконец, «развозил» по городам Союза.

Маяковский считал своим долгом написать о Ленине. Он отлично понимал, что известные строчки рабочего поэта Н. Полетаева:

Портретов Ленина не видно,  
Похожих не было и нет.  
Всё уж дорисуют, видно,  
Недорисованный портрет,—

несмотря на горькую правду их в то время, были, в сущности, своеобразной формулой отказа от изображения Ленина, и потому апелляция к «векам» вовсе не устраивала такого действенного человека, как Маяковский.

Он как-то писал о себе в автобиографии:

«На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать жизнь». Вот эта-то способность и помогла ему справиться с гигантской трудной задачей.

В Москве я присутствовал при чтении поэмы два раза. Маяковский читал ее взволнованно и, в хорошем значении слова, расчетливо. Громадную вещь надо было во всех ее кусках донести до слушателя, и Маяковский был подготовлен к этому, он был внутренне подобран.

Ведь это был не «эпизод из жизни» Ленина, а жизнь Ленина в целом, данная не традиционно биографически, а как жизнь вождя партии и организатора рабочего класса. И Маяковского хватало на чтение всей поэмы. Конец поэмы он читал проникновенно — никакое другое определение здесь не подойдет.

Жизнь в нем была ключом, он везде успевал в эти годы, несмотря на то, что много ездил по верному замечанию Л. Никулина — «был не отделим от московского пейзажа». Он выступал в Политехническом, в Доме печати, в большом зале консерватории, в крупнейших клубах. Но о Маяковском на эстраде уже написал очень хорошо Л. Кассиль. К этому можно добавить несмного.

Маяковский появлялся на эстраде во всеоружии из ряда вон выходящей манеры. Это был не лектор, а поэт-разговорщик. Даже более того, это был поэт-театр. И все его сценические пиджаки, вешания его на спинку стула, закладывания пальцев за проймы жилета или рук в карманы, наконец, ходьба по сцене и выпады у самой рампы были средствами поэта-театра. Это был инструмент сценического воздействия.

Театральные работники завистливо посматривали на его выступление: какой прекрасный материал пропадал для сцены!

Льстивыми аллюдисментами его нельзя было купить, а в отношении свиста он был натренирован не бледнеть. Он и не бледнел и не терялся. В наибольшей степени он злился тогда, когда кто-нибудь, бездарный и надоедливый, как муха, жужжал у него на докладе. Тогда он выходил из себя — не поддавая же муку на пыку! А черная маленькая муха жужжала и жужжала. Отгонять муку приходилось уже самой аудитории и чуть ли не с физическим пристрастием.

Он не раз говорил, что в нашей стране всегда в конце концов побеждает в литературе революционная вещь. «Но глотку, хватку и энергию иметь надо». И он их имел. Для «драк» он был прекрасно оборудован. Не забудем, что ко всему этому он был еще человеком редкого полемического остроумия.

На вечере в консерватории, отвечая на выступление Вадима Шершневича и иронизируя над начитанностью оппонента в европейской литературе, он сказал:

— При социализме не будет существовать иллюстрированных журналов, а просто на столе будет лежать разрезанный Шершеневич, и каждый может подходить и перелистывать его.

Кстати, «продираясь» на выступление ему тогда пришлось по черному ходу. Я тоже не мог попасть, и он забрал меня и еще нескольких зевуловцев с собой. Добрались до «места назначения», он пробурчал удовлетворенно:

— Ого, как плотно! По сто граммов зрительного зала на человека.

Недавно досаду его как рукой сняло.

— Сегодня я пройдуся по «новям», «нивам» и тому подобным «мимрам», — заявлял он в Политехническом, и действительно с блеском начинял «щекотать» редакции этих журналов за их поэтическую продукцию. Его возмущали в стихах безразличные выражения, или, говоря по-типографски, гарп.

— Вот полюбуйтесь, — говорил он и цитировал о поэте, пьющем шабли. — Ведь нет у нас этого вина, а есть вино «типа шабли», ну, и написал

бы так, и была бы в стихах советская черточка...

В Мастфоре (мастерская Форегера), пока та еще существовала, он выбил из седла своими репликами тамошнего конферансье Сендерова. Тот, наконец, взмолился:

— Владимир Владимирович, перестаньте, вы мне портите всю музыку.

— А вы, — отвечал Маяковский, — музыкой портите всю политику.

Ответ был тем более кстати, что Мастфор была предприятием эстетским.

#### 4

Первое собрание сочинений (десятитомное) Маяковского издавалось долго, со скрипом. От первого по выходу тома (V том) до следующих (I и II томы) проходило больше года. Маяковский воевал с бюрократами и примирами вредителями, но и его сил нехватало.

Ему приходилось доказывать (будто у него было мало забот без этого!), что он ходкий писатель и что читатель, могущий тратить деньги на книгу, только отрывая их от своего обеденного фонда, — лучший читатель.

Доказывал он с цифрами в руках. Если не помогал «парламентский» стиль разговоров, он переходил на другой. Он хотел быть «дешевым изданием». Он не хотел ходить в суперобложке.

К I тому ему понадобилась библиография его книг и книг и статей о нем. Кто-то довел эту библиографию до 1922 года надо было пополнить список за эти же годы и продолжить за следующие, до февраля 1928 года.

На очень хороших материальных условиях он предложил мне заняться этой библиографией, но потребовал таких темпов, в каких я еще никогда не работал. Надо было сбернуться в два дня, а работа эта скрупулезная. Он помогал мне советом и особенно заботился о том, чтобы возможно полнее был представлен список отзывов о поэме «Хорошо». Часть работы, а также окончательную сводку я делал у него в комнате в Лубянском проезде.

— Не забудьте ростовской рецензии, там мою поэму, — напомнил он с неудовольствием о бесславном вы-

ступлении «Советского Юга», — называли картонной....

— Вот возьмите еще американские отзывы: вы в латинском шрифте разбираетесь?

С библиографией мы уложились в срок. В эти годы он исключительно много и исключительно четко работал, обслуживая как поэт не только «Комсомольскую правду», но и «Крокодила», и «Рабочую Москву», и «Ленинградскую правду», и ряд других изданий. Около ста двадцати стихотворений за один 1928 год, например, — это была огромная работа! Это по стихотворению, — каждые три дня. Если можно говорить о «стахановском» стиле работы до Стаханова, то это именно такая деятельность и была.

При этом он делал свою работу необычайно добросовестно. Однажды редакция журнала «Крокодил» получила довольно необычную телеграмму. В телеграмме сообщалось:

«Прошу стихе помпадур заменить фразу беспартийный катится под стол фразой собеседник сверзился под стол Маяковский».

В факте этом характерно то необычайное чувство ответственности, которое имел Маяковский в отношении всякого публично произносимого или напечатанного им слова.

В первоначально написавшейся фразе «беспартийный катится под стол», чуткое ухо поэта уловило некоторую двусмыслинность, порочащую всякого беспартийного, и где-то на глухой железнодорожной станции, в вагоне поезда, он придумывает новую редакцию строчки и, превращая «беспартийного» в «собеседника», одновременно заменяет слово «катится» словом «сверзился», так как последнему присуща куда более комическая окраска.

Помимо всего этого он «разговаривал» на эстрадах множества городов. А ведь это тоже было творчество. При таком развороте деятельности что ему значили групповые интересы! На диспуте «Левее Лефа» в Москве он и заявил об этом.

Голос его не был услышан. Именно из соображений «литературной борьбы», на него в «На литературном посту» выпустили тогда Иуду Гроссмана-Рощина.

«Безработный анархист, перебега-

ющий из одной литературной передней в другую» (определение Маяковского) оплевал деятельность великого поэта, приравняв ее к случайной койке в «Комсомольской правде».

Каждый полемизирует, как умеет. Но от выступления Гроссмана-Рощина осталось впечатление, что по воздуху пронесся маленький яростный воюющий снаряд и на некоторое время отравил этот воздух. А сколько их было, таких снарядов! И как это раздражало Маяковского!

Ведь в эти годы он часто недомогал, он стал восприимчив к гриппу. Привязывая болезнь мешала этому большущему человечищу. Он ходил по комнате в Гендриковом и недоумевал:

— Не понимаю, что делается с моим горлом.

\* \* \*

Закончу свои записи началом 1930 года. Весь февраль функционировала выставка Маяковского «20 лет работы», небывало расширявшая понятие «поэт». Выставка показала, что Маяковский стал поэтом революции не потому, что сделал последнюю своей темой, а потому, что дело революции сделал своим делом.

Он целые дни проводил на выставке. Его окружала молодежь. На молодежи он проверял себя. И вот будущее смотрело ему в глаза, будущее было за него.

За время выставки в Гендриковом состоялось домашнее чествование Владимира Владимировича.

Чествование носило шутливый характер. Кирсанов сочинил канканту, рефрен которой пели все:

Владимир Маяковский,  
Тебя воспеть пора,  
От всех людей московских:  
Ура! Ура! Ура!

Маяковский сидел у конца стола и слушал.

Асеев пародировал тех, кто ходили на всех Малпах, Раппах и прочих задних Лалпах и по мере сил мешали Маяковскому.

Я читал стихи, в которых с Маяковским перекликались Шевченко, Рылеев и Некрасов, потом прочел несколько песенок.

Среди них были:

## Песенка Веры Инбер

Говорила тебе я:

Не пиши «Пуштегр», Илья,  
Не послушал и настукал,  
Не роман, а прямо скука,  
Вот теперь вина твоя!

## Песенка главы эйдологов

Но эйдолог мой век  
Он не более дня,  
Будь же добр, человек,  
И не трогай меня.

## Песенка эстетов

Мы от Фета, мы от Фета  
Принимаем эстафету,

Эстафета, как конфета,  
Мы от Фета, мы от Фета.

Потом ужинали и пили шампанское. Было на редкость весело и безоблачно.

До смерти Маяковского не оставалось и трех месяцев.

Я читал корректуру его VII тома. Мне нужно было спросить его о некоторых неясностях, но юделать этого не успел.

14 апреля он уже лежал мертвым на своей тахте в Гендриковом: удивительно красивый и удивительно молодой.

Москва, 1939, май

## Е. Книпович

### НАРОД И ИСТОРИЯ

Немало литературных произведений отживают свой век вскоре после того, как они появляются в печати. Иные говорят, что это не вина, а беда писателя. Движение истории столь сложно и стремительно, что заhim не угадаться. Но это не так. Ведь дело писателя не бежать за историей, как за уходящим поездом, а познавать законы ее движения, предвидеть направление этого движения.

Почему продолжают жить «Письма к товарищу» Горбатова, написанные в первую осень войны? Почему не отошли в прошлое ленинградские рассказы и очерки Н. Тихонова, созданные зимой 1941—42 года? Н. Тихонов и Горбатов — писатели разные по масштабу, у них разный творческий облик. Но оба они не бежали вслед за историческими событиями, а стремились итти, так сказать, «наперевес» движению, стремились творческим зренiem художника уловить в потоке этих событий какие-то, определяющие его ход, течения.

Их «устаревшие» по материалу произведения живут потому, что там показано, как в первый период войны уже закладывались основы великого дела победы, как невиданные испытания и бедствия становились суповой школой, в которой раскрывались и выявлялись заложенные в наших людях возможности. В этих произведениях видно, как вырастает

в войне каждый советский человек и весь народ.

Стареет не материал, на котором построено произведение, стареет отношение художника к материалу.

Повесть Василия Гроссмана «Народ бессмертен» тоже говорит не о сегодняшнем дне войны советского народа против фашизма. Действие ее происходит ранней осенью 1941 года. И написана она год тому назад — по нашим временам срок немалый. Литературная критика уже отмечала различные достоинства и недостатки повести. Частные достоинства и частные недостатки. Автора осуждали за преобладание лирики над эпическим началом. Автора хвалили за жизненную правду, за хорошее изображение двух военных операций — одной неудачной, другой — удачной.

Но все это не объясняет, почему повесть читали и читают сейчас — на фронте и в тылу.

На наш взгляд, разгадка жизненности и силы книги В. Гроссмана лежит в той общей мысли, которой подчинено все рассказанное в повести, в той, говоря словами М. Горького «исторической сознательности», которой она пронизана.

Когда думаешь о повести В. Гроссмана, имя Горького и слова Го́рького возникают в памяти не случайно. В. Гроссман может быть, самый воинственный ученик Горького среди всего молодого поколения сове-

сных писателей. Дело тут не в литературной учебе, а в той органической связи с горьковской традицией, с идеально-образным миром Горького, которой отмечена вся работа В. Гроссмана — военная и военная. С этой традицией связано понимание труда, как силы, преобразующей не только природу, но и общественные отношения. От Горького идет и ощущение неотделимости народного труда, создающего все человеческие ценности, от борьбы за то, чтобы эти ценности попали в руки их творца и истинного хозяина. Горьковской традиции принадлежит и мысль о том, что творческая, героическая любовь к труду, вера в силу разума — основные свойства здорового человеческого сознания.

Но, может быть, ничто не связывает так крепко творчество В. Гроссмана с горьковской традицией, как «историческая сознательность», исторический оптимизм. Глубочайшая вера в то, что активное вмешательство человеческого разума и воли может направлять движение исторического процесса, вера в возможность переделать мир и, прежде всего, собственную отчизну — не умозрительна, она основана на любви к России, к нашему народу, на правильном понимании его исторической миссии.

Кто же герой повести «Народ бесмертный»? Русский народ, завоевавший себе вместе с другими братскими народами советскую государственность, научившийся в великой школе подлинной демократии и свободного труда быть хозяином своей страны, своей судьбы, национальной культуры и национальных традиций.

Вся повесть В. Гроссмана говорит о неразрывной связи между обретенными в советскую эпоху чертами национального сознания и тем беспримерным патриотизмом, мужеством, военным умением, национальной гордостью и человеческим достоинством, которые проявляет народ в отечественной, освободительной войне против фашизма.

У нас много говорят и пишут о том, изменились ли и в чем изменились советские люди, весь народ за годы войны. Наши писатели отвечают на этот вопрос не всегда правильно. В частности, и В. Гроссман, превосходно понявший и изобразивший как художник изменения в человеческом сознании, произошед-

шие за время войны, пишет в одном из сталинградских очерков («Власов»): «Люди на этом раскаленном береге, зарывшись в землю, не изменяют чудесному строю своей простой души. Когда читаешь воспоминания о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется, что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным. Многи и талантливо писали об этом Дос Пассос, Хэмингуэй, десятки иностранных писателей».

Тут неправомерно уже само противопоставление. Конечно, так, как изменились в первую мировую войну те западные интеллигенты, судьбой которых преимущественно заняты писатели «потерянного поколения», у нас, в советской стране, изменяться не мог никто. Ведь герои Хэмингуэя, Дос Пассоса или Олдингона никогда не соприкасались до войны с реальной жизнью своей страны, своего народа. Они пребывали среди декораций, воздвигнутых их воображением и условиями общественной жизни Запада. В этом искусственном космополитическом мире можно было предаваться эмоциональным и интеллектуальным переживаниям, очень утонченным, но замкнутым в кругу индивидуалистического сознания и потому бесплодным. Война 1914 года, обрушившая этот театральный мирок, заставила будущих героев «потерянного поколения» соприкоснуться с самой страшной, дикой и безжалостной стороной жизненной реальности. И если для Ари Барбюса, скажем, такое соприкосновение стало началом подлинного изменения, то для героев Хэмингуэя или Дос Пассоса война оказалась крушением, дискредитацией перед лицом реальности всего, чем жил европейский буржуазный интеллигент до войны.

Советские люди своими руками построили ту жизнь народа, страны, государства, которую они сейчас защищают. Это была счастливая и свободная жизнь, но отнюдь не балетный рай. Счастье никогда не доставалось нашему народу даром, никогда не было легким и дешевым.

Оно было плодом долгой и суровой борьбы, свободного, творческого и напряженного труда. «А жизнь не-

легкая у народа была,— говорит в повести Гроссмана боещ Игнатьев,— да ведь тяжесть ёвоя — наша. Земля наша, производство наше и жизнь наша, нелегкая жизнь, а наша».

Кому приходилось бывать на новостройках в торжественный день пуска завода, тот вдруг замечал, как изменились люди за последние решающие недели. Запали глаза, проступили склады на свеже выбрированных лицах, заметно широки стали воротники праздничных одежд.

В эти дни советских трудовых праздников участники их были бойцами, торжествующими трудно завоеванную победу. И все-таки советские люди изменились в дни войны.

Не, так, как герои Хэмингуэя и Дос Пассоса. А так, как меняется юноша, который иногда за несколько часов станет мужчиной, вдруг осознает и научится претворять в жизнь то, что ему дано отрочеством, юностью, школой, опытом старших.

Отечественная война в повести В. Гроссмана приводит именно к таким закономерным изменениям человеческого характера. Опыт, приобретенный героями повести до войны, их советская биография оказывается для них «доброй строевой подготовкой». Тульский оружейный завод и работа в колхозе, кафедра марксизма-ленинизма, защита родины в рядах Красной Армии помогли трем основным героям повести — Игнатьеву, Богареву, Мерцалову найти свое настоящее место в отечественной войне. Мирные годы советской жизни дали будущему бойцу, политработнику и командиру чувство органической связи со своим народом и государством, чувство личной и исторической ответственности за его судьбы. Вот почему ненависть к врачу, самое существование которого оскорбляет идеи и принципы, лежащие в основе советского строя, допечатала, дрогнула в дни войны характеры героев повести.

Они стали новыми людьми и вместе с тем стали до конца самими собой.

То общее понимание роли труда, которое свойственно В. Гроссману, помогает ему показать рабочую сторону войны. В бою люди овладевают десятками новых профессий, приобретают новые трудовые навыки. Под огнем складываются коллективы — одновременно боевые и трудовые. И слаяны они так крепко, что рабо-

тают, как один «сторожий человек». Война в повести — это «бранный труд». И в нем переходят в новое качество, приобретают еще большую остроту все те свойства, которые отличают мирный труд советских людей,— осмысленность, целеустремленность, творческое начало.

Сущность врага, определяющую отличие этой войны от всех прошлых войн, острее всех видят и понимают в повести Богарев — основной носитель высокого исторического и национального самосознания советского народа: «Богарев внимательно читал приказы германского командования, он отмечал в них необычайное стремление к организации — немцы организованно и методически грабили, выжигали, бомбили, немцы умели организовать сбор пустых консервных банок на военных бивуаках. Умели разработать план сложного движения огромной колонны с учетом множества деталей и пунктуально, с математической точностью выполнить эти детали. В их способности механически подчиняться, бездушно маршировать, в сложном и огромном движении скованных дисциплиной миллионных солдатских масс было нечто низменное, не свойственное свободному разуму человека».

Вся повесть Гроссмана рассказывает о том, как против низменного, хищнического инстинкта, лежащего в основе всей «культуры» фашистских оккупантов борется высокий, человеческий разум советского народа, против творчески бесплодного, хоть и работающего подчас с завидной точностью, механического рассудка — разум свободный, творческий, позволяющий познать действующие в войне законы исторического движения, провидеть будущее и тем самым неуклонно и безшибочно организовывать победу.

«Переоценивать силы врага вредно, недооценивать — опасно», — приводит В. Гроссман в «Сталинградских очерках» мудрые слова генерала Чуйкова.

Понимание «исторической неполнопочвенности», нетворческой, тупой, ограниченной сущности фальзизма помогает В. Гроссману дать в повести точное и не совсем обычное изображение врага.

«Идол неправедной войны» — водитель немецкого танка, с которым вступает в поединок Игнатьев, по-

ковник Брухмюллер, которого «перепрограммировал» в бою Мерцалов, — не квохчут, не гнусавят, ноги у них не кривые и они не дрожат от страха с самого начала сражения. Но В. Гроссман умеет показать, что тренированный, не глупый и не трусивший фашист есть существо столь же ненавистное, а, главное, столь же презренное, как самый карикатурный фриц. Отощавший куроед — нахрется, вшивый — вымоется. А от того подлого, нечеловеческого «нутра», которое показано в повести, — фашистским оккупантам не избавиться.

В том изображении немцев, которое дано в повести В. Гроссмана, есть вырастающее из сознания собственной силы спокойствие, родственное «научной объективности» горьковской публицистики, разоблачающей врага. «Негодяй не ругательство, — говорит Горький в одной из своих статей. — Негодяй — точное определение человека негодного для жизни. Борьбу за существование негодяи не могут понять иначе, как борьбу человека против человека. Борьба же коллективой воли за обладание силами природы ради освобождения людей от условий каторженого, бессмысленного, подневольного труда — эта борьба негодяям органически непонятна. Основной принцип негодяя, его вера, весь его духовный мир выражается в простых словах: «Я хочу жрать». Все другие тоже хотят есть, но негодяйство неспособно считаться с таким фактом, негодяй — существо узко и уродливо ограниченное своими индивидуальными желаниями. Мир для него место, где жрут и где он хочет жрать больше и вкуснее других. На эту задачу зверя и направлена вся его воля, весь разум, все то, что он именует своим «духовным миром».

Так и показаны немцы в повести В. Гроссмана.

Серо-зеленая саранча — фашистские оккупанты, налетевшие на украинскую деревню Марчихина Буда, или немцы на отдыхе, по-домашнему, ленивыми скотами устроившиеся в человеческом жилье, — все это негодяи. Для этого прожорливого стада советские люди — только досадная, подлежащая устранению помеха в грабеже. Нет для немецкой саранчи Марии Тимофеевны Чередниченко — замечательной украинской женщины, прожившей славную трудовую жизнь.

Есть лишь старуха — ненужное приложение к салу, хлебу, вышитым полотенцам, — старуха, которую надо убрать, чтобы добраться до жратвы.

Война коснулась самых основ жизни. В повести В. Гроссмана с фашистским зверем воюет сама русская природа, — не только суровые глаза людей вызывают к отступающим полкам Красной Армии. Береза в лесу, созревшие хлеба под ветром, шуршание зерна на поле, потоптанное тысячами солдатских сапог, — вся красота и богатство разграбленной земли властно требует уничтожения насильников, умножает ту волю к победе, ту ненависть, которая «допечатывает» на войне характеры героев книги.

Военная беллетристика В. Гроссмана не распадается на «боевые эпизоды» и «психологические сдвиги». Характеры в ней формируются действием. История нескольких советских людей, героев повести, становящихся новыми людьми и вместе с тем до конца самими собой, — неразрывно связана с историей тяжелых боев и еще более тяжелых отступлений, через которые прошли эти люди.

Сейчас после военного опыта 1942—1943 года, после исторических приказов Сталина 23 февраля и 1 мая 1943 года, после наступления на юге, после Сталинграда и прорыва ленинградской блокады легко писать о великих преимуществах маневренной войны, о взаимодействии родов оружия, о творческом владении военным делом, о дисциплине и военном профессионализме. Но повесть В. Гроссмана написана год тому назад. И если основными в повести оказались именно те черты действительности, которые тогда только еще намечались и возникали, но в дальнейшем, как мы увидели в свете сталинских приказов, стали определяющими ход событий, то это большая победа. Пожалуй, самая большая, которая может быть одержана советским писателем в дни отечественной войны.

История военной операции в повести В. Гроссмана показывает, как выковываются звенья победы даже в тяжелых, даже неблагоприятных условиях. Частная наступательная операция, проведенная армейской группировкой генерала Самарина в дни общего отступления Красной Ар-

мии,— отнюдь не случайный эпизод. На конкретном примере читатель в повести В. Гроссмана видит, к каким блестящим, чисто боевым результатам может притти любое военное подразделение, если его бойцы и командиры обобщают свой военный опыт и уменье, до конца осознают, что их малая задача — часть великого общего дела, решающего судьбы человечества на многие десятилетия.

Что дало возможность Игнатьеву совершать богатырские подвиги? Что обострило до предела зоркость и мудрость Богарева? Что привело майора Мерцалова к победе над опытнейшим военным профессионалом — полковником Брухмюллером? Ненависть к врагу? Новый военный опыт? Суровая практическая школа военного мастерства? Да, конечно, все это. Но характер приобретенного военного професионализма, военное превосходство над врагом в конечном счете связаны с тем творческим началом, которое одушевляет всю советскую жизнь, всю советскую культуру, является самой сущностью нашего народа. Мерцалов «показал свой характер» Брухмюллу потому, что он научился воевать. Но творческое нешаблонное решение боевой задачи он нашел потому, что он двадцать пять лет был советским человеком, который не ждет, чтобы за него «кто-то думал», а думает сам за себя, сам готов отвечать за свою страну и ее исторические судьбы. Брухмюллер же потерпел поражение потому, что за него «думал» если не фюрер, то «непогрешимые» параграфы военного устава германской армии.

В образе Игнатьева в повести показано, пожалуй, ярче всего, как советское воспитание закалило драгоценный металл русского национального характера. Кем бы мог стать этот мастер «золотые руки», этот немножко чудаковатый богатырь в прежние времена? Горьковским Коноваловым? Цыганком, которого на потеху себе калечат дикие мещане Калирины?

Школа свободного труда, сознание того, что «жизнь наша», направила всю игру молодой силы Игнатьева в правильное русло. И взрывы, всплеск этих сил в дни войны сделали Игнатьева советским богатырем, новым Ильей Муромцем, способным

выйти победителем в бою с «идолищем поганым».

Как «характер» меньше всего удался в повести — комиссар Богарев. Он скорее рупор авторских мыслей и носитель основной идеи повести, чем человеческий характер. Он, в сущности, приходит в повесть уже законченным и раскрывается в ней с первых же страниц — в ночь бомбардировки Гомеля немецкими самолетами.

Он живет в повести, как сознание, организующее ее лирическую стихию, как «ведущий» в сложном сплетении, иногда коротких, иногда чуть намеченных судеб многочисленных действующих лиц, как катализатор происходящих в ней процессов. Богарев, в сущности, живет мыслями автора и той большой лирической силой, которая, как волна, поднимает и держит в книге все образы — додуманные и недодуманные, удачные и неудачные. А необязательные и недодуманные образы в повести В. Гроссмана тоже есть. Дивизионный комиссар Чередниченко, в сущности, повторяет и дублирует Богарева. Очень спорен кулач Котенеко, — вернее, то пробуждение «исторической сознательности», которое заставляет его в день прихода немцев покончить с собой. Как исключение — такой случай возможен, как правило кулацкая мечта о счастье — жрать «больше и вкуснее, чем другие» — в какой-то форме «приживается» к немцам.

В заключение — о лирике.

Песня всегда рождается раньше эпоса. Первый отлив на все великие, переломные события человеческой истории всегда был лирическим. Для того, чтобы создать эпопею, в которой будет отражен весь ход войны, сложная борьба и взаимодействие всех сил — понадобятся годы работы всей советской литературы.

Огромная же заслуга В. Гроссмана в том, что повесть его лирической волной войдет в будущее русло этой эпопеи, в том, что она учит советских людей глядеть вперед, видеть в сегодняшнем дне те возможности завтрашнего дня, которые надо осуществить, и в том, наконец, что патриотизм ее — подлинно советский патриотизм, тот, в котором любовь к родине неотделима от любви к свободе.

## СТИХ И ПЕСНЯ<sup>1</sup>

Илья Френкель хочет, чтобы его песня возникала в сердцах бойцов, как желание высказатьться, как стремление отвести душу, поговорить, что называется, «по душам», как простой житейский жест, обычная бытовая интонация:

Давай закурим  
По одной,  
Давай закурим,  
Товарищ мой!

Стихи Ильи Френкеля близки многим своей песенностью, естественностью интонаций, черезчур, может быть, однообразных. Автор обращается к читателю как собеседник, но не в обычном хрестоматийном смысле слова («знаете ли вы, читатель мой...» и т. д. и т. п.), а как товарищ по работе, однокашник, однополчанин. Это найдено.

Френкель знает, что у песни — высокое назначение. Песня нужна человеку, как хлеб. Она обнадеживает и зовет. Человек, поющий песню, хочет стать лучше, чем он есть. В песне — самые подходящие, самые удобные слова. Такая песня хороша, о которой поющий скажет: «да ведь я сам так думал». Скольким людям помогли «Эй ухнем», «Во поле березылька стояла», «С неба полуденного», «И кто его знает», «Давай закурим!»

Последняя из упомянутых песен принадлежит Френкелю. Ее поют на привале, в землянках, поют сообща в перерыве между боями — когда бойцы думают сосредоточенно. Песня незримо объединяет людей, открывая им друг друга, сливает воедино сердца и помыслы. Среди поющих — сам автор. Такова основная интонация в «Давай закурим» и в некоторых других стихах книги. Автор присутствует в землянке. Он говорит с глазу на глаз с бойцом, присев на траву и закурив.

Ты не знаешь, что такое группа,  
Если мелитопольских не кушал.

Это произносится без напора, не повышая голоса. Френкель не смотрит на бойца, как приезжий хроникер, — снизу вверх, с неразумным умилением, он и на поэтические хо-

дули не поднимается. В л кругу, на привале он — с век. Его слушают.

Но война имеет свой сложный характер, в котором характеры людей, сти, проявляются с необычайной яростью. Война в высокой степени свойственна дружба, взаимная рука, побратимство. Но в нем и другое, не менее характерное и нее: напряжение всех физических и духовных сил, трагизм, яростные атаки и горечь отступления, есть наконец, «упование в бою», вдохновение воинского коллектива, идущего на врага. Это хорошо известно Френкелю. Но одно дело знать, что необходимо, и другое дело — воплотить это знание в образе.

Пока песня Френкеля длится под аккомпанемент гармони — она хороша, она поэтична, она увлекает. Но как только поэт остается наедине со стихом, он теряет и в силе, и в выразительности. Проступает банальное, стереотипное, ходовое («Друзья верьте слухам», «Винтовка» и пр.)

Песенность — сильная сторона Френкеля. В песне он — поэт. В стихах он редко бывает поэтом. На эм «Комсомольский саперный» показать легче всего. В поэме десантных глав, каждой из которых предослано прозаическое вступление. Повествует она о людях и делах комсомольского саперного полка. Хороши в поэме строки, настроенные на песенный лад (о красноармееце Зайченко, о сержанте Короле). Френкель знает свое «рабочее место» — ру своих сил и по этой причине ходит все драматически напряжен (а именно этот драматизм подсекается самим материалом), то, что требует иного поэтического воплощения, иной интерпретации. Главное — большей глубины образа.

В девятой главе автор описывает гибель «хорошего мастера», рыжего Абрама. Френкель намеревается говорить всерьез. Но серьезные слова, произнесенные несерьезным тоном, приводят к легкомыслию, если сказать к безвкусице, которая всегда оскорбительна.

Упал, не охнул милый мастер.  
Ладони черные согнулся,

<sup>1</sup> Илья Френкель. «Друзья-товарищи», «Советский писатель», 1943 г.

13  
101 г машинистка Настя,  
102 з юбочный караул...  
103 заем — слез не надо,  
104 зо очень твердым быть,  
105 зо дь тогда и сердце радо,  
106 зо нам есть кого любить.  
107 зо унды боя роковые,  
108 зо юмним руки золотые,  
109 зо гу над рыжей головой.

110 зо это — мадригал или соло на  
111 зо пайке? О смерти бойца сказано  
112 зо здражак це-бездумно, почти пародийно. Так легкомысленно и серенады  
113 зо не пишутся. Френкель не желает  
114 зо смничать. Это достоинство. Но оно  
115 зо ут же становится недостатком: поэт  
116 зо желает размышлять.

В коротких стихах и особенно в  
117 зо геснях скольжение по верхам не так  
118 зо просается в глаза, как в поэзии. Для  
119 зо того, чтобы написать поэму, надо  
120 зо иметь что сказать. Здесь не со-  
121 зо сплешься на «специфику жанра». И  
122 зо коли взялся за гуж, то не говори,  
123 зо что не дюж.

Поэма занимает половину книжки.  
124 зо поэмы как единого произведения.  
125 зо Поэма рассыпалась. В ней нет  
126 зо ясной, ее охватывающей, страсти,  
127 зо идеи, нет в ней эмоционального  
128 зо единства, того стремительного и  
129 зо яркого образа, который один лишь  
130 зо способен стянуть рассыпающиеся  
131 зо ясти главы. Может быть, Френкель  
132 зо замеревался дать цикл песен, рапсо-  
133 зо ди? О замысле судят по выполне-  
134 зо ни. Не рапсодия получилась у  
135 зо писателя, а попурри.

«Комсомольском саперном» все  
136 зо зное, драматическое, самое, по-  
137 зо луй, интересное перенесено на  
138 зо языческие отрывки, предваряющие  
139 зо будущую из глав. Пятый отрывок мог  
140 зо образовать отдельную стихотвор-  
141 зо ю новеллу. Но Френкель решил  
142 золожить иную, весьма неблаго-  
143 зо кую задачу.

Через три наката,  
Через три кола  
На меня, ребята,  
Песня набрела.  
Бот она гуляет —  
Нёту ей забот:  
Город Николаев,  
Французский завод.

Френкель искренен: он не хочет,  
чтобы у его музы были заботы. За-

чем? Стихи в его поэме играют роль  
концовок, заставок, виньеток. Проза  
в поэзии эмоционально напряженней,  
интересней, чем стихи. Ничего не  
скажешь против использования поэзии  
в прозе, — это делалось и делается,  
но нельзя согласиться с той  
ролью, которую отводит Френкель  
стихам в своей новой поэзии.

Френкель стремится к предельной  
простоте. Он идет от народной песни,  
и там, где вкус не изменяет ему, он  
добивается успеха (см. «Давай за-  
курим», «Балладу о дружбе», «Донбасс»). Но малейшая поэтическая неточность, и получается подделка под  
фольклор ( злоупотребление союзом  
«да» вместо «из», словечками, вроде  
«мальчишечка», «парнишечка», кото-  
рые отнюдь не приближают поэта к  
читателю — даже к самому непрятательному). Народная песня проста  
не потому, что в ней общедоступные  
слова, а потому, что в ней слова  
поэтически точные, — их не сдвигнешь,  
не переставишь. Они обладают брос-  
костью и поразительной точностью  
поговорки, пословицы. Настоящий  
поэт не берет их в готовом виде у  
Даля. Он вслушивается в строй на-  
родной речи, творит свою и возвраща-  
ет ее народу в переплавленном виде. Казак Луганский был прекрасным  
собирателем народных речений. Но творили их народ и его поэты —  
Пушкин, Тютчев, Грибоедов, Крылов.

Френкель пытается разнообразить  
свои песни. То кинет острое солдат-  
ское словцо, то даст неожиданно но-  
вый ритмический рисунок, то обнов-  
лит старый песенный мотив («Транс-  
вааль», «Донбасс»).

Дайте, дайте мне гранату,  
Потому что песня вся...

говорит Френкель во вступлении к  
своей поэзии, обещая после песни  
бросить гранату, иносказательно —  
дать рассказ о яности бойца, рушущего-  
ся в атаку. Но обещание не выполнено. Вместо образа бойца, вме-  
сто его характера, действий, дается  
новая песня, а за ней — другая, и еще.  
И это было бы не плохо —  
да не все песни у Френкеля хороши.

«Сколько в песнях слов!» — восклик-  
нает Френкель. Та песня, в которой  
начинаешь считать слова, — «ходит».  
«Остается» та песня, слова которой  
не считают, а поют. Остается «Давай  
закурим» и разное ей.

Лев Озег

# СОДЕРЖАНИЕ

- ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ — Сын, поэма . . . . .  
Ю. ТЫРЯНОВ — Пушкин, роман, часть третья . . . . .  
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Наступление, стихи . . . . .  
ВАС. ГРОССМАН — Старый учитель, рассказ . . . . .  
ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ — Кого баюкала Россия, стихи . . . . .  
НИНА ЕМЕЛЬЯНОВА — Хирург, повесть . . . . .  
Стихи: МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ; БОРИС ГОРШИН . . . . .  
ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — О разлуках и потерях, рассказы . . . . .

\* \* \*

Генерал-майор А. А. ИГНАТЬЕВ — 50 лет в строю, часть четвертая .

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Ш. — О славе и поэзии . . . . .  
Г. НЕЗНАМОВ — Из воспоминаний о Малютовском . . . . .  
Е. КНИПОВИЧ — Народ и история . . . . .  
Л. ОЗЕРОВ — Стихи и песни . . . . .

## Поправки к № 5—6 журнала «Знамя»

Стр.	Строка	Следует читать
32	25—26 строки в правой колонке, сверху	Что говорит? Гуситок . . . . . И Мельника веселая душа . . . . .
235	12—13 строки в левой колонке, сверху	В пьесе Симонова «Девчонки» . . . . .
«	32—35 строки в правой колонке, сверху	Когда мысль, чувство, волна источены из одном . . . . . тогда меняется и приходит счастье

Редакторы: Вс. Бишинеский, А. Ильин, В. Лебедев-Сумцов, В. Дуда  
Е. Михайлов (отв. секретарь), А. Новиков-Щербак, Н. Смирнов  
Л. Тимофеев

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября,  
Гослитиздат. Телефон К 0-52-93

Подписано к печати 5/VIII 1943 г. А2619. 16 печ. л. 21 уп.  
В печ. л. 63200 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 10 р. 50 к.

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер.